1.1975

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

А. Лебис *(ЧССР)*. Иллюстрация к словацким народным сказкам.

СОДЕРЖАНИЕ

ЯРОМИРА КОЛАРОВА — Мой мальчик и я *(Главы из романа. Перевод с чешского и вступление Инны Бернштейн)* 4

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Горы и оружие *(Роман. Перевод с английского О. Сороки. Вступление Бориса Полевого)* 40

Новеллы японских писателей

ТЭЦУРО МИУРА. НАОЯ СИГА. ДЗЮНИТИРО ТАНИДЗАКИ *(Перевод с японского Т. Григорьевой, А. Долина)* 103

МИРА АЛЕЧКОВИЧ — Стихи *(Перевод с сербского Риммы Казаковой, Тамары Жирмунской, Юнны Мориц)* 132

ЮЛИАН ТУВИМ — Ироническая проза *(Перевод с польского и вступление Асара Эппеля)* 138

КУРТ ВОННЕГУТ — Завтрак для чемпионов *(Роман. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой)* 154

Критика

Т. БАЛАШОВА — В центре спора — поэзия 201

О. РОССИЯНОВ — Реализм и опыт венгерской критики 207

Трибуна переводчика

Русская жизнь санскритских стихов

Вера Потапова — Не изложение, а живопись словом

С. Липкин — Мысль и слово в переводе 213

Культура и современность

Заметки на полях

Е. Амбарцумов — Русские «Вехи» на американской почве 223

Публицистика

ПЬЕР ГАСКАР — Латинский квартал *(Фрагменты из книги. Перевод с французского И. Варламовой. Послесловие Самария Великовского)* 229

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

ЯНВАРЬ
1 9 7 5

СОДЕРЖАНИЕ

Изобразительное искусство за рубежом

В. ГОРЯИНОВ — Выставка итальянской графики 255

Среди книг

Издано в СССР

Атанас Далчев — Судить русскому читателю. Павел Грушко — Как все на свете люди... Б. Ростоцкий — Знакомство расширяется К. Шаньгин — Ад или город мечты? 257

Издано за рубежом

Л. Будагова — Верность призванию. Л. Симонян — Продолжение следует. С. Ильинская — Действенное слово критики 261

Из месяца в месяц 268

На всех языках

Советские писатели в ГДР 284

Авторы этого номера 286

На обложке: народная индийская картинка на шелку.

На цветной вкладке: работы итальянских художников (с выставки современной итальянской графики в Москве).

© «Иностранная литература», 1975.

ЯРОМИРА КОЛАРОВА

Мой мальчик и я

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Перевод с чешского и вступление ИННЫ БЕРНШТЕЙН

Роман «Мой мальчик и я», вышедший в Праге в 1974 году, сразу же выдвинул его автора, Яромиру Коларову, до тех пор выступавшую в печати главным образом с произведениями малых жанров, на одно из заметных мест в современной чешской литературе.

Представляя роман читателю, его издатели замечают: «Уже давно в нашей литературе не звучал такой естественный и в полном смысле народный тон». Действительно, повествование Коларовой привлекает удивительной естественностью, подкупающей доверительностью. В то же время книга выходит за обычные рамки исповедальной прозы, в ней затрагивается широкий круг проблем, касающихся жизни Чехословакии на протяжении почти полувека.

Роман своеобразен по своему построению. В нем соседствуют разные временные планы, скрепленные свободным потоком ассоциаций и воспоминаний. Подробный рассказ молодой матери о первых днях и месяцах жизни ее мальчика и затем о многих событиях его детства сочетается с воспоминаниями героини о своем прошлом, с рассказом о ее родных и перебивается замечаниями, словно сделанными на полях дневника ее уже подросшим сыном. Так возникает диалог, в котором сталкивается мировосприятие нескольких поколений, и на глазах у читателей как бы проходят страницы истории.

В воспоминаниях героини вырисовывается обаятельный образ женщины, вышедшей из бедной семьи и претерпевшей во времена буржуазной республики немало унижений и невзгод, прежде чем она получила возможность учиться, коммунистки, сохранившей на всю жизнь страстную и преданную убежденность. Жизнь ее складывается нелегко. Много места в книге отведено тяжелому времени оккупации и антифашистского Сопротивления, первым послевоенным годам напряженной борьбы за утверждение нового строя, которой она отдает все свои силы. Муж ее, борец, коммунист, в начале пятидесятых годов становится жертвой несправедливого обвинения. Действие романа завершается летом 1968 года внезапной смертью героини от сердечного приступа, в то время, когда она и ее муж, снова после реабилитации активно включившийся в общественную жизнь, тяжело переживают натиск антисоциалистических сил. Искренность и задушевность тона делают близкой и милой читателю образ повествовательницы с ее душевной чистотой и принципиальностью, с ее мужеством, чисто женской непоследовательностью, внезапными «приступами» сентиментальности, над которой она сама иронизирует.

В лаконичных заметках Ивана, сына героини книги, проявляется иное мировосприятие, чем в воспоминаниях его матери. Мальчик не знал той нужды, из которой пришлось выбиваться ей, возможность учиться досталась ему как само собой разумеющееся право. Росший одиноко, единственным ребенком в семье, он усвоил многие индивидуалистические представления, обостренные повышенным нервным восприятием. Убеждения матери порой кажутся ему слишком прямолинейными и «старомодными», он не свободен от скепсиса и считает нужным всячески подчеркивать свой мальчишеский нонконформизм. В то же время, как видно особенно из последних, проникнутых глубокой нежностью и болью строк сына, написанных после смерти матери, ее пример не пропал для юноши даром и многие из ее взглядов усвоены им.

Роман Коларовой получил высокую оценку в критике Чехословакии.

В журнале публикуются главы из романа.

© Jaromira Kolárová, 1974.

■

— Всего доброго, мамаша,— говорит врач, и говорит он это мне. Значит, мамаша — это я, извивающееся существо — мой сын, а рядом со мной стоит мой муж. Я не могу привыкнуть к действительности, все это кажется мне продолжением детской игры.

Впрочем, и тогда это не было только игрой. Мы переехали из тихого квартала, где все меня знали, в поселок. Меня привело в ужас однообразие домиков с садиками: похожие как близнецы, они теснились один возле другого.

Я держала на руках свое дитя, пупса, завернутого в одеяльце, судорожно прижимая его к груди, он был для меня в лабиринте непостижимого мира единственно понятной реальностью.

Терзаемая страхом, что здесь я совершенно потеряюсь, я укачивала своего малыша: «Не плачь, ну не плачь, скоро мы будем дома». Сады дышали зимней грустью, двери были закрыты, окна запотели.

По тротуару проходили дети, державшие друг друга за подол, на груди у каждого красовался испачканный и измятый носовой платок, пришпиленный к пальто булавкой. Одна из девочек назвала меня по имени, я узнала соседскую Кветушку и невольно отправилась за ней. Но идя вслед за детишками, я попала не к своему дому, а к мрачному зданию за железной оградой. Перед домом был облезлый газон, а вместо кустов из земли торчали какие-то безобразные веники.

Я вошла вместе со всеми, дети не догадались, что я не такая, как они, что я мамаша, которая принесла сюда своего ребенка. Меня окружили со всех сторон, голыша распеленали и раздели, ножки ему выкрутили, головку отвернули в сторону, вокруг меня все шумело и щебетало, и мое дитя поплыло по волнам детских рук.

— Откуда взялась эта девочка? — прозвучал вдруг взрослый голос.— Ты ведь у нас не записана. Дети, верните ей куклу.

Руки протянулись ко мне, кукла приплыла обратно, ее одежонка оказалась у меня в руках, но под множеством детских взглядов я напрасно пыталась натянуть рубашку на топорное целлулоидное тельце и завязать тесемки свивальника. Я вышла из круга, чувствуя себя униженной оттого, что меня не признали мамашей, а приняли за беззащитного ребенка; прижимая к груди скомканные кукольные вещи, я убежала за ворота.

А теперь я настоящая мамаша, никто в этом не сомневается, кроме меня самой, доктор переворачивает на животик распеленатого ребенка, мой муж роняет стерильно проглаженные пеленки, а когда пытается поднять их, роняет конверт.

Доктор забирает у мужа из рук детские вещи и уводит его к окну.

— Женщины, пожалуй, в этих делах будут половчее. А мы им с удовольствием уступим материнские заботы, правда?

Они перемигиваются, спокойные и улыбающиеся.

— Ребенок очень нервный,— продолжает врач и смотрит на меня,— весь в вас.

— А откуда вы знаете, что именно в меня?

Он только смеется.

— Я пропишу таблетки. Но не для того, чтобы вы их ему совали каждую минуту, давайте только тогда, когда невозможно будет терпеть. И не укачивайте ребенка на руках, очень вам советую, а то совсем с ума сойдете.

Целлулоидный пупс, зеленый медведь и небьющийся Пепик имели огромное преимущество: они молчали.

Мой сын выбивается из пеленок, как его ни укутывай, лихо выпле-

вывает соску и верещит, верещит, верещит. По улице мы идем как с сиреной, люди на нас оглядываются и время от времени высказывают соображения по поводу бессердечных родителей, которые позволяют так реветь несчастному ребенку.

— Может, он голодный? — в растерянности спрашивает мой муж.

— Думаешь, он пошел в тебя?

Видимо, у меня такое милое выражение лица, что он замолкает. Мы молча шествуем по улице, каждый держась одной рукой за коляску. Иногда останавливаемся и пытаемся заткнуть вопящий ротик соской, но мальчишка ее неизменно выплевывает.

— Ну и характерец,— замечает мой муж.

Этого только не хватало, думаю я, мало того, что нервный, еще и с характером, вот уж действительно ребеночек.

Быстрая езда и тряска по мостовой все-таки укачали крикуна. Он уснул. Личико разгладилось и побледнело, а в уголках губ появилось что-то вроде улыбки.

Мы пошли медленнее, наши руки на коляске соединились. Нет ничего прекраснее, чем идти рядом и смотреть на сомкнутые ресницы своего ребенка.

Бедняжка, его нервозность совершенно естественна. Долгие годы в нас жил непрерывный ужас. Хотя конец войны и отделил его от нашей теперешней жизни, но он все еще посылает свое невидимое, губительное излучение.

Мы наивно воображали, что стоит только выбежать на солнце (никогда еще оно не светило так ярко), увидеть собственными глазами первый танк со звездой — и прошлое исчезнет навеки.

Первого советского солдата я никогда не забуду. Он соскочил с танка, высокий и статный, в хорошо пригнанной гимнастерке, как будто сошел с картинки. Кто-то вынес водку, он отказался широким жестом — мол, разобьем немцев, тогда выпьем.

Мы разбирали баррикаду, захлебываясь от восторга, освобождали проход для танков, камни мостовой казались тогда легкими, я без малейшего усилия отбрасывала их в сторону. Но вернувшись домой, я упала на лестнице и выронила из дрожавших рук бутылку с остатками жира. Последний пакетик сахара обглодали крысы, наши постоянные спутники, но мы только смеялись над обгрызенными кусочками сахара и разбитой бутылкой, мелочи утратили тогда свое значение.

Какое это было потрясающе прекрасное время! Наверно, я уже никогда не почувствую так остро запах травы и живительный дух взрытой земли, залитой солнцем. Солнце сияет в каждом осколке разбитых окон, а с высоты прямо в его золотые лучи падают мужчина и женщина, только на земле разомкнув свое объятие. Они вскрыли себе вены и выбросились из окна, услышав ликование толпы. Немцы, которые сами осудили себя. Они мертвы, кровь их сочится между осколками стекла, а глаза обращены прямо к небу. Я испытывала невольное отвращение к этим неизвестным людям, не потому, что они избежали суда, а потому, что встали на пути нашей радости.

Мы сравнительно легко перешагнули через обломки и кровь, которых довольно было тогда на свете.

По широкой улице в проломы баррикад шли танки, на перекрестках стояли девушки в гимнастерках, туго перетянутых в талии, и указывали направление, махая цветными флажками. Они походили на кукол, движения их казались механическими и страшно сложными.

Мне не пришло в голову сорвать цветущую ветвь, хотя аромат белой и лиловой сирени смешивался с запахом бензина. Я остановилась, не в силах двинуться с места, счастливая тем, что кто-то думает за меня, что нашлись люди, которые знают, что нужно делать.

Из машин высовывались руки и раздавали окружающим куски темного копченого мяса, папиросы, иностранные монеты и консервы. А какой-то солдат, когда ничего другого не оставалось, начал раздавать из окошка грузовика длинные воинские кальсоны. В этом быстром потоке люди ловили и в упоении прижимали к груди самые обыкновенные предметы, торжественность момента превращала их в талисманы. Тогда это была не жадность, а желание запечатлеть в чем-то материальном незабываемое мгновение, и, наверно, дарящие испытывали при этом еще большую радость, чем одариваемые.

Водители машин держат на коленях детей, женщины, наспех одетые, растрепанные, заплаканные, бросаются в объятия бойцов, целуют их небритые лица и смеющиеся губы, за которыми сверкают ровные ряды зубов.

Войско катится прерывистыми волнами; в холщовых гимнастерках, шинелях, ватниках розовощекие парни и смертельно усталые мужчины, светловолосые великаны и раскосые, низкорослые люди, танки, автомобили, конные повозки — все совершенно не похоже на немецкую армию, сохранявшую железный порядок до последнего момента.

Я стояла немного в стороне, за спинами ликующих людей, и упрекала себя, что не решаюсь ни протянуть руку за каким-нибудь подарком, ни вскочить на танк, радость во мне переплеталась с болью, и это сковывало меня.

Вот я стою, вдыхаю запах смятой травы и тяжелый запах земли, взрытой гусеницами танков и огромными колесами, а в моей памяти оседают русские слова, так похожие на наши.

Все звуки и лица сливаются, и передо мной одно-единственное лицо, лицо моей тети, которое не успело состариться, только посерело и покрылось сетью тоненьких морщинок.

— Восемьдесят километров,— прошептала я. Немецкий стражник не обращал на нас внимания. Это был такой потрепанный тип, никогда я не думала, что смертников могут сторожить обыкновенные усталые люди. Видно, он считал, что незачем слушать речи, предназначенные для ушей мертвецов.

Маленькое личико чуть порозовело, так отблеск солнца румянит камни.

— Я знаю, мы тут все знаем.

Никогда мне не дознаться, хотела ли она помешать мне говорить, опасаясь за меня, или действительно ей было известно, что советские войска находятся всего в нескольких километрах от чешской границы. Мы все считали тогда дни и километры, а она недосчитала, несколько дней назад пришло ее последнее письмо, в котором мужественные слова написаны были предательски неровным почерком.

Она была самой младшей из маминых сестер и осталась на всю жизнь маленькой и худенькой, всегда выглядела как школьница со своими коротко остриженными прямыми волосами: тетя рисовала нам толстых зверюшек, улыбающиеся грибки с трубками во рту, мухоморы в дамских шляпах, косолапых уточек и пастушков с мешками за плечами. Мы ее переросли еще детьми, но по части шуток нам было до нее далеко.

Я вспоминаю, как мы вместе моем посуду и распеваем нашу любимую песню о Бабинском — знаменитом разбойнике. «Иди, моя милая, на гору»,— тетя сует тряпку в раковину, и вода бьет ключом,— «завтра меня казнят»,— я вытираю линолеум и падаю с хохотом на пол,— «и ему отрубили голову»,— тетя наклонилась над мутовкой, сдергивает ее с ручки и прыскает со смеху,— «аж по самые плечи».

А потом ей на самом деле отрубили голову с ее детским малень-

ким личиком, покрытым тоненькой сетью морщинок. Ей не оказали никакого снисхождения, даже не позволили взойти на плаху первой, и она смотрела, как кровь стекает по узкому желобку и как головы отделяются от тел.

«Это не такая страшная смерть,— говорил мой папа.— Страшно, когда человек умирает и сам не знает почему».

Я вдыхаю запах разрытой земли и растерзанной травы, вокруг меня лавиной идут танки, заваленные лиловыми и белыми букетами, мимо проплывают веселые лица, смеющиеся, измазанные шоколадом детские мордочки (люди отобрали у пленных немцев неприкосновенный запас и роздали детям, сын казненной женщины развернул одну плитку и раздавил шоколад каблуком), женщины опьянели от солнца, от поцелуев, торопливых объятий и от домашней наливки, которую все пьют за здоровье победителей.

Мертвая и теперь стоит рядом со мной (я снова переживаю тот момент, когда она уходила от меня, а я вдруг заметила, что оставила след губной помады на ее сером лице, я тогда стерла пальцем розовое пятнышко, обе мы знали, что это последнее прикосновение), она держит меня за руку, я чувствую, как она повисла на мне, и я вдвойне счастлива — за себя и за нее, только вдруг под ногами ощущаю пустоту — так иногда случается среди самого безоглядного веселья.

Я смотрю на солдат с густыми черными бровями, такие брови у моего отца; тридцать лет тому назад он жил на Украине, и в детстве я была уверена, что меня, в отличие от всех других детей, принес не аист, а папа привез из России, где он нашел меня, когда ходил по грибы.

Отец никогда не распространялся об украинских женщинах, только однажды мимоходом заметил, что они очень нежные и чувствительные, представьте себе, никогда не ощипывают живых гусей, как у нас, а собирают перышки на берегу; теплыми вечерами они купаются в реке голые и ловят белые перья на водной поверхности. Сидя в своем укрытии под столом, я ясно представила себе бескрайнюю равнину, пересеченную спокойной рекой, в которой колышутся звезды, серебряные отблески месяца и среди белых перьев виднеются круглые плечи тихих женщин.

Я всматриваюсь в лица с темными бровями, может быть, среди этих воинов и мой единокровный брат, только немного старше меня,— приходит в голову совсем неподходящая для торжественного момента мысль. Смешно и грустно — наш маленький земной шар то и дело наводняют войска, и кровь разных народов постоянно смешивается.

Вдруг я вздрогнула, будто меня ударили под ложечку: гвардейцы с красной повязкой ведут двух немцев, не каких-нибудь безымянных врагов, этих я хорошо знаю. Пожилая супружеская пара из нашего дома. Всю войну они никого не замечали, ни с кем не разговаривали, а в лавке имели особые преимущества: немка здоровалась, проходила вперед и, не обращая внимания на очередь, клала на прилавок свои карточки. Много лет подряд вся очередь в молчании, в котором с каждым годом накапливалось все больше ненависти, наблюдала как она укладывает в сумку масло, муку и конфеты. Иногда из-под их двери доносился запах печенья, и обычно по ступенькам топала пара сапог. Говорят, у них было два сына, но мне удавалось разглядеть с помощью бинокля только один эсэсовский мундир.

Конвоир их не обижает, он идет совершенно спокойно, и они ковыляют перед ним старческой походкой, а мне становится тошно, ноги у меня подкашиваются, когда я замечаю, что на спинах у них нарисованы мелом свастики.

— Да, вот их и увели, тут уж ничего не поделаешь,— сказал мне

на лестнице дедушка Кхозлик. Он объясняется на каком-то тарабарском наречии, в начале войны из ненависти к Гитлеру он объявил себя чехом, но так и не сумел научиться по-чешски. Ему уже за семьдесят, недавно он снова женился и весь дом развлекался во время его медового месяца.

— Я фечером кхозлик, и утром тоже, и еще два раза ночью,— доверительно сообщал он всем соседям во время отсидок по ночам в бомбоубежище, а когда давали отбой, семенил за своей супругой, многозначительно подмигивая всем присутствующим мужчинам.— Я говорила, пусть она ушла из СС, я говорила, Гитлер капут, ну она не послушалась, а вот теперь сама виновата.

Все происходящее казалось ему естественным, но мне еще далеко до мудрости старцев, его слова огорчают меня, мне хотелось бы, чтобы сегодняшний день был ясным и благоуханным для каждого, чтобы в моей памяти осталось только море смеющихся лиц и охапки сирени.

Но домой я шла мимо мастерской лакировщика и увидела хозяина на коленях перед своей лавочкой — большой кистью он рисовал национальный флаг во всю крышку гроба, и слезы капали на белую, красную и синюю краску, смешивались с лаком,— и в какой-то момент мне захотелось самой лежать в гробу вместо его сына...

Ведь смерть страшна только тогда, когда человек умирает ни за что, а этот парень знал, за что умирает. Он знал или думал, что знает, но для него тут не было разницы, он легко бежал среди осколков стекла, даже не почувствовал боли, только зашатался, схватился за стену и вдохнул свежий воздух, промытый дождем. На его губах пенилась кровь, чистая и горячая, как молодое вино.

У меня мороз пробегает по коже,— а может, он успел понять, что пуля сразила его в самом начале боя; кисть дрожит в руке старика, и флаг, нарисованный на гробу, тоже выглядит мертвым.

Я едва держусь на ногах, а улицы все еще полны шума — песни, звуки гармоники, крики, выстрелы — то к небу взлетают зеленые и красные ракеты, то падают на мостовую люди, подстреленные из окон скрывающимися в домах нацистами.

— Пойдем скорей посмотрим, там немцы мостят улицу, одна женщина взяла палку и хватила ту стерву по заду: «Вот тебе твое маслице, ты, курва фашистская!»

Мальчик смеется, он впервые от всей души засмеялся с тех пор, как газеты принесли скупое сообщение о казни его матери. Он ничего не сказал тогда, не вскрикнул, даже не заплакал, только избегал потом взглядов людей, целые часы просиживал на стуле у печки, молча, без всякого выражения глядел на огонь и то складывал поленницу, то разбирал ее и начинал снова.

Нас приводила в ужас его тихая безучастность, мы чувствовали, что он весь как бы стянут в тугой узел.

Теперь он наконец засмеялся.

— Не ходи туда,— говорю я,— ты еще слишком маленький.

Ты был достаточно взрослым, чтобы тебя, заткнув тебе рот кляпом и подталкивая под ребра пистолетом, отвели в гестапо (перед дверью твоего опечатанного домика все еще бродит и мяучит кошка, а на подоконнике вянут засохшие цветы), достаточно взрослым, чтобы не выдать отца, чтобы считать дни от приговора до казни матери, чтобы смеяться до ушей на той фотокарточке, которую мне разрешили передать ей при последнем свидании, но ты еще слишком мал для мести, потому что...

Не знаю.

Если б я верила в бога, я бы сказала тебе, что возмездие в руках божьих. Если б я верила в мирскую справедливость, я бы сказала, что

возмездие — дело суда. Но абсолютная справедливость существует только в сказках и в мечтах, это не достижимое, а желаемое.

Ты еще слишком мал, может быть, этот довод бессмыслен, но другого я не знаю.

Я не могу смотреть на врагов со свастикой, намалеванной мелом у них на спинах, не могу видеть мужчин и женщин, приводящих в порядок мостовую, из которой мы вырвали камни, чтобы строить баррикады в борьбе против них.

Когда я вижу остриженные волосы курвы, которые подхватывает ветер, меня начинает тошнить. Это мое личное ощущение, другие люди испытывают другие чувства, может быть, более естественные, взрыв гнева освобождает их по крайней мере от невыносимого гнета, который накопился в нас за годы бесконечного унижения, преследований и угроз. Может быть, их бешенство и есть справедливость, примитивная и естественная справедливость, а мой ужас свидетельствует только о слабых нервах.

Не знаю.

— Лучше иди к русским,— говорю я,— они играют на гармошке. Играют и пускают на набережной ракеты, а рядом под ними Влтава выбросила на берег два мертвых тела, никто их не прикрыл, ноги одного трупа омывают волны реки, а у другого нет головы, и мухи садятся на окровавленную шею.

С одуряющей силой пахнут сирень, примятая трава и разрытая земля, по городу идут танки, автомобили, конные повозки, слышны крики, приказы, звуки гармоники и смех, время бежит так быстро, что мы оставляем самих себя где-то далеко позади.

Еще вчера ночью я стояла с топором в руке, а теперь, всего лишь днем позже, мне кажется, что это был кто-то совсем другой. Наступил самый страшный момент, нацисты перешли через мост, начали поджигать дома и расстреливать людей, спрятавшихся в подвалах. Нас предупредили, и мы заколотили досками все подвальные оконца, нам казалось тогда, что мы заколачиваем собственный гроб. Немецкая супружеская пара (та самая, которую я потом встретила в колонне интернированных) осталась в своей квартире, дед Кхозлик был наш, но в своей кладовке в подвале заперлась та женщина с первого этажа, которая стакнулась с нацистами. Сидя в полной безопасности за своей загородкой, она как будто смеялась нам в лицо, нисколько не скрывая, что выдаст нас, как только увидит через щелку в своем окошке первые высокие сапоги.

Я стояла с топором в руке, все мои чувства были напряжены, я знала, что должна убить ее при первом немецком оклике, потому что тут не было никого другого, кто смог бы это сделать. С ней была двенадцатилетняя девочка, которая сидела на дровах и смотрела на меня. Девочка в прошлом году приручила кролика (их разводили на всех балконах из-за недостатка мяса), она надела на своего питомца кукольную одежду, связала для него свитер, укачивала его на руках и называла Шмуки. Кролик слушался девочку и был съеден только недавно в виде паштета, чтобы его толстенькие ляжки не оскорбляли детских чувств.

Не знаю, как долго я стояла за дощатой дверью, я не чувствовала ни ненависти, ни злобы, ни страха, только знала, что мне необходимо спасти всех остальных, что оружие в руках побежденных не дрогнет, что они пристрелят беременных женщин, старух и маленьких детей или без колебаний погонят их под танки и что думать сейчас о кролике Шмуки — ненужная и глупая сентиментальность.

Мне ясно, что я должна во что бы то ни стало заткнуть рот этой бешеной бабе, которая не пожалела даже собственного мужа (бедня-

га, не знавший немецкого языка, попал в армию) и не жалеет собственного ребенка, но я не в состоянии проломить доски и оглоушить ее топором. Я вся превратилась в слух, ловлю каждый шорох на улице, наверно, у людей, которые могут убивать в больших масштабах, имеются какие-то лишние органы чувств или каких-то недостает, я сжимаю в руках топорище и думаю, что из ружья убивать легче: чем хуже виден враг, тем легче заставить его замолчать навеки.

Я стою и почти умираю сама от необходимости убить. Все мои чувства сейчас обращены на улицу, но через маленькое слуховое оконце ничего не видно и не слышно. Вдруг раздается спокойный, хорошо мне знакомый голос:

— Открывайте. Русские пришли.

— Власовцы?

— Да нет, русские, ты что, не понимаешь,— говорит отец. Я бросаю топор и выбегаю на улицу. Наверно, мы еще и потому встречаем русских солдат с таким ликованием, что они взяли на себя все, благодаря им на наших руках нет крови.

Теперь мне уже никогда не ответить на вопрос, кого бы я принесла в жертву, если б вместо знакомого голоса раздался топот сапог: ту фурию с девочкой, нянчившей кролика Шмуки, или больную мать, толпу перепуганных женщин с детьми, деда Кхозлика, девяностолетнюю старушку, которая на коленях молилась, распространяя вокруг себя запах мочи (я не понимаю, почему она, в ее возрасте, так боялась быстрой и чистой смерти от пули), я леденею от ужаса при мысли, что топор, направленный моей рукой, мог бы врезаться в человеческую плоть, но в такой же мере мне ужасна мысль, что я без сопротивления позволила бы поставить себя к стенке и пристрелить.

Я внушаю себе, что тогда это была не я, что тот момент на грани жизни и смерти не запечатлелся во мне, что он был заглушен песнями, криками ликования и победными фанфарами.

Мне казалось, что это переживание навсегда исчезло из моей памяти. Ведь все это было давно, так страшно давно, с тех пор прошло больше года.

Нервозность моего ребенка естественна, наверно, со временем мы будем смотреть на людей со здоровыми нервами с презрением, как на неграмотных.

Я жду перед аптекой и покачиваю коляску, чтобы мой крикун не проснулся. Конечно, это неправильно, нельзя приучать его к укачиванию, надо дать ему накричаться, пока он сам не утихнет, я понимаю, что поступаю непоследовательно с самого начала жизни мальчика.

И всегда ты была такой. Всегда была непоследовательной до ужаса. То сердилась из-за пустяков, а то готова была махнуть рукой на серьезную провинность.

А всю правду ты мне не говорила никогда, всегда пропускала ее через цензуру. И о войне тоже: о той девочке с кроликом ты мне рассказывала совсем иначе — она была хорошей девочкой, у которой был послушный кролик Шмуки. И ты долго распространялась о том, как у вас на балконе жили кролики, как у них появились крольчата, как Шмудлу и Коусала вы пустили на кухню, и они лезли к тебе на колени и рвали книжку, чтобы ты не читала, а играла с ними. А еще у вас был кролик Заходяк, который жил в уборной, ангорская крольчиха Белинка, она заболела ангиной, совсем как человек, и ей делали компрессы, а когда она выздоровела, пришлось ее остричь. Ты мне рассказывала и о кролике Пончике, таком спокойном и ласковом, и о гусе — как вы его

держали в ванной комнате и купали в ванне. Он любил душ и всегда смотрел своими голубыми глазками вверх, однажды вы напустили воды и забыли о нем, а гусь радовался, нырял в полной ванне, и все кругом было залито водой. Я слушал тебя, и мне ужасно хотелось, чтобы снова была война, и у нас в ванной жил гусь, а в кухне — кролики, и ты бы не заставляла меня есть, потому что еды совсем бы не было.

Да, с моим воспитанием ты кое-что прошляпила с самого начала, это факт.

Но кто может выдержать его крик. Я ведь тоже нервная, извольте принять это к сведению, молодой человек.

Муж выходит из аптеки. Когда я его вижу неожиданно, у меня всегда появляется ощущение, что мне это только привиделось. Ведь совершенно неправдоподобно, что мы снова вместе, мне страшно, что это только одолженное на минуту счастье, редкая книжка, которую нужно прочесть и как можно скорее возвратить. Но читать ее как раз некогда.

— Вот тебе пилюли. Только не суй коробочку в карман, завтра не найдешь.

— А куда же мне их девать, как ты думаешь? Все равно я ими его пичкать не собираюсь, скажите, еще пилюли такому поганцу.

«Когда уж невозможно будет терпеть»,— сказал доктор. Он ведь не знает, что мне пришлось в жизни вытерпеть. И я не знаю, что мне еще предстоит выдержать.

Я прячу пилюльки. И внушаю себе, что никогда не буду ими пользоваться. Не стану же я отравлять это малюсенькое золотое существо. Когда он утихает, его плач кажется вполне переносимым, он даже мил.

Ох, сглазила, во время остановки дитя проснулось. Я быстро хватаюсь за коляску.

Еще немножко, маленький, сейчас ты насосешься молока, выкупаешься и будешь делать а-а.

Муж рассуждает о плане Баруха и о новом американском атомном взрыве на атолле Бикини.

— Сейчас мы будем дома,— говорю я,— ну возьми соску, ну вот видишь, как хорошо.

Атомный взрыв далеко, крик моего ребенка врезается в слух куда сильнее. На дворе ясный летний день, ничем не замутненный солнечный шар собрал вместе все свои жгучие лучи и спокойно и жарко освещает мир.

Мальчик посмотрел на них, засмеялся и зажмурил глаза. Я прикрываю его розовой фланелькой, полученной из Американской помощи.

История иногда повторяется в смешных мелочах. После первой мировой войны мама получила для меня полотняную юбочку из американской посылки и носила меня пить какао. У нас до сих пор сохранилась фотография этой акции дяди Сэма: большая группа истощенных матерей с детьми на руках. Тогда — чашка какао, рубашки, юбочки, шапочки с помпоном и грубошерстные серые свитеры, в которых мужчины выглядели как арестанты. Сегодня — детское приданое и консервы.

— Подожди, плюнь ты на этого Баруха, нам надо еще зайти в хозяйственный магазин за нашатырем.

— Да, совсем забыл, ты знаешь, что вечером придет Гонза?

— Нет, не знаю.

— Неужели я тебе не сказал? Ну, значит, забыл. И Бедржих тоже, ну, конечно, и Франта со своей девушкой, в общем человек шесть.

— Вот это новость. А чем я буду их угощать?

— Ну что-нибудь всегда найдется.

— Как это похоже на тебя: что-нибудь найдется! А когда они придут?

— Попозже, после семи.

Мы останавливаемся. Я захожу в лавку, чтобы купить дрожжи. Не люблю я сюда заходить, но иногда приходится, эта лавка к нам ближе всех. Год назад именно здесь нам преподнесли первую горькую пилюлю. На витрине появилась надпись: «Порошок от русаков». Бумажка была мятая, почерк старомодный, и уж очень не хотелось разбивать витрину, в то время когда жизнь только начинала входить в нормальную колею.

Это было так трусливо и так подло по отношению к исполненным сердечности ребятам, которые не знали латинского алфавита. Но, видимо, от подлости никуда не денешься.

Я сую в карман пакетик с дрожжами и опускаю туда же мелочь, эту глупую привычку я унаследовала от отца. Через год-два он угостит моего парнишку леденцом, облепленным табачными крошками, с прилипшим пятачком.

На витрине только муляжи, товар припрятали под прилавком. Таков естественный ход событий, только в дни революции откуда-то появилось настоящее неснятое молоко, мы пробирались за ним по осколкам, и лошадей пугали выстрелы. За хлеб тогда денег не брали, и какая-то пани, сидя в убежище, отрезала своей прислуге такой же кусок копченой колбасы, как и себе, да еще прикрикнула на ребенка, который подивился этому. Но скоро все вошло в обычную колею, и мне от этого грустно.

— Идем скорее, видишь, сколько у меня дел,— говорю я мужу.— А то он опять начнет реветь.

Нет, не начал. Только открыл глаза и уставился на небесное светило. Замахал ручонкой, наверно, хочет стащить солнце к себе в коляску и засунуть его в рот. Личико ребенка приобретает упрямое выражение, на лобике появляются морщинки от напрасных усилий, ручки снова и снова тянутся к небу, к далекой сверкающей точке.

— Человече, ведь это тоже человек.

— Кто? — спрашивает муж, и я его, естественно, не удостаиваю ответом.

■

Сегодня прекрасный день, и мой сын идет в первый класс, школа тоже прекрасная, новая, желтая штукатурка сияет в солнечных лучах, к школе тянутся толпы людей, мальчики и девочки в белых рубашках и пионерских галстуках, шефы с завода прислали оркестр, духовая музыка сливается со щебетанием детей, у всех праздничный вид.

Вокруг — новые светлые коробки домов, на балконах развеваются пеленки и колготки. Вдали возвышаются краны, и когда на время умолкает музыка, со стройки доносятся звуки циркулярной пилы.

Все кругом недостроенное, незавершенное и радостное. Я поддаюсь общему настроению, из ручки моего сына в мою вливаются силы, все огорчения как будто притихли.

Разрезают ленточку, произносят речи, дети переобуваются и врываются в вестибюль со стеклянными плитками, они бегут мимо фикусов по лестнице, украшенной репродукциями,— всюду пестрые платья, розовые лица.

Я довела Ивана до самого класса. Он не плачет, помахал мне ручкой и уселся на скамейку. Смотрит широко раскрытыми глазами на всю эту суету; мне хотелось бы, чтобы он слился с ней, но он сохраняет сдержанность. Его поведение кажется мне не совсем детским, мне было бы приятнее, если б он был обычным озорником, который гоняет мяч и выбивает окна. Пока он держится в стороне и наблюдает, а я не могу отогнать мысль, что он нарочно сохраняет дистанцию. Вошла учительница, и я еще увидела, как он на нее посмотрел, серьезно, испытующе, с интересом.

Дома он изобразил учительницу, ее осанку и несколько слащавую манеру говорить, он забыл все, что она сказала, ему представилось это смешным: «Подумай, мама, она говорит с нами, будто с маленькими».

Ну что ты, нашу первую учительницу еще можно было терпеть. Большинство из них казались мне гораздо хуже, например, Зингровка, которую я так неприлично приветствовал. Она была глупа, как поручик Дуб[1]. Только все останавливала нас в коридоре и требовала: «Повторяй за мной «честь праци», произноси как следует «ч-е-с-т-ь праци». Так я ее и приветствовал, когда она хотела шмыгнуть в клозет, она чуть не спятила от ужаса и велела мне привести тебя в школу, я в конце концов как-то замотал это, не хватало еще только, чтобы у тебя были из-за этого неприятности. Или Партизанка (интересно, кому это пришло в голову назвать самый дешевый сорт папирос «партизанка»), эта всегда исподтишка курила, пряча сигарету за спиной и незаметно пуская дым в окно, может, она и вправду думала, что никто этого не замечает. А еще директоришка, который растратил деньги родительского комитета, дело замяли, но к нам слухи все равно просочились. Конечно, страшно трудно говорить детям чистую правду, но ведь они так или иначе все разнюхают, на фильмы молодежь можно не пускать, телевизор выключать, но ведь жизнь-то пропустить через цензуру вам не удастся, она открыта детям вся как есть сразу же от рождения.

Теперь в институте я об этом не думаю, но вообще-то школа осталась в памяти как беспросветная скучища — странно, как я не начал кусаться? — рядом всегда кто-то бубнит, читать под партой не дают, спать мешают, вечно одно и то же, только что учительницы меняются, да и ученики — к концу года класс всегда не тот, что в начале. Как-то я сидел на одной парте сначала с греком, потом с цыганкой, потом с корейцем. Еще скучнее было в группе продленного дня. Я этих квочек-воспитательниц ненавидел до смерти, может, они и были хорошими женщинами, но глупость из них так и перла, помогать они нам не могли, только долбили: «Готовьте уроки», а сами собирались в уголок и сплетничали; иногда мне удавалось кое-что подслушать, они перемывали косточки всему району. На прогулку нас гоняли, как коров на пастбище, интересовались воспитательницы только тем, что можно съесть, а когда я показывал ребятам какой-нибудь цветок или останавливался у муравейника и рассказывал то, что узнал от тебя, они приходили в ярость. Особенно невзлюбила меня одна толстуха, которую я окрестил «пани спутник» (она была круглой и без передышки вещала), заботилась она только о своих двух мальчиках, все мы у нее были так, в виде привеска. Она не позволяла детям со мной дружить, впрочем, некоторым это запрещали и родители, я об этом тебе не говорил, чтоб

[1] Персонаж из романа Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка».

не огорчать. Но дети все равно не обращали на такие запреты внимания, только несколько подонков вообразили, что я подходящий объект для травли, но получили разок по морде, и все уладилось.

Наверно, это анахронизм, но я совершенно уверен в том, что есть люди, до которых не доходит, если говоришь с ними на равных, а стоит наорать и засветить как следует (я подразумеваю — символически), и они поджимают хвост. Мне такие экземпляры всегда были наиболее отвратительны.

Первый школьный день я вижу как сегодня, ты была жутко растрогана, кругом толчея, мне жали ботинки, все время говорили что-то скучное, возле нас стояла цыганка с ребенком на руках, грязная рубашонка едва покрывала ему животик, и я все ждал, написает он на кого-нибудь или нет, люди опасливо сторонились, и вокруг этой мадонны образовалось свободное пространство, так что она была видна со всех сторон. Рядом с ней стояла девочка в длинной юбке, с волосами, намазанными жиром и заплетенными в множество мелких косичек, я спросил, что это за странная девочка, а ты мне ответила, что эта девочка точно такая же, как все остальные дети. В том-то и дело, что вы никогда не видели того, чего не хотели видеть, а за это всегда приходится расплачиваться, мама.

Я могу сказать, что школа обозначала для меня определенный жизненный рубеж. Иван вошел в нее как-то совершенно естественно, без малейшего страха, может, он притворяется или ему действительно все равно. Наши разговоры коротки и на протяжении всех лет учебы одинаковы.

— Что в школе, Иван?

— В школе? Все нормально.

— А как в группе продленного дня?

— Да ничего, все нормально.

— Ты обедал?

— Факт.

— Что было на обед?

— Ну суп, мясо на второе и еще что-то, даже не помню.

Уроки он приготовляет легко и небрежно, лишь бы поскорее отделаться и взяться за чтение. Он глотает книги так же, как я, и ему невозможно помешать.

Я пробую воздействовать на него:

— Надо хорошо учиться, Иван, чтобы быть первым в классе.

— А зачем?

Он задал вопрос так, что ответить было невозможно, и я с удивлением гляжу на своего ребенка, который пользуется моей растерянностью. Он еще ходит в коротких штанишках, а я уже беспомощна перед ним, не могу ему объяснить, что имею в виду, и поэтому начинаю орать, так же как дома орали на меня.

Но я никогда не решилась бы на то, что позволяет себе Иван, мы в детстве больше уважали взрослых, может, даже и не уважали, а просто боялись.

Я возвращаюсь в воспоминаниях к своему первому дню в школе, он был полон страхов. Хотя дома меня школой и не пугали, но из своего убежища под столом я много раз слышала, что я всегда молчу, значит, вовсе дура, но, мол, для девочки это не так важно.

— Хоть бы загнать ее в школу,— беспокоилась мать.— Нашу Юльку приходилось тащить на веревке, да еще подгонять метелкой.

От унылого школьного здания тянуло холодом и неприятным за-

пахом пыли и мастики, а огромные окна без штор приводили меня в ужас.

Первый раз меня отвела в школу моя двоюродная сестра Эмилька. Крупная, толстая и яркая, она покрикивала на всех и громко хохотала. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой никудышной. Лакированные туфли мне жали, чулки спадали, жиденький бант соскальзывал с головы.

— Школа — это ужасная скучища,— Эмилька сочувственно сжала мою вспотевшую руку,— испытаешь на своей шкуре. Первый класс еще туда-сюда, а вот второй — это уж никак не выдержать. Жуть.

Чем ближе мы подходили к школе, тем больше становилась толпа детей, мне представилось, что я потеряюсь среди них, и я разревелась.

— Она у нас соску сосет, дурочка еще,— непринужденно объясняла Эмилька и сразу ввела меня в класс, чтобы я ей не морочила голову.

У учительницы были светлые волосы, розовое лицо, и вся она светилась довольством и счастьем. Она сидела за кафедрой на возвышении, спокойная, улыбающаяся, далекая и излучающая тепло, как солнце. Думаю, мы ее не очень-то интересовали, еще до конца года она ушла, но тогда я не понимала, почему она полнеет на глазах.

Она подтрунивала над нами, вся в розовом сиянии, всматриваясь и вслушиваясь в себя, а мне передавалось ее блаженное состояние, и, к бесконечному удивлению родителей, уже к рождеству я читала книжки и газеты, а на страницах моих тетрадей красовались пятерка за пятеркой.

Сначала у нас были грифельные доски в деревянной рамке и мы чертили на них буквы мелом. Такой способ имел свои преимущества: все, что мы ни накалякаем, можно было тут же стереть, мокрую губку на веревочке мы по дороге домой всегда нарочно высовывали из портфеля. Но в тетрадях мы поначалу вырисовывали буквы с таким нажимом, что острия карандашей ломались непрерывно, а когда, наконец, получили в руки перья, они скрипели так, что становилось страшно.

Неприятность приключилась со мной в самом начале учения. Пани учительница спросила, кто из нас так беден, что не сможет купить себе учебники, и мне даже в голову не пришло назвать себя.

— Откуда у меня деньги, краду я, что ли, у меня ребенок больной, знаешь, во что это обходится, а эта дура набитая не записалась,— говорила маменька.

— Но ведь пани учительница сказала — те, кто бедные.

— А мы что, богатые, по-твоему?

До того момента я об этом никогда не думала. Дома́, где я бывала, ничуть не отличались от нашего — одна-две комнаты, самая необходимая мебель, похлебка на плите и хлеб в шкафу.

На рождество нам в школе велели принести по пять сушеных слив и по одной шпильке, и тут я с плачем заявила, что мы бедные, что у меня больной братик, и получила шпильку и пять сушеных слив задаром. Скандал дома был невероятный.

— Да что мы, нищие, чтобы выпрашивать шпильку и пяток слив! — кричала маменька.— Ну откуда такой глупый теленок, господи боже мой, что они обо мне подумали, я-то готова отдать ради ребенка всю кровь по капле, всем для нее жертвую, а у нее язык поворачивается сказать, что я не куплю ей шпильку.

Шпильку и пять сушеных слив из общественных средств мама поминала потом при каждом удобном случае и не простила мне их до самой смерти.

Вскоре после этого вышел конфуз с директрисой. Пани учительница послала меня как примерную ученицу с каким-то поручением, может быть, даже за наградой, но уже перед дверью директорского кабинета у меня душа ушла в пятки и я мечтала только о том, чтобы дверь была заперта. Но она не была заперта, я постучалась, прозвучало «войдите». Я вошла, увидела величественную фигуру и решила, что новое, введенное при республике приветствие «добрый день» недостаточно для такого случая. Я начала лихорадочно размышлять, как бы с ней поздороваться. «Привет» — невозможно, «здрасьте» — еще хуже, «честь праци» — это для мужчин, «мое почтенье» — слишком обычно, и тут я вспомнила об одной пани в шляпе и перчатках, которая каждый раз, вплывая в лавку, любезно произносила, складывая губки бантиком: «Мое почтенье».

— Мое почтенье,— приветливо обратилась я к директрисе, а та встала, сняла пенсне и холодно на меня поглядела. Я мужественно выполнила поручение и в довершение всего снова изрекла: «Мое почтенье».

— Пусть пани учительница зайдет на перемене в директорский кабинет, только непременно!

Голос у директрисы был строгий, губы сжались в одну бледную прямую линию, и она будто сверлила меня глазами. Я в испуге отступила к дверям.

— Говорят, вы не умеете здороваться, дети,— сказала учительница после перемены,— мне жаловалась пани директриса, что нашлась девочка, которая здоровается, как в лавке.

Учительница старалась не смотреть в мою сторону и усиленно пыталась превозмочь смех, который душил ее, она морщила нос, жмурилась, и бантик под подбородком у нее трясся, наконец, она повернулась к доске и написала красивым тонким почерком: «Добрый день» и «До свидания».

Пани директриса меня не забыла, даже через несколько лет она не разрешила, чтобы я читала стихи на праздновании 28 октября[1], и выбрала другую девочку, Еленку, хотя та вовсе не умела декламировать.

Еленка пришла к нам в середине учебного года, зимой, и я в нее с первого взгляда влюбилась. Она была воплощением моего идеала — я мечтала быть такой, как она. До сих пор образцом для меня была Эмилька, в которой меня очаровывала свобода манер, бесстрашие и энергия. Но Еленка была совсем в другом роде. Темные волосы были у нее заплетены в две аккуратные косички с бантами, на ней была вышитая шубка, отделанная белым барашком.

В ее осанке, во всех ее движениях было особое совершенство, унаследованное от многих поколений, и мы открыв рот смотрели, как она поздоровалась с учительницей, повесила шубку, нисколько не смущаясь, с улыбкой представилась, спокойно уселась на указанное ей место, вытащила букварь, заботливо обернутый в синюю бумагу с красиво надписанным заглавием, как открыла тетрадку без единого пятнышка с незагнутыми углами.

В классе было несколько детей из состоятельных семей, но никто не выделялся так, как Еленка, обладавшая безупречными манерами. Никогда не вылезавшая вперед, уверенная в себе, выдержанная, она спокойно двигалась среди стайки умиравших от любопытства девчонок. Без борьбы и без сожалений я уступила ей первенство

---

[1] 28 октября — день провозглашения независимого Чехословацкого государства в 1918 г.

в классе, она казалась мне настолько совершенной, что с ней не представлялось возможным соперничать.

Большая часть класса ее откровенно и однозначно ненавидела, девчонки не приняли ее в свой круг. После уроков она никогда не играла с нами на базарной площади среди палаток, никогда не носилась с воплем по узким улочкам поселка, где рассвирепевшие бабы выливали нам на головы из окон всякую дрянь, не собирала вместе с нами за гаражом осколки разбитых бутылок, окрашивавших мир в зеленые и коричневые тона, не качалась на качелях.

Она чинно шагала в сопровождении своей мамы или горничной то с тапочками в руках — на ритмику, то с нотами — на уроки музыки. Отец Еленки был высокопоставленный государственный чиновник, и ее семья была просто хрестоматийным примером правильно организованного семейного коллектива, в котором каждый знает свое место. Папочка (она одна из всего класса называла своих родителей «папочка» и «мамочка») приносил деньги, мамочка воспитывала единственную дочку, а прислуга, которая состарилась у них, была как бы членом семьи, убирала и стирала. Все обращались друг к другу ласково, а я чувствовала себя среди них, как рыба на сковородке.

У них я впервые поняла, что такое богатство. Меня поразила ваза, полная прекрасных спелых фруктов: тут были апельсины, яблоки самого высшего сорта, положенный наискосок банан, а рядом золотистая гроздь спелого винограда.

Ваза стояла на столе, все проходили мимо, и никто не клюнул ни кусочка, господи боже мой, попади такое богатство в наши семьи, вот бы все жевали, вот бы чавкали, только сок бы тек по подбородкам. Рождественское угощение в будний день казалось мне чудом, я едва поверила, что фрукты настоящие.

— Возьми, пожалуйста.

Еленка положила передо мной большую коробку с конфетами, я едва преодолела искушение набрать целую горсть для Петрика и взяла себе одну конфетку.

Еленка закрыла коробку, сама не взяла ничего, и я вдруг поняла, какая разница существует между поколениями сытых и поколениями голодных.

Вечный страх, что кто-то вырвет у тебя кусок прямо изо рта, неуверенность, удастся ли завтра наесться досыта, все это пробуждает жадность — мы моментально поедали любые запасы, даже горчицу приходилось покупать не больше чем на двадцать геллеров.

После войны на официальных приемах ясно обозначались два мира: приезжие с Запада с непостижимой элегантностью стоят и улыбаются, а наши набрасываются на фаршированные яйца, на ветчину, на сандвичи, на ростбиф и потихоньку суют сигареты в карманы и сумочки.

А кругом расхаживают официанты, которые лучше всех способны с первого взгляда отличить настоящих господ, и обслуживают нас вежливо, но со скрытой иронией. Однажды я не удержалась и велела одному такому особенно надменному типу полить мне икру майонезом, чтобы насладиться видом того, как он превозмогает презрение и отвращение к представителям новой власти, которых никогда не признает за подлинных господ, даже если они дадут ему сотню «на чай».

Тогда у Еленки я была более робкой, мы вместе помыли руки пахучим мылом и сели за стол, где среди множества салфеточек, ложечек, щипчиков, тарелочек, мисочек и горшочков обнаружилось обычное какао и хлеб с маслом.

Я ела так же чинно, как Еленка, и думала про себя: ну и штучки-дрючки. Мне никак не удавалось расколоть фигурный кусковой сахар, я видела его впервые в жизни. Он так и не растворился, и какао осталось горьким.

К Еленке я относилась как-то двойственно: я ее любила, но подружиться с ней не сумела, а когда мне приходилось выбирать между ней и классом, я всегда ее предавала.

Среди одноклассниц ближе всех мне были сестры Жанда и Анча. Жанду мы догнали — она осталась на второй год в первом классе, это была черноволосая и спокойная девочка. Анча была живой и смешливой блондинкой. Обе учились плохо, но руки у них были удивительно ловкими, а этого мне как раз не хватало. Я сидела в классе между ними (мы сидели за партами по трое) и с грустным удивлением поглядывала на уроках рисования то вправо, то влево. В то время как в моем альбоме появлялись жалкие вымученные черточки, под руками Жанды и Анчи рождалась сама жизнь, цветы у них цвели, дети танцевали и играли в мяч, кошки умывались лапками и мяукали.

Жанда и Анча списывали у меня контрольные по арифметике и диктанты, но я тщетно пыталась скопировать их рисунки, в моих руках они сразу же теряли всякую жизнь. Сколько времени я потратила зря, срисовывая картинки из книжек, наивно полагая, что научусь рисовать, но не помогали ни краски в тюбиках, содержавшиеся в идеальном порядке, ни чисто вымытые кисти.

Я уж не говорю об уроках ручного труда: пока я едва наковыряю три ряда (спицы вечно падали у меня из рук), у Анчи уже готова шапочка с помпоном, Жанда накладывала на полотно стежки, как жемчужинки, и в пятом классе пани учительница передала ей руководство на занятиях. Аккуратно причесанная, чистенькая девочка обходила ряды парт и своими длинными ловкими пальцами наводила порядок в нашем нескладном шитье.

Наша учительница придерживалась принципа, что нормальные дети не могут не иметь никаких способностей, она никого не оставляла без внимания, умела найти в каждом скрытую искорку и поднять дух ребенка, изнемогавшего в борьбе с арифметикой и грамматикой.

Тем не менее обе сестры ее смертельно ненавидели.

— Знаешь, она была в гостях у Еленки,— сказала мне однажды Жанда.

Я покраснела.

— Небось ни к кому из нас она бы в гости не пошла.

Я пожала плечами и больше никогда не переступала порога Еленкиного дома. Обеих сестер я посещала часто, зимой мы обычно сидели в кухне (она была точно такая же, как наша, только обставлена более старомодной мебелью), а летом — в маленьком садике.

Их отца я никогда не видела, мама выглядела намного старше, чем наша, всегда ходила в черном, была худой и изможденной.

Зимой она приносила девочкам по апельсину или по яблоку, и сестры делились со мной совершенно особым способом: каждая давала половину, а я безуспешно доказывала, что это несправедливо, потому что мне доставалось таким образом целое яблоко или целый апельсин. Они призывали на помощь свою маму, а та всегда подтверждала, что они разделили совершенно правильно, каждая дала мне половину.

— Откуда же целый: у тебя половинка и у меня половинка,— смеялась Анча.

— Все правильно, я с тобой разделила как раз пополам: у меня половина и у тебя тоже,— говорила Жанда более тихим голосом.

И я покорно съедала свои две половины, которые составляли не целый апельсин, а только половину Анчиного и половину Жандиного.

Летом их мама приносила нам в садик мороженое в фарфоровой вазочке и делила его по блюдечкам, на этот раз действительно на три части, и мы понемножку, совсем по капельке ели из ложечки, мороженое таяло, пока не превращалось в сказочно вкусную жидкость, которую мы вылизывали досуха.

У девочек была маленькая сестричка, прелестный ребенок. Она никогда нам не мешала, всегда сидела или стояла на одном месте, ее нежное, удивительно правильное личико имело какой-то особый золотистый оттенок, волосы медового цвета спадали свободными волнами по плечам, я подозревала, что они прикрывают сложенные крылышки. Личико ее всегда сохраняло выражение неземного спокойствия, а с губ не сходила загадочная, сладкая улыбка.

Только позднее выяснилось, что маленькая Камилка слабоумная, с каждым годом опадали перышки ее красоты, пока от нее не осталось и тени.

Жаль, что из Жанды и Анчи не получилось художниц, наверно, им удалось бы воспроизвести образ ребенка, неподвижно стоящего между черешнями, прекрасного и хрупкого, как цветок.

Ни Жанду, ни Анчу мне не удалось уговорить пойти в гости к пани учительнице, которая пригласила нас на прощальный вечер, когда мы окончили пятый класс. По приказу своей мамы я отправилась с жалким, наполовину увядшим букетом львиного зева в руках, это был последний день школьных занятий, все цветы были распроданы, за крону мне удалось достать только этот веник.

Я долго рыскала в поисках цветов и пришла поздно, вся квартира была заставлена розами и гвоздиками, и мне с первого взгляда стало ясно, что только я одна из детей, живших в поселке, пришла сюда, что тут собрались девочки из богатых семей. Я остановилась, глаза у меня наполнились слезами.

— Заходи, заходи,— сказал мне муж пани учительницы,— какие красивые цветы, смотри, они открывают ротики.

Он тронул меня за нос, и в руках у него оказалось яичко, щелкнул пальцами, и в них волшебным образом возник мячик...

Я засмеялась, но чувство, что ради учительницы я предала своих подруг, осталось. И все же мама была права, наверно, во всем мире не было более добросовестной учительницы.

У нее не было детей, и она готова была ради нас пожертвовать всем, отдавала нам все свое свободное время, с бесконечным терпением повторяла уроки, занималась с каждой ученицей отдельно, никогда не кричала и не ударяла нас по пальцам.

Она заботилась о больных, выхлопотала для самых бедных девочек бесплатные молоко и суп, учила нас, как надо себя вести, как есть, как переходить улицу, вместе со своим мужем репетировала с нами выступления на утренниках, в День матери заставила взять ее собственные деньги для покупки цветов.

Не знаю, чего ей не хватало, чтобы завоевать привязанность девочек из рабочего поселка, может быть, сердца: она никого из нас не любила по-настоящему.

Учительница перешла к нам из тихого квартала, где были одни виллы, и нередко ставила в пример тамошних послушных, чистых и приличных девочек. Наверно, мы сразу привели ее в ужас; наша округлившаяся пани учительница, поглощенная своим счастьем, здо-

рово нас запустила. До конца первого класса учителя у нас менялись то и дело, а за каникулы наша дисциплина не улучшилась.

Мы с самого начала не пришли в восторг от новой пани учительницы. Она была не молода, носила очки и выглядела строгой. Голос у нее звучал холодно, и мы сразу притихли. Прежде всего она попыталась украсить наше унылое классное помещение. На голых стенах повесила картинки, купленные за собственные деньги, принесла цветы, вместе с нами вымыла парты, заставила аккуратно развесить пальто на вешалке в классе и подбирать с пола каждый кусочек бумаги, каждую ореховую скорлупку. Она купила бумажные скатерти (где это видана такая роскошь), нам пришлось расстилать их на партах, когда мы ели во время переменок, а завтраки она запрещала нам приносить завернутыми в газетную бумагу.

Учительница наша была фанатично чистоплотна, но ее достойные восхищения усилия на этом поприще как раз и стали препятствием на пути к нашему сближению. Видимо, она не сумела принять во внимание все последствия бедности, бедность представлялась ей только недостатком денег. Сколько огорчений ей доставляли наши измазанные носовые платки, траур под ногтями и грязные ноги. Она из сил выбивалась, чтобы доказать нам, что мыться приятно, изображала весьма убедительно, как вода из холодного душа разогревает кровь, но большинство из нас никогда в жизни не видели ни ванной, ни душа.

Конечно, можно было умываться водой из умывальника, умывальник и вода найдутся всюду, это казалось само собой разумеющимся, но пани учительница даже не подозревала, на какие гонения она обрекает борцов за чистоту.

— Как бы не так, стану я подогревать тебе воду по вечерам, на ночь глядя буду разводить огонь для этой барыни, а она тут начнет плескаться и брызгаться,— ворчала моя мама, а некоторые мои соученицы нередко зарабатывали оплеухи за свою неуместную чистоплотность.

Непросто было мыться с ног до головы в наших тесных квартирках, где по вечерам ставили раскладушки, где топтался подвыпивший папаша, подсматривали братишки и где был на учете каждый кусочек мыла.

Вши, правда, в то время почти вывелись, но считалось естественным, что от грудных детей несет мочой и кислым молоком, что ноги обычно дурно пахнут, ведь растут-то они откуда, в самом деле. Вплоть до начала кризиса соседние фабрики наводняли наши жилища дымом и сажей, дымила железная дорога, электропила рассыпала опилки, а бедная наша учительница неутомимо несла гигиену в массы. Ей приходили в голову совершенно неслыханные вещи, например, что перед сном надо переодеваться в ночную рубашку или пижаму, когда каждому известно, что такие вещи нужны только для больницы, а на каждый день — достаточно снять верхнюю одежду. А чего стоили ее своеобразные взгляды, что темная материя пачкается так же, как и светлая, только грязь не видна. «Ну уж пусть она нам голову не морочит, эта ваша учительница»,— защищались наши мамы. Она заставила нас на уроках ручного труда пришить к темным майкам белые манжеты, сама купила материю и нарезала ее. К счастью, майки с первой стирки полиняли и потом уже не пришлось их стирать до самого конца учебного года.

Однажды, правда только один раз, наша учительница пыталась провести совершенно особое мероприятие.

— Сегодня суббота,— сказала она,— я знаю, что вечером вы бу-

дете мыться и менять белье, но чистыми надо быть всегда, каждый день.

И она велела нам раздеться.

— Ведь тут одни девочки, и вы не должны стесняться. Я постою у двери и никого в класс не пущу.

Но мы-то стеснялись вовсе не наших детских тел, а нашего белья. Если сверху одежда еще имела какой-то вид, то под платье надевали что придется.

Оскорбленная до глубины души, я стягивала через голову свою темную люстриновую юбку и сгорала со стыда. Рубашки мне мама шила сама, переделывая их из своих или отцовских старых рубах, она кроила их с большим запасом, и плечики у меня всегда спадали. В отделе обрезков мать купила ярко-лиловый сатин для покрывала на постель, а из остатков сшила нам трусики, такие большие, что я могла натянуть их до шеи, к тому же они надувались, как шары. У большинства моих одноклассниц дело обстояло еще хуже, и никто не смеялся, но я от стыда ничего не видела и не слышала, у меня потемнело в глазах, и я чуть не упала.

Пришла я в себя как раз вовремя, чтобы увидеть, кто оказался победительницей. Как ни странно, выиграла соревнование не примерная Еленка, а тихая Юдита. Она стояла на кафедре, вся тщательно вымытая в прилегающих трикотажных штанишках (я никогда таких даже не видела) и в белоснежной рубашечке, с продернутой сверху розовой ленточкой.

— Да твоя учительница ничего не понимает,— засмеялась мама, когда я ей рассказала о конкурсе.— Ничего удивительного, что выиграла Юдита, ведь евреи моются и меняют белье по пятницам.

— А она еврейка?

— На да.

— А я кто?

— Ты христианка, то есть, собственно говоря, нет, ведь мы тебя не крестили.

— Так кто же я?

— Наверно, язычница. Хотя тоже нет, язычники поклоняются идолам. Ты — никто.

— Как так никто? Ведь должна же я кем-то быть?

— Вовсе не должна, оставь меня в покое.

Братец чуть не лопнул от смеха и тут же присоветовал мне напроситься к Юдите домой, ему было очень интересно, как живут люди, которые моются по пятницам. Мне удалось к ней проникнуть, но ничего особенного я у Юдиты не обнаружила, она играла со своими братьями и сестрами точно так же, как я — с моим братишкой.

Мои несчастные лиловые трусики были вечными, мне никак не удавалось из них вырасти, они преследовали меня чуть ли не до аттестата зрелости, и я всегда внимательно следила, чтобы они не просвечивали сквозь юбку.

Другое санитарно-просветительное мероприятие кончилось еще более бесславно. Самой страшной грязнулей в классе была Марта, незаметная девочка, не имевшая отца.

Ее мать ходила стирать по домам, была бледной, толстой, с безобразно опухшими ногами, и передвигалась она на своих слоновьих конечностях с трудом. Я отворачивалась, когда по вечерам она шла домой, с усилием отрывая от земли тяжелые, как бы пропитанные водой ноги. Мать приносила Марте булочку или горох в кастрюльке, почему-то у нее это считалось наиболее подходящей едой в дни больших стирок.

Может быть, у нее уже не хватало энергии для дочки или та успевала замазаться с утра, но факт остается фактом: Марта была самым замурзанным существом в нашем классе.

В ответ на все уговоры Марта молчала, не упрямо, а как-то равнодушно. Пани учительница пыталась вызывать родительницу в школу, мамаша всякий раз наказывала передать учительнице, чтобы та поцеловала ее в задницу, что Марта, естественно, никогда не передавала.

Дойдя до крайности, учительница принесла однажды в класс мыло и воду и вызвала Марту, чтобы девочка хоть раз в жизни как следует умылась.

Худенькое личико девочки не покраснело, а как-то вдруг посерело. Марта очень медленно приближалась к лобному месту, мне все это казалось смешным и в то же время мучительно неприятным, я вдруг представила себе, как сама поднимаюсь по ступенькам, а мои ноги распухли и стали невыносимо тяжелыми.

Наступила тишина, выжидательная, напряженная. Кто-то нервно захихикал и сразу замолк. Марта поднялась на две ступеньки к самой доске, тишина как будто еще более напряглась, и в ней стало ощутимо какое-то отдаленное гудение вроде тихого и темного ворчания зверя.

— Садись на место,— вдруг сказала учительница устало и поспешно вышла из класса. Мы еще минуту сидели неподвижно, а потом разразились многоголосым ревом, в котором звучало облегчение.

Но несмотря на все невзгоды и недоразумения, учительница все же кое-чему нас выучила. Однажды в трамвае к нам подошел старый кондуктор и сказал, что ему еще не случалось видеть такой аккуратный класс, что все девочки такие вылизанные и чистенькие, как котята. И тут наша пани учительница вдруг расплакалась от счастья.

Не очень-то мы ее, бедняжку, баловали. Она пришла из другого мира и во многом была наивнее, чем мы. Она сумела добиться супа с булкой для девочки, которая потеряла сознание от голода, дала ей деньги на керосин, чтобы та вывела вшей, но что ей было делать с Габриэлой, которая до глубокой ночи помогала в пивной разливать пиво, а на уроках спала? Что делать с Блажей, которую изнасиловал отчим (к счастью, мы мало что понимали из ее отборного лексикона), как помочь девочке, которую каждую неделю избивали ремнем до крови?

Перед рождеством мы готовили подарки для самых бедных детей. Неумело штопали старые чулки, латали поношенные платья.

Однажды я нагнулась на улице, чтобы поднять валявшуюся на тротуаре пуговицу.

— Оставь, пожалуйста, пуговица приносит несчастье.

— Это суеверие. Пани учительница сказала, что мы должны подбирать каждую пуговицу и приносить в школу.

— Для чего же это, господи боже мой?

— Для бедных детей, мы пришиваем их на платья для бедных детей в подарок на рождество.

— Все пуговицы разные?

Мама рассердилась, ускорила шаг, почти бежала.

— Какая мерзость, какая жуткая мерзость!

И мне вдруг показалось ужасным получить в качестве елочного подарка потертую, застиранную одежду с разноцветными заплатами и разными пуговицами.

Да, нашей пани учительнице действительно было с нами нелегко, и нам с ней тоже.

Больше всего меня поражало ее отношение к мужу. Рассказывали романтическую историю, как они соединились, наконец, после долгих страданий, что ради нее он лишился сана священника. У них не было детей, и они сосредоточили все свои чувства и помыслы друг на друге, ходили всегда под руку, с годами медленнее и медленнее, я уж давно была взрослой и успела забыть то, чему учила нас пани учительница, но их встречала часто. Они ходили, поддерживая друг друга, и всегда тихо о чем-то разговаривали.

Такие отношения в наше бурное время были редкостью (в дни революции дом, в котором они жили, сгорел, и больше я их не видела), за это мы прощали учительнице и ее педантизм, и ее идущую от чистого сердца, но все же оскорбительную для нас благотворительность.

Теперь, когда прошло столько лет, я думаю, что она действительно была счастлива в своей наивности.

Учительская ограниченность и специфическая учительская деформация характера действуют мне на нервы,— ну на самом деле, работы по горло, и вдруг вызывают в школу, ты воображаешь бог знает что, пугаешься, что парень кого-то убил или что-то украл.

— Ваш сын хулиган,— заявляет учительница и поджимает губы,— он издевается над самыми святыми символами, представьте себе, в таком месте он сказал мне: «честь праци».

— В каком месте?

— Около туалета. Я шла в туалет, а он обратился ко мне с таким приветствием.

«Мне бы твои печали»,— думаю я, но мне не до смеха. постное лицо учительницы вызывает скорее жалость; если порыться в биографии этой увядающей женщины, наверняка найдется какое-нибудь пятно, которое надо смыть этим показным усердием.

— А вы уверены, что он знал, куда и зачем вы идете?

Она покраснела.

— Конечно, он очень смышленый мальчик.

— Но вы его не учите уважать символы.

— Я же знаю, из какой он семьи.

— Вы не любите коммунистов? — Тут она побледнела и затрепетала, как пойманная птичка.— Смысл этого приветствия детям в первом классе еще не понятен,— продолжаю я наступление,— им не подобает его употреблять, они его ничем не заслужили, а кроме того, я думаю, что вам не следует ходить в уборную на глазах у детей.

— Вы думаете?

Она что-то бормочет, совершенно утратив свою самоуверенность. Выйдя на улицу, я не могу удержаться от смеха, видно, глупость переживает все исторические потрясения. Так же, как люди, которые своим неуместным рвением дискредитируют великие мысли — то они размахивают трехцветным флагом, то красным знаменем, но всегда это способ заметать следы.

Я принимаюсь за Ивана.

— Разве она шла в уборную? — спрашивает он невинно.— Учительницы тоже ходят в уборную? И директор тоже?

Отворачиваясь, я успеваю заметить лукавую искорку в его глазах. Ах ты жулик, я еще натерплюсь с тобой!

Но ребенок не всегда виноват, и чем больше я знакомлюсь с учителями, тем больше меня беспокоит их уровень. Учителей не хватает, так же как сейчас, в послевоенные годы, не хватает буквально всего, особенно в нашем крае, где все подчинено добыче угля и железа. Мне кажется, что наши учителя были умнее, но, может быть, это иллюзия, просто я на них смотрела другими глазами.

Еще хуже дело обстоит с воспитательницами. Некоторые из них хотя бы достаточно умны и добры, чтобы как-нибудь поладить с недисциплинированными детьми, семьи которых без конца переезжают с места на место и еще не нашли себе постоянного местожительства.

Ивану не повезло, он напал на несчастную и страшную женщину, которую дети не помню уж почему называют «пани спутник». Я сама выросла в поселке, позднее на работе познакомилась с тысячами так называемых простых женщин, мудрых и ласковых, и такой персонаж вижу впервые.

— Вашего парня надо хорошенько выдрать,— кричит она, и ее маленькие глазки наливаются дикой злобой.— Нам их бить не позволяют, а он заслуживает порки, подучивает детей против меня!

— Чему же он их подучивает?

— Чтоб они меня не слушались, ребята заодно с ним, сколько бы я ни надрывалась.

Во время разговора ее глаза устремлены через мое плечо в глубь комнаты и рыскают по шкафам, как бы проникая в закрытые ящики, она даже высунула кончик языка, предвкушая обильную пищу для сплетен,— господи, кому мы доверили самое дорогое, что у нас есть! Ничто нам не кажется достаточно хорошим для наших детей: достаем самую лучшую еду, самую красивую одежду, покупаем книжки с картинками и игрушки, построили прекрасные школы, просторные столовые, нарядный дом пионеров, но как же нам не хватает людей, вот и приходится брать всякого, кто хочет подработать. И школа у нас тоже — арена борьбы, самоотверженные учительницы падают от усталости («Когда я прихожу домой к собственным детям, я сажусь и начинаю плакать, потому что у меня нет сил даже поставить кастрюльку на газ»,— призналась мне одна из них), им не только приходится управляться с совершенно неоднородным детским коллективом, они еще мучаются со своими неквалифицированными помощниками.

Я смотрю на рассвирепевшую дуру, нет, она никогда ничему не научится, ей не хватает доброй воли и любви, ей ничто не дорого за пределами ее дома. Дети сразу почувствовали это и отплатили ей по-своему. Бедняге нелегко достается ее зарплата.

Она вызывает во мне и жалость и злость. Не могу же я допустить, чтобы она портила жизнь моему мальчику.

— Каждый должен сам завоевывать авторитет, тут я вам ничем помочь не могу. Ну что ж, сын мой после уроков будет сидеть дома.

Она убралась, на прощание я еще заметила замызганное пальто и чулки с перекошенным швом.

— Ну и явление, а? — говорит мой мальчик.

Я и забыла, что он все видел и слышал, а теперь злорадно выжидает. Наверно, мне следовало бы его убедить, что надо ее слушаться, конечно, ему бы очень помогло в жизни умение слушаться каждого, кто стоит над ним. Но я не могу, мне уже себя не переделать.

— Ты не думай, Иван, никакая она не представительница рабочего класса. Это — распустеха, которая бесится, потому что не может с вами управиться. А ты ей еще все усложняешь. Так что теперь мне придется волноваться из-за того, что ты после школы будешь сидеть дома один.

Иван просиял от радости, еще бы, он снова настоял на своем, а я полностью капитулировала.

— Ничего со мной не случится, вот увидишь. И ключ я никому не дам. Буду читать, пока ты не придешь.

В первые дни он, видимо из благодарности, даже мыл посуду и подметал полы, но, к счастью, он — нормальный ребенок, и ему это скоро надоело. Он стал веселее и спокойней, но я плачу за его спокойствие бесконечными страхами, которые рождает моя фантазия. Идя с работы, я прежде всего бросаю взгляд на дом — не сгорел ли, потом на двери — не открыты ли, и только услышав топот ног, вздыхаю с облегчением.

■

Вот мы и разбогатели настолько, что купили телевизор, и сплетница с первого этажа снова с нами учтиво здоровается. Какое это счастье — сидеть вместе, мне кажется, что я нисколько не постарела, даже помолодела, что кто-то вычеркнул злые годы и связал разорванную нить.

Однажды ранним утром раздался звонок, я увидела через глазок мужчину в костюме, вышедшем из моды, и схватилась за дверь, потому что весь дом оторвался от земли, поднялся в воздух и, как легкий красный шар, был подхвачен добрым ветром.

Иван проснулся, недоверчиво посмотрел на чужого человека.

— Конечно, помню,— сказал он обиженно,— как же мне не помнить? — Он смотрел, как у меня все валится из рук, и чуть поднял брови (почему мне так знакома эта гримаска?).— Может, я сбегаю в молочную? Папа, наверно, голодный с дороги.

Я стала искать в карманах мелочь, мальчик махнул рукой, для этого завтрака он решил пожертвовать юбилейную монету в двадцать крон, которую бережно хранил. Вернулся он с молоком, с маслом и булочками.

— Я купил тебе ватрушку, ты любишь ватрушки? Продавщица совсем обалдела, говорит: «Убирайся, эта монета не настоящая, я ведь знаю, папаша у тебя фальшивомонетчик». Но один дяденька прикрикнул на нее, чтобы не молола глупостей, сам разменял мне двадцатку, баба, мол, торгует в магазине, а в деньгах не разбирается.

Вдруг он поперхнулся, испугался, что наговорил лишнего, он ведь еще ребенок и притворяться не умеет и от смущения принялся старательно жевать. Но мы были неуязвимы, мы взлетели так высоко, что никакая грязь нас теперь не сможет забрызгать.

Они уже привыкли друг к другу, хотя их отношения все еще не совсем обычные, несколько лет все проблемы разрешала я, и Иван привык по каждому поводу обращаться ко мне, отца он воспринимает как старшего брата, вернувшегося с учебы.

Я блаженствую в кресле, а Иван крутит регулятор телевизора, звук отличный, но изображение расплывается. У моего мальчика большие спокойные руки, эти руки я так хорошо знаю; мне казалось, что те руки навсегда погребены, но они вернулись и тоже понемножку налаживают телевизор.

— Смотри, чтоб тебя не ударило током, Иван, там большое напряжение.

— Вот видишь, Иван,— говорит мой муж,— у тебя теперь телевизор, а я еще помню самый старый радиоприемник с детектором. Я ходил в первый класс, когда дядя привез нам приемник из Германии, такой красивый ящик с наушниками, я слушал целый вечер и в первый раз удрал из школы, наврал, что мне плохо, и два одноклассника пошли меня провожать, чтобы я по дороге не упал в обморок, и мы дома возились с приемником все втроем.

— Ты всегда был за коллектив,— шутит Иван.

История не слишком назидательная, но у нашего сына уже пушок над губами, и то, что мы проморгали в его воспитании, теперь не наверстаешь. Даже его внешность как-то вышла из-под контроля, я даже не могу определить, на кого он похож. Осанкой и скупостью жестов он напоминает дедушку, но у него другой нос, другие глаза и совсем другой взгляд, испытующий и чуть иронический, веселый и немного надменный, я боюсь, что ему нелегко будет сближаться с людьми.

Иногда я сама его с трудом выношу, он действует мне на нервы — вот и сейчас, когда он раскачивается в кресле и смотрит то на экран, то в книжку, а сам, не глядя, поворачивает ванночку с проявителем (я то и дело натыкаюсь на развешанные пленки, они противны мне, как липучка для мух).

— А у нас были одни наушники на всю семью,— включилась и я в воспоминания,— мне они никогда не доставались, братик иногда давал мне минуточку послушать, или мы клали наушники на тарелку и слушали вместе: сидим тихо-тихо, а откуда-то издалека доносится музыка. Подожди-ка, перестань, Иван.

Наконец-то мы его увидим — молодое, смеющееся лицо в скафандре, он единственный человек на свете, которому я сегодня завидую.

Он преодолел земное притяжение — человек преодолел земное притяжение,— оторвался от планеты и взлетел ввысь, а мы можем наблюдать за ним, за этим маленьким зернышком в бесконечности космоса, мы видим его, слышим его, это невероятно, недоступно уму, меня всегда поражает и ужасает сила человеческого духа. В волнении я хватаю мужа за руку.

Иван с виду совершенно безучастен и продолжает крутить свой бакелитовый сосуд.

— Ну, что там такое? — тянет он с удивлением.

Притворяется, негодяй, нарочно притворяется.

— Ты хотел бы стать космонавтом?

— Нет уж, меня и в автобусе укачивает.

А мне бы хотелось лететь в космос, даже ценой жизни я бы хотела взвиться в космическом корабле и посмотреть на земной шар сверху (или как там это называется?), взглянуть на него как на шар, а потом хоть умереть.

От волнения мне душно, я тащу мужа на улицу, на воздух (наш мальчик остался возиться с фотографиями), весеннее небо темно, еще не показалась ни одна звезда, и под небесным куполом таится влажный и горький запах.

Мы идем на лужайку, одуванчики погасили на ночь свои фонарики, трава мокрая, и ноги хлюпают по грязи, вербы тонут в мутной воде, разлившийся Одер притворился настоящей рекой и шумно мчит воду вдаль.

Человек преодолел земное притяжение, а по воде плывет сломанное деревцо, из его полуоткрытых почек уже никогда не появятся зеленые листочки, но я стою на земле твердо, и радость во мне струится, рокочет и пылает.

Нас земля не отпустила, мы опускаемся на мокрую траву, небо темнеет, и река разливается, ты помнишь, на берегу моря волна вдруг залила нам ботинки, может, и эта вода подхватит нас и унесет в крепком объятии.

Какое наслаждение плыть по разлившейся реке, однажды я испытала это не на Одере, а на Сазаве, мчавшейся по затопленным лугам,

когда течение уносило бревна, доски, сено, утонувшего поросенка, собачью конуру.

— Хорошо бы тут поплавать.

— Ну и поплавай,— сказал папа.

Это было летом после ливней. Я разделась, надеясь, что он меня остановит, но папа молча наблюдал, как я иду к воде, и я смочила ступни, все еще оглядываясь и ожидая, что он меня окликнет.

Отец молчал. Я прыгнула в реку. Раньше тут вода была мне едва по колено, а теперь я не могла достать дна, течение меня подхватило, и мутный поток уносил все быстрее, я попробовала схватиться за ветки, но они обломались. Мы мчались на взмыленном коне в неизменном порядке: впереди все время виднелся кусок деревянного сарая с намокшей соломой, позади — оторванные мною ветви, и я тщетно пыталась сопротивляться движению потока. Это было так же невозможно, как пройти сквозь стену, все мои усилия были напрасны, и я почти не приближалась к свежим зеленым листьям. Казалось, весь свет пришел в движение, все кругом гремело, словно грохотали копыта,— так в шуме воды билось мое перепуганное сердце, опьяненное ужасом и восторгом.

Я заметила, что местами течение поворачивает к берегу, дождалась изгиба реки и ухватилась за ветки над водой, одна сломалась, а другая удержала меня, я прижалась к гибкой веточке, как мальчик в сказке,— я спасена, вот я стою на берегу, на мокрой земле, ступни чувствуют траву, река будто замерла, зато побежал лес и куда-то убегает поле.

Стало вдруг светло и тихо, воздух удивительно свежий, места незнакомые, река отнесла меня далеко, я бегу против течения и против ветра, свободная и счастливая.

Папа несет мне одежду и смеется.

— Ну и прическа у тебя, девочка. Что, холодно?

— Нет, ничего.

А у самой зуб на зуб не попадает, меня трясет, как ни стараюсь унять дрожь; я переодеваюсь в лесочке, натягиваю платье и выжимаю купальник, я как-то ослабла, опустилась на хвою и растянулась: вдруг по голове меня как будто полоснули ножом.

Острая боль скоро прошла и возвратилась только через несколько дней. Успокоившаяся река игриво плещется по камням, но я в нескончаемой горячке мчусь на ее мутном хребте, защищаюсь от корней и ветвей, а когда попадаю в тихую заводь, вижу измученное мамино лицо.

Зимой она похоронила братика и теперь тянет меня обратно в жизнь своими изможденными руками, а я защищаюсь, мне хорошо, я уплываю в небытие и растворяюсь в нем, мне причиняют боль краски, свет, я закрываю глаза и опять проваливаюсь куда-то.

Когда я снова очутилась на берегу, от меня остались кожа да кости, я смотрела в зеркало на свое желтое лицо с пожелтевшими белками и темными синяками под глазами, у меня выступили скулы, удлинился нос, поблескивали непривычно большие белые зубы. Лицо было совершенно чужое, ничто меня с ним не связывало, оно было мне безразлично, мне было трудно есть, пить, разговаривать и сделать хоть два шага. Я еле передвигала непослушные ноги, земля подо мной была какой-то мягкой, резиновой, может быть, это были галлюцинации, а может, вправду шли дожди, только всюду мне мерещилась вода, и под ногами у меня при каждом шаге начинали бить чистые и звонкие источники.

Я не могла поднять голову, с обеих сторон меня кто-то поддержи-

вал, пол уплывал из-под ног, всюду текли ручейки, а мне хотелось спать, спать и не просыпаться.

Потом я окрепла, желтизна, не похожая на золотистый цветочный оттенок, а какая-то мертвенная, постепенно пропадала.

В то время я частенько сидела на срубе колодца и любила заглядывать в прозрачные глаза старого колодезника.

И вдруг узнала, что эта небесная синева обманчива и что кроткая, трогательная внешность принадлежит убийце-рецидивисту. Мир, полный обмана, стал мне вдруг противен. Люди меня ужасали. Я не верила больше их внешнему облику, они казались мне похожими на крашеные яйца, нарядные, яркие, но пустые и выеденные внутри.

Могильный холм над моим братцем осел, на нем росли маргаритки с розовыми венчиками, в детстве мы страшно сердились на жучков из сказки, которые покорно позволили себя заморозить в царстве ледяной королевы, и вот тут покорно лежит такой же глупый жучок (про меня братик, наверно бы, сказал: а тут сидит покорная божья коровка).

Я уже давно не читаю про жучков, я заблудилась среди других книг, мне полюбилась девочка Нелли, одна из униженных и оскорбленных, сначала мы с ней были сестрами, потом я сама превратилась в нее.

Мама любила Толстого, но для меня его герои оставались чужды-ми и далекими, моя ослабевшая душа устремлялась во тьму, я надрывалась под тяжестью судьбы Жанны Ней, к моим усталым ногам приставала грязь, когда я опускалась вместе с Куприным в темные шахты, и раздирающая печаль оседала в моей детской душе от произведений Достоевского.

Я заблудилась среди потрепанных, захватанных книг, мною овладела безысходная тоска, мне не по силам была тяжесть жизни, и я хотела бежать от нее. умереть, я жаждала смерти, ведь самую прекрасную и счастливую улыбку я видела на лице мертвого братика.

Эта улыбка звала меня в иной мир, я ходила по улицам, погруженная в свои мысли, и меня нужно было встряхнуть, чтобы я узнала встретившихся мне знакомых. Иногда я сажала шишку на лоб, наткнувшись на почтовый ящик, или спотыкалась об ящики, разложенные перед лавками. Я так прочно отгородилась от действительности, что однажды чуть не попала под поезд, а крик пана Земанка, размахивавшего флажком, дошел до меня как бы из бесконечной дали.

Но я ничего не делала для того, чтобы расстаться с жизнью, хотя часто стояла на мостах, подолгу сидела на кладбище и блуждала возле железнодорожных путей. Что-то удерживало меня от последнего шага, хотя я и была на волосок от него.

Люди вокруг меня не исчезли, они пытались мне помочь, но едва только кто-нибудь со мной заговаривал, я заливалась слезами, меня отталкивала их назойливость, я погружалась в свои книги, глубоко-глубоко, на самое дно жизни. В действительной жизни добро и зло обычно перемешаны и разрежены, но гениальный писатель умеет сгустить и то и другое, а мне было тогда только пятнадцать лет.

Почти целый год я не выходила из этого зачарованного состояния. Но несмотря на подавленность, мое тело, благодаря заботам родителей, понемногу оживало. Меня отвезли за город. «На свежем воздухе она, наверно, придет в себя»,— думала мама.

И вот однажды утром я встала, вскарабкалась на соседний холм, пробралась через заросли, и мир как бы вдруг насильно вошел в меня с помощью всех пяти чувств. Передо мной простиралось маковое поле, розовое, все в утренней росе, лепесток за лепестком неслышно

падал на землю, к моей коже прильнула утренняя свежесть, солнце извлекало аромат из каждой травинки, каждого колосочка, ветер перемешал все запахи и бросил их мне в лицо, на языке таяли ягоды, воздух гудел от тысяч крылышек, шумели листья, и где-то совсем рядом залилась долгими трелями птица.

Было видно далеко вокруг: пестрые поля, луга, одинокое дерево, какая-то будочка, заросли верб, за которыми поблескивает вода, скала цвета корицы, красные крыши и поезд, тянувшийся серебряной ниткой.

Какой маленькой и грязной показалась мне книга в моих руках, я открыла ее, но страницы были пусты, они онемели. Теперь я знала, что они лгали, экстракт жизни — это еще не сама жизнь, он так же далек от нее, как соль от моря и древесный уголь от леса. Меня перестали волновать засохшие, давно умершие цветы, вокруг меня все живет, над деревенскими крышами тянется дым, паровоз пускает пар (и, наверно, его ведет кто-нибудь из наших знакомых), женщина в поле прикрыла ладонью глаза и смотрит вдаль, солнце осушило росу, а я побежала вниз, скользя по прошлогодней хвое.

— Подвезти тебя?

Не все синие глаза принадлежат колодезнику-убийце, у деда глаза спрятаны в лучах морщинок, они как бы выгорели на солнце и никогда не обманывают.

Я ложусь на воз среди скошенной люцерны, свежей и благоуханной, погружаю в нее пальцы, и, если бы мне не было стыдно, я бы вгрызлась в траву зубами. Жучки, мошки, веселые козявки, божьи коровки вылезают из травы толпами, ползают по моим голым рукам, и хотя дед что-то рассказывает, покуривая трубку, я почти ничего не понимаю, весь рой шумит, как лесная чаща.

А потом я умяла полбуханки хлеба, выпила кринку молока, и мировая скорбь исчезла. Навсегда. Никогда больше я не позволю ей оплести меня своими щупальцами.

Опять ты плутуешь, мамочка, и до чего же здорово ты умеешь плутовать! Ты уже не помнишь, как однажды вернулась от папы? Два дня я был один, ты закрыла газ, но я его открыл, потому что потратил все деньги в первый же день на конфеты, а вечером варил себе картошку. А когда ты приехала, у тебя был неестественно веселый голос и ты сказала: «Я привезла тебе майского жука, Иван, посмотри, этот жук с самых Крконош».

Ни у одного мальчика нет мамы, которая бы привозила ему майского жука с самых Крконош, я был страшно рад, он ползал по моей руке, был тяжелый, сонный и невероятно красивый, весь в белых треугольничках и шоколадных крапинках.

— А папа все еще в больнице?

— Да, все еще.

— Не слишком ли долго он там остается?

— Бывают такие болезни. Что поделаешь.

Вдруг я заметил, что ты какая-то странная, сидишь в кресле, а руки висят вдоль тела, ты смотрела на меня, но ничего не видела, твой взгляд был устремлен куда-то далеко-далеко, шел из какой-то бесконечной глубины, это было страшно, и я сказал: «Мама, я хочу есть».

Ты встала и, двигаясь как лунатик, вынула из сумки хлеб, колбасу и бублики, а я спросил тебя, будешь ли ты есть. Ты сказала: «Да, сейчас», но ни к чему не притронулась и еще спросила, не было ли мне холодно, я засмеялся, почему же холодно, ведь сейчас жарко, как по-твоему? И ты сказала: «Ну да, жарко».

А потом ты рухнула в кресло, вся ослабевшая. Я сказал: «Мама, мне завтра нужно десять крон для родительского сбора», и ты спросила: «Завтра?» Это прозвучало так, что я вообще начал сомневаться, наступит ли завтрашний день, мне вдруг показалось, что никакого завтра вообще не будет. А ты только горько улыбнулась (кажется, именно с того момента у тебя остались складки около губ) и повторила: «Завтра?»

И махнула рукой.

Я не мог уснуть, в кухне горел свет, майский жук старался вылезти из коробочки, я его боялся выпустить, потому что ты открыла у меня в комнате окно.

Снаружи доносился шум, а у тебя в кухне было тихо, так тихо, что мне вдруг стало страшно, никакого движения, обычно были слышны твои шаги и радио, иногда у тебя что-нибудь падало на пол, и ты начинала тихонько браниться, а тут вдруг — мертвая тишина, как будто никого нет.

Я не выдержал и отворил дверь, ты сидела со свешенными вдоль туловища руками и широко открытыми глазами, я хотел пройти в коридор, но дверь с шумом захлопнулась, потому что все окна были открыты настежь.

Ты ужасно испугалась, просто ужасно, а я сказал: «Не беспокойся, мама, я получил за сбор старого железа три семьдесят и могу собирать его на пустыре хоть каждый день».

Тут ты расплакалась, я в первый и последний раз видел тогда, как ты плачешь, и просто не знал, что делать, я боялся к тебе подойти и начал тоже хныкать.

Ты спросила: «Ну что ты ревешь?» — и быстро скомкала письмо, которое читала, а я сказал, что боюсь, как бы у меня не улетел майский жук, ведь все окна открыты.

Мы закрыли окна, я выпустил жука на пол, и он начал так красиво жужжать, а ты говорила, что завтра мы сорвем для него веточку, он это любит.

Я все перевернул в квартире вверх дном, но того письма так и не нашел, ты здорово запрятала.

Утром, когда я проснулся, мир выглядел снова как обычно, ты ушла на работу, оставила мне завтрак и десять крон тоже. Когда я одевался, у меня в руках разломалась пуговичка на рубашке. Это было несчастье, потому что я не смог найти другой пуговички, а остальные рубашки были в грязном, я взял и пришил к рубашке большую серую пуговицу, единственную, которую мне удалось найти.

Это сразу же усекла Партизанка, она вызвала меня к кафедре и, держа свою «партизанку» за спиной, сказала: «Вот посмотрите, ребята, так выглядят неряхи».

Дети смотрели, а я сказал: «Товарищ учительница, вы не дадите мне прикурить?» — тут грохнул смех, но сейчас же смолк, потому что она залепила мне пощечину и выбежала из класса.

Мне пришлось идти к директору, у нас был новый (он появился после того скандала, который замяли), он долго разглядывал меня.

— Твоего папу я знаю и очень его уважаю, я слушал его лекции, а ты-то понимаешь, по крайней мере, какие у тебя родители? Ведешь себя как настоящий хулиган. Как ты посмотришь в глаза своему отцу, ведь он может в любую минуту вернуться.

Я молчал.

— У твоей учительницы тоже нелегкая жизнь.

— Тогда нечего срывать злость на маленьких детях.

Его эта мысль изумила. Он стал поглаживать бороду, я ясно слышал потрескивание волос.

— Не такой уж ты маленький. Что ты предпочитаешь: извиниться перед учительницей или получить тройку по поведению?

Ну конечно, вот она — справедливость взрослых, справедливость тех, кто старше и сильнее, справедливость официальная.

— Тройку по поведению.

Я увидел, как он переполошился. Маленьким был на самом деле он, а не я. И я понял, что ему это стало ясно.

Мы молча смотрели друг на друга, я видел, что он нервничает и что ему очень хочется закурить, только он боится подать мне дурной пример.

— Ты действительно куришь, Иван?

Я покачал головой. Никогда я не брал сигареты в рот, мне было противно, когда ребята передавали ее, всю заслюнявленную, друг другу.

— А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

— Клоуном в цирке,— выпалил я без размышлений. И действительно, в тот момент мне эта профессия казалась самой соблазнительной и самой полезной.

Тогда в первый раз я задумался о том, почему я так действую людям на нервы: они никогда не знают, что я скажу и что выкину. Но я никого не хотел пускать в свою душу, нечего им там рыться своими грязными руками.

Он нахмурился.

— Тебе будет не очень-то легко в жизни.

А я плевал на это, мне уже тогда было наплевать на легкую жизнь, если ее надо добиваться с помощью подлизывания, ябедничания, вечно уступая и предавая самого себя. И что это за легкая жизнь, в самом деле?

Я пожал плечами, и директоришка меня отпустил. Тройку по поведению мне не поставили, и ты никогда не узнала об этом эпизоде. Только выругала меня: «Ну что это за пуговица, скажи, пожалуйста, и вид же у тебя!»

Мы перелезаем через канаву, полную воды, и идем, тесно прижавшись друг к другу, счастье растапливает скорбь, и к нам возвращаются потерянные годы.

У нашего мальчика горит свет — что за ночная птица,— а утром снова не добудишься. И бьюсь об заклад, уроки он наверняка не готовит.

— Мама, смотри не влезь опять в проявитель.

— Уже поздно, пора спать, Иван.

— Если вы будете ужинать, мне дайте тоже.

— А по шее не хочешь?

— Да нет, обойдусь как-нибудь.

Само собой разумеется, я принесу ему поесть в постель, а он едва поднимет глаза от книжки.

— Какое счастье, что ты ничем не увлекаешься надолго, то белые мыши, то шахматы, то модели самолетов...

— Ты забыла про хомяка, который сожрал твои сердечные излияния.

Я бросаюсь на него с кулаками, но он без труда поднимает меня в воздух, теперь уж мне не пикнуть при его-то силе. Я давно решила записывать все события в жизни моего сына, каждое его слово, каждый шаг, каждую фразу, но с людьми дело обстоит так же, как с вес-

ной, ты никогда не захватишь тот момент, когда лопается почка и расцветает цветок, сколько бы ни подкарауливал и ни выжидал, в решающий момент тебя все равно не окажется на месте.

Не знаю, как это получилось, только парень перерос меня, мне еще не ясно, как его правильно воспитывать, а он уже ни в каком воспитании не нуждается.

— А не слишком он дерзкий? — тихонько спрашивает мой муж. Я только пожимаю плечами.

Мы промокли до нитки, открываем в кухне газ, разуваемся и греем босые ноги. Потом пьем чай, от золотистого напитка поднимается пар. Чаепитие у нас дома всегда было чем-то торжественным, обычно пили желудевый кофе, а для больных заваривали липовый напиток, чай и сушки я всегда считала королевским лакомством, как жаль, что у меня не сохранились мамины высокие стаканы, не знаю даже, куда они делись.

— В Советском Союзе говорят: родная партия,— размышляет мой муж.— Это действительно так, знаешь, как в семье: можно и поссориться, глядишь, и затрещину схлопотать, и на ужин подсунут тебе остатки от обеда, а с гостями всегда церемонятся.

Да уж что говорить. мы не гости, в партию мы пришли не зрелыми людьми и заслуженными работниками, а связали с ней свою судьбу чуть ли не детьми, никто нас не вовлекал и не баловал, мы были счастливы, что можем отдать партии все.

— Теперь мы как старый инвентарь, хоть он поломался малость, хоть пообтерся и не очень-то о нем заботятся, а все-таки он нужен.

Мы оба смеемся, нам ничто не кажется трудным. Мы вместе, за стеклянными дверями горит свет в комнате нашего сына, а человек с юным, ясным лицом преодолел земное притяжение и впервые закружился в космосе.

■

Здесь так тихо, я сижу на лавочке и смотрю в сторону леса. Что-то зашевелилось, на землю падает сухая хвоя. Белочка. Ее почти можно достать, она прыгнула на соседнюю ветку и издает совершенно своеобразный звук: чмокает так сладко, как новорожденный ребенок. Вот она все-таки испугалась, проворно перепрыгнула на другое дерево. Хорошо бы и мне так скакать. Но у меня болит нога, видимо, я оступилась и растянула сухожилие.

Однажды я играла в парке, прыгала через скакалку, все выше и выше, на одной ножке, на обеих сразу, крест-накрест, и вдруг мой взгляд упал на бабушек на лавочках, они молча наблюдали за мной, а я вдруг застыдилась. Мне пришло в голову, что я как будто насмехаюсь над ними, подпрыгивая у них на глазах, и я убежала прочь.

А теперь вот я и сама сижу на лавочке, не знаю, как это случилось, но я постарела, вслушиваюсь в тишину, и мне ничего не хочется, только сидеть да поглаживать икру, чтобы успокоить боль.

В сущности, я не такая старая, мне будет только пятьдесят, но я не могу отделаться от чувства усталости, мне все кажется, что я помню слишком много и что живу на свете слишком долго.

Когда-то, много лет тому назад, меня приводила в ужас мысль, что мир может погибнуть и что мне суждено дожить до его конца. Я никогда не представляла себе неожиданную катастрофу или библейский Страшный суд, мне было страшно, что солнце понемногу остынет, как отцовский паяльник, утратит свой белый накал, порыжеет, вместо алого цвета постепенно выступит стальная синева, тем-

ная точка будет еще долго лучиться остатками тепла, пока совсем не погаснет.

Всю землю покроют лед и снег, а люди будут тянуться к огню и прижиматься друг к другу, понемногу слабея от голода.

Удивительно, что именно теперь, когда человек сам держит в своих руках средства уничтожения планеты, начисто исчез мой постоянный спутник — страх. Я уже ничего не боюсь, чувствую только усталость и жажду покоя.

Как тут тихо. Кусты покрылись сверху донизу белыми цветами. Шмель тычется то в один цветок, то в другой, исчезает в его венчике, и когда умолкает жужжание, я слышу, как скребутся шмелиные ножки и членистое тельце трется о лепестки, цветок шуршит, как накрахмаленная юбка. Такая стоит тишина.

За кустарником — высокие ели, лесок редкий и кажется грустным, неподалеку от меня раскрыл свой зонтик большой гриб. Стоило бы сорвать его, но мне не хочется двигаться, я вытянула ногу и сижу не шевелясь.

Пришлось нагнуться, чтобы поднять книжку, она упала на землю и спугнула белочку, а я и не помню, на какой странице остановилась. Ну и пусть, я уж столько прочитала книг. Едва научившись разбирать буквы, я попала к ним в плен, буквы стали для меня вроде наркотиков, я читала вывески, плакаты, объявления, папины книжки с разбором шахматных партий, специальные журналы в разных местах ожидания, газеты, разложенные на полу после субботней уборки, и книги, книги, книги, часто я проглатывала их по нескольку штук за день, глядя на последний луч в окне, я мечтала научиться алфавиту для слепых, потому что у нас дома не разрешали жечь свет.

Я пытаюсь сосчитать, сколько могла их прочесть? При самом скромном подсчете тысяч десять, нет, наверно, гораздо больше, ну и что же, что же? Я не могу выстроить ни мост, ни дом, не знаю, как конструируют аэропланы или автомобили, я не изобрела ни телевизора, ни даже простейшей счетно-вычислительной машины, не умею оперировать даже аппендицит, не говоря уже о сердце.

Никогда не перестану удивляться, что люди, пославшие на Луну ракету, принадлежат к тому же людскому роду, что и я.

Мне очень хочется, чтобы мой сын умел что-нибудь из всего этого, но, наверно, я бы его тогда побаивалась, он казался бы мне чужим и непонятным.

Вот он возвращается, ходил проводить свою девушку, что-то уж слишком быстро, нынешняя молодежь не сентиментальничает, он идет, как обычно, вразвалку, небритый, в своих потертых джинсах. «Épater les bourgeois», — говорю я.

— Что это такое?

— Дразнить мещан, безграмотный.

Выражение его лица непроницаемо, весьма возможно, что он и не собирается никого дразнить, для этого слишком жарко.

— Не очень-то далеко ты ее проводил.

— Она остановила машину сразу на шоссе.

Он нисколько не беспокоится, как бы с ней не случилось чего-нибудь, сел рядом со мной, вытянув ноги, и закурил.

— Вон там гриб-зонтик,— протянул он лениво, и мне кажется, что слишком быстро он стареет, в его годы я бы вскочила и побежала сорвать гриб, обшарила бы целый лес и сразу принялась чистить грибы, жарить их, сушить. Но они-то ведь не голодные, наши дети.

Всегда я мечтала иметь взрослого сына, но теперь мне иногда хочется вернуть то время, когда мой мальчик был для меня понятным и я могла отвечать на все его вопросы. Хорошо, что он меня ни о чем

не спрашивает, может быть, из чувства такта, а может, уверен, что все сам знает лучше.

Я смотрю по направлению его взгляда, под кустами густой ковер барвинков, из-под листьев выглядывают синие цветочки.

— Когда она расчесывала волосы, перебросив их на лицо, у нее так же синели глаза,— сказал Иван.

— Гм,— пробормотала я неопределенно.

Она совершенно ничего не стесняется, эта его девица. Обнаружила бак с дождевой водой и вымыла в нем свою гриву, а потом сушила на солнышке. Иван сфотографировал ее: она причесывается, спустив волосы на лицо. Наверно, фото получится интересное, и уж, конечно, волосы, закрывающие лицо, ее не портят.

— Барвинок,— задумчиво произносит мой сын,— какая может быть к нему рифма?

— Не знаю.

Сама испугалась, как враждебно прозвучал мой голос.

— Тебе она не очень нравится, да?

— Нравится.

Я никогда не понимала, почему родители вмешиваются в любовные дела своих детей, мой сын еще не успел родиться, а уж я твердо решила, что никогда до этого не унижусь. Но все же рядом с моим мальчиком я хотела бы видеть совсем другую девушку, хрупкую, темноволосую и робкую, а не эту златокудрую очаровательницу.

Ах, наверно, моя враждебность проистекает из зависти. Я им завидую не из-за их молодости, а из-за этой удивительной раскованности. До чего же мы были зашнурованными и церемонными, как трудно мне было привыкать к новой среде, даже заказать себе чашку кофе в кафе, а моей маме так стало дурно, бедняжке, когда надо было идти к фотографу. А эта явилась к нам впервые, распустила свои кудри, всюду лезет и все берет без спроса, даже теперь я не смогу вести себя в новой обстановке так уверенно и бесцеремонно. Вечером я колебалась, куда ее уложить, а она мне с улыбкой заявила: «Не беспокойтесь, я лягу с Иваном». Ее естественность меня шокировала, не то чтобы в ее годы за мной совсем не водились грешки, но даже сегодня я бы не призналась так откровенно, что иду спать со своим собственным мужем.

Они даже не сознают, насколько они внутренне свободны, их независимость кажется им само собой разумеющейся, слово свобода они понимают узко и несерьезно — как возможность, например, публично ругать тех или иных политиков. А все-таки им бы следовало быть более терпеливыми, ведь они молоды, перед ними море времени.

— Ты не сваришь мне кофе?

— Сейчас.

Теперь он минутку покурит, подумает и забудет про кофе. Все они, мужчины, такие, боятся уронить свое достоинство.

Я бы охотно послала его за грибом, меня раздражает неиспользованное добро, но ведь он не пойдет, а я уже научилась экономить свои приказы, чтобы не попадать впросак.

Я очень люблю дым, он струйкой вьется от сигареты Ивана, вечерний ветерок подхватывает его и уносит. Из леса подкрадывается пронизывающий холодок.

— Тебе нехорошо? Или ты чем-нибудь недовольна?

— Нет, просто у меня болит нога.

Это не вся правда, нога-то болит на самом деле, но меня охватывает чувство, что внутри, совсем глубоко внутри, что-то во мне порвалось, распалось, остановилось. Часы перестали тикать, и время умерло. Это чувство я испытываю не впервые, оно овладело мной,

когда опустела звеневшая плачем улица в сентябре тридцать восьмого, когда закрыли крышку гроба над почерневшим лицом моего отца, когда во время похорон моей матери на меня повеяло запахом конца, когда автомобиль увозил моего мужа, и, наверно, много раз еще, но никогда я при этом не ощущала такой усталости.

Толпы детей, девчонки и мальчишки, маршируют с плакатами, орут и малюют надписи на стенах. Они заполонили всю улицу, вот они выбегают из школ, которые мы для них построили, сытые, хорошо одетые, и бросаются на улицы, им не надо требовать ни хлеба, ни работы, ни равноправия, им дела нет до войны во Вьетнаме, они вышли, чтобы выкрикивать оскорбления по адресу президента.

Вот тогда это и началось, я как будто вдохнула отраву.

Что мы прозевали, воспитывая наших детей, в чем причина того, что они способны броситься, как бессмысленное стадо, за давно уже разоблаченными лозунгами? Что за дефект был в их воспитании, если они позволили так легко злоупотребить своей доверчивостью?

Я всегда полагалась на то, что мой народ — народ трезвый, разумный, сдержанный в своих эмоциях, пусть иногда задиристый и чересчур дотошный, но никогда не теряющий здравого смысла и деревенской рассудительности, и вдруг столько людей поддается удивительному психозу, он пристает к ним, как грипп, и они, даже не вытерев масляные губы после сытного обеда, сидят в мягких креслах перед телевизорами и с удовлетворением слушают, в какую беду они якобы попали, не могут дождаться собственного краха, высмеивают все, чем жили долгие годы, и ищут спасения у политика, который, заикаясь, размусоливает истерически (отнюдь не исторически) звучащим голосом давно опровергнутые псевдоистины.

Мне пришлось осознать со всей очевидностью, что мой народ, как всякий другой, не имеет иммунитета против любой инфекции, и когда я поняла, чего можно дождаться от моих соотечественников, все во мне умерло.

— Смотри-ка, вон притопал наш папа.

Он медленно поднимается по ступенькам, я замечаю, что и его не пощадило время, с первого взгляда видно, что ему не легко, но он не станет об этом говорить сейчас, может быть, попозже, когда мысли придут в порядок.

— Ну как прошел пассив, папа?

— На этот раз актив, такой актив, что только подивишься,— те, кто просидел целые годы в своей норе, как мыши, теперь ревут, словно тигры. Наиболее точное определение: взбесившийся мещанин.

— А мы с тобой кто такие? — вопрошает наш мальчик, болтая ногами.

— Говори о себе, миленький.

Иван не обижается, а только ухмыляется. Его транзистор тихонько наигрывает, он, наверно, даже не обращает внимания на его звуки, закутываясь в них, как в покрывало.

— Допрыгаешься до инфаркта, папа, ну где это видано ради какого-то собрания прерывать отпуск.

Куда делся весь энтузиазм, ведь он же был, ведь мы его не выдумали. Я вспоминаю, как во время первомайской демонстрации в сорок восьмом хлынул ливень, люди вымокли до нитки, с волос струями стекала вода, но все шли, кричали, смеялись, не надо сердиться на дождь, он хорош для урожая, лозунги рождались прямо в толпе, и все казалось так легко и просто.

Молодой инженер из нашей организации нес красное знамя (как он добивался, чтобы ему это знамя доверили), ткань полиняла под

дождем, и красная краска начала стекать ему на рукав плаща, но он не обращал на это внимания и выкрикивал вместе со всеми лозунги, промокший, как водяной, вспотевший от усилий, да еще в ожидании выговора от жены. Может быть, он нас теперь ненавидит за свой тогдашний энтузиазм или за притворство, к которому его никто не принуждал, а может, он тогда испытал подлинное счастье.

— Что-то мы упустили, не знаю что, может быть, в самом начале,— тяжело вздыхает мой муж.

Взгляд Ивана становится неприятным, я терпеть не могу эту его намеренную, подчеркнутую небрежность.

— У вас нет внутренней убежденности.— Он перестал болтать ногами, обхватил руками колени, уткнулся в них подбородком, и, подняв к нам свое загорелое небритое лицо, устремил на нас снисходительный взгляд.— Нет у вас внутренней убежденности,— повторяет он и ищет слова для выражения своей мысли,— в том, что все, вами сделанное, буквально все, хорошо. Король, скажем, был уверен, что призван властвовать, его несправедливость была законом, он и мысли не допускал, что может ошибиться, в этом была его сила, понимаете? Или капиталист убежден, что он имеет право наживаться на войне, он подчиняет все свое поведение святой прибыли, поэтому для него все просто. А вы знаете, что надо предпринять то или это, одобряете это разумом, потому что другого выхода нет, но сердце вам говорит другое, и это вас ослабляет, вы хотите властвовать и вести, а внутренняя убежденность...

Мне ясно, что сейчас они схватятся, это висит в воздухе.

— У меня есть только одна внутренняя убежденность, Иван,— прерываю я его как можно веселее,— я совершенно убеждена, что кофе ты мне все-таки не сваришь.

Он засмеялся и ушел в дом.

— Что имел в виду этот эмбрион историка,— взорвался тут мой муж,— еще не доучился, а уже хочет читать лекции.

— Ну, тебе остается только изречь: все, чему ты теперь учишься, я давно забыл.

Мы оба смеемся: эту сентенцию любил повторять один наш не очень умный дядюшка.

— Ты только послушай его — кто тут хочет властвовать, ты хочешь («Ну нет, только не я, ради бога») или я, может быть? Я радуюсь, когда имею время присесть. Ведь речь идет совсем о другом: дать людям хотя бы самые необходимые средства существования, уверенность в завтрашнем дне и какие-то перспективы, но только всем людям, всем без исключения.

Он тоже устал, как и я, и в нем накопилось много горечи.

— Я встретил Гонзу, он сделал вид, что не заметил меня.

— Ну и что? Подумаешь, сколько людей с нами здоровалось, потом не здоровалось, потом снова здоровалось и опять — нет, и здоровалось особенно учтиво, а теперь не здоровается, и еще будет здороваться и не здороваться, это уж как пить дать — такое беспокойное время.

Между камнями показалась мышка, это моя знакомая, я всегда оставляю для нее возле щели между камнями кусочек вафли для детей, для маленьких мышат с розовыми бисеринками вместо глазок.

— Черный кофе с сахаром для дамы,— паясничает наш мальчик,— и кофе с печеньем для пана, не хотите ли чего-нибудь укусить?

— Только тебя.

Мы все смеемся, нам вовсе не легко, но ведь мы все вместе и еще не разучились смеяться.

— Твоя Лоллобриджида уже уехала?

— Откуда ты знаешь, что ее так называют?

— Лопнешь, а не догадаешься, сыночек.

Взрыв смеха затухает среди каменных развалин. Я ступила на снег, нога зябнет, а мне еще надо взобраться на большую ледяную гору, вот она передо мною, колет своей отчаянной белизной, от нее исходит холод, я ищу опору, хватаюсь за какую-то скобу, она отрывается, летит вниз и тихо звякает где-то далеко внизу.

— Помыть тебе? — спрашивает мой мальчик и подает ложечку, ведь это только ложечка звякнула, падая на плоский камень, ледник распался на отдельные цветы, которые светятся белым пламенем на фоне темного леса. Я вовсе не одна в пустынной местности, мы сидим все вместе, в руках снова начинает струиться тепло, я пью кофе, он горячий и просто сказочный.

Однажды я прочитала в журнале такой анекдот: два туриста, муж и жена, подходят к Эвересту, и один из них говорит: «Тут меньше девяти километров, через пару часиков мы наверху». Мы все смеемся, но ведь это не шутка, мы ведь действительно отправились в такие места, где до нас никто не был, и шли без снаряжения, без специальной подготовки, только с чистым сердцем и с наивной верой, что наши добрые умыслы охранят нас от гадов и хищных зверей, от микробов и отвесных склонов, от обвалов и ледников, вот и я иду на морозном ветру, мне не хватает воздуха, я задыхаюсь, а лед под ногами гладкий, как стекло, и мне не за что ухватиться, я падаю во тьму и слышу только свой собственный крик.

Глупости, я никуда не провалилась, меня заботливо поддерживают оба, и мой муж и мой мальчик, только на земле осколки моей любимой чашки, где мне теперь взять другую, такую же удобную, и кофе жалко, в щелях между камнями цветут большие маргаритки.

— Уж мы-то не замерзнем безропотно,— говорю я,— уж мы-то нет.— А из бесконечной дали до меня доносится вопрос: «Тебе нехорошо?» Я знаю, что мне нужно собрать все свои силы, выдавить на лице улыбку, с чего это вы взяли, со мной все в порядке.

И опять, как всегда, ты меня перехитрила, сказала: «Ну, пока» своим обычным, чуть более веселым голосом, ничего особенного, только «Ну, пока». Мы с папой ушли и уж больше никогда тебя не увидим.

Мы стояли у твоей постели, держали тебя за руки, ты говорила: «Ну и вид у меня, должно быть, с этими трубками в носу», а папа сказал, что ничего подобного и что ты выглядишь нормально, но кислородный аппарат приводил нас в ужас.

И еще ты сказала: «Как бы это не оказалось бомбой замедленного действия», и твой взгляд помутнел. Мы подумали, что тебе хочется спать, а когда ты сказала «Ну, пока», мы собрались и ушли.

А теперь мы тут сидим на лавочке,— шиповник по-прежнему цветет, гриб еще немного шире раскинул свой зонтик, и твой шмель прилетел, опять слышно, как он забирается в трубочку соцветия, но ты уже никогда это не услышишь.

Мы приехали за вещами, тебя отвезли в такой спешке, что тут еще лежат осколки твоей чашки, ты держала ее в обеих руках, я думал, что на каком-нибудь из осколков сохранилось тепло твоих рук, но все было холодным и мертвым.

Мне очень хочется, чтобы время перепуталось и ушло далеко вперед, чтобы у меня уже были дети и я мог бы им о тебе рассказывать всякие веселые истории, например, как мы купили новую шикарную мебель, на складе был как раз только полированный орех, а ты посмотрела вокруг и сказала: «К черту, мы

тут сидим, как на витрине». А потом ты где-то стащила огромный плакат с изображенными на нем клопами и тараканами (это была реклама дезинсекции), повесила этот плакат вместо картины, и каждый, кто приходил, прежде всего смотрел на него.

Или еще, однажды ты читала какой-то журнал и вдруг пришла в ужас: «Представь себе, Иван, только десятая часть населения земного шара имеет водопровод в квартирах, а у нас тут и горячая и холодная вода. Это ужасно». Я сказал: «Ну что тут ужасного, это ведь здорово, когда у тебя всегда есть горячая вода», тут ты посмотрела на меня с отвращением, как на волосатую гусеницу, и только махнула рукой. Сейчас мы с папой стараемся о тебе не думать, даже не говорим о тебе, так больно от каждого упоминания и от вида всех твоих вещей, вызывают боль и цветы, на которые ты смотрела, и эта тишина, в которую ты тут напоследок вслушивалась, и твое последнее «Ну, пока».

Но я уверен, что эта боль пройдет, и тогда ты к нам вернешься и будешь с нами. Помнишь, ты говорила, что за год до конца тысячелетия будет затмение солнца, мы поедем смотреть на него в Будейовицы. «Мы с папой будем уже ветхими старичками, от тебя, лентяй, конечно, ничего не дождешься, но наш внук повезет нас туда на геликоптере».

Ты загадала правильно, мама, конечно, мы возьмем тебя с собой, ты поедешь с моими мальчишками и девчонками, потому что у меня их будет много, чтобы они не были такими одинокими, как я, когда был маленький.

Отец встает с трудом.

— Ну что ж, поедем, Иван, тут что-то холодно.

Действительно, нас замораживают эти белые цветы, холодные как лед. Над головой у нас плывут ледяные кубики, и от них струится мороз. Мы все время ищем тебя, и избегаем тебя, и ждем, когда ты вернешься.

Ты вернешься и снова будешь с нами, я знаю.

Ну пока, мамочка, пока.

■

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

Горы и оружие

РОМАН

■

Перевод с английского О. СОРОКИ

Несколько слов о Джеймсе Олдридже и его новом романе

Хорошие книги известных авторов не нуждаются ни в рекомендациях, ни в истолкователях. К таким книгам, несомненно, относится и новый роман «Горы и оружие», который вы сейчас раскрыли.

Это во многих отношениях интересная и даже необыкновенная книга. Вы убедитесь в этом, читая первые же страницы. Ее автор Джеймс Олдридж давно известен советским читателям, любим ими. Мне же, предваряя эту книгу, хочется сказать лишь несколько слов о самом Олдридже, занимающем свое особое и немалое место в современной мировой литературе.

В течение многих столетий Великобритания была величайшей колониальной империей, и героями ее были люди, как бы находящиеся на двух разных полюсах.

На одном полюсе были герои типа Лоуренса Аравийского, империалисты до мозга костей, для которых судьбы малых народов были лишь картами в большой захватнической игре. На другом, противоположном полюсе стоит великий поэт Джордж Гордон Байрон — гордый певец свободы, человек высокой чести, отдавший свою жизнь за освобождение греческого народа.

Имя Лоуренса теперь сохраняется разве что в старых документах секретных служб да в детективных книжках, имя Байрона живет не только в его гордых, свободолюбивых стихах, но и в сердцах потомков.

В Греции на берегу моря есть развалины исторического храма, гордо вознесенного на вершину утеса. Храм этот есть во всех туристских проспектах. Но вот простой грек, рыбак или виноградарь, если ему случится быть рядом во время какой-нибудь экскурсии иностранцев, обязательно почтительнейше укажет на обломок мраморной колонны, на котором выцарапано «Дж. Г. Байрон». В путеводителях этой надписи, разумеется, нет. Да и вряд ли великий поэт стал бы увековечивать свое пребывание в здешних местах таким способом. Но вот в народе живет и передается из поколения в поколение легенда о храбром англичанине, будто бы любовавшемся отсюда просторами лазурного моря, о человеке, погибшем в борьбе за свободу малого угнетенного народа.

Вот такие борцы за свободу, люди с чистой совестью, люди высокой чести являются главными и любимыми героями рассказов, повестей и романов Джеймса Олдриджа. Таких, например, повестей, как «Дело чести», «Морской орел», с которыми мы в русском переводе познакомились сразу же после войны, такого романа, как «Дипломат», приобретшего в нашей стране широкую известность в пятидесятых годах, и, наконец, его нового романа «Горы и оружие», лежащего сейчас перед вами. Эта книга является как бы логическим продолжением «Дипломата». В ней к советскому читателю вновь возвращается давно полюбившийся ему герой Айвор Мак-Грегор, живущий двадцать с лишним лет спустя уже в другой стране и при других обстоятельствах.

Я познакомился с Олдриджем в финале войны, в дни боев на подступах к Берлину. Он прибыл на фронт с группой иностранных корреспондентов. В группе этой были разные люди, но всем нам как-то сразу понравился этот красивый рыжеватый

© James Aldridge, 1974.

молодой англичанин, наблюдательный, дотошный, желавший не только знать эффектные стороны военного наступления, но проникнуть в суть тогдашних грандиозных боевых дел.

В отличие от его коллег, мечтавших о получении интервью у известнейших наших полководцев, молодой англичанин стремился как бы высмотреть корни беспримерного героизма солдат, понять суть наших тогдашних побед. Впрочем, все западные коллеги отдавали должное героизму советских воинов. Лишь потом, годы спустя, читая русские переводы книг, написанных этим молодым англичанином, я понял, что для Олдриджа этот интерес к героическому был не данью моде, а органическим интересом к сильным характерам, к людям, умеющим грести против течения, к благородной и бескорыстной самоотверженности.

Особенно раскрылась эта необыкновенно привлекательная черта творчества Олдриджа в большом романе «Дипломат». Там, в этом романе, действие которого завязывается на советской земле в самую тяжелую пору войны, читатель знакомится с двумя английскими антиподами: молодым ученым Айвором Мак-Грегором, лишь в годы войны начавшим свой дипломатический путь, и видным дипломатом лордом Эссексом. Они представляют в романе как бы две противоположные и противоборствующие тенденции британского характера.

Это был боевой, антифашистский, антиимпериалистический роман. Он был тепло встречен и по достоинству оценен миролюбивой общественностью, и в 1953 году Всемирный Совет Мира наградил автора Золотой медалью.

Действие нового романа «Горы и оружие», как я уже сказал, как бы логически продолжает «Дипломата». Оно протекает четверть века спустя и развертывается на этот раз на фоне тяжелой освободительной борьбы курдов в горах северо-западного Ирана. Теперь, после войны, Айвор Мак-Грегор работает по специальности, занимая немалый пост главного ученого специалиста в Иранской национальной нефтяной компании. Он женат на красавице Кэтрин, любовь с которой у него завязалась еще в Москве, в дни, описанные на страницах «Дипломата». Он благополучный человек. У него двое взрослых детей, получающих образование в Европе. По всем данным, это буржуазная семья, имеющая все возможности к спокойному, безбедному существованию.

Но характер Мак-Грегора, который еще в «Дипломате» привел его к острому конфликту с официальной империалистической британской политикой и ее представителем лордом Эссексом, снова вырывает его из этого благополучного, обеспеченного существования. То же сознание высокой чести, та же совестливость, что бросила когда-то знаменитого поэта-аристократа лорда Байрона в ряды греческих крестьян, боровшихся за свою свободу, бросает геолога Мак-Грегора в горы Курдистана, где нищий и гордый народ, живущий на богатой нефтью и природным газом земле, борется за свою свободу. И он втягивается в эту борьбу, жертвуя покоем, достатком и, наконец, семейным благополучием.

Нет более бесполезного занятия, чем, предваряя книгу, пересказывать ее содержание или навязывать читателю свое понимание характеров ее героев. Сам Олдридж великолепно и убедительно описывает и раскрывает их. Хочется только сказать, что автор, как и его герой, за четверть века мало изменился. Могу засвидетельствовать это, ибо не так давно мы встречались с Олдриджем в Словакии на международном симпозиуме, посвященном борьбе литературы с фашизмом. И он со свойственным ему знанием дела и страстностью в своем блистательном выступлении разоблачал фашизм на современном этапе, срывал маски благопристойности с фашистских главарей наших дней, действующих сегодня под личиной защитников демократии и свободы. Он был тем же Олдриджем, каким я видел его когда-то в дни боев под Берлином. И хотя время прочертило на лбу его глубокие морщины, светлые глаза глядели молодо, и он, разговаривая с делегатами из разных стран, и в особенности из латиноамериканских, так же жадно расспрашивал их об их проблемах, об их борьбе, о кознях ЦРУ и его агентов.

Новая книга Олдриджа является, на мой взгляд, новой и несомненной удачей автора. Она читается с неослабевающим интересом. Она остра и злободневна. Она показывает, что в условиях капиталистического Запада конфликты между Мак-Грегорами и Эссексами перманентны, что споры и борьба между передовыми представителями британской интеллигенции и проводниками официальной империалистической британской политики остались столь же непримиримыми и лишь приобрели новую форму в новых условиях.

Как и во всех уже известных советским читателям книгах, Джеймс Олдридж зорок и чуток. Как всегда, он отлично знает то, о чем пишет. Он не только знаток политики, но и большой художник. Его роман богат красочными описаниями необыкновенных горных пейзажей, оригинальными картинами народного быта. Он отлично знает и зло описывает среду современной империалистической дипломатии, плетущей на Востоке интриги и козни с не меньшей беспринципностью и цинизмом, чем во времена, так сказать, «классических» похождений Лоуренса в Аравии. Нефть, природный газ, разведанные и еще скрытые богатства горного края — главный предмет дипломатической грызни и интриг. Судьба несчастного нищего народа — лишь ставка в этой бессовестной игре, в которой участвуют империалисты и феодалы.

Книга Олдриджа особенно актуальна сейчас, когда, как и во всех развивающихся странах, курдский народ начинает активную борьбу за свое место в жизни, отстаивая свою самобытность и национальную культуру.

Несмотря на отнюдь не веселый конец, в романе, который вы сейчас начнете читать, нет чувства обреченности: хотя Мак-Грегор тяжело ранен, он знает, что он не один, и верит, что друзья придут к нему на помощь. Дочитав последние страницы романа, читатель разделяет с автором эту веру. Веру в победу всего лучшего на земле, в победу несмотря ни на какие препятствия.

В этом — сила сурового и мужественного таланта Джеймса Олдриджа, певца людей с чистой совестью, с сильной волей, людей долга и чести, ибо сам Джеймс Олдридж в жизни и работе своей тоже немножко Айвор Мак-Грегор.

БОРИС ПОЛЕВОЙ

Часть I

Глава первая

Сидя в старом вертолете «уэстленд», Кэти глядела, как Мак-Грегор влезает в замасленный стеганый летный комбинезон. Он приступил к делу весьма методически, но было в ученом и упорядоченном Мак-Грегоре нечто слишком уж углубленно-сосредоточенное, и никакой методе не поддавались до конца его локти и колени. Как всегда, они не умещались в назначенные им пределы. И когда вибрирующая металлическая коробка вертолета накренилась, заходила шумной дрожью взлета, Кэти шагнула к Мак-Грегору по алюминиевому полу и — тут рукав одернула, там локоть на место втолкнула, завершая борьбу мужа с комбинезоном.

— Застегну сам,— сказал он, когда она взялась за язычок «молнии».

— Рубашку свою смотри не зацепи.

Он нетерпеливо кивнул, возясь с застежкой. Вертолет мотало из стороны в сторону.

— Меня определенно укачает,— тяжело вздохнула Кэти.

Был желтый, бледный рассвет, расхлябанная старая машина трясла и качала их, унося вверх над глубокими расселинами нагой долины, и Кэти знала, что пахнущий металлом воздух станет сейчас морозным. Ей доводилось уже подыматься в Курдские горы — в этот на миллион акров простершийся край безлесных нагорий, спящих альпийских цветов и мосластых, высоченных, крутых вершин.

— Что, курды еще и сейчас сбивают вертолеты? — крикнула она мужу сквозь шум вертящихся лопастей.

— Так близко к Резайе не трогают,— ответил Мак-Грегор.

Десять месяцев тому назад вертолет, тоже принадлежащий Иранской национальной нефтяной компании, был подбит 80-миллиметровой ракетой, которую запустил подросток-курд с одного из этих пустынных пиков. Метким попаданием вышибло днище фюзеляжа, и сейсморазведочная аппаратура стоимостью в десять тысяч фунтов вместе с сидевшим на ней персом-техником попросту вывалилась в пустоту. У пилота достало злости и умения, чтобы, повернув назад, дотянуть машину до Резайе, возвратиться на другом вертолете со взводом иранских солдат и разыскать злоумышленника. Они расстреляли единственного обнаруженного на горном скате курда — шестнадцатилетнего бегзадийского пастуха. Расстреляли из пулемета и его отару, однако ракетомета так и не нашли.

— Не по той стороне хребта летим,— крикнул Мак-Грегор, поднялся по алюминиевой лесенке, просунул голову в кабину и начал громко пререкаться с пилотом сквозь рокот моторов. Кэти слышно было, как тот отвечал, что на склонах замечены курды и что экипаж не имеет желания получить ракету в зад.

— Ох, будь оно проклятс,— проговорила Кэти. Усталая, она боролась с приступом воздушной болезни, которой неожиданно сделалась подвержена в зрелом возрасте.

Но минут через сорок все кончилось, они опустились в высокогорную безлесную котловину. Как только приземлились, тут же авиамеханики открыли люк, поспешно, точно под обстрелом, стянули с них комбинезоны, заторопили, тревожно покрикивая, помогли сойти, захлопнули дверцу и помахали им с вертолета, взлетевшего с шумом, как вспугнутый пеликан. Они смотрели, как он скользил над вершинами гор и как исчез. Теперь они были одни в этом холодном голубом и беззвучном поднебесье.

— Если Затко не дожидается нас там, у старого несторианского алтаря,— сказал Мак-Грегор, указывая на гребень, замыкающий на той стороне котловину,— то нам предстоит двухдневный пеший переход в Синджан.

— Я не жалуюсь, милый,— сказала Кэти.— Я прямо рада снова ступать по твердой земле.

— Так-то так,— сказал он, вскидывая с помощью Кэти рюкзак на спину.— Но тут непременно курды где-нибудь или даже жандармы, которые, возможно, предпочтут, чтобы мы не добрались до Синджана. Тебе следовало остаться ждать меня в Резайе.

— А я вот не осталась. И прими это к сведению.

Он не стал вступать в спор. Молча зашагал, ведя Кэти вниз в скалистую ложбину, а затем вверх на ту сторону и лишь изредка роняя слово указания. Так дошли они до цели — до небольшого каменного столпа с вырубленным в камне позеленевшим алтарем. Но никто их там не встретил.

— Я сварю кофе,— сказал он, доставая из рюкзака примус,— и если Затко и через полчаса не будет, то двинемся в путь.

Дети Мак-Грегоров уехали в Европу получать высшее образование, и Кэти ездила с ними, полгода провела в отъезде и теперь глядела на мужа с обновленным любопытством. Двадцать три года замужества не угасили в ней этого любопытства. Но при виде озабоченной возни Мак-Грегора ей подумалось, что примус грозит ему сейчас, пожалуй, большей опасностью, чем курды.

— И когда же вся эта курдская сумятица началась снова? — спросила она.

— В сущности, она и не кончалась.

— Я знаю,— сказала Кэти.— Но открытой войны и пальбы между иранцами и курдами не было вот уже сколько лет. Отчего же она вспыхнула снова?

Мак-Грегор пожал плечами:

— Трудно сказать. Думаю, курды опять замышляют создать независимую республику.

— На территории Ирана?

— Это мне пока не известно.

Он всыпал кофе в закипевшую воду, живо снял котелок с огня.

— Предвижу, что дальше,— сказала Кэти.— Курды-горцы, курды-горожане и курды-политиканы режутся друг с другом во имя курдского освобождения, а иранцы истребляют их тем временем.

— Ты слишком строга к курдам. В сорок шестом они боролись молодцами.

— И до чего же доборолись? Иранцы повесили кази Мохамеда со всеми его министрами в старом Карском округе. Ну есть ли смысл им опять браться за прежнее? И еще тебя вовлекать — я ведь знаю Затко.

Мак-Грегор словно не слышал. Он привстал, внимание его сосредоточилось на птице, описывавшей четкий круг над мерзлым участком земли в полумиле от них.

Кэти молча глядела на мужа.

— Мне с тобой трудно становится,— проговорила она, рассерженная наконец его сосредоточенным видом.— Вот ты уже и не слушаешь.

— Прости,— поспешно отозвался он.— Я наблюдал, как степной сарыч мышкует.

Кэти упорно смотрела на мужа, как бы запрещая ему снова отвести взгляд.

— Ты принимаешь даже окраску этой местности,— сказала она.— Твои волосы, и глупые глаза, и ботинки, и одежда, и даже это твое упорное скрытничанье вчера и сегодня. Возвращение в родную стихию, не так ли? — И она сердито указала рукой на горы.

— Ну полно, Кэти,— сказал он мягко.— Я скучал по тебе и не шутя рад твоему приезду.

Желая уйти от ее испытующих глаз, он вынул карту, надел очки в стальной оправе и углубился в изучение карты и гор. И снова его фарфорово-чистое, со светлым загаром лицо, костистый, тонкий нос и строгий светлый лоб приняли сосредоточенное выражение.

— Ах, ради бога,— вырвалось у Кэти.— Не надо этого.

— Чего не надо?

— Очков не надо и не уходи в себя, побудь со мной.

Он спрятал очки и сложил карту. Кэти знала, что он до сих пор очень застенчив, так и не научился обороняться от неловкости таких моментов и эту незащищенность нетрудно использовать против него. Но каким же иным и лучшим способом встряхнуть его?

— Как бы то ни было,— сказала она,— но ясно, что Затко не явится, и давай-ка трогаться отсюда, пока я не стала еще кровожадней настроена.

— Подождем его еще несколько минут.

— Но он хоть сообщил тебе, что ему от тебя надо?

Мак-Грегор покачал головой:

— Он только слал мне настоятельные призывы, прося меня прибыть в Синджан до пятнадцатого сего месяца, если я ему друг и мне дороги интересы всех курдов и так далее.

— Типично курдский способ добиться от тебя чего-то.

— Пожалуй.

— И ты понятия не имеешь, что им от тебя нужно?

— Не имею. Но, судя по всему, нужно это им отчаянно.

— И ты бросил все дела в Тегеране только ради свидания с курдами?

— Нет. Мне так или иначе нужно было сюда по делам ИННК.

Мак-Грегор работал в Иранской национальной нефтяной компании главным ученым специалистом отдела изысканий и залежей.

Застегнув свою дубленку, Кэти пошла вниз по склону за Мак-Грегором.

— Иранцы выгонят тебя вон, если ты вздумаешь сейчас стать на сторону курдов.

Он развел руками, не возражая и не соглашаясь.

— И ты знаешь, что я не огорчусь, если выгонят,— продолжала она.— Нисколько не огорчусь.

— Ну, ну, Кэти... Не будь такой.

— Ты знаешь, что я хочу сказать.

— Я знаю, ты хочешь, чтобы я распростился с Ираном. Но Европа может и еще немного подождать,— сказал он не оборачиваясь.

— Нет, не может.— Кэти сделала глубокий вдох, чтобы отдышаться.— Тебе уже пятьдесят, и мне тоже. И былую нашу молодую увлеченность этой страной поглотил без следа и остатка вечный восточный кавардак. Все миновало, Айвор,— продолжала она, видя, что его спина упрямо напряглась.— Позади двадцать три года неудач, домашних арестов, тюрем, бог знает чего, и все ты отдавал, и ничего не получал взамен, и только зарывал здесь свои таланты — и настала пора уходить.

— Это тебе просто после Европы так кажется,— сказал он шутливым тоном.

Первоначально Кэти поехала в Европу лишь присмотреть за тем, как сын Эндрью устроится в Оксфорде, в колледже Бейлиол, а дочь Сеси в Париже, в Высшей школе изящных искусств, но потом осталась еще на пять месяцев, ибо двадцать три года в Иране, отданные борьбе за одно правое дело безнадежней другого, исчерпали наконец ее силы.

— Я не допущу, чтобы ты канул в эти горы, пропал без следа,— проговорила она.— Существует ведь другой мир вдали от всего этого, процветающий, ничуть не эфемерный.

— Разумеется.

— И значит, нечего тебе впутываться в курдские дела.

Он промолчал. Затем впервые обратил внимание на то, что она по-модному подстригла свои длинные волосы.

— Зачем ты это?

— Что — зачем?

— Остриглась зачем?

— Затем, что мне осточертела прежняя прическа. Притом вчера, когда я приехала, ты даже и не заметил.

Он сердито покраснел, повернулся и зашагал дальше, ведя Кэти по тусклым каменным скатам, скользким от покрывающей их тонкой корки черного льда. «Осторожней ставь ногу»,— предостерегал он в опасных местах. Двигались без разговоров. Мак-Грегор шел не торопясь, но все равно знал, что в этом горном разреженном воздухе жену медленно и верно одолевает усталость. Сделали привал, долго и молча подкреплялись, а с полудня снова шли, и он все так же молчаливо и сосредоточенно выбирал маршрут полегче по чересполосице склонов. Но временами он забывал, что за спиной идет Кэти.

На ночлег пришли к заброшенному иранскому полицейскому посту, наполовину разрушенному курдами во время тех двух открытых сражений, что они дали, защищая свою республику 1946 года. Начиная уже зябнуть, поужинали у примуса лепешками и тухловатой разбаренной курицей, которую Мак-Грегор купил на базаре в Резайе.

— Противно в рот взять,— сказала Кэти.— Мне уже окончательно разонравились яства восточных базаров.

— А тем не менее есть надо,— сказал он.— Ты глотай, отвлекаясь от вкуса.

Кэти поежилась, горбясь над жалким побитым примусом, а Мак-Грегор развернул два нейлоновых спальных мешка и состегнул их «молниями» вместе — для теплоты. И сразу же велел ей туда влезть, пока в теле осталась горсть тепла.

Молча, не разжимая зубов, она кивнула, вышла наружу и с минуту постояла в темноте на старой дороге, чувствуя, как черное безоблачное небо нагорья леденит ей голые лодыжки, голые руки, голые

ноздри и легкие. Даже в слабом звездном свете панорама была так огромна, тиха, вогнута, высока и чиста, что животно-грубым казалось обращать хоть малую ее частицу в отхожее место.

— Старой становлюсь,— горестно вздохнула Кэти.

Когда она вернулась в темное помещение поста, ей было по-прежнему зябко, и она спросила у Мак-Грегора, в самом ли деле требуется раздеваться.

— А иначе замерзнешь в мешке, и я замерзну.

Забравшись в двуспальный мешок, она разделась догола и очутилась в холодной нейлоновой оболочке, а затем и Мак-Грегор быстро влез туда, и она прижалась к мужу.

— Я вовеки не согреюсь,— сказала она жалобно.

— А вот погоди немного.

Лежа в коконе мешка, в переплетении ее рук и его локтей, они ждали, чтобы холод сменился теплом, и Мак-Грегор спросил Кэти, не подстриглась ли и дочь их Сеси.

— Нет,— ответила Кэти.— Она все еще папина дочка. Без твоего одобрения не станет подстригаться. А одобришь — так и наголо обреется.

— Ну как, оправдала Школа изящных искусств ее ожидания?

— Сначала ей надо прибыкнуть.

— А усидит она?

— Если только не сбежит замуж за какого-нибудь голенастого мальчика-француза.

— Неужели новая напасть?

— Успокойся,— сказала Кэти, высвобождая одну свою руку.— Ничего с ней не случится. Ей куда безопаснее в Париже у тети Джосс, чем в Тегеране, под огнем страстей этого курдского фантазера Тахи. Я велела ей ежемесячно наведываться к Эндрью в Лондон или Оксфорд, а с Эндрью взяла слово, что он, что бы ни случилось, не забудет о сестре по широте своей братской души.

— Будь спокойна. Он сдержит слово.

— Не сомневаюсь. Но он так самоуверен, что это меня даже тревожит. В наши фамильные гостиные он заглядывает мимоходом, как на гостеприимные вокзалы, а дружит со всяким сбродом и шествует этаким транзитным пассажиром во всегдашнем потоке добрых друзей и братьев.

— Он мальчик организованный,— заступился за сына Мак-Грегор.

Кэти лежала, тесно прижавшись, водя ладонью вдоль спины его, по теплым позвонкам. Она уже согрелась, и от сердца у нее стало отлегать.

— Как будет «шорох» по-курдски? — спросила она тихо, словно кто-то мог подслушать.

— Какой шорох?

— А ты прислушайся.

На плоской земляной крыше что-то шуршало, легкий горный ветер шелестел там сухими былинками и палым листом.

— Гуш-а-гуш,— сказал Мак-Грегор.

— А как «бульканье»?

— Билк-а-билк.

— Шепот?

— Куш-а-куш.

— А храп?

— Кер-а-кер.

Кэти засмеялась.

— Помню, помню,— сказала она, уже полностью размягченная, приникшая к мужу.— Эти звукоподражательные удвоенья — вот и

все, что мне нравилось в курдском, да еще его чудесная образность: скажем, жених будет «за руку взявший», транжир — «раскрытоукий», а отчим — «черствый отец». А как у них «красивый»?

— Сладкокровный.

— Я часто вспоминаю тот день в саду над озером Урмия. Как тогда ответила горянка мужу, прикрикнувшему на нее?

Сжимая в пальцах ее волосы, точно мягкую упругую траву, Мак-Грегор напомнил ей, что курд спросил жену разгневанно: «Ты кто — дьявол или джинния?» — и та ответила: «Я не дьявол и не джинния, я плачущая женщина».

Он ощутил, как на висок ему закапали теплые и непонятные слезы Кэти, и, прокляв мытарства, закрыв глаза, он попытался супружеским любовным способом отрешить мысль и тело от безнадежной неразберихи проблем, а потом Кэти вытерла слезы и сказала успокоенно:

— Я ехала назад, твердо решив не ссориться с тобой. Но как же не ссориться, если мы так по-разному смотрим теперь на самое насущное?

Он услышал очень отдаленный собачий лай — первый звук, признак жизни, донесшийся до них за эти двенадцать нагорных часов.

— Скорее явится шиите его несбыточный мессия, чем перестанут муж с женой ссориться,— отшутился он персидской пословицей.

— Ах, эти несносные персидские присловья,— проговорила она сонно.— А знаешь хоть и вялость дурацкая после истерэктомии, но хорошо, что не надо беспокоиться, вставать и вообще можно не думать и чихать на все.— Но прежде чем уснуть, она прибавила: — Так или иначе, а я найду способ вырвать тебя из всего этого.

Глава вторая

Утром они двинулись дальше по грунтовой дороге вдоль гряды. С откосов начали уже постреливать. Порой винтовочная пуля звучно ударялась в скалы над головой. Дойдя до замерзшего горного озерца, они увидели, что издалека снизу, из глубокой долины, к ним поднимается всадник.

— У бегзадийцев до сих пор основной транспорт — лошади,— заметил Мак-Грегор.— Впрочем, возможно, это мул.

— О господи,— сказала Кэти.— Неужели нападет...

— Во всяком случае, это не Таха. Тот не унизится до чего-либо менее современного, чем джип.

— Нам бы укрыться куда-нибудь,— сказала Кэти.

— От курда в его родных горах не спрячешься,— сказал Мак-Грегор.— Лучше идти, как шли, и не спускать с него глаз.

Курд снял с плеча винтовку, опер ее прикладом на седло. Кэти понимала, какая нависла опасность; она боялась не за себя — за Мак-Грегора. Курды не более других склонны к убийству, но слишком много старых счетов сводится в горной глуши, и небезопасно здесь человеку, у которого в Иране есть враги. А за все эти годы участия в сложных политических движениях Мак-Грегор не мог не нажить себе врагов.

Пришпорив пятками свою костлявую, покрытую грязью туркменскую лошаденку, курд последние полсотни метров — по ровному — проскакал галопом. Лихо осадил лошадь, чуть не наехав на идущих.

— Ух ты! — гоготнул он.— Так и есть, они самые.— Точно мальчик игрушкой, он мотнул дулом винтовки на Кэти и спросил: — Ты курманджийский понимаешь, госпожа?

— Нет, не понимает,— резко сказал Мак-Грегор.

— Давай подсади ее ко мне сзади,— предложил развязно курд.

— Ты бери рюкзак, мы за тобой пойдем,— сказал Мак-Грегор.

Сжав пятками лошадиные бока, курд своей винтовкой поддел и поднял тяжелый рюкзак, чуть не упав при этом с седла.

— Ух ты! Не иначе там золото.— И в продолжение всего пути вниз по долине он не переставал гоготать и горланить: — В мешке золото!

Они шли за ним около часа, пока не увидели речушку впереди, у крутого поворота. Курд гикнул, ударил лошадь пятками и пустился вскачь. С криком и хохотом он скрылся за поворотом.

— Прощай рюкзак,— сказала Кэти.— Ускакал со всем нашим добром.

— Это всего лишь местное чувство юмора,— успокоил Мак-Грегор, продолжая шагать. Не дошли они еще до поворота, как оттуда лихо вывернул старый темно-синий джип и, проехав юзом ярдов двадцать, остановился. Кэти ухватилась за руку Мак-Грегора.

— Все в порядке,— сказал он.— Это Затко.

С сиденья спрыгнул курд, подбежал на легких, как у плясуна, ногах и влепил по сочному поцелую в обе щеки Мак-Грегора.

— Хвала аллаху,— театрально воскликнул курд,— до тебя дошел мой зов.

— Узнаю энтузиаста,— ласково улыбнулся Мак-Грегор.

— Хха! — внушительно выдохнул Затко. Курды-горцы называли его «Щеголек» и «Славный наш защитник», считая Затко своим лучшим воином. Он был одет в окаймленную вышивкой куртку, в рубаху с полосатым кушаком и широкие шаровары. Убранство полностью курдское, и только на набрякших маленьких ступнях были ковровые туфли из английского магазина «Маркс и Спенсер».

— А где Таха? — спросила его Кэти по-персидски.— Разыскал ты его?

Тахе, сыну Затко, шел двадцать первый год; он прожил в Тегеране у Мак-Грегора те пять лет, что проучился в школе, а затем в университете. Мак-Грегоры привязались к Тахе, но дочь их Сеси шестнадцатилетней девочкой влюбилась в него, и хотя влюбленность эту обуздали бдительным надзором и вмешательством, однако и Кэти и Мак-Грегор были рады, когда Сеси благополучно отбыла в Европу, а Таха вернулся к отцу. То есть к отцу он не вернулся. Таха был бунтарь: взяв с собой полдюжины студентов-курдов, он скрылся в горах над Резайе, поскольку хотел немедленной революции, а не надеялся, как его отец, прежде добиться национального освобождения.

— Разыскать я его разыскал,— сказал Затко, прохаживаясь взад-вперед и похрустывая костяшками пальцев.— Сейчас он под Мехабадом, на пятое число они наметили похитить там полковника Размару.

— Похитить? Зачем это? — спросил Мак-Грегор. Иранского полковника Размару они оба знали и считали его другом.

— Эти мальчишки хотят взять Размару заложником за курдских студентов, арестованных в прошлом месяце в Тебризе. Представляете, глупость какая ребячья! — простонал Затко.

— Спаси и помилуй нас бог,— саркастически проговорила Кэти по-курдски.

— Завтра,— сказал Затко,— когда покончу со здешним делом, я съезжу заберу Таху оттуда, пока персидские жандармы не подстерегли его и не убили.

Театрально вздохнув, Затко вынул пачку американских сигарет, предложил Мак-Грегорам. Те отказались, а он достал мундштучок в

форме трубки, воткнул сигарету торчмя, чиркнул персидской спичкой и задымил с задумавшимся видом. Мак-Грегор понял, что Затко собирается что-то сообщить, но прежде хочет дать почувствовать всю важность этого сообщения. Наконец, повернув трубку чашечкой вбок, Затко выдул оттуда окурок и опять драматически вздохнул.

— Итак, в чем же состоит дело? — спросил Мак-Грегор.

— Наш Комали-и-джан — Комитет жизни — хочет, чтобы ты кое-что для нас сделал,— сказал Затко.— Затем я и призвал тебя.

— Это мне ясно. Но что именно от меня требуется?

— Вещь, возможно, связанная для тебя с трудом и риском. Но важная для нас.— Затко сделал паузу. Мак-Грегор ждал, что дальше.

— В чем эта вещь заключается, я открыть не могу,— продолжал Затко.— На мне присяга. В Синджане тебя ожидает кази. Но есть там и другие...

— Ты хочешь сказать, что этих других нужно остерегаться? — спросила Кэти.

— Я хочу сказать, что там собрались курдские феодалы, и политики, и торговцы табаком, и воины, и племенные шейхи, и полуарабы,— отвечал Затко.— И даже страннопалый курд-альбинос. Все они курды, но не все они друзья тебе. Ты понял?

— Это не страшно,— сказал Мак-Грегор.

— Тебе, может, и не страшно, а мне — да,— сказала Кэти.

— Ты ни к кому там, кроме кази, не прислушивайся,— сказал Затко.— Пусть тебя не смущает грубость, не обескураживает злопыхатель-курд, ненавидящий тебя.

— Ты имеешь в виду ильхана? Он здесь?

— Да, здесь.

— Какое отношение имеет он к Комитету? — удивленно спросил Мак-Грегор.

— Кази упирает на то, что курды не должны больше драться друг против друга. Ты ведь и сам всегда на это упирал — на единение...

— Единение, но не с тем же, кто предал республику сорок шестого.

— Что поделаешь,— нехотя возразил Затко.— Ильхан ведь феодал. Он так прямо и считает себя пупом курдской земли, хоть стреляй в него. И я бы с удовольствием пустил в него пулю — но кази, может, и прав. Все-таки у ильхана нутро курдское.

— У него нутро подлого, богатого, старого убийцы.

— Кто же спорит,— горячо сказал Затко. Они сели в джип, и Затко крикнул затаившимся в скалах дозорным: — Перестаньте вы стрелять по кладбищенским собакам. Не к добру это, говорю вам.— И в ответ со склонов послышался смех.

Машина въехала в замусоренный, грязный Синджан, где сложенные из камней домишки с земляными кровлями были набросаны, как куски серого рафинада, по путаным улочкам на речном берегу. Перед лачугой с рваной занавесью вместо двери джип встал, уперся всеми четырьмя колесами, Затко соскочил и отвел занавес в сторону, пропуская гостей.

— Дуса! — позвал он.

Из внутренней двери к ним вышла старуха в истрепанном балахоне, неся обитый эмалированный кувшин с водой. Прошамкала несколько невнятных приветственных фраз.

— Мыло где? — повелительно спросил Затко.

Старуха неохотно сунула руку в карман своего балахона и, по-детски раскрыв ладонь, явила на свет чахлый зеленый обмылок.

— А где принадлежащий госпоже мешок? — спросил снова Затко, употребив персидское слово «хурджин» (дорожная сума).

Старуха указала на рюкзак в углу.

— Кто был тот сумасшедший, ускакавший с рюкзаком? — поинтересовалась Кэти.

Затко раскатился своим сочным смехом.

— Это Ахмед Бесшабашный,— сказал он.

— Ребячьи у Ахмеда выходки,— сказала Кэти.

— Такая уж натура,— объяснил Затко.— Он у нас сущий дьявол. Трудно даже представить. Но он храбрец и знает горы лучше любого правоверного... Итак, добро пожаловать,— торжественно закончил Затко.

— Какой у нас дальше распорядок? — спросил его Мак-Грегор.

— Умойтесь, отдохните, а затем мы к вам придем официально, пригласим к общей трапезе, после чего кази скажет тебе, какое дело требуется сделать, и, само собой, ты волен будешь отказать нам, если пожелаешь.

— После чего ему тут кто-нибудь горло перережет,— едко добавила Кэти.

Затко рассмеялся. Кэти — друг и сестра — изволила остроумно пошутить.

Глава третья

В темном, низеньком, заваленном сальными овчинами амбаре Затко взволнованно ходил взад-вперед перед столом, за которым сидели в ряд пятеро, и обращался к ним с речью — так адвокаты убеждают присяжных в американских фильмах, которые Затко, должно быть, видел в Тебризе (да и в горы их, случается, завозят в своих автофургонах кочевые кинопередвижки, и во время сеанса экран прошивают подчас пулями возбужденные зрители с седел). Пятерых сидящих освещала сверху белым светом калильная лампа; длинный сосновый стол был покрыт линялой пластиковой скатертью. Посреди стола укреплен был на тополевом древке запретный курдский флаг.

— Этот человек,— говорил Затко о Мак-Грегоре,— всем вам уже известен. Курды не любят иностранцев, что скрывать. И кто нам посмеет ставить это в упрек? Но этот чужеземец не уступит ничем курду — вспомните, как после сорок шестого он приютил у себя сыновей Абол Казима и спас от смерти, которую уготовили им курдские ублюдки и предатели, залакские ханы. Также и моего сына Таху он долго растил у себя как родного. И потому, когда я стучусь в дом к этому человеку в Тегеране и он спрашивает «Кто там?» — я отвечаю: «Стучится твой брат». А когда он снова спрашивает: «Кто там?» — я говорю в ответ: «За дверью — тот, кто тебя уважает, кому ты можешь довериться, кто жизнь отдаст за тебя, если понадобится...»

Мак-Грегор слушал краем уха, как Затко продолжает расписывать его достоинства; он знал, что это обычный для курда способ ввести чужака в доверие племени. Мак-Грегора больше интересовали слушатели. Всех их он знал. В центре в качестве председателя сидел кази из Секкеза в священнослужительской чалме, а левей его — высокий старик в кавалерийских бриджах. У старика было властное, большое, жестокое, как у кулачного бойца, лицо с громадными ушами, заостренными сверху и снизу. Это был ильхан — властительный хан мегрикских племен. Рядом на скамье сухим сучком торчал тощий представитель демократической партии в измятом европейском костюме. Он работал партийным организатором среди курдов Ирака, его так и называли — иракский Али. Он был горожанин, уроженец

людного Мосула, ненавидящий горы и горных властителей. Всю свою недужную жизнь он провел, сплачивая курдских рабочих-нефтяников. Иранскими и турецкими властями он был объявлен вне закона и в случае поимки подлежал расстрелу на месте. Дальше за столом сидел и молчал толстый, туголицый, седой человек в хорошо скроенном двубортном костюме. В отличие от остальных он был чисто выбрит и выглядел слегка испуганно. Это был богатый ливанский коммерсант, курд из Бейрута, из рода Аббекров.

— А теперь,— вполголоса сказал Мак-Грегору Затко, кончив свою похвальную характеристику и сев на место,— теперь будь начеку и не давай им спуска.

Присутствующие помолчали, покашляли. Затем:

— Мистер... — грубо обратился к Мак-Грегору ильхан и продолжал по-персидски: — Ты меня знаешь, да?

— Да, я знаю тебя, ильхан,— жестко сказал Мак-Грегор по-курдски.— Все знают, кто ты есть.

— Ты почему грубишь мне?

— Грублю не я,— ответил Мак-Грегор.

— Что между нами легло?

— Ничего.

— Мистер! — Из презрения к чужаку ильхан опять заговорил было по-персидски, но остальные запротестовали, и он нехотя перешел на курдский: — Ты в большой дружбе кое с кем из курдов здесь, да?

— Да, в большой.

— И ты не прочь помогать своим друзьям против меня. Недругом меня считаешь, да?

— Да.

— А по какой причине?

— По той, что ты, ильхан, всегдашний источник зла. Если бы не Затко, ты бы и у милийцев забладел десятками селений и половиной полей пшеницы и табака. Как же мне с этим мириться, особенно помня твои действия в сорок шестом...

— До них тебе нет дела,— злобно закричал старик.— Ты иностранец и не смей совать нос.

— Я не забыл и того,— продолжал Мак-Грегор, не смущаясь окриком,— как тридцать лет назад ты силой увез нас с отцом и под дулом винтовки потребовал, чтобы отец разведал тебе нефть в Халалийской округе. Не приди армия на выручку, ты бы нас обоих забил насмерть.

— Ты иностранец и шпион,— опять взорвался ильхан.— Какое ты вообще имеешь право здесь присутствовать? Вот что скажи мне.

— Права никакого,— сказал Мак-Грегор.— Если мои друзья того желают, я уйду.

Он встал с места, но его удержали: «Садись, не оскорбляйся, будь терпелив — так уж у нас, курдов, обсуждаются дела». Затко вскочил на ноги, гневно сказал:

— Кази! Пора тебе вмешаться.

Слово «кази» означает по-курдски «судья», а именно — судья духовный, ибо закон ислама и поныне кладется в основу разрешения всех курдских правовых споров. В белом свете лампы лицо у кази казалось от небритости иссера-бледным. Он был облачен в серое духовное одеяние, наглухо, до горла застегнутое, и сидел неподвижно, как человек, привыкший выслушивать и выносить затем окончательное суждение.

— Не о чем тут говорить мне,— ответил он Затко.

— Но...

— Тут ничего, кроме грубой перебранки. Ильхан неправ. Вызывать на ссору не годится,— обратился кази к ильхану, говоря кратко, четко, весомо.— Эта ссора смутила твой дух? — спросил он Мак-Грегора.

— Нет. Перед ильханом я всегда сумею постоять за себя.

— Но он же иностранец! — закричал ильхан.

— Утихомирься, Амр,— мягко сказал кази старику.— Сейчас нам именно и нужен иностранец, притом верный друг.— И, повернувшись к Мак-Грегору, он сказал: — Позволь же объяснить нашу новую политику, и если будешь с ней согласен и решишь помочь нам и если поклянешься хранить тайну, тогда я сообщу тебе, чего мы от тебя хотим. Разумно ли это звучит для твоего слуха?

— Разумно.

— Вначале разреши объяснить разницу между теперешними нашими решениями и теми, садж-булакскими, которые были приняты в сорок втором году и потерпели крах в сорок шестом. Тогда мы пытались создать республику на территории Ирана. Теперь же мы решили учредить национальный политический и военный совет, который подготовит создание единой курдской республики, включающей всех курдов во всех трех странах — в Иране, Ираке и Турции.

— Это ваш старый, заветный замысел,— сказал удивленный Мак-Грегор.— Но как вы его осуществите?

— Меня послушай, кази,— прорычал ильхан.— Не говори ему больше ни слова.

Но кази только отбросил к локтям длинные, косые рукава своего облачения.

— На этот раз,— продолжал он,— мы обучим и снарядим армию, которая будет не просто местным или племенным войском, а охватит всех курдов. В частности, курдов-горожан и нефтяников. Мы обучим их здесь, в наших горах.

Мак-Грегор слышал шум позади — помещение заполнялось народом. Затко шепнул ему:

— Все сюда прутся. Вожди племен, и тебризские владельцы гаражей, и феодалы, и базарные торговцы из Секкеза, и аллах знает кто. Все они курды, но помни — не все они друзья нам.

Мак-Грегор кивнул, не оглядываясь на вошедших.

— Вы замышляете восстать во всех трех странах одновременно? — спросил он кази.

За спиной у Мак-Грегора дружно закричали, чтобы кази не открывал ему ничего. Возвысив голос, кази сказал:

— Я в самом деле не могу ничего больше прибавить, покуда ты не примешь те же обязательства, что и все мы.

— Понятно,— сказал Мак-Грегор.— Но прежде чем я их приму, позволь спросить, решено ли уже курдами, кто в действительности является их главным врагом?

Грустнолицый иракский Али, организатор горожан, усмехнулся застарело-больной усмешкой.

— Я помню, друг, все твои прошлогодние возражения в Мехабаде,— проговорил он одышливо.

— Против кого вы боретесь, Али? Вот что было и остается основной курдской проблемой,— сказал Мак-Грегор.

Али пожал плечами:

— Курды в Ираке боролись и борются против иракских властей, курды в Персии — против персидских, курды в Турции — против турецких. А за всеми этими властями стоят на протяжении вот уже полувека британцы, европейцы, а теперь и американцы.

— Я не о том, Али,— возразил ему Мак-Грегор.

— Я знаю, о чем ты,— сказал Али.— Ты хочешь знать, собираемся ли мы драться против твоих друзей персов — ведь они, мол, и сами борются за избавление от иностранного засилья и феодальных правителей.

— А разве не в этом по-прежнему основная проблема?

— Ты, я знаю, нашей линии не одобряешь,— вмешался кази,— потому что ты мыслишь как перс и хочешь, чтобы мы остались внутри персидской нации...

— Да кто он такой, чтоб одобрять или не одобрять? — воскликнул ильхан.— Он же бакинский шпион.

В ответ за спиной у Мак-Грегора раздался общий смех. Но послышались и оскорбительные выкрики в адрес Мак-Грегора, и он быстро обернулся к собравшимся позади. Он увидел лишь пеструю смесь курдских лиц, племенных одежд, потертых европейских пиджаков, армейских курток в сочетании с шароварами; у одного в руках был даже транзисторный приемничек.

— Я сказал тебе все что мог,— коротко заключил кази.— Прежде чем смогу продолжать, ты должен принять идею республики и все, что с ней связано.

— Слишком многое с ней связано,— ответил Мак-Грегор.— Дай мне поразмыслить немного.

— Мы можем дать три часа,— сказал кази, закрывая свою папку.— Достаточен ли такой срок?

— Немного надо поразмыслить,— повторил Мак-Грегор.

Он хотел выйти, но Али остановил его, сказал своим слабым, как сочащаяся струйка, голосом:

— Ты вот о персах печешься. А вспомни, что нам вечно приходилось бороться с персами, арабами, турками, британцами за то даже, чтобы сохранить родные нам обычаи, чтобы жить в родных горах, работать в наших городах.

— Я знаю, Али.

— Ведь сколько курдов было на твоей памяти повешено, расстреляно, зарезано, забито насмерть, уничтожено бомбежками в наших городах и селениях, на склонах наших гор. Убито за то лишь, что они курды. Забыл ли ты, друг, что в Турции двум миллионам наших до сих пор запрещают даже называться курдами? Ты сам знаешь, что нас лишили подлинной национальной жизни. У нас нет здесь в горах ни врачей, ни университетов, ни больниц, ни театров, ни школ. Ничего своего нету...

— Я знаю, Али,— повторил Мак-Грегор.

— Я к тому лишь, хабиби[1], что так продолжаться не может. Мы вынуждены восстать, пусть даже против таких же, как мы, жертв угнетения, потому что иначе весь Курдистан в самом скором времени будет задушен. Мир обступает нас, давит со всех сторон.

Курды молча слушали — хотя тысячу раз уже они слышали этот перечень утеснений и сто раз на дню вспоминали о том; когда Али кончил, они, хлопая себя ладонями по коленям, запели героическую песню о реках курдских, смывающих и уносящих прочь дух покорности, и о горах, растущих подобно каменным цветам из земли, политой кровью курдских мучеников.

Мак-Грегору тяжело было слышать все это. Его сейчас кололи теми самыми шипами, что и без того давно и прочно засели у него в сердце. Вокруг, скрежеща зубами, кусая кончики своих тюрбанных шарфов, курды выкрикивали обличающие и высокие слова, призывы

---

[1] Восточная форма обращения, означающая «дорогой», «друг».

к бою с чужаками-угнетателями Он вышел; кази догнал его и мягко взял за руку.

— Пусть на тебя не влияют наши чувства,— сказал кази. —Взвесь и решай спокойно. И если окажешься с нами согласен, тогда мы откроем тебе, какого дела от тебя хотим.

Глава четвертая

Выйдя из амбара, Мак-Грегор с удивлением увидел, что на дворе еще светло. Он разыскал Кэти у деревенской чайханы — лачуги с колченогим столом и скамейками. Окруженная детворой, Кэти вертела ручку старинной зингеровской швейной машины, а курдская девчушка лет четырнадцати, с косами, разделенными прямым пробором, с мятой белой шалью на плечах, заправляла под строчащую иглу кусок крапчатой ткани.

— Ну-ка, угадай, кто она такая? — сказала Кэти мужу.

Девчушка подняла на него взгляд. Мак-Грегор увидел быстрые, смелые курдские глаза, нежный и упрямый рот курдской девушки-невесты.

— Чей-то алый возлюбленный розы бутон,— сказал Мак-Грегор шутливо по-курдски.

— Это же Кула — дочь Саки.

Кула расправила плечи, гордо выпятила грудь, чтобы показать, что она уже взрослая девушка. Мак-Грегор сделал изумленное лицо; он и впрямь был удивлен. Саки, отца ее, обвиненного в возбуждении беспорядков среди землекопов нефтяной компании, застрелил в 1958 году британский агент тут же, у подъезда управления юстиции в Мехабаде. Двумя месяцами позже умерла ее мать, и пятилетнюю Кулу привезли среди зимы в Тегеран к Мак-Грегорам, закутанную в овчину. У девочки была желтуха, и Кэти поместила ее в русскую больницу, присмотрела за ее лечением и за тем, чтобы она благополучно вернулась в горы, к своим равузским дядьям. Кула приходилась Затко племянницей.

— Что, забыла уже английский? — сказал Мак-Грегор.

Кула фыркнула и, откинув голову, засмеялась громко и задорно, как и надлежит неробкой курдской девушке. Затем сказала Мак-Грегору по-курдски:

— Я поздоровалась с тетей по-английски. А она мне по-курдски в ответ: «Я разучилась понимать твой курдский говор».

Двое курдских ребятишек, уцепившихся за платье Кэти грязными пальцами, тоже засмеялись, и Мак-Грегор, любуясь женой, подивился тому, как все дети тотчас норовят ухватиться за ее подол. Кэти не сторонится брезгливо общения, ее не пугает самый неприглядный вид, и они, должно быть, чувствуют это и спокойно доверяются ей.

— Не проси у ханум сластей,— сказал Мак-Грегор шестилетнему мальчугану, тянувшему к Кэти руку.

— Но у нее ж полны карманы,— горячо возразил тот.

— А просить все-таки не надо,— сказал Мак-Грегор.— Ты им конфеты давала? — спросил он Кэти.

— Давала. Они тут в горных селениях в глаза не видят сахара.

— Этот чертенок опять просит, и если взрослые услышат, ему попадет.

— Ах, вздор какой,— сказала Кэти.— Он ведь не попрошайничает.

— Курду не пристало тянуть руку,— сказал Мак-Грегор.

— Твои высоконравственные нормы вечно идут вразрез с люд-

ской природой,— сказала Кэти, порылась в кармане и дала малышу конфету. Опять завертела ручку швейной машины, и Мак-Грегор, не отвлекаясь уже детьми, сообщил ей по-английски, что курды решили создать республику и замышляют восстать одновременно в Турции, Иране и, возможно, в Ираке.

— Замышляют — когда? — отозвалась недоверчиво Кэти.

— Этого они не захотели мне сказать.

— И немудрено. Они сами не знают. Золотые мечты и фантазии. Фантазии. Фантазии,— повторяла она, вертя ручку.

— Понятно, что дело пока еще отдаленное,— согласился Мак-Грегор.— Но они решили начать подготовку уже сейчас и на этот раз, возможно, добьются успеха.

— А чего они хотят от тебя?

— Еще не сказали.

— И догадываюсь почему,— насмешливо проговорила Кэти.— Они хотят, чтобы ты сперва поклялся могилой родной матери, что ты заодно с ними.

— Ты угадала.

— Но ты ведь еще не дал им клятвы?

— Нет.

— И не давай.

— Стоп! — сказала Кула, и Кэти остановилась и снова завертела ручку, когда Кула сказала: — Чик-чик!

Продолжать разговор под стрекот швейной машины Мак-Грегор не захотел.

— Тетя скоро вернется,— сказал он Куле и пошел с Кэти по берегу, а дети — за ней и убежали, лишь когда он кликнул одну из женщин, которые стирали, колотя одежду в скудно текущей речной воде. Твердо держа Кэти под руку, он повел ее через деревню. Не все курды собрались в амбаре, было их в избытке и здесь — своих и приезжих, греющихся на горном солнце (и тут же рядом винтовка) или присевших на корточки над частями и обломками моторов и шасси. Курды попивали чай, посмеивались, окруженные тощими, в навозных струпьях, собаками древней гончей породы. С десяток горцев сидело на плоской земляной крыше овчарни вокруг 80-миллиметрового миномета, глядевшего широким дулом вверх, в пустоту.

Когда деревня осталась позади, Мак-Грегор сказал:

— Тут возникает новый фактор, который изменит для курдов всю ситуацию.

— Они вечно возникают, эти «факторы»,— сказала Кэти.— В особенности у тебя. Ты их изобретаешь.

— Уж этого-то фактора я не изобретал.

— Посмотрим еще, убедителен ли твой фактор.

— Все крупные государства-нефтепотребители не сегодня-завтра воспылают интересом к курдским горам.

— Отчего бы вдруг?

— ИННК уже порядочное время бурит здесь скважины, и мы открыли два весьма значительных месторождения. Во-первых, чрезвычайно богатую нефтяную залежь, которая тянется, вероятно, миль на сорок под этими горами, как раз на курдском пограничье с Турцией, Ираком и Ираном.

— Но ведь ты и прежде об этом знал.

— Я только предполагал. Теперь же мы подтвердили бурением.

— Так. А во-вторых?

— Вторая находка даже важнее первой. Это обширное месторождение природного газа, ряд протяженных резервуаров, сообщающих-

ся друг с другом на глубине примерно полутора тысяч метров,— иными словами, добыча не будет сопряжена с особыми трудностями.

— А кто захочет возиться с природным газом в этих горах?

— Через десяток лет миру грозит повальная нехватка углеводородов, так что за эти места неизбежна такая же драка, какая идет теперь повсюду, где разведаны новые запасы.

— А курдам известно об этих месторождениях? — спросила Кэти.

— Думаю, что да. Во всяком случае известно, что я являюсь лицом, ответственным за проводимую здесь геологоразведку, и что теперь ИННК шлет меня сюда почти что каждый месяц. Курды следят за ходом нашего бурения.

— Но разве эти горы не относятся к зоне, где добычу нефти ведет сам Иран, не предоставляя никому концессий? Как же смогут вмешаться иностранцы?

— К несчастью,— сказал Мак-Грегор, замедляя шаг, чтобы придать весомость своим словам,— месторождения выходят за границы Ирана. Так что стоит лишь Ирану приступить к добыче, и все тут же кинутся урывать себе кусок. И тогда начнется свалка с участием курдов, турок, иранцев, арабов, американцев, англичан и мало ли кого еще. Можешь представить, что ждет курдов, если они не сплотятся и не подготовятся заранее.

Резким ударом носка Кэти отбросила с дороги белый камешек. Поглядела неприязненно на голые горы.

— Тем более нечего тебе ввязываться,— сказала она.— Ты бессилен остановить ход событий.

— Я еще не ввязался,— ответил Мак-Грегор.

— Но ввяжешься — и опять попусту загубишь годы жизни. За помощь иранским азербайджанцам ты отделался домашним арестом. Теперь иранцы накажут тебя не в пример суровей, если снова уличат в участии.

— Тогда было иное дело. И ты участвовала там не меньше моего.

— Тогда мы были молоды, — возразила она.— Теперь же постарели, и поздно тебе впутываться в курдскую затею, столь же безнадежную.

— Возможно, ты и права,— сказал он удрученно.— Возможно...

Они прошли уже половину каменистого подъема; помолчав, он сказал:

— Трудно стоять в стороне сложа руки, когда знаешь, что нависло впереди. Вмешательство иностранцев всегда чревато наихудшим. А они не преминут вмешаться. Они найдут способ разделить и обессилить курдов. Именно так всегда и получается.

Кэти остановилась, тяжело дыша.

— Будь прокляты эти горы! — сказала она с сердцем.— Все это горнокаменное идиотство!

Он подождал, пока она отдышится.

— А бывало, тебе в этих краях нравилось даже больше, чем мне,— мягко напомнил он.

— Теперь я их ненавижу. И притом ты всякий раз принимаешься здесь робройствовать.

В 1952 году у Мак-Грегора в лаборатории бывшей Англо-иранской компании случился взрыв, и Кэти читала потом ему, ослепшему на время, вслух предисловие Вальтера Скотта к «Роб Рою». Скотт описывает там, как горный клан Мак-Грегоров, к которому принадлежал Роб Рой, лишили свобод, земель и наследственных прав и даже запретили постановлением парламента носить родовое имя Мак-Грегор.

— Я не робройствую,— возразил Мак-Грегор, хмурясь, хоть он уже привык не брать всерьез насмешек Кэти.— Просто я считаю, что курды окажутся в безвыходном положении, если не станут действовать.

— Да знаю же я. Знаю! — вырвалось у нее.

И Мак-Грегор поспешил истолковать это как выражение согласия на его помощь курдам. Согласия неохотного, но и на том спасибо. Молча, рука об руку, они стали спускаться назад к сланцевым косогорам, как вдруг услышали два выстрела. Затем донесся чей-то крик: «Кузан! Кузан!» («Убийца! Убийца!»)

И почти тотчас они увидели, как в небо над деревней ворвался реактивный, серо-защитной окраски самолет без опознавательных знаков, скользнул на низкие склоны, опережая свой рев, выровнялся и сбросил один за другим три черных контейнера. Они, вертясь и кувыркаясь, полетели вниз, и Мак-Грегор понял, что́ несут они Синджану. Обхватив Кэти за шею, он пригнул ее к земле, сам распластался рядом. Волна знойного воздуха, сгущенного черного дыма опалила им спины, вжала в землю, сорвала с Кэти туфли. Из легких выдавило воздух и наполнило взамен огненным жаром.

Все это было делом нескольких секунд, и когда они подняли головы, горячее вязкое облако пылающего дыма уже всклубилось кверху черным аэростатом, и они увидели, что деревню с одного конца одело сплошное, в полгектара, пламя.

— Что это? — воскликнула Кэти, не веря глазам.— Что случилось?

— Напалм,— сказал Мак-Грегор. Помог жене подняться на ноги.— Мы здесь совершенно не укрыты.— И указал на каменные глыбы выше по склону, и Кэти кинулась туда с туфлями в руках. Прижавшись между глыбами, они стали ждать возвращения самолета. Но он не возвращался, и Мак-Грегор встал.— Что толку здесь пластаться? Спустимся в деревню.

Они побежали вниз по грунтовой дороге, потом берегом. Черная пелена напалма, пахнущая вазелином, сжирала дорогу, поля, край деревни. Местами даже белесая речушка горела. Они перешли ее вброд на участке, свободном от пламени, добежали до горящей окраины. Жар там стоял уже такой, что нельзя было подступиться.

— Чей это самолет? Чьих это рук дело?

— Чьих? Да чьих угодно,— горько ответил Мак-Грегор.— Узнали, должно быть, что здесь собрался Комитет.

Жители и приезжие, бросившиеся было спасаться, теперь все бежали обратно в деревню с криком и воплем. В дымной суматохе впереди заголосило, замелькало человек сто мужчин, женщин, детей. Мак-Грегор и Кэти, добежавшие почти до кромки огня, увидели пять или шесть лежащих тел — черные комья горелого мяса, все еще дымно охваченные вязко-студенистым пламенем напалма. Из каменных домишек доносились стоны, визг. Дотлевали сгоревшие овцы, похожие на обугленные чурбаки.

— Ты погляди! — вскрикнула Кэти.

Две объятые огнем женщины пробежали в смятении, ноги и руки их были спалены дочерна. Третья пробежала от реки, метнулась в пламя, выхватила обгорелого ребенка, бросилась с ним назад к реке, и Мак-Грегор, спеша на помощь курдам, оттаскивавшим обожженных, крикнул Кэти, побежавшей спасать ребенка:

— Не давай окунать в воду. Она убьет его.

На женщину, бегущую с ребенком, уже налипло с него студенистое пламя. Крича, она охлопывала на бегу одежду, сбивая неугаси-

мый огонь, и добегала уже до реки, когда Кэти вырвала у нее из рук ребенка. Но сама пылающая женщина кинулась в воду.

Кэти оцепенело застыла с горящей девочкой на руках. Затем сбросила с себя дубленку и окутала ею девочку, чтобы задушить пламя. Но дубленка сама загорелась, и Кэти сдернула ее, бессильно глядя, как глубоко внедрившийся напалм плавит тело. Кэти попыталась руками снять огненный студень с ребенка, но неукротимый огонь налип на пальцы, и, поскорей отерев их о землю, она схватила камень и камнем стала соскребать напалм с обугленного детского предплечья, разрывая до кости черную сочащуюся мякоть.

Девочка молчала — она была в сознании, но в глубоком шоке. Наконец Кэти удалось снять напалм, и в ту же минуту девочка потеряла сознание.

Вот уже целый час Мак-Грегоры были в гуще кошмара. Добравшись наконец до чайханы, до Кулы, Кэти увидела, что косы девушки сгорели дотла, а шаль вплавилась в ее обугленное тело. Непугливые глаза Кэти зажмурились гнев, тошнотный ужас захлестнул ее, и на миг потянуло стать слепой частицей этой гневно стенящей сумятицы. Но она отогнала растерянность. Она уже пыталась оказать жертвам какую-то осмысленную помощь, но, осознав безнадежность попыток, принялась вместо этого помогать женщинам, спасавшим из огня одежду, кухонную утварь, постели и сваливавшим все в одну кучу с обгорелыми, ранеными, мертвыми.

Мак-Грегора она давно потеряла из виду, и время близилось к полуночи, когда Кэти пошла наконец по деревне на розыски мужа. Спаленный воздух, забивавший гарью ноздри и рот, сделался уже нестерпимым.

— Айвор... — позвала она несколько раз.

Ответа не было. Она увидела, что у джипов, в свете фар, стоит гончий пес с выжженным до внутренностей боком. Стоит неподвижно, водя по сторонам страдальческими глазами, боясь сдвинуться с места — чувствуя, что кишки тут же вывалятся наземь. Кэти нагнулась, погладила измызганную собачью голову.

— Бедный ты,— сказала она.— Бедный.

Пес ткнулся ей в руку слегка, точно недоумевая, что с ним такое стряслось, и Кэти подошла к одному из джипов, достала винтовку из-под сиденья — она там у курдов лежит непременно. И в надежде, что не зря сказано: «У курдской винтовки всегда в стволе патрон», Кэти приставила дуло к затылку собаки, полуобернувшейся и глядящей на нее, и нажала спусковой крючок. Выстрелом собаку отбросило ярдов на десять от джипа, от светового снопа.

Глава пятая

А в это время Мак-Грегора уже не было в деревне. Он находился четырьмя километрами ниже по главной дороге, в старом доме сборщика налогов. Али уже уехал, ильхан — тоже. Близилось утро, но кази и четверо черных от копоти членов Комитета сидели на полу под керосиновой лампой, принуждая себя кончить дело, чтобы затем скрыться прежде, чем иранские войска поднимутся сюда или снова неизвестно чей самолет налетит на рассвете. Кази уже приказал эвакуировать Синджан. Раненых клали в грузовики и джипы и увозили по горным дорогам вниз, в селения севазов, к врачу-персу.

— Затко говорит, в тебя кто-то стрелял ночью и кричал, что это ты, мол, предал нас,— сказал кази, обращаясь к сидящему на корточках Мак-Грегору.

Мак-Грегор вдвоем с Затко откапывали засыпанную женщину, когда пуля черкнула пыль у его локтя и кто-то крикнул из темноты: «Чужак! Предатель!», продолжая стрелять с крыши, пока Затко не пальнул в ответ из пистолета.

— Неужели курды верят этой лжи, кази?

— Поверить в нее мог только глупец, и я прошу за него извинения,— сказал кази.— И прошу, не принимай к сердцу.

— Я не принимаю,— сказал Мак-Грегор.— Но я тревожусь о моей жене.

— А где она?

— Осталась в деревне, у Дусы в доме. Спит там, обессиленная.

Затко разыскал уже Кэти, настоял, чтобы она передохнула у Дусы, и поставил одного из своих людей, Бадра, охранять дом.

— Никто не причинит ей зла,— сказал кази.

— Все же я хочу поехать за ней поскорее.

— Нам требуется знать одно,— перешел кази к делу.— Требуется знать твое решение.

Мак-Грегор хотел ответить, но кази остановил его:

— И пусть наша новая беда не повлияет на это решение. От гневного чувства следует теперь отвлечься.

— Но как же от него отвлечься?

— И все-таки гнев — не лучший советчик в таком деле.

— Я еще прежде решился,— сказал Мак-Грегор.— Я выполню ваше задание, кази, при условии, конечно, что оно мне будет под силу.

— Хорошо,— сказал кази и продолжал деловито: — Я не стану требовать от тебя присяги, какую дали все мы, нам будет достаточно твоего слова, что ты принимаешь шесть заветов сорок шестого года. Помнишь ли ты их?

— Не вполне четко,— ответил Мак-Грегор.

— Они очень просты. Ты обязуешься быть верен курдскому народу, бороться за самоуправление для Курдистана, блюсти во всем тайну; ты берешь эти обязательства на всю жизнь; ты обязуешься считать всех курдов своими братьями и — последнее — не примыкать ни к какой партии или группировке, враждебной нам. Принимаешь ли ты все это?

— Принимаю,— сказал Мак-Грегор, сознавая, однако, что еще вчера давал бы свое согласие с куда большей оглядкой.

Кази обвел глазами остальных присутствующих, удостоверяясь, что их еще не свалила усталость.

— В таком случае,— произнес он,— я скажу тебе сейчас, какого дела мы от тебя хотим, и пусть на первый взгляд оно покажется простым и малозначащим, но для нас оно жизненно важно.— Кази помолчал. Затем прибавил: — А для тебя оно может оказаться к тому же неприятным и опасным.

— Это мне понятно,— сказал Мак-Грегор, которому повторные предостережения начали действовать на нервы.

— Нам нужна помощь европейца, которому мы могли бы полностью довериться. В этом деле курд слишком бросается в глаза.

Послышался шум грузовика на дороге, и они переждали, пока он проедет. Напряженный рев двигателя, казалось, и их самих подхлестывал и торопил.

— Прошлым летом в Европе у нас украли без малого триста тысяч фунтов стерлингов. То есть мы предполагаем, что украли. По существу, мы знаем лишь, что деньги пропали, а с ними и курд, наш посланец. Приходилось ли тебе об этом слышать?

— Нет. Я и не знал, что у вас столько денег.

— Откуда деньги, я скажу чуть погодя.

— И надо так понимать, что их в Европу переправил Комитет?

— Конечно.

— Но для чего нужна была вам такая сумма денег в Европе?

— Мы хотели купить оружие,— ответил кази.— Мы должны иметь современное оружие, если всерьез хотим снарядить и обучить курдскую армию.

— Но неужели вы надеялись на то, что европейцы снабдят вас оружием?

— Конечно. Мы хотели ружья против танков и самолетов купить, боеприпасов взять, автоматических винтовок, пулеметов, радиоаппаратуру.

— Но ехать за оружием в Европу! Я не могу себе представить, чтобы вы нашли в Европе продавцов.

— Из этого ясно, что ты не слишком хорошо осведомлен,— спокойно заметил кази.— В Европе существует громадная частная торговля оружием и сбыт его в Африку и на другие континенты. Оружие, на которое мы заключали сделку, первоначально было куплено одной европейской организацией для Биафры.

— И вы открыто заключали эту сделку?

— Нет. Через посредников. Оружие должны были сперва доставить в Ливан, а уж оттуда его тайно переправили бы к нам.

— Так,— сказал Мак-Грегор; удивление его начало понемногу проходить.— Каких же, собственно, действий вы от меня хотите?

— Хотим, чтобы ты спас деньги.

— То есть вы хотите, чтобы я разыскал их и затем купил на них оружие? — переспросил Мак-Грегор, не уверенный в том, что правильно понял смысл этого простого курдского слова «спас».

— Нам не надо, чтобы ты доставал оружие. Этим мы тебя нагружать не хотим. Найди лишь деньги, остальное сделаем сами.

И кази объяснил, что в Европу ездил от Комитета молодой курд, Манаф Изат. Он вез с собой аккредитив, выданный одним ливанским банком на швейцарский банк в Цюрихе.

— Манафу поручено было уплатить за оружие и договориться о доставке,— сказал кази.— Но Манаф пропал бесследно, а с ним и деньги. Мы посылали в Европу других курдов, коммерсантов, для выяснения этого дела. Но их встречали там враждебно, особенно в банках и государственных учреждениях Швейцарии, Франции и Англии. Наши люди не смогли ничего выяснить.

— Это мне понятно,— проговорил Мак-Грегор.

— Слишком бросалось в глаза, что они курды. И от них все оставалось скрыто. Вот почему мы и хотим, чтобы ты взял на себя это задание, поскольку ты европеец и лучше сумеешь с ним справиться.

— Сомневаюсь,— сказал Мак-Грегор.— А кто еще знает об этих деньгах? — спросил он.

— Об этом, конечно, знают банки, а также политические агенты, власти, полиция. Слишком многие знают... — развел кази руками.

— Ты говоришь, Манаф Изат пропал. Но откуда известно, что он не украл эти деньги?

— Такого быть не может,— сказал кази, и другие курды поддержали его полусонно; один только Аббекр, ливанец, бесстрастно промолчал.— Манаф был неподкупно преданный делу юноша.

— Что же с ним случилось, по-твоему?

— Вероятнее всего, что он убит,— ответил кази.

— Из-за этих денег?

— Из-за денег, из-за политики,— сказал кази помедлив.— Сам знаешь, ага, в курдских политических делах без насилия не обходит-

ся. Чужаки от века применяют против нас грубую силу и побуждают нас к тому же самому.

— Что же толку будет в моих розысках? Ведь убийцы Манафа завладели, разумеется, аккредитивом, а значит, и деньгами.

— Тут есть одна тонкость,— сказал кази.

— Какая?

— Для получения денег из банка требуется, помимо подписи Манафа, еще и моя. Мы позаботились о всяких предосторожностях и оговорках.

— В наше время могут подделать что угодно, не только подпись,— заметил Мак-Грегор.

— Не думаю, чтобы они прибегли к подделке,— возразил кази.

Опять помолчали минуту; Мак-Грегор отчетливо слышал дыхание каждого из присутствующих. Он знал: все они ждут, чтобы он сказал, что немедленно отправится в Европу, отыщет и спасет деньги. Но к Мак-Грегору уже вернулась всегдашняя осторожность.

— А все-таки из какого источника эти деньги? — спросил он.

— Не думаешь ли, друг, что мы их уворовали? — суховато пошутил кази.

— Для революций и таким способом не раз добывались средства.

— И это бы тебя смутило все же?

Мак-Грегор пожал плечами.

— Нет. Но я не хотел бы, чтобы меня застигли врасплох неприятные вопросы.

— Кази! — крикнули за дверью.— Надо поторапливаться. На той стороне плато из миномета бьют.

Кази торопливо раскрыл папку и вынул документ в сургучных треснутых печатях, соединенных зеленой тесьмой.

— Вот соглашение, заключенное между курдским Комитетом и бейрутской нефтедобывающей и горнорудной компанией «Леанко».

— О чем соглашение?

— О том, что компании «Леанко» будут причитаться три процента прибылей от всех естественных богатств на курдских землях в течение десяти лет с того момента, как богатства эти поступят в наше распоряжение.

— Но вы ведь еще даже не являетесь государством, кази. Вы еще совершенно не властны над своими природными ресурсами. Как же можно заключать такое соглашение?

— Мы нашли друзей, которые согласны дать нам деньги под залог нашего будущего.

Мак-Грегор пробежал глазами врученный ему документ, написанный тем замысловатым французским языком, на котором составляются в Ливане юридические бумаги.

— Кто управляет этой компанией? — спросил он.— Я и не слышал о такой.

— В правлении там — ливанский курд, сириец, швейцарец и проживающий во Франции армянин. Что до ливанского курда, то он перед тобой — Аббекр.

Тугощекий бесстрастный делец только моргнул воспаленными веками и слегка поклонился Мак-Грегору. Он еще не утратил своей гладковыбритости и, один из всех тут, не был ни закопчен, ни взъерошен.

— Прости мои слова, кази,— не удержался Мак-Грегор от упрека.— Но вот вы уже и вовлекли иностранную нефтяную компанию в свои планы борьбы за независимость.

— А ты возражаешь?

— Я знаю по опыту в Иране и всюду, что это чревато большой опасностью.

— Пусть так,— ответил кази,— но нам без оружия нельзя. А на его покупку нужны деньги. И если иностранные дельцы согласны сделать ставку на нашу конечную победу, то следует и нам самим пойти на риск.

— Кази! Торопиться надо...— опять крикнули со двора.

Затем обеспокоенно вошел Затко, сказал:

— По черной дороге идет бронеколонна.

Кази взглянул на Мак-Грегора. Помедлив, но сознавая, что раздумывать уже не о чем, Мак-Грегор сказал:

— Хорошо, кази. Задание принимаю. Но мне понадобятся время и дополнительные сведения.

Кази поблагодарил его в простых словах по-французски, чтобы не пускаться в цветистые обороты, неизбежные в курдском или персидском.

— В Европу тебе ехать надо под каким-либо благовидным предлогом,— сказал он затем.— Найдется ли такой предлог?

— В ИННК мне задолжали шесть месяцев отпуска,— сказал Мак-Грегор.— А дети мои сейчас в Европе. К тому же и Кэти хочет, чтобы я туда уехал.

Послышался шум еще одного проходящего грузовика и зычный голос Затко: «Фары выключай!» Кази поднялся, подошел к Мак-Грегору, взял его худыми пальцами за руку, сжал.

— В другое время я бы тебя этим делом не отягощал. Но тут речь идет по суги о курдском будущем, а не просто о деньгах.

— Я понимаю...

— И прошу тебя, остерегайся. Помни об участи Манафа.

— Мне понадобятся дополнительные сведения,— повторил Мак-Грегор.

— Аббекр даст их тебе, будь спокоен. Но в Европе тебе придется руководствоваться собственным суждением. Ты должен будешь действовать там в одиночку, без всякой помощи от нас, ибо держать с нами связь будет, наверное, невозможно.

— Понимаю.

— Но мы облекаем тебя полномочиями и одобрим выбранный тобою образ действий.

— Я в этом не специалист,— сказал Мак-Грегор.— Действовать могу лишь так, как действую в своей работе — копотливо, шаг за шагом. Я геолог, а не дипломат. Не отдаете ли вы дело в неопытные руки?

— Ты разберешься,— успокоил его кази, прибавив негромко: — Аббекру доверяй. Все детали дела — у него, и он укажет тебе, с чего начать и как сноситься с нами. Он человек стоящий. Пусть тебя не смущает его сытое лицо. Он — курд. Он будет дожидаться тебя в Мехабаде. Ты знаешь там Хамида?

Мак-Грегор кивнул и, пожав руку кази, вышел на дорогу к Затко, звавшему его садиться в джип.

— Едем не мешкая за ханум,— сказал Затко,— а оттуда двинем в Мехабад.

Поместясь на переднем сиденье, Мак-Грегор в изнеможении уснул, прежде чем поднялись к Синджану. Проснулся он оттого, что Затко соскочил на землю в своих ковровых шлепанцах и закричал:

— Бадр! Бадр!

Ответа не последовало, деревенская пустая, тлеющая улица молчала.

— Куда они там провалились? — сказал Затко и сердито закричал опять: — Бадр!

Мак-Грегор вошел в каменную хибарку Дусы, ожидая найти там спящую Кэти. Но когда он зажег фонарь, то увидел, что койка пуста, а спальный мешок и рюкзак валяются на полу.

— Где же они? — тревожно спросил Мак-Грегор вошедшего Затко.

— Не знаю,— ответил Затко; они вышли, и по темной опустелой деревне, где еще стояла гарь пожарища, стало разноситься: — Бадр, куда ты к дьяволу девался?

К ногам Затко сунулась собака, с надеждой принюхиваясь. Он пинком отшвырнул ее прочь, и она убежала в темные проулки.

— Так что́ же тут произошло? Ясно, что дело неладно...

— Бадр, надо думать, уехал в джипе с минометами. Но вот насчет ханум не знаю,— отозвался Затко.

— Тогда надо искать по деревне,— сказал Мак-Грегор и снял фонарь с гвоздя, приглядываясь украдкой, со страхом, нет ли на койке или на полу кровавых пятен.

— Ради бога, не думай ничего такого,— сказал Затко.

— Позволь тебе напомнить, что в меня самого ночью стреляли.

— Это так, но...

— И притом,— продолжал мрачно Мак-Грегор,— курды славятся похищениями и убийствами.

— Гони от себя эти мысли,— сказал Затко.— Такого быть не может. Да я бы своими руками убил всякого, виновного в таком.

Но Мак-Грегор уловил в голосе Затко тревогу под стать его собственной. И, обходя в темноте деревню, зовя Кэти и слыша, как эхо отдается от белесо залитых луною гор, Мак-Грегор знал уже, что Кэти здесь нет.

Глава шестая

Положив рюкзак в джип, они спустились в долину, к кази.

— Это какое-то недоразумение,— сказал кази.— Ни один курд не причинит ей зла. Прошу тебя, не тревожься.

— К сожалению, у меня нет твоей веры в способность курдов к самообузданию,— возразил Мак-Грегор.— Так что приходится тревожиться. Напрасно я оставил ее там.

Он знал, что курду оскорбительно слышать такие слова от чужестранца, но знал и то, что кази простит ему их, как простил ему Затко. Поговорив с курдами, сидевшими в грузовике, кази послал еще за людьми и, отведя в сторону, опросил их. Затем сказал Мак-Грегору:

— Мохамед говорит, она уехала с молодым Дубас-ханом.

— Кто он такой?

— Младший сын ильхана.

— Ты его знаешь, Затко? — спросил Мак-Грегор, садясь в джип.

— Еще бы. Дубас, по прозвищу Кукла. Коварством не уступит старому ильхану.

— А знаешь ты, где его искать сейчас? Куда ехать?

— Кази! — переадресовал Затко вопрос.

— Мохамед говорит, ее увезли, наверно, в селение Каста. Оно на землях ильхана — там их сторожевая застава.

— Но для чего им увозить ее?

— Не знаю,— признался кази удрученно.— Курды иногда творят глупости. Нежданные-негаданные глупости. Я думаю, Дубас повиновался приказу отца. Однако вам немедленно нужно ехать на поиски.

Мак-Грегор сказал на прощанье кази, что увидится с Аббекром в Мехабаде. И пока подымались в гору, выезжали на дорогу к деревне, Мак-Грегор бросал Затко вопрос за вопросом: «Далеко Каста?», «Сколько туда езды?..»

— Каста в восьми часах езды отсюда. Они опередили нас часа на два, если не больше. Но мы можем взять напрямик, турецкой стороной. Тогда мы их настигнем еще в пути.

Затко поставил в кузов канистру бензина, и они двинулись по ухабистой и грязной грунтовой дороге, идущей вдоль горной иранско-турецкой границы. Рассвет застал их медленно едущими в белом, удушливо-сыром горном тумане, картинно стелющемся по голым холмам.

— Развиднелось наконец,— крикнул Затко.— Теперь возьму напрямую с горы.

Свернув с дорожных выбоин, он послал машину под крутой мглистый уклон, срезая километровую петлю дороги. Спуск в долину сменился подъемом на противолежащий склон, но на полпути наверх два разрыва взметнули над головой у них скальные осколки, комья грязи. Дождем посыпалась сверху земля.

— Черт побери, это турецкий миномет ударил из речного русла,— крикнул Затко и затормозил.

— На чьей мы стороне границы?

— Мы сейчас в Турции,— ответил Затко.— Выигрываем этим несколько часов.

— Так езжай же.

— Нельзя. У реки там внизу на дороге турки и ждут нас.

— Тогда поворачивай назад. Не будем стоять зря.

— Выслушай меня. Назад так же опасно ехать, как и вперед. Нас и так и этак накрыть могут. И все равно, если взять теперь назад, то слишком много времени окажется потеряно — часов шесть.

— Так. И какой же ты предлагаешь выход? — спросил Мак-Грегор.

Из полушубка, из-под заднего сиденья, Затко вынул автомат, затем пошарил под ногами в ящике и достал магазин с патронами.

— Их там всего какая-нибудь дюжина солдат,— сказал он.

— Вдвоем дюжину солдат не атакуешь,— сказал Мак-Грегор.

— Солдатам ненавистна служба в наших горах. Если я устрою шум и половину их перепугаю, то остальные тоже убегут.— Затко обтер с пальцев ружейную смазку о кожух двигателя.— Ну так как же? — спросил он Мак-Грегора.

— Здесь ведь Турция.

— Здесь Курдистан,— сказал Затко.

— А нельзя ли нам иначе как-нибудь?

— Послушай, хабиби. Я не хочу тебя огорчать, но молодой этой сволочи, Дубасу, нельзя доверять и нельзя терять время. Они могут неделями возить Кэти по горам, чтобы ты оставался здесь, гоняясь за ними. Старый хан ненавидит тебя и не хочет, чтобы ты ехал в Европу от Комитета. Это наверняка он подослал убийц к Манафу. Так что нам надо с налету перехватить ильхана.

— Хорошо. Едем.

Затко сел опять за руль.

— Толкани-ка сзади,— сказал он,— а потом вскочишь. Мы к туркам незаметно подберемся.

Подтолкнув джип, Мак-Грегор вскочил в него, и Затко лихо пустил машину свободным ходом. Подскакивая, неслись они бесшумно вниз по грунтовой дороге, и Мак-Грегор понял, что Затко уже рассчитал всю тактику налета. Но тут Затко снова включил двигатель.

— Они ведь услышат,— воскликнул Мак-Грегор удивленно.

— Теперь уже не успеют разобраться, в какой стороне тарахтит,— ответил Затко, на полной скорости съезжая в мелководную речку и беря руслом до излучины. Там он вывел машину из воды и заглушил мотор. Спрыгнул в своих намокших шлепанцах, лег за тремя большими валунами, и Мак-Грегор, залегший рядом, увидел всего в ста метрах от себя турецкий минометный расчет. Человек пять-шесть стоят спиной к ним, сгрудясь у миномета на песчаном голом месте, и глядят вверх на склоны — гадают, очевидно, откуда пришел шум мотора.

— Мы их без особого труда,— шепотом заверил Затко.

Он действовал не торопясь. Вернулся к джипу, вручил Мак-Грегору старую армейскую винтовку английской системы и сказал:

— Я пущу на них машину и встану, подъехав вплотную. И тут же мы оба начнем палить и делать шум. Стрельба под ноги шума не даст. А вот по скалам палить — рикошеты пойдут, эхо, шум большой. Солдаты не любят, когда пули рикошетят, летят непонятно откуда. Мы их, ошарашенных, только пугнем слегка и проедем с ходу в переполохе.

Положив автомат на колени, Затко вывел машину наверх из речного ложа; когда джип, выкатив из-за поворота, оказался на полном виду, солдаты все еще смотрели в другую сторону. Затко подъехал почти вплотную. Солдаты обернулись; Затко, остановив машину, открыл стрельбу поверх голов. От скал полетели осколки, выстрелы громом отдались по долине. Мак-Грегор неуклюже палил из винтовки по скалам, по реке и глядел, как разбегаются солдаты.

— Вояки! — загремел Затко презрительно.— Вояки!

Он обдуманно и аккуратно прошелся джипом по огневой позиции, по канистрам с бензином и прочему инвентарю, расшвыривая его в стороны, а затем рванул на дорогу и вверх по склону, произведя примерно тот переполох, какой и рассчитывал произвести.

Но одно не было им взято в расчет — турецкий джип с четырьмя солдатами, спускавшийся по той же дороге, по какой они подымались сейчас. Оба джипа едва не сшиблись нос в нос, встретясь на некрутом изгибе. Мимо промелькнули удивленные турецкие лица, и Мак-Грегор заметил на коленях у переднего солдата пистолет-пулемет.

— На автомат! — крикнул Затко, передавая его Мак-Грегору.— И бей их почем зря. Если нас теперь догонят, то не станут и допрашивать, а срежут очередью.

Машина с ревом начала брать крутой, разъезженный подъем. Мак-Грегор оглянулся и увидел позади турецкий джип. Явно более ходкий и новый, чем машина Затко, он шел уже за ними вверх по склону, по извивам дороги.

— Берегись! — невольно вскрикнул Мак-Грегор, когда передний солдат открыл по ним огонь.

— Стреляй в них,— гаркнул Затко.

Новый поворот — и снова виден стал и застрочил по ним турок. Мак-Грегор глядел оцепенело.

— Да стреляй же! — рявкнул опять Затко.— Не хватало мне солдатской пули в зад или турецкой петли на шею.

Мак-Грегор поднял автомат и, забыв, что при стрельбе из него надо занижать прицел, навел туда, куда и метил,— на передние колеса. Нажал спусковой крючок. Стремительная очередь, толчки отдачи — от неожиданности палец Мак-Грегора застыл на нажатом крючке. Но ствол повело вверх, и пули хлестнули не по шинам, а по ветровому стеклу. Мак-Грегор увидел, как водитель и сидевший рядом солдат отвалились назад на сиденье, точно ударом опрокинутые. Турец-

кий джип врезался в приподнятую каменную бровку и слетел с дороги.

— Влепил ты им? Влепил? — кричал Затко, кося назад глазом.

— Я в водителя попал,— ответил Мак-Грегор.

— Вот за это люблю! — одобрил Затко со смехом. Уже они перевалили через гребень и стали углубляться в просторную, сулившую укрытие долину, а Затко все повторял свое зычное «Люблю».

Он гнал машину без роздыха, пока опасность не осталась позади за чертой границы, и когда к полудню они достигли селения Каста, Затко клятвенно заверил, что поспели вовремя. Поставив джип поперек грунтовой дороги, зигзагами уходящей вверх по теснине, они стали ждать появления снизу машин.

— Не тревожься. Увидишь Кэти живую и здоровую,— сказал Затко.

Мак-Грегор промолчал, и Затко понял, что не одно это гнетет его.

— Не повезло нам. Не по плану вышло, хабиби. Вина тут не твоя...

— Глупо вышло,— сказал Мак-Грегор.

— Ты же воевал,— сказал ободряюще Затко.— Был награжден английскими орденами, крестами боевыми. Зачем расстраиваться из-за одного-двух турок?

— Затем, что я теперь не воюю,— сердито возразил Мак-Грегор.— Нельзя было кровь проливать.

— Вина лежит на мне,— сказал Затко. — Но лучше нам сейчас подумать об ильхане и об его сынке. Знаешь, почему мы прозвали Дубаса Куклой? Потому что в нем нет ни совести, ни страха, все равно как в англичанине.

Затко привстал. Внизу на дороге показался мини-автобус марки «фольксваген», и Затко включил двигатель джипа, держа его на холостых оборотах.

— Пусть они повыскакивают из машины первые,— сказал он.— А ты не выходи из джипа, что бы ни началось.

Автомат лежал у Затко наготове на коленях. Забрызганный грязью «фольксваген» стал взревывая подниматься в гору. Водитель сердито засигналил. Машина Затко стояла, перегородив дорогу, а Затко сидел за рулем и ругался в ответ во все горло. Маленький «фольксваген» остановился в полушаге от джипа, из автобуса с винтовками в руках выскочили четверо курдов в расшитых куртках и широких шароварах. Вглядевшись, они со смехом воскликнули:

— Да это же Затко! Он самый!

— Где ханум? — сурово спросил Затко.

— Да где ей у нас быть,— отвечали они.— В заднице, что ли?

Выйдя из машины, Мак-Грегор заглянул в «фольксваген». Кэти там не было. Но ярдах в пятидесяти ниже по дороге остановился американской марки лимузин, весь покрытый грязью; из передней дверцы кто-то вышел и, обходя лужи, направился к затору. Это был молоденький красивый курд, одетый богато и красочно — «по-европейски», как любят наряжаться повидавшие свет курдские богачи. Он был в щегольских сапожках, в гусарской куртке на мерлушке, в белой «байроновской» рубашке с открытым воротом. Он шагал развинченно, с ивовым хлыстиком в руке.

— Это Дубас,— сказал Затко.

Дубас не скрыл удивления при виде Затко.

— Ну, Затко! Ну, павлиний хвост,— с усмешкой сказал он.— Что ты тут делаешь в своем джипе — на въезде в наши владения?

— Где ханум, Дубас? — ответил вопросом Затко.

— Ханум цела и невредима,— сказал Дубас, взглядывая на Мак-Грегора, но как бы не видя его.

— Где она? — спросил Мак-Грегор.

— Вы — муж ее? — осведомился Дубас на чистом французском языке.

— Где она? — повторил Мак-Грегор.

— Не надо паники,— сказал Дубас.— Прошу к моей машине. Я угощу вас коньяком. У вас совершенно больной вид.

Мак-Грегор знал и сам, что он грязен, небрит, изнурен, опален, запачкан ружейной смазкой. И болен.

— Лучше будет, если вы скажете, где моя жена,— произнес он, приготовляясь к столкновению, хоть и не зная еще, какую форму оно примет.

— Разумеется. Но я надеюсь, вы не слишком прислушивались ко всему, что Затко мог наговорить вам на меня и на мой род,— с добродушным видом сказал Дубас.— Затко склонен к преувеличениям. У Затко курдский язычок, все на свете чернящий.

В былые годы, знал Мак-Грегор, Затко всадил бы в Дубаса пулю за такие слова, но Затко нынешний, в ковровых шлепанцах, ограничился тем, что обругал его «форфар бармиш» — это звучит по-курдски в достаточной мере принижающе и оскорбительно.

Дубас посмеялся своими темными, пристальными, безбоязненными глазами, не сводя их с Мак-Грегора.

— Вы в самом деле думаете, что я силой увез мадам? — спросил Дубас деланно удивленным тоном.

— Силой или нет, но поступок это глупый и опасный,— ответил Мак-Грегор.

— Но ведь я спас вашу жену от гнусных лап солдатни. Персы были всего уже в нескольких милях от Синджана...

— Где она? — перебил его Затко.

— Она в безопасности, у моего отца.

— А где отец?

— Что, ушла душа в пятки! — торжествующе сказал Дубас.

Взяв из джипа винтовку, Мак-Грегор сказал Затко:

— Я спущусь к той машине. Если Кэти там, я вернусь с ней вместе. Если же ее там нет, то мы захватим этого парня с собой.

— Я провожу вас,— сказал Дубас.

— Нет,— остановил его Затко.— Ты стой, где стоишь.

Мак-Грегор спустился к лимузину. Грязь залепила его окна, остался только небольшой чистый участок ветрового стекла. Сзади до Мак-Грегора доносились спорящие голоса Затко и Дубаса. Остановившись в нескольких шагах от лимузина, он позвал:

— Кэти, ты здесь?

В машине послышался говор, открылась задняя дверца, вышел какой-то курд. А за ним — удивленная Кэти.

— Откуда ты тут? — воскликнула она.— И зачем тебе это? — указала она на винтовку.

— С тобой все в порядке?

— Конечно. А что?

На Кэти — чистой, причесанной — была нарядная дубленая куртка с шитьем, такая же, как на Дубасе.

— Почему же ты сидишь и не показываешься?

— Я ведь не знала, что это ты там. Окошко все забрызгано.

Неизвестно отчего, Мак-Грегора сердила теперь Кэти, сердило ее присутствие здесь.

— Этот мальчик, Дубас, сказал, что мне опасно выходить из машины. А что случилось?

— Идем в нашу машину и побыстрей,— сказал Мак-Грегор.

— А в чем дело?

— Потом скажу. Быстрей!

— Сейчас, я только перчатки свои возьму.

— Пусть остаются там,— сказал он, беря ее за локоть. Из передней дверцы вышел старик ильхан, зловеще заворчал. Направился следом за ними к джипу.

— У тебя ужасный вид,— сказала Кэти Мак-Грегору.

— И настроение под стать виду,— жестко ответил он,— так что не прекословь мне теперь.

— С тобой что-то, верно, случилось?

— Нет.

Но Кэти чувствовала, что он чем-то внутренне ранен, что за этими тревожно-странными действиями кроется еще что-то, непонятное ей.

— Не горячись,— сказала она мягко, видя признаки нечастой у Мак-Грегора взбешенности, и винтовку, и автомат, который Затко уставил Дубасу под ребра.

— Ты молчи сейчас,— проговорил Мак-Грегор.— Ни слова!

— Что это? Аллах! Что тут такое? — взревел вне себя ильхан при виде автомата, наведенного сыну в живот.

— Тут сын твой, старик,— сказал Затко.

— Замолчи, Затко,— резко сказал Дубас.— Незачем обращать это во всегдашнюю курдскую кровавую свалку. Не гневи отца.

— Аллах! Аллах!..— Ильхан обернулся, крикнул: — Хассан! — Еще двое вышли из лимузина, тоже с винтовками, и направились к джипу. Теперь вокруг стояло уже шестеро вооруженных людей ильхана.

Кэти села в джип.

— Пропусти нас, ильхан,— сказал Мак-Грегор.

— А кто тебя держит? — язвительно сказал ильхан.— Чего боишься? Курдов боишься, да? — Это прозвучало как вызов на бой.— Давай езжай, если ты такой храбрый...

На карте стояли гордость и престиж. Обоюдный тупик — и крайне рискованно было сдвинуться с места. Но вот Дубас спокойно сказал Мак-Грегору по-французски:

— Садитесь в джип и поезжайте. Успокойся, отец,— сказал он ильхану, велевшему уже было своим курдам отойти, рассредоточиться (что дало бы им преимущество).— Инцидент исчерпан. Ничего больше из этого сейчас не выжать.

— А что, собственно, вы рассчитывали из этого выжать? — спросил Мак-Грегор, садясь на заднее сиденье джипа.— Деньги?

Дубас пропустил оскорбление мимо ушей.

— Мы сжалились, спасли вашу жену,— сказал он надменно.

— Обманом увезли женщину...

— Это неуместные слова,— холодно возразил Дубас.— Заверяю вас, что жене вашей не грозила от нас ни малейшая опасность. — Он повернулся к Кэти.— Надеюсь, вы подтвердите, мадам Кэти, что мы обращались с вами благородно и учтиво?

— Да, это правда.

— Наши горы,— с холодной юной усмешкой продолжал по-французски Дубас, обняв жестом пустынные холмы,— побуждают нас вести себя, быть может, по-иному, не по-вашему. Так что прошу за них прощения,— сказал он с насмешливым полупоклоном.— Но я вскоре сам поеду в Европу и там, возможно, представлю вам объяснения и заглажу обиды.

Машина тронулась, и Дубас сказал вслед со смехом:

— Доброго пути вам!

Не тратя времени, Затко послал машину под гору, стремительно, как всегда. Мак-Грегор с трудом удерживался на сиденье, в одной руке сжимая винтовку, а другой цепляясь за что попало. Ему теперь хотелось одного — скорей бы все кончилось, скорей бы эти горы остались позади.

Глава седьмая

Затко не повез их прямо в Мехабад. Сперва они поднялись по черной (асфальтовой) дороге в горы; там, в пятидесяти километрах от Мехабада, наметил Таха похитить иранского офицера Размару, совершающего объезд этой дороги ежемесячно в один и тот же день и час. Затко оставил Мак-Грегоров в маленькой горной чайхане, где полковник Размара имел обыкновение завтракать по пути. Сам же Затко направился в расположенную над дорогой деревню, чтобы разыскать там сына прежде, чем тот устроит налет на чайхану с полдюжиной своих «городских революционеров», которые все были не старше двадцати одного года.

— Если без меня подъедет Размара,— сказал Затко на прощанье,— то ради бога, задержите его тут, пока не вернусь.

— А что, если ты так и не найдешь Таху? — поинтересовался Мак-Грегор.— Мы ведь не можем сидеть здесь и ждать.

— Не беспокойся. Я знаю, где он,— сказал Затко.— Пусть только Размара не садится без меня в свою машину, не едет дальше, пока я не дам знать, что взял Таху за жабры.

Затко уехал, а Мак-Грегор присел у старого соснового стола и смотрел, как жена морщится, пытаясь придышаться к затхлой духоте чайханы. Падал дождь, и от людей, стеснившихся в ее глинобитных стенах, шел пар и густой запах грузовиков, лошадей, собак, овец, тавота, табака, тушенки, подбавляясь к сложному чаду кухни, сырых лепешек и керосина.

Кэти не пробовала еще узнать у мужа, что с ним случилось на границе, а он явно не собирался сказать сам, без ее нажима. Устав, однако, от его молчания, она спросила, что́ их с Затко так растревожило.

— Дубас сказал мне, что доставит в Мехабад, где ты будешь меня ждать. Для чего же было вам так ощетиниваться?

— Они тебя не в Мехабад везли,— ответил Мак-Грегор, не сводя глаз с двери, чтобы не пропустить прихода Размары.— Они хотели неделями возить тебя по горам с места на место, а я бы метался в розысках.

— Но зачем им это?

— Затем, что ильхан не хочет моего участия в курдских делах. Не хочет, чтобы я выполнил поручение кази.

— А что тебе поручено? Что за таинственность такая?

И он рассказал Кэти, глядевшей на него внимательно и пораженно.

— Так я и знала,— проговорила она.— Знала, что тебя опутают.

— Никто меня не опутал.

— Тогда почему же ты не отказался?

Он промолчал, и по виду его она поняла, что другое что-то угнетает его.

— А до стычки с ильханом что у тебя стряслось? — спросила она.

— Я застрелил двух турецких солдат,— ответил он.

— Застрелил? Ты?

— Да.

— Это ужасно. Но каким образом ты — и вдруг турки?

— Мы поехали турецкой территорией. Они открыли по нас огонь, волей-неволей пришлось ответить.

— Но это ведь ужас, Айвор.

— Еще бы не ужас,— сказал он сердито.— Мы выбрали кратчайший маршрут, чтобы поскорей тебя вызволить.

— Но я была в полнейшей безопасности.

— В какой там безопасности...

В это время стоявшая возле, у грязного окна, старуха сунула Мак-Грегору на стол замусоленный клочок бумаги и, прикрывая чадрой рот, забормотала:

— Ваша милость, ваша милость...

— Я слушаю,— сказал Мак-Грегор.

— Я читать не учена,— бормотала старуха.— Не может ли ваша милость сказать мне, про что там пишется. Оно от младшего моего.

Мак-Грегор пробежал глазами еле разборчивую, малограмотную персидскую вязь и сказал:

— Здесь всего несколько слов, матушка. Сын пишет (он сощуренно вгляделся, не желая надевать очки), чтобы ты принесла двух кур и ждала здесь — если только я верно прочел.

— Верно, верно. Вот они, куры.— Старуха указала на узел, лежащий на заслеженном полу; из узла слышалось клохтанье.

— Вот и все, что тут написано.

— А где же он, мой сын? — ткнула она пальцем в бумагу.

— Об этом не пишет.

— Я жду здесь уже двое суток. А его нет. Всю жизнь от сына одни слезы, и я уж выплакала их все. Глаза теперь как терпкая айва.

— Оставь мне этих кур,— сказал Мак-Грегор.— Я передам их твоему сыну. А ты иди домой, матушка.

— Дай ей денег,— сказала Кэти по-английски.

— Как сына звать? — спросил Мак-Грегор.

— Хассан, из деревни Карсим, где табак садят.

— Иди себе, матушка, домой. Дождь уже перестал.

— Ваша милость...

— Денег дай ей,— повторила настойчиво Кэти.

Мак-Грегор отрицательно мотнул головой. Он не умел подавать обездоленным милостыню. Тогда Кэти сунула старухе за пазуху бумажку в сто риалов, и старуха заплакала. Кэти проводила ее до двери, простилась с ней.

— Я просто не в силах больше видеть эту персидскую нищету,— взволнованно сказала Кэти мужу.

— Вот выветрится у тебя из памяти Европа — и все станет на место,— хмурясь, ответил Мак-Грегор.

— Европа здесь ни при чем.

— Очень даже при чем...

— Пусть так. Пусть у меня действительно перед глазами еще Европа и вся огромность разницы. Да, мне невыносим возврат к картинам грязи и убожества.

— Поскольку приходится жить среди этого, то от европейских воспоминаний лучше не станет.

— Ты уверен? А ты бы сам вспомнил хоть раз о Европе?

Он отодвинул от себя остаток холодной баранины и, глядя на свою красивую и умную англичанку-жену, снова задумался над тем, что же их разделило теперь. Когда она уехала в Европу, он впервые в жизни задал себе вопрос: по-прежнему ли Кэти заодно с ним. Их долголетнего и тесного семейного согласия не поколебали никакие передряги, связанные с участием в запутанных иранских политических движениях — ни его домашний арест (дважды), ни неприятности на службе в бывшей Англо-иранской компании, а затем в ИННК. До ее отъезда с детьми в Европу они никогда не жили врозь, если не считать тех четы-

рех месяцев, что он провел в Кембридже восемнадцать лет тому назад, завершая свою докторскую диссертацию. Но теперь, чувствовал Мак-Грегор, жену брала уже неодолимая усталость.

— Ладно,— проговорил он, точно в этот момент придя к решению.— Если сможешь меня убедить, что Европа нас не разочарует, тогда я навсегда осяду там, как только покончу с этим курдским делом.

Она поглядела на него удивленно-подозрительно.

— С чего вдруг в тебе такая перемена?

— Дай только выполнить это задание, и тогда уеду отсюда навсегда.

— Что-то не верится мне...— проговорила Кэти. Он покраснел, задетый, и она сказала: — Ну хорошо, хорошо,— словно опасаясь, что решимость мужа улетучится от ее недоверия.— Пусть так, раз уж иначе тебя не вырвать отсюда.

Косясь на дверь, Мак-Грегор придерживал за лапки кур, поклохтывавших и силившихся развязаться. Народу в парной и потной чайхане становилось меньше. Вышло из-за туч солнце; у старых, помятых немецких грузовиков, нагруженных тяжело, точно баржи, уже урчали моторы. Грязь на полу, натоптанная входящими и выходящими, подсыхала комками. Выбежал за кем-то чайханщик с криком, что ему не уплатили, а Мак-Грегор все держал кур, все не спускал глаз с двери.

— Вот и Размара,— произнес он.

Полковник Размара молча поклонился им издали, сел за свой отдельный столик, велел подать завтрак. А Мак-Грегор вдруг обратил внимание на четверых парней, одетых в рваные шоферские комбинезоны и сидевших у дверей в окружении узлов и котомок. «Вовсе они не шоферы»,— подумал он и решил, что у Размары тоже хватит ума об этом догадаться.

— Что же ты медлишь? — спросила Кэти.

— Спешить не надо.

У Размары было длинное, слегка брюзгливой складки лицо, не отражающее ничего: ни колебаний, ни замешательства, ни удивления.

— Так, так,— сказал он по-английски, подходя к Мак-Грегорам.— Каким ветром занесло вас к нам?

Мак-Грегор пожал равнодушно-вялую руку Размары и сказал, что они только что спустились с Синджанского плато, где он осматривал газовые скважины.

Размара скептически усмехнулся:

— А знаете ли вы, что одно из тамошних селений подверглось бомбежке?

— Мы были при этом,— ответил Мак-Грегор и спросил, чей туда прилетал самолет: иранский, турецкий, американский? Или же это постаралась одна из иностранных разведок, хозяйничающих в горах?

— Пока не знаю. Я видел, как с гор везли раненых на грузовиках в больницу. Вот и все, что мне известно.

— Жестокое, мерзкое дело,— проговорила Кэти.

— В данной ситуации,— заметил Размара, кивком веля чайханщику нести завтрак на стол к Мак-Грегорам,— когда курды замышляют мятеж, их не может удивлять такая кара. Вы позволите присоединиться к вам?

— Пожалуйста.

В комнату вернулся сытенький дехдар (управитель округа), прибывший вместе с Размарой и затем исчезнувший куда-то; он застегивал на ходу брюки. При виде Кэти он до ужаса смешался, его черные усики, казалось, встали дыбом. Полковник бросил ему что-то резкое, но чайханщик замял неловкость — расстелил сырую, когда-то белую

скатерть, разложил ножи, алюминиевые вилки, принес чайники и блюдо засиженных мухами сладостей.

— Мадам,— заговорил дехдар с Кэти.— На вас, кажется, мегрикская куртка?

— Да.

— Это, должно быть, из курток Дубаса. Он такие носит. А где он сам теперь?

— В своих владениях, наверно,— сказала Кэти.

— Когда-нибудь,— промолвил Размара, макая кусок лепешки в горячий сладкий чай,— Затко убьет этого богатого молодчика, и это будет недурной развязкой.

— Развязкой чего?

Полковник указал в окошко, на горы:

— Немного разрядит там атмосферу безрассудного насилия.

Он велел принести фисташек и, когда их подали в большой пиале, пододвинул ее Кэти и спросил:

— Вы согласны со мной, мадам Кэти?

— Согласна. Именно безрассудного,— ответила Кэти.

Размара почти улыбнулся.

— А вы не согласны? — обратился он к Мак-Грегору.

— Не всегда ведь курды занимаются междоусобной дракой.

— Возможно. Но они слишком привержены насилию и недостойны вашего сочувствия...

Пальцы Кэти сжали руку Мак-Грегора. В чайхану вошли Затко и Таха, но Мак-Грегор тут же увидел, что оружия при них нет и, значит, скорее им самим грозит опасность, чем Размаре. Голова Затко оценена, он всегда лакомая добыча для армии, полиции и для кого угодно, хотя временами все делают вид, что забыли об этом.

— А все же поймал тебя здесь,— кивнул Затко Размаре как старому знакомому.

Размара поднял руку, загораживаясь в притворном испуге.

— Не волнуйся,— сказал Затко.— Мы к тебе с миром.

Размара направил зоркий взгляд на Таху, одетого не в курдскую одежду, а в зеленую солдатскую — международную форму городских и сельских партизан.

— Что он у тебя — в тупамаросы записался? — спросил по-курдски Размара.

Засмеявшись, Затко поцеловал у Кэти руку. Таха поздоровался с «тетей Кэтрин» приветливо, но не за руку. В прежние свои тегеранские времена это был умный, смелый парнишка с твердым взглядом блестящих глаз, проявлявший чуткое, хоть и холодноватое, внимание к людям. И как было Сеси, подростку-дочери Мак-Грегоров, устоять перед этим природным обаянием горца! Но теперь Таха повзрослел, посуровел, наглухо замкнулся.

— Вручаю вам вот это,— обратился Таха к Размаре,— хоть и поступаю так вопреки здравому смыслу.— Он подал сложенный вчетверо лист желтоватой бумаги.

— Что это?

— Клочок бумаги,— ответил Таха,— заполненный протестами против заключения в тюрьму курдских студентов. Требующий их освобождения. Возражающий, обличающий, настаивающий и так далее и тому подобное.

— А кому адресовано?

— Самому падишаху.

— Я передам лично,— сказал Размара, пряча бумагу в карман мундира.

— Знаю точно, как передадите и на что употребите,— сказал Таха.

— Так. Что-нибудь еще?

— Больше ничего. Эта бумага — идея моего отца. Сам же я намеревался увезти вас в наши горы и держать там, пока не выпустят студентов. А если не выпустят — срубить вам голову.

— Это было бы неумно,— сказал Размара.

— Мы прибегнем к этому средству, возможно, через месяц. Или через полгода. Упадем как снег на голову.

— Падайте, милости просим,— сказал Размара. Затем повернулся к Затко, слушавшему с тем острым удовольствием, какое курдам доставляют подобные сшибки.— Зачем ты застрелил двух турецких солдат? Какой в этом был смысл, Затко? Или это он их убил? — презрительно кивнул Размара на Таху, который, отойдя к двери, подсел к четверым «шоферам».

— Да ты о чем? — будто не понял Затко.

— Я по радио услышал полчаса назад в машине. Что тебя толкнуло на такую глупость? Ты ведь знал, что последуют ответные меры.

— Какие? — спросил Мак-Грегор.

— Сегодня утром турки повесили четырех курдов в ближайшей к происшествию деревне. Один был почтенный учитель, другой — отец восьмерых детей. Кто были остальные — не знаю.

Мак-Грегор словно издалека услышал гневный голос Затко:

— О, аллах... неужели совсем не осталось на земле правды? — Затко по-курдски бешено заскрежетал зубами.— Но я знаю и клянусь, что наши курды умерли героями,— воскликнул он. В глазах у него стояли слезы.

— Не сомневаюсь,— сухо сказал Размара.— Но впредь прошу не совершать подобных глупостей. Мы не потерпим этого ни на нашей, ни на той стороне границы.

— Не потерпите? — вскинулся Затко.— Два миллиона курдов живут в Турции хуже собак. Ежегодно их расстреливают и вешают...

— Не следует убивать турецких солдат на турецкой границе,— невозмутимо повторил Размара.— Это себя не оправдывает.

Отставив недопитое, он встал.

— Ты куда же? — спросил Затко.

Все это время Таха и Размара следили друг за другом понимающими и враждебными взглядами.

— Уезжаю,— сказал Размара.— И тебе советую. Пребывание здесь становится опасным.

— Но я не поел еще,— сказал Затко.

Размара высыпал в карман оставшиеся фисташки.

— Уезжай отсюда, Затко,— сказал он.— И прихвати своего сына-тупамароса. Я не хочу, чтобы с вами приключилась беда в моем округе.

— Какая такая беда? — удивился Затко.— Прошу тебя, садись.

— Дехдар пошел к моей машине сказать шоферу, чтобы радировал о тебе жандармам на старую заставу.

— Никуда дехдар не пошел,— заверил Затко.— Дехдар сидит во дворе на скамейке, и по бокам у дехдара двое моих караульных сидят. Так что прошу тебя, не торопись.

Размара постоял, подумал, усмехнулся безбоязненной усмешкой.

— Вот что,— сказал Размара.— Ты отпусти его, и мы с ним продолжим обычный объезд и забудем о встрече.

— Согласен,— любезно сказал Затко, и Размара, поклонившись Мак-Грегорам, вышел, грызя фисташки. Мак-Грегор тоже хотел встать, но Затко положил ему руку на плечо.— Эти убитые курды — наша трагедия, наша печаль, не твоя,— сказал он.— Вина тут на мне.

— На ком бы ни лежала вина,— сказал Мак-Грегор,— но кровь пролита.

Затко вышел вслед за Размарой.

— Уйдем отсюда, ради бога,— сказала Кэти.— Я не могу больше.

— Пойдем. Нас ничто здесь не держит,— сказал Мак-Грегор.

Но Кэтрин указала на связанных кур.

— А с ними как же быть? — спросила она.

Он поглядел на этих горестных заморышей.

— Пустить их, пожалуй, на волю,— сказал он.

— Не сумасбродствуй,— сказала Кэти.— Их тут же кто-нибудь поймает.

— Что ж поделать? — сказал он.— Все-таки мы их выпустим.

Вынув из кармана нож, он перерезал путы. Вынес кур на улицу, подбросил в воздух. Они тяжело приземлились и побрели пошатываясь, точно прилипая лапами к грязи. Но тут их увидала облезлая собака, залаяла, погналась, и тощие, жилистые птицы с кудахтаньем и криком кинулись под гору.

Затко и Размара стояли на пороге, а вокруг — еще с десяток курдов и персов, и все они со смехом глядели на это зрелище; и Мак-Грегор ощутил, как по коже дернуло ознобом, как сжалось сердце от давней боли, к которой он, кажется, один тут еще не притерпелся.

Глава восьмая

Затко вернулся в свое высокогорье, а Таха остался с Мак-Грегорами, чтобы на стареньком «пежо» доставить их в Мехабад, где ждал ливанец Аббекр. Но, проводив отца, Таха сказал, что прежде им надо заехать в горную деревушку в тридцати километрах отсюда.

— Зачем?

— Это вам будет полезно, дядя Айвор.

— У меня нет времени.

— Времени уйдет на это мало,— спокойно сказал Таха.— Там увидите кой-кого из моих парней,— пояснил он.— Они не верят в объединенный фронт с феодалами вроде ильхана, или с дельцами вроде Аббекра, или с честными судьями вроде кази.

— Или с твоим отцом? — кольнул Мак-Грегор.

— Что ж нам отец? — ответил Таха.— У отца свои идеи, у нас свои. Я сюда ехал с ним, по сути, только для того, чтобы встретиться с вами.

— Вот как...

— Я насчет тех денег, дядя Айвор,— прибавил Таха по-английски.

— Каких денег?

— Мы же не дети,— сказал Таха, ведя Мак-Грегоров на взгорок, к машине.— Любому тут уже известно про те наши деньги и про оружие. И что вы едете на розыски в Европу.

— Тебя это совершенно не касается,— сказал Мак-Грегор.— Так что нечего и заговаривать.

Они стояли у машины, дожидаясь Кэти, отлучившейся по делу, столь неприятному ей среди нагорной чистоты. Вернувшись и прислушавшись, Кэти сказала, что здесь не место возобновлять старые политические препирательства.

— Но как же так, тетя Кэтрин,— не унимался Таха.— Эти деньги должны пойти на революцию, а не ильхану достаться.

— Они вовсе не достанутся ильхану,— возмущенно возразил Мак-Грегор.

— Кончится тем, что достанутся,— стоял на своем Таха.— Так или иначе, а старик в конце концов заполучит деньги и оружие, и ни кази, ни мой отец не смогут этому помешать.

И снова у них пошел спор о том, за что бороться прежде — за освобождение курдов или же за социальную революцию,— покуда Кэти не вмешалась, потеряв терпение.

— Здесь вы этот спор не разрешите,— сказала она.— И в любом случае Таха прав,— повернулась она к мужу.— Найдешь ты или не найдешь эти деньги в Европе, все равно настоящей пользы не будет.

— Это почему же?

— Потому что повторится вечная история. Если удастся когда-нибудь достичь чего-то, то не благодаря помощи от тебя — иностранца. И не благодаря коварным старикам, плетущим у себя там в горах интриги. Если кто и добьется успеха, то, вероятнее всего, Таха — и без твоей помощи.

— Таха хочет революции, а ведь они еще и в нацию не оформились,— напомнил Мак-Грегор.— Разве это резонно?

— Речь не о том,— возразила Кэти, садясь в машину.

Больше часа поднимались они в горы по труднопроезжей, слякотной тропе, прежде чем увидели стада черных коз — первый признак близости горного убогого жилья. Въехали в деревушку, сейчас почему-то пустую. И сразу же из-за мокрых от дождя скал, из каменных лачуг к ним вышли бойцы Тахи с видом людей, наконец-то дождавшихся.

— Почему задержка? — раздались вопросы.— Что случилось?

Бойцов было шестеро, и на каждом была та же грязно-зеленая партизанская форма, что и на Тахе, и каждый был обут в солдатские ботинки. Таха познакомил их с Мак-Грегорами, хорошо известными здесь в горах, и сообщил о том, что передал петицию Размаре.

— При содействии папаши Затко,— насмешливо заметил один из юнцов.

— Хватит вам о Размаре и прочей чепухе,— вмешался парень в потертых вязаных перчатках.— Ты вот скажи, какое заметил движение на черной дороге?

— Там полно персидских военных грузовиков,— сказал Таха.

— Тогда нам надо трогаться отсюда.

— Не будем торопиться.

— Учти, Таха, по такой слякоти выше на кряж нам не подняться.

— Можно тут еще побыть немного,— сказал Таха.

— Нет, нельзя,— возразил парень.— Того и гляди, снизу армия налетит саранчой на деревню. Их непременно жди после объездов Размары.

— Как считаешь, доктор? — обратился один из студентов к Мак-Грегору.— Считаешь, надо уходить нам?

— Я совершенно не в курсе ваших дел,— ответил Мак-Грегор.

Это смутило юнца; Мак-Грегор обвел взглядом всех их, стоявших в проулочной грязи. Один был бородат, другой толст, горяч и добродушен, у третьего был прилежно студенческий вид и батарея шариковых стержней торчала из кармана рубашки, а за поясом — блокнот; четвертый был чахл и потому малонадежен, пятый не сводил с Кэти юных чувственных курдских глазищ, а шестой держал в руке автоматический карабин, как держат неразлучный чемоданчик. Таха явно был взрослее всех и имел уверенный вид аксакала.

— Что вы, собственно, делаете тут вооруженные? — спросил Мак-Грегор.

— Деревушка здесь пастушья,— ответил Таха.— Вся она, до последнего жителя, в кабале у курдского феодала — Кассима из рода Бени-Джаф. В соседней деревне живет его приказчик и приходует тут каждую овцу, козу, баранью шкуру, каждый клок шерсти. Пять лет назад Кассим убил на здешних летних пастбищах троих старейшин,

попросивших прибавки зерна, продуктов и денег. А за два года до того из деревушки бесследно пропали две девушки, и похитили их все те же Бени-Джафы. В прошлом году четыре пастуха были убиты за то, что сдали не всю настриженную шерсть. Чуть худой год, дети так и мрут с голода — то есть от болезней, вызванных недоеданием, холодом, нечистотой. Сахар и рис в деревне редкость, школы и книги — вовсе невидаль. Врачи и назначенные в управу курды здесь не бывают. Так что нас слушают охотно,— закончил Таха,— и когда придет час революции, они будут знать, против кого им драться.

— А чем? Голыми руками? — спросил Мак-Грегор.— Вы вооружены, но они-то — нет.

Парни засмеялись, и Таха сказал:

— Что ж, пойдемте, взглянете.

Вслед за Тахой все направились к кучке пустых лачуг, остановились перед сложенной из камней хибаркой. Таха отомкнул смазанный маслом замок, открыл дверь, снял щит из досок, плотно закрывавший окошко. Внутри у стены стояли четыре винтовки, два автомата, ящики с патронами, шесть двадцатигаллоновых канистр с бензином; лежали мины, сваленные кучей штыки.

— Где вы это добыли? — спросил Мак-Грегор.

— За последние полтора месяца,— сказал Таха,— мы провели десять ночных налетов на персидские военные посты.

— Кто — мы?

— Да вот они со мной,— ответил Таха.

— И что ты велишь жителям делать с этим оружием? Ханов убивать?

Таха будто не заметил иронии.

— Если бы все эти нищие деревушки вооружить, то иранская армия не смела бы и сунуться в горы,— сказал он,— а курдские феодалы подохли бы со страха. Вот для чего нам нужно то, за чем вас шлют в Европу, дядя Айвор.

— Стоит персам найти хотя бы часть хранящегося здесь, и они перевешают всех мужчин в деревне. Вы играете жизнями беззащитных людей.

Таха, сдерживаясь, ответил, что среди курдов нет беззащитных и что должна же курдская революция где-то начаться.

— Но не таким путем,— возразил Мак-Грегор.— Вам-то самим нетрудно скрыться в горах. А сельчанам уйти некуда, и кара падет на них.

— Я знаю,— сказал Таха.— Однако должны же крестьяне участвовать.

— Но не таким путем,— повторил Мак-Грегор.— Не в разрозненных деревенских бунтах.

Таха затворил уже дверь склада, навесил замок, и Мак-Грегор, пройдя взглядом по всему жалкому ряду лачуг, спросил, куда девались жители, почему обезлюдела деревня.

— Они все у речки, на плато,— ответил один из парней.— Справляют двойную свадьбу.

«Двойная» свадьба у курдов — самая недорогостоящая из свадеб — распространена во всех бедных горных селениях; брат и сестра вступают в брак с сестрой и братом из другой семьи, так что обеим семьям не надо тратиться на калым за невесту.

Они направились к реке, осторожно начали спускаться к плато, слыша снизу обрядовое свадебное пение и шум взбухшего от дождей потока, несущегося по камням и расселинам. Все курдские поэты воспевают эти реки — жизненосные сосуды Курдистана.

Еще на спуске их встретили деревенские собаки — головастые, рычащие беспородные псы.

— Терпеть не могу этих ублюдков,— сказал жене Мак-Грегор.

— Иди не останавливаясь,— сказала Кэти.— Когда робеешь, они чувствуют и становятся еще злей.

Она взяла его под руку и храбро повела на собак. Те рычать не перестали, но пропустили людей, и Мак-Грегор отметил, что не только он, но и двое из бунтарей тоже воспользовались защитой Кэти.

— Великий боже! — простонала Кэти, когда сошли на плато.— Они тут хоровод свой полоумный водят и нас тоже затащат в него.

Напев был плачуще сладок; горцы и горянки, встав слитным кругом, касаясь плечами, подавались на два-три шаркающих шажка в одну сторону, затем в другую, волнообразно колеблясь, как пшеница под ветром. Одеты все они были бедно — частью в курдское, частью в европейское, главным же образом в британские, американские, иранские, иракские армейские обноски. Женщины двигались в танце застенчиво, у мужчин был традиционный томно-любовный вид.

— Дурманятся по старинке,— проговорил Таха.

Деревенский хатхода (староста), который, завернувшись в заасленную английскую шинель, сидел среди оборванной детворы, встал и хлопнул в ладоши, и танец остановился. Танцоры стряхнули с себя томность, раздался смех.

— К вам гости,— объявил Таха.— Друзья.

— Милости просим! — зашумели горцы, сердечно хлопая парней по плечам, по спине, повторяя «Добро пожаловать», кивая, пожимая руки, хотя всего полчаса назад виделись с ними. Мак-Грегора и Кэти обступили девушки, щупали одежду, пощипывали руки в знак приязни.

— Таха явно произвел здесь впечатление,— негромко заметила Кэти.

— Ребята они все славные. Но это мало что значит,— возразил Мак-Грегор.

— Но ведь и у китайцев начиналось, должно быть, вот так же,— сказала Кэти.

— Китай густейше населен. А курдские горные селения — разбросанные в горах островки нищеты, крайне уязвимые для врага. Сравнения тут быть не может.

Опять уже выстраивали круг, и девушки тянули Кэти за руку в хоровод. Ее спасло то, что снизу берегом прибежал мальчуган-курд, скача босоного по камням и крича, что к деревне подымаются тропой двое чужеземцев.

Глава девятая

Таха взбежал по грубо высеченным ступеням на высокий каменный уступ над рекой, Мак-Грегор последовал за ним, и они увидели сверху, как двое чужаков идут неровной каменистой стежкой вдоль речного русла. Наведя на них взятый у Тахи полевой бинокль, Мак-Грегор долго и пристально вглядывался, и Таха терпеливо ждал — он знал, что Мак-Грегору знакомы многие из иностранцев, наведывающихся в горы.

— Этих я, пожалуй, знаю,— сказал Мак-Грегор.

— А кто они?

— Англичанина зовут Фландерс, а с ним перс, его холоп. (Мак-Грегор хотел сказать «лакей», но в курдском языке нет такого слова.)

— Какое у него тут может быть дело?

— Не знаю. Но он состоит при одной из международных организаций помощи голодающим детям. «Чилдрен анлимитед» — так, кажется, ее именуют. Твой отец знает Фландерса. И тетя Кэтрин тоже.

— Дорога ему явно знакома.

— Он не первый год сюда наезжает, излазил эти горы вдоль и поперек,— сказал Мак-Грегор.

— Он что — британский агент?

— Вероятно.

— Так застрелить его,— сказал один из парней.

— Не делайте глупостей,— поспешно сказал Мак-Грегор, зная, что любой из них вполне способен тут же подкрепить слово делом.

Снизу, от реки, донесся голос старого хатходы: он кричал, что знает этого инглизи (англичанина). Инглизи был уже здесь несколько раз, присылал им рис, фасоль, одежду.

— Раз так, мы лучше скроемся на время в горы, в пастушье становье куда-нибудь,— сказал Таха.

Кэти уже поднялась к ним на уступ. Узнав, что инглизи — не кто иной, как Фландерс, она сказала:

— Мне это не слишком нравится. Я с ним летела из Лондона. Вернее, он сел в наш самолет в Женеве. Вдвоем с этим гладиатором-персом. Он определенно что-то здесь вынюхивает.

— Так вы задержите их здесь,— сказал Таха, сходя по ступеням,— а мы тем временем уберемся с глаз долой.

Студенты и крестьяне, а за ними и собаки, уже спешили обратно в селение; Мак-Грегор велел одному из мальчишек-подростков сбегать к машине и побыстрей принести рюкзак.

— Для чего тебе? — спросила Кэти.

— Раз Фландерс что-то вынюхивает, то он непременно поинтересуется, чем я здесь занят.

— Он, наверно, и так знает.

— Нет, скорее, до Фландерса дошли вести о Тахе и его бунтарях,— сказал Мак-Грегор, стоя на уступе и глядя, как те двое проворно прыгают с камня на камень. Вернулся мальчик с рюкзаком; Мак-Грегор вынул, разложил карты, блокноты, приборы, и Кэти с неприязнью глядела на упрямо-методические действия мужа. Он щурился на фотометрическую схему, всматривался в пустынные холмы горизонта, в нагие, чахлые лощины, а на Кэти не обращал внимания.

Поднявшись на скальную площадку, Фландерс не выказал удивления при виде Мак-Грегоров.

— Мне везет,— сказал он.— Я так и думал, что рано или поздно наткнусь здесь на вас.

Непринужденно поздоровались, и Кэти спросила Фландерса:

— Вы-то зачем здесь?

— Овец считаю,— ответил тот.

— Овец?

— Я знал, чем огорошить вас,— улыбнулся Фландерс.

Голубые бойкие глаза его уже прошлись по картам Мак-Грегора, блокнотам, оптическим трубкам, окинули даль за хребтами.

— Помните бедственную зиму шестьдесят третьего года, когда в горах тут пали миллионы овец и коз и умерло столько детей?

— Помним, конечно.

— На днях в Женеве наша комиссия постановила закупить в Турции десять тысяч овец и пять тысяч коз и распределить по горным глухим деревням.

— Большая будет польза,— сказала Кэти.— Особенно здешним помещикам.

— Это пойдет не помещикам,— возразил Фландерс.— Я сам присмотрю за распределением. И что ж поделать, если у них такой строй.

От профессионального глаза Фландерса не укрывалось ничего, и Мак-Грегор чувствовал, что взяты на заметку и его обожженные напалмом башмаки, и следы смазки на куртке, оставленные автоматом Затко.

— Вид у вас слегка чумазый,— сказал Фландерс Мак-Грегору.

— Ведя изыскания в горах, иногда приходится пачкаться,— ответил Мак-Грегор.

— Вижу, что супруг ваш, Кэти, по-прежнему роется в недрах. Я и не знал, что здесь в горах есть нефть.

— Не нефть,— поспешил поправить Мак-Грегор.— Природный газ.

— Весьма интересно. А как вы этот газ изыскиваете? — Фландерс указал на карты носком замшевого ботинка, и Мак-Грегор отметил удивительную опрятность и подтянутость Фландерса. Ему шел уже седьмой десяток, но он был энергичный, свежелицый человек с прямой осанкой. Выбрит он был так чисто, что казалось, ему вообще не надо бриться. Перс, спутник Фландерса, был точной копией хозяина, только чуть помоложе. Говорили, что он при Фландерсе в должности не только лакея, но и массажиста. И действительно, выглядел Фландерс всегда так, точно ему минуту назад кончили массировать шею и плечи. Оба были одеты в костюмы из английского твида. Мак-Грегор знал, что эти два донельзя крепких старикана упражняются вдвоем в борьбе дзю-до. Фландерс был племянником лорда Окстеда и дружен с родней Кэти.— По каким, собственно, признакам вы находите газ? — допытывался Фландерс.

До Мак-Грегора донесся лай деревенских собак и шум отъезжающей машины. Но он для верности еще немного задержал Фландерса.

— В основном берем в расчет гидравлику,— сказал он.

— То есть подземные воды?

Мак-Грегор кивнул и указал на длинную линию утесистых гор.

— Под всеми этими кряжами обилие текучих вод,— сказал он.— Причем здесь в горах подземная вода обычно в смеси с нефтью и газом. Когда же свободному течению этой смеси препятствует глубинный сброс или сдвиг — а его обычно удается распознать по складкам поверхности,— то нефть и газ с водой, скопляясь, образуют под высоким давлением подземные резервуары. Их-то мы и ищем.

— А затем?

— Затем бурим скважины. По трубам перекачиваем.

— Но куда тут перекачивать? — Фландерс указал на голые горы.

— Куда требуется, туда и доставляем — на переработку.

— На иранские заводы?

— Разумеется.

— А как отнесутся к перекачке ваши курдские друзья? — спросил Фландерс.— Я слышал, они и компанию уже основали, хотят одни владеть всем этим.

Мак-Грегор почувствовал, что краснеет, и Кэти пришлось выручать его.

— Очередная побасенка о курдах, сочиненная в тегеранском баре. Все вы большие любители их сочинять,— сказала она.

— Но ведь это факт, Кэти,— возразил Фландерс.— Курды действительно продали за кругленькую сумму свои фиктивные права на здешние нефтяные и рудные богатства.

— Да кто вам сказал? — спросил его Мак-Грегор.

— Неужели вы думаете, что подобное дельце можно долго дер-

жать в секрете? — сказал со смехом Фландерс.— Мне говорили о нем в Женеве уже пять или шесть человек.

— Вот как? — И Мак-Грегор решил на этом кончить разговор, но Кэти спросила Фландерса, что именно было сообщено ему в Женеве.

— Курды поместили в один из европейских банков крупную сумму денег, добытых путем какой-то темной сделки. Между курдами даже вспыхнула кровавая свара из-за этих денег и оружия, на них покупаемого. Один курд уже убит в Париже. Верно ведь, Мак-Грегор?

Мак-Грегор промолчал, и Кэти снова рассердилась.

— Идемте-ка в деревню, Артур,— сказала она Фландерсу.— Опять, видно, собирается дождь.

Мак-Грегор с готовностью принялся свертывать карты. Фландерс кивком велел своему персу идти впереди.

— Одна из привлекательных черт местного быта,— сказал Фландерс, спускаясь с уступа вслед за персом,— это простота отношений между заклятыми врагами, непринужденность общения в гуще всей этой вражды. Так бывало у арабов с крестоносцами. Только что пировали вместе, а глядишь — уже рубят головы друг другу.

Мускулисто спрыгивая со ступени на ступень, он спустился и помог сойти Кэти.

— Но самому-то вам чего ради проводить столько времени в горах — в гуще всей этой вражды? — спросила она Фландерса.

— Ради голодающих детей,— ответил тот.

— Овец переписываете?

— Все для спасения детей.

— Весьма удобная формула,— сухо сказала Кэти.

— Дети курдов пьют козье молоко и едят овечий сыр. Они — единственная причина моего пребывания здесь, и не будьте вы так богомерзко подозрительны,— добродушным тоном сказал Фландерс.

— Я хочу лишь напомнить, что курды жестоки и мстительны и пустят вам пулю в спину, если им придутся не по вкусу ваши действия здесь.

— Какие действия?

— Уж не знаю там... обман дружеского доверия, шпионаж. Или что-нибудь вроде.

— Клянусь вам, Кэти, у меня все честно и открыто,— улыбнулся Фландерс.

Подымаясь крутой тропой, Мак-Грегор слушал их словесную пикировку. В деревне с Фландерсом стали дружески здороваться крестьяне; Кэти сердито заметила Мак-Грегору:

— Вот видишь. Всем уже известно про эти деньги.

— Поэтому кази и хочет, чтобы я поехал и выяснил, что с ними случилось.

— И про тебя дознаются.

— Пожалуй,— ответил Мак-Грегор.— Но к тому времени, надеюсь, я уже разыщу и верну деньги.

Они замолчали и стали глядеть на Фландерса за работой среди крестьян — он говорил с ними на ломаном, но вполне сносном курдском, даже пошучивал с женщинами. Он объяснял им, что прибыл в горы для подсчета овец, коз и ребятишек.

Он обошел и осмотрел всю деревню, делая заметки, задавая вопросы, а Мак-Грегор следил издали, заметит ли Фландерс оружейный склад. Бросив взгляд на густо смазанный замок, Фландерс коротко рассмеялся, словно угадав, зачем тут навешен замок.

— Все в порядке,— крикнул он Мак-Грегорам.— Вот и покончено со здешними делами. Хотите, подброшу вас в Мехабад на своем «ленд-ровере».

Фландерс прикатил сюда по той же горной дороге, по которой вез Мак-Грегоров в деревню Таха. Кэти стала подыматься с Фландерсом на дорогу к «лендроверу», а Мак-Грегор за ней — хоть и опасаясь собак на тропе, но приотстав устало: сказывалось бессонное нервное напряжение.

— Побыстрей, пожалуйста,— раздраженно бросила ему Кэти.— Начинается дождь, и я не хочу промокнуть. Здесь и обсушиться негде.

Ускорив шаг, Мак-Грегор взял под руку запыхавшуюся Кэти. Но она не приняла его руки, убрала локоть.

Сидя на переднем сиденье, она продолжала посмеиваться, перебрасываться колкими шутками с ведущим машину Фландерсом. Мак-Грегор сел позади, рядом с персом, и, борясь с дремотой, слушал их голоса. Машина мягко катила с гор, и на спуске к озеру Урмия он уснул, а проснулся лишь у полицейского участка в Мехабаде, куда просил Фландерса их довезти.

— До скорого,— весело простился с ними Фландерс.— Ждите меня в гости в Тегеране. У меня куча вопросов,— сказал он Мак-Грегору. И, отъезжая в «лендровере», крикнул: —...Касательно нефти...

Мак-Грегор следил глазами за машиной, пока она не скрылась из виду. Затем вскинул на спину рюкзак, указал рукой вперед, на пыльную дорогу. Дом, куда они направлялись теперь, стоял почти на самом краю города, на берегу речки Садж-Булак. Владел им курд по имени Хамид-тачальщик — богатый городской неприметный курд, нажививший после войны чуть ли не состояние на четырех больших строчильных машинах, купленных из армейского излишка у американцев и тачающих, сшивающих что угодно — от автомобильных шин и парашютов до парусины и шелковых чулок. Уродливо-цементной стройки дом его был хотя и новый, но успел стать сборным местом для курдских политических деятелей, курдских дельцов и для друзей вроде Мак-Грегора.

Хамида, однако, не оказалось дома. Слуга, открывший дверь, повел их в персидскую гостиную с украшениями из цветного стекла и с настенными коврами, среди которых висел и привезенный из Мекки, яркотканый. Минут десять прождали, затем вошел ливанец Аббекр с видом человека, крепко спавшего и только что разбуженного.

— Прошу прощения,— сказал он с мягкой учтивостью дельца,— за отсутствие гостеприимства...

Пройдя обычный персидский ритуал взаимных уверений, они сели за кофе, и наконец Аббекр сообщил Мак-Грегору свои сведения о деньгах, о том, куда они были помещены, и о мерах по их розыску. Потом Аббекр положил перед собеседником на инкрустированный столик письма в банк и доверенности на имя Мак-Грегора и желтый конверт с тысячей английских фунтов на расходы.

— Денег не надо,— сказал Мак-Грегор, отстраняя их, так что конверт уперся в сытое брюшко Аббекра.

— Эта сумма вам понадобится, а быть может, и окажется недостаточной,— сказал Аббекр, опять пододвигая деньги.

— Я не возьму их, Аббекр, и не надо настаивать,— сказал Мак-Грегор.

Кэти, сидевшая на стачанной Хамидом тахте, легонько ткнула мужа в бок..

— Бери,— сказала она.— В Европе все теперь намного дороже, чем ты думаешь.

Он не знал, говорит ли Кэти в насмешку или всерьез. И все равно, в любом случае он не взял бы этих денег.

— Вы опасаетесь, чтобы не сказали, будто вы платный агент курдов? — мягко спросил Аббекр.

— Допустим, опасаюсь.

— В таком случае, не буду настаивать. Но обещайте мне, по крайней мере, что вы обратитесь в парижский банк Исмаили, к мосье Ажукиру, если вам понадобятся деньги.

— Если будет в том необходимость,— сказал Мак-Грегор и встал.

Но когда Аббекр вышел распорядиться, чтобы подали автомобиль Хамида, Кэти сказала:

— Ты с ума сошел — тратить с таким трудом собранные средства на бредовый курдский замысел. Уж если им досталась эта прорва денег, то пусть хоть сами, черт возьми, несут расходы по розыску.

— Обойдусь и так,— ответил Мак-Грегор.

Услышав от Аббекра, что «мерседес» ждет, они вышли во двор. Их встретил холод, сумрак, небо лиловело смутно и бархатно, большой обнесенный дувалом сад полнился тусклыми тенями и захолустной тишиной. Аббекр повел их к высоким деревянным воротам, но еще издали они услышали чей-то голос с дувала. Мак-Грегор разобрал, что кричали по-курдски:

— Рашид, не выпускай их со двора.

— Подождем-ка здесь минуту,— сказал Мак-Грегор жене.

— А что там такое?

— Не знаю еще. Подождем.

Послышалась возня, топот чьих-то бегущих по улице ног. Зафырчал мотор, с ревом отъехала машина.

— Рашид! — крикнул за спиной у них Аббекр.— Где ты?

— Что тут происходит? — спросил Мак-Грегор.

В свете фонаря у ворот возник курд, вооруженный автоматом, запыхавшийся от бега. Увидев их, он сказал со смехом:

— Не бойся, доктор. Все уже в порядке.

Попросив еще чуточку подождать, Аббекр осторожно вышел за ворота.

— Надеюсь, тебе это доставляет удовольствие,— сказала Кэти Мак-Грегору.— Мне же — ни малейшего.

— Обычная курдская драматизация событий,— сказал Мак-Грегор.

— Нет уж. В таких делах курды — настоящие душегубы.

— Кэти!

— Именно — душегубы...

Вернувшийся Аббекр заверил, что все в полном порядке.

— Что поделаешь, такая сумма денег,— сказал он извиняющимся тоном.

— Это не за деньгами охота, а вот за кем,— и Кэти сердито указала на мужа.

— Нет, нет,— сказал Аббекр, усаживая их в гудящий дизелем «мерседес» и заверяя Кэти, что пусть курды и слишком дерзки, слишком шумливы, слишком старозаветны, но они не душегубы. И Аббекр деликатно помахал им вслед кончиками пухлых пальцев, словно демонстрируя, сколь мягкими могут быть курды.

Глава десятая

В Тегеране, под низким потолком своей гостиной, в старом скрипучем доме среди сада, обнесенного высоким глиняным дувалом и полного сухих листьев, сухих цикламенов, пыльных бугенвиллий, роз, эвкалиптов, узких арыков,— в Тегеране они попытались достичь какого-то согласия, которое позволило бы им пройти сквозь эту передрягу без разрыва.

— А как ты объявишь Джамалю Джанабу, что уходишь от них и связываешь свою судьбу с курдами? — сурово спросила Кэти.

Джамаль заведовал отделом изысканий и залежей — тем отделом Иранской национальной нефтяной компании, в котором работал Мак-Грегор.

— Не знаю, что ему сказать,— признался Мак-Грегор.

Сидя в гостиной дома, где он родился и вырос, где отовсюду на него тысячелико глядела Персия, Мак-Грегор пожалел, что с ними нет сейчас дочери или сына,— не потому лишь, что соскучился по ним, но и потому, что при детях Кэти была бы с ним не так строга.

— Тебе неизбежно придется солгать Джамалю,— продолжала она безжалостно.

— Солги я — и он тут же распознает ложь,— сказал Мак-Грегор.

— А что же тебе остается — ведь ты поклялся курдам хранить тайну.

— Ну не сердись, Кэт,— мягко успокаивая, подошел он к ней.— Я не стану обманывать Джамаля, старого нашего друга.

— Он столько лет защищал и ограждал тебя.

— Знаю,— вздохнул Мак-Грегор, пропуская сквозь пальцы ее стриженые волосы, а мыслью уходя куда-то далеко.— Жаль все-таки, что ты остриглась. Стала похожа на своего брата.— И с удивлением увидел, что глаза ее наполнились слезами.

Она отстранилась, сказала:

— Оставь свои нежности. Ты просто хочешь уклониться от неприятной темы.

— Ты права,— сказал он отходя.

Днем, у Джамаля Джанаба, он постарался обойтись без лжи. Джамаль — толстый, пухлощекий, встревоженного вида перс — своим обостренно-нервным чутьем тотчас угадал, что Мак-Грегор хочет и не решается сказать что-то важное. Выйдя из «геологоразведочной», где Мак-Грегор показывал Джамалю схемы четырех скважин из намеченных к бурению в курдских районах, они поднялись на верх стеклянной коробки — здания ИННК, в кабинет Джамаля. Сели с краю длинного стола, за которым вот уже пять лет проводили свои еженедельные совещания, и Мак-Грегор, сняв очки, сказал просто:

— Хочу на время уехать в Европу, Джамаль.

От удивления у Джамаля отвисла мясистая челюсть.

— Дорогой мой,— произнес он.— Прямо сейчас и уехать?

— Я знаю, следовало предупредить заблаговременно,— продолжал Мак-Грегор,— но решение я принял только после приезда Кэти.

— А-а, дети...— с надеждой в голосе сказал Джамаль.— Детям потребовалось твое присутствие.

Сам Джамаль был нежный семьянин. У него было двое упитанных сынишек и пухлая дочурка с голубыми — от дурного глаза — перстеньками на пальцах, кудрявая, с пухлыми ножками. Джамалю приятно было обнаруживать ту же семейную нежную струнку у своих друзей. Ведь в этом же и радость дружбы!

— Нет, дело не в детях,— сказал Мак-Грегор.— Просто хочу на время уехать.

— Надолго?

— На полгода. Быть может, надольше.

— Неужели!..— Джамаль встал, подошел к окну за спиной у Мак-Грегора, бросил нервный взгляд на улицу сквозь пластиковые рейки жалюзи. Затем уставился на рисунки дочери, изображающие женщин в чадрах и приклеенные к листьям большого каучуконоса в кадке.— Полгода,— повторил он.— Значит, дело серьезное.

Мак-Грегор сидел, не оглядываясь на Джамаля.

— Возможно, будет даже лучше, если я уволюсь,— сказал он.

— Но зачем? — воздел обе руки Джамаль.— Зачем, во имя аллаха, тебе увольняться? По какой причине?

— Ну скажем, по причине конфликта убеждений,— сказал Мак-Грегор помедлив.

— Опять политика? — проговорил Джамаль упавшим голосом.— О господи...

В тот раз, когда Мак-Грегора вторично подвергли домашнему аресту, Джамаль был на год брошен в тюрьму. Иранские нефтепромыслы были тогда денационализированы, возвращены иностранцам, и те позаботились о том, чтобы все ярые поборники национализации были упрятаны за решетку. И теперь прежний пыл и неподдельное мужество Джамаля были укрыты глубоко под панцирем презрения к политике, и, зная это, Мак-Грегор не пытался взломать защитный панцирь. Но он понимал, что без объяснений не обойтись.

— Чего мы, собственно, хотели в молодости, Джамаль?— спросил он.

— К чему напоминать? — Джамаль сжал руки в мусульманском жесте омовения, похрустел толстыми пальцами.— Хотели революции, освобождения, социализма, национальных прав. Зачем спрашиваешь?

— Затем, что, мне кажется, слишком рано мы ослабли духом.

— Ну зачем такое говорить?— воскликнул Джамаль.— Как-никак, мы отстояли кое-что. Отстояли вот это... (Они отстояли Иранскую национальную нефтяную компанию — менее трети иранских нефтяных ресурсов.)

— Но ты взгляни.— И уже Мак-Грегор вскинул руки, указал на стеклянные стены, окружавшие их.— Разве в этом была суть наших устремлений?

— Борьба еще не кончена,— не уступал Джамаль.

— Вот именно, не кончена.

Джамаль понял.

— В таком случае я не хочу и знать, зачем ты едешь в Европу. И не говори мне.

— Не сердись, Джамаль.

Джамаль подошел к своему тикового дерева столу, выдвинул ящик и взял оттуда листок бумаги, покрытый машинописной вязью.

— Вот послушай-ка,— сказал он и прочел по-персидски: — «Сообщите, соответствует ли действительности, что один из ваших старейших сотрудников, доктор Мак-Грегор, находился вместе с шеркийским курдом Затко Джелалем Заибом в момент, когда тот убил двух турецких солдат вблизи пограничной заставы Синдой. Сохраняя в тайне цель данного расследования, выясните по возможности точнее, где был и что делал доктор Мак-Грегор четырнадцатого и пятнадцатого сего месяца».

Мак-Грегора так и обдало горячим ветром погони; но он знал, что скрытничать с Джамалем не годится.

— Ты обязан ответить на это? — спросил он Джамаля.

— Что скажешь, то я им и напишу. Но зачем ты впутался? Зачем тебе курды, хабиби?

— Курды ли, другие ли...— сказал Мак-Грегор.— Последние лет десять мы всё ждем, что вот случится некое таинственное и своевременное чудо и все переменит. Но чуда не произошло. Ничего не случилось.

— А что может случиться? — вскинул плечами Джамаль.

— Не знаю, но должно же где-то начаться снова.

— Пусть так, пусть так. Но я перс, и для меня всякий курд, где

бы он ни был,— это бич и наказание. Пусть получают всё. Всё, что хотят. Но, ради бога, не связывай себя с ними.

— Не тревожься,— сказал Мак-Грегор.— Я буду осторожен.

— Ты говоришь успокоительные слова,— возразил разгоряченно Джамаль,— и вид при этом у тебя такой английский. Но ты пугаешь меня своей примитивной решимостью.

— Вот и уволил бы меня, Джамаль,— сказал Мак-Грегор усмехнувшись.

— Я не допущу, чтоб ты уволился,— сказал Джамаль.— У тебя есть шесть месяцев отпуска, мы тебе их задолжали. Как ты проведешь время отпуска — дело не мое, а твое личное.

— Это подход неразумный,— предостерег Мак-Грегор.— Тебе следует меня уволить. Я как будто дал тебе достаточные основания.

— Нет. Нет. Категорически отказываюсь. Да и Кэти — как она ко всему этому относится?

— Отрицательно.

— И слава богу. Она совершенно права. Как и мне, это ей причиняет страдания — я знаю. Она никогда не согласится. Но я не допущу, чтобы ты уволился. Твое место здесь, со мной. Нас много лет морочили, обманывали, игнорировали, ущемляли, но в нынешнем году состоится большая конференция по нефтяным ресурсам, и, думаю, наконец-то мы займем подобающее нам положение.

— Кэти хочет, чтобы я навсегда уехал из Ирана.

— Э-э... это она просто так. Вот я поговорю с ней. Ты не можешь покинуть нас сейчас. Как раз когда нас начинают хвалить и признавать. Теперь тебя у нас ждет нечто значительное, я уверен. Да и что ты станешь делать в другом месте?

— Не знаю. Собственно, не знаю даже, что будет по приезде в Европу.

— Тогда не надо больше об этом. Поезжай. Бери отпуск, и пусть будет, что будет. А затем возвращайся. Но только будь поосторожней — я ведь знаю курдские повадки.

Мак-Грегор хотел сказать что-то, замялся.

— Нет. Нет,— произнес Джамаль, вертя рубиновый перстень на мизинце.— Пожалуйста, не объясняй мне ничего. Не вынуждай к поспешным действиям, прошу тебя. Просто оставим все как есть.— И он горячо взмахнул обеими руками, рубя воздух.

— Хорошо,— сказал Мак-Грегор и встал.

Джамаль поскорей проводил его к дверям, чтобы ничего больше не было ни сказано, ни решено.

— И когда же ты в путь? — спросил на прощанье Джамаль.

— Откладывать не буду.

Джамаль махнул толстыми пальцами, прикрыл веками черные глаза, сказал: «Пусть так. Пусть так. Я все устрою» — и затворил за Мак-Грегором дверь.

Мак-Грегор вернулся в свой кабинет. Там ждала его Кэти, чтобы ехать с ним домой. Он запер новый немецкий сейф с документами, сунул свернутые трубкой карты в отведенные им длинные черные пластиковые гнезда, выключил свет, закрыл дверь на ключ и вслед за Кэти пошел коридорами к выходу, к автомобильной стоянке.

Была предвечерняя тегеранская пора, час «пик», и Кэти молча вела машину в потоке транспорта. Мак-Грегор смотрел, как стертый в пыль конский навоз сухой поземкой метет, завихряясь, по мостовой. Впереди то и дело такси «пежо» (персы называют их «сосущими время») круто сворачивали из заторов, чтобы попасть в новые заторы.

— Ненавижу этих дураков таксистов с их петляньем,— сердито проговорила Кэти. Затем спросила, что он сказал Джамалю.

— Я сообщил, что уезжаю, и мы подискутировали о политике. Но я не лгал Джамалю,— поспешил он прибавить.

— Но сказал же ты ему что-нибудь?

— Очень мало. Об остальном он догадался.

Еще одно такси свернуло перед самым носом у машины, и Кэти зло сказала:

— И догадался, что ты убил двух турок? — И тут же, шумно вздохнув, произнесла: — О, черт! С языка сорвалось. Извини.

Мак-Грегор промолчал.

Кэти нажала на клаксон.

— Не сжимай ты зубы, не отмалчивайся,— сказала она мужу.— Пусть у меня и сорвалась с языка глупость. Что он тебе все же сказал?

— Ничего особенного. Но он знает про тех турок. К нему пришел запрос из армейской или политической разведки. Я даже предложил уволиться, но он не стал и слушать.

— Дельное предложение, нечего сказать.

Кэти вела машину умело, сосредоточенно. Но у очередного светофора она нетерпеливо хлопнула ладонями по баранке руля, сказала:

— Что ж. Придется мне, видимо, смириться с этим.— И, воздев руки к небу: — Но бог ты мой! Курды — в Европе!

— В Европе не курды,— поправил он как мог шутливей,— а их деньги.

— А за деньгами вслед и насилие,— сказала она мрачно.— Ну и как же ты собираешься искать эти деньги?

— Не знаю.

— Хочешь, я возьмусь за это?

— Нет, не хочу.

Кэти подала машину вперед шага на три.

— Ты все станешь делать не так,— сказала она.— Ты пойдешь открытый, невинный и чистый, как ягненок под нож. Если ты способен мыслить здраво, то дашь мне использовать все рычаги и связи, какими располагаем мы: моя родня...

— Нет,— перебил он.

— ...мои друзья,— продолжала она,— все их влияние. Со своей скромностью ты мало чего добьешься.

— Я хочу сам и по-своему.

— Что ж,— сказала она.— Изволь. Все что угодно, только бы вырвать тебя отсюда.

Он не проронил больше ни слова, не желая, чтобы Кэти своей английской бессознательно презрительной иронией сбила его с принятых решений. Ему хотелось напоследок еще раз раствориться в атмосфере старых тегеранских улочек. Это ведь были лучшие минуты дня. Каждый раз, когда он ехал вот так с работы, ему казалось, что голые вершины Эльбурса скользят к нему в вечерней пыльной дымке, замыкая собой день, обволакивая мозг мглой улиц тускло освещенного города. Порой мелькала болезненная мысль, что там, в лиловых горах, ему и суждено, наверно, умереть. Но всерьез он этому не верил.

Большой «мерседес», следуя примеру такси, свернул перед самой машиной, и Кэти простонала:

— О господи! И все, и все петляют. Как я рада буду распроститься с этим идиотским восточным анархическим сумбуром.

Часть II

Глава одиннадцатая

В свой последний приезд в Европу Кэти не стала занимать какой-либо из фамильных домов в Челси, Белгрейвии или в Голланд-парке, а купила закопченный трехэтажный особняк в Бэттерси. Вычистила, снабдила центральным отоплением и прочими удобствами, меблировала — приготовила дом, как наседка гнездо. Мак-Грегор знал эту манеру Кэти. Держась обособленно от родни, она преодолевала таким способом неприязнь мужа к ее богатству.

— И запомни: ни шагу в трущобы политики, где тебя ждут бандиты с ножами, да еще с курдскими,— сказала Кэти Мак-Грегору.— Входить в Европу будем с парадного хода, не с черного. Спокойно положись на меня, милый. Прошу тебя, давай не будем ссориться.

— Я совершенно спокоен,— сказал он без особой уверенности, сидя в обставленном для него кабинете и притворяясь, будто чувствует себя уютно и дома и вовсе на него не давят черные улицы и пасмурные небеса.

— Просто подожди ты вмешиваться в ход событий,— говорила она просяще.— Погоди бросаться очертя голову.

— Но, Кэти, я не могу долго ждать. Какой смысл в ожидании?

— Нельзя ведь просто ходить и спрашивать, где деньги. Не так эти дела делаются. Позволь мне придать нашему присутствию здесь и в Париже некую убедительность. А иначе ты с самого начала окажешься в невыгодном положении и никто ничего тебе не станет говорить и внимания на тебя обращать не станет.

— Я не хочу делать тебя причастной.

— Мне нужно лишь одно — помочь тебе поскорей развязаться. Вот и вся моя причастность.

— Хорошо, пусть будет по-твоему,— сказал Мак-Грегор. Но он знал, что и так уже попал в невыгодное положение. Требовалось приспосабливаться к жизни ее английского круга. Здесь ни голых гор, ни изможденной нищеты, ни глинобитных городов — нет здесь привычной опоры...

Один из кузенов Кэти, правительственный чиновник в полосатой рубашке, сказал ей:

— Что у твоего мужа на уме? Неприятно чувствовать себя под этим молчаливо-строгим взглядом. Что он замышляет? Он из опасных, видимо.

— Это не исключено,— не зная, что сказать, отшутилась Кэти. И прибавила: — Ты его просто не понимаешь.

— Поди пойми обитателя Тибета,— сказал кузен.

И верно. Кэти знала, что Мак-Грегор здесь — чужак. Она предвидела это. Тем не менее она возила его на уик-энды в белые особняки Хемпшира и в краснокирпичные Глостершира, на речки, холмы и угодья, отгороженные от людей по праву наследования, по купчим крепостям, по давнему обычаю. И, наконец, побывали они у ее матери, жившей окаменело в трех заставленных старыми вещами огромных комнатах фамильного дома на углу Белгрейв-сквер. В дни, назначенные для благотворительности, дворецкий и сиделка-австралийка выкатывали ее в инвалидном кресле и на полчаса оставляли, бессловесную, на фешенебельной панели продавать благотворительный цветок мака или бархатцев или картонную спасательную лодочку с булавкой, которую она бессильна была взять в пальцы и вколоть жертвователю в лацкан пиджака. Она уже оглохла и почти ослепла

и с трудом узнавала Кэти. А кто такой Мак-Грегор, и вовсе позабыла; но, по мнению Кэти, виной тому была не столько слабость зрения и слуха, сколько застарелая кора привилегий и равнодушия, оказавшаяся долговечней ее умственных и физических способностей.

— Это в ней та аристократическая сила, которую ты так презираешь,— сказала Кэти Мак-Грегору; но тот не принял упрека в презрении к старой леди. Напротив, он даже на одно поразительное мгновенье проник было под кору ее безучастия. В этот весенний холодный день на Мак-Грегоре было новое двубортное пальто, новые превосходные туфли, голубая рубашка; он стоял перед тещей в блеклой комнате-зале богатого старого дома. Она улыбнулась ему и сказала:

— А Кэтрин уже надела шляпку?

Он не понял, о чем она. Ведь Кэти не признает головных уборов. Очевидно, речь шла о Кэти давних школьных лет. Не зная, что прокричать в ответ, он взял с подлокотника тещину руку, непостижимым образом еще живую, и подержал в своей — по-восточному почтительно. Вошла Кэти, удивленно взглянула на эту сцену и крикнула матери в вялое ухо:

— Мы уходим. Не забывайте песика чистить.

Кэти нагнулась к шотландскому терьеру, ветхому, полуживому, как его хозяйка, и настолько облезлому, что требовалась бестрепетность Кэти, чтобы спокойно поднять его с пола. Положив эту неопрятную развалину на колени матери (взаимная спасительная терапия), Кэти сказала мужу:

— Пойдем, пока горемыка песик не натворил ей бед на платье.

Мак-Грегор торопливо вышел вслед за Кэти, оставив эту расслабленную пару дожидаться толчка в небытие, в исчезновенье среди склада древностей, которые тут же немедленно будут распроданы.

Визит к теще подействовал на Мак-Грегора угнетающе, и назавтра, чтобы развеяться, он сел в поезд и поехал в Оксфорд, к Эндрью. Мак-Грегору всегда было с сыном легко и хорошо: Эндрью рос мальчиком ясного ума и ровного нрава и настолько уверенным в себе, что ничем было не вывести его из равновесия. По мнению Кэти, он слишком уж был самоуверен, чересчур спокоен, чересчур владел собой. Теперь же, в девятнадцать, он оказался так щедро одарен, что мог не тревожиться о неустроенном будущем или об упущенной возможности. Он знал, что способен делать все, к чему его потянет,— и не зазнавался, не слишком много думал о своих талантах. На следующий по прибытии в Англию день Мак-Грегор, проходя с сыном в сутолоке Бэттерси-бридж-роуд, увидел худенького человека, который был одет с опрятностью, но бедно, во все черное и одиноко шагал по бровке мостовой, подняв сжатый кулак как бы в салюте.

— Это Арно-анархист,— сказал тогда Эндрью отцу.

— А зачем он кулак поднял?

— Арно шагает в параде победы,— объяснил Эндрью.

Глаза у Арно радостно улыбались, лицо выражало сдержанную, застенчивую гордость. По лицу было ясно, что Арно сейчас не просто шествует мысленно в грандиозном параде, но что вокруг видятся ему ряды соратников, а на тротуарах — счастливый, ликующий народ, только что освобожденный. И Арно подымал кулак, смущенно салютуя в ответ на приветственные возгласы и рукоплескания.

— Арно! — окликнул его Эндрью.

Арно поколебался лишь мгновение. Затем вышел из своей воображаемой шеренги и, пройдя через ряды участников парада, радостно и скромно пожал руку стоявшему на тротуаре другу. Какой день, какой великий день!..

— Ну как, Арно, лучше уже теперь? — спросил Эндрью, как спрашивают о заживающей ране.

— Все в порядке,— ответил Арно, прижав ладонь к боку. Но ему явно не терпелось вернуться в колонны. Он сердечно, словно поздравляя, пожал руку Мак-Грегору, затем ласково обнял Эндрью за плечи, и они все втроем сошли на мостовую, лавируя как бы между рядами бойцов. Арно вернулся в свою революционную шеренгу, идущую маршем по клочьям газет, автобусным билетам и шоколадным оберткам, брошенным на асфальт, и некоторое время отец и сын шагали с ним рядом. А затем Эндрью решил, что теперь уже не будет бестактностью выйти из строя, махнул на прощанье рукой, и с тротуара они глядели вслед Арно, пока тот не скрылся за углом.

— На рождество я возил его к нашим обедать,— сказал Эндрью,— а после мы с ним прошагали через весь Клэпем, по снегу чуть не до колен. Но эту его иллюзию ничем не разобьешь. Он не фальшивит ни в одной черте, все его слова резонны и здравы. И если это греза, то старик Арно с головой ушел в нее и счастлив.

Пристрастия Эндрью, при некоторой их случайности, отличались широтой, и в Оксфорде Мак-Грегор разыскал его не дома, а в доминиканской семинарии: Эндрью был занят укладкой пластиковых мешочков со свежей, теплой кровью, предназначенной для Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Мешочки эти подавал ему крупнотелый молодой монах в белой полотняной рясе и сандалиях.

— Отец Джозеф. Мой отец,— представил их друг другу Эндрью, и Мак-Грегор заметил на себе пытливо-улыбчивый взгляд монаха, как бы говоривший: «С отцом такого сына любопытно познакомиться».

— У нас здесь немножко хаос,— сказал монах.

Помещение было заполнено врачами, медсестрами и дающими кровь студентами. Они лежали на раскладушках, на столах, из руки у них каплями стекала кровь в прилаженные к одеялу пластиковые мешочки.

— Надеюсь, вас не угнетает вид крови? — сказал отец Джозеф.

— Консервированной — нет,— сказал Мак-Грегор.

Он помог им уложить уже наполненные мешочки в холодильник в просторной кухне, где другие монахи варили в больших кастрюлях овощной суп и яблочный компот.

— Ох, опять у вас яблоки варят,— сказал Эндрью.

— Как и всегда по воскресеньям,— сказал отец Джозеф.

От сладко-приятного запаха яблок в смеси с кровью, пластиком и супом Мак-Грегора начало слегка мутить; но Эндрью тут же отпросился на часок, и, миновав Сент-Джайлс, они очутились в лоне Бейлиола. Мак-Грегор спросил сына, как это он попал в компанию к монахам.

— Я восхищаюсь ими,— сказал Эндрью.— Оксфорд — неподходящая почва для высоконравственности, но по крайней мере у этих доминиканцев поступки не вовсе расходятся с их проповедями.

— Ты имеешь в виду сбор крови для Вьетнама?

— А что? Кто еще здесь в городе дал бы помещение сборщикам крови для вьетнамского НФО? Проведешь полчаса у них в монастыре — и забываешь, что весь Оксфорд лишь рассадник правоверной косности.

— Вот как! О какой же косности ты говоришь?

— Да о всякой — политической, нравственной, религиозной. Всюду та же косность. Здесь у нас ересей не водится.

— Мне казалось, ты поступил в Бейлиол именно потому, что он славится своей неправоверностью.

— Так я считал,— со смехом сказал Эндрью.— Но юмор-то весь в том, что в Бейлиоле ересь преподают лишь, чтобы укрепить тебя в правоверии. Обучают тебя тому, как поискусней вести дело ортодоксии.

Они прошли уже под своды колледжа св. Иоанна и, глядя на грязно-каменные монастырские аркады и церковь, Мак-Грегор вспомнил, что сам чувствовал себя в Кембридже, как в склепе, от такого же обилия кирпичных стен, стрельчатых арок, готических окон, вечерних колоколов.

— Ты возьми здесь то, что тебе нужно, а остальное отбрось,— сказал он.

— Не выйдет это у меня,— ответил Эндрью.— Да и не думаю, чтобы политике следовало обучать, как, скажем, религии или медицине. А здесь занимаются именно этим — выпеканием всяческих целителей и магов.

— Ты не спеши с оценками,— предостерег Мак-Грегор, хоть и знал, что предостережение излишне, ибо Эндрью слишком рассудителен и поспешности ни в чем себе не позволит.

Они постояли у стен колледжа, под Лодскими аркадами, и Мак-Грегор ощутил, как готические камни сводов снова смыкаются над головой и давят хмуро.

— Чтобы извлечь отсюда ценное, надо верить Оксфорду,— сказал Эндрью, выходя из-под арок.— А это для меня, оказывается, как раз и трудно. А то и вовсе невозможно.

— Ты все же доищешься здесь, чего ищешь,— сказал отец, но без особой убежденности.

А в монастыре доминиканцев сам отец Джозеф лежал теперь на раскладушке, выпятив кверху молодой жизнерадостный живот, и в пластиковый мешочек с изображенной на нем картой Австралии стекала из монашьей руки отца Джозефа кровь. Кровь, которая вольется в жилы опаленного напалмом ребенка или изувеченной женщины, упавшей в грязь вьетнамской деревушки, где боевые вертолеты, «зеленые береты» и морские пехотинцы тоже заняты внесением христианской лепты в жизнь чужого народа.

Глава двенадцатая

На следующий день, апрельский и теплый, Мак-Грегор с Кэти пересекли Ла-Манш и уехали из Англии в Париж к тете Джосс — тетке Кэти с материнской стороны. Полгода назад Кэти оставила у нее свою дочь Сеси. Сидя в такси, везущем их с Северного вокзала на левый берег Сены, Кэти снова наставляла мужа:

— Стучаться просителем с черного хода и не пробуй. Предоставь действовать мне — через моих старинных друзей.

— Слишком длинная получается история,— сказал Мак-Грегор.— Сколько же мне так сидеть сложа руки?

В такси было душно, и Кэти говорила, взяв мужа за локоть:

— Мне еще сильней не терпится покончить с этим, чем тебе. Но спешкой ничего здесь не добьешься. Потерпи еще немного.

Тетя Джосс жила в VII округе, на боковой тихой улочке Барбе-де-Жуи. Особняк ее (un hotel particulier) стоял за высокими стенами, высокими воротами, по-монастырски отгороженно. В нем тетя Джосс прожила сорок лет, провела в нем даже годы оккупации — в этом «парижском доме» из длинного ряда домов, охраняемых семейным советом,— городских и загородных, в Италии и Швейцарии, на Бермудах, в Перу и Венесуэле. Они так же походили друг на друга,

как и члены владевшего ими рода, и парижский дом был ближайшей родней дому лондонскому, на Белгрейв-сквер.

За своей высокой оградой дом тети Джосс стоял небольшим и красивым остатком доосманновского Парижа,— только три таких парижских виллы еще уцелели в этой части VII округа, в чащобе министерств, канцелярий и стеклянных банков. Мосье Марэн, привратник и швейцар, проводил дни, сидя в сломанном грязном кресле на пороге бывшего каретника, где помещался теперь старый пыхтящий «мирюс». Двор, вечно сырой, был мощен мелким булыжником, каменная наружная лестница романтическим выгибом поднималась к парадным дверям. Им открыла мадам Марэн, пожилая толстоногая бретонская крестьянка в черном. Вошли в холл, и Кэти крикнула:

— Тетя Джосс!

— Это ты, Сеси, душенька?

— Нет. Это я — Кэти.

Тетя Джосс была бесплотный голос, шедший из-за стен, дверей, через портьеры. Она жила в небольшой комнате за лестницей, скрепляя воедино весь дом своим невидимым присутствием, звучавшими откуда-то вопросами: «Ты здесь?», «Это ты?», «Ты уходишь?», «На улице дождь?». Орехово-панельный резной холл служил центром общения в доме, и когда через час, хлопнув парадной дверью, явилась Сеси, то, целуя отца, она крикнула безадресно в глубины холла:

— Я только что купила старый «ситроен» себе ко дню рождения, я его в каретник поставлю.

И голос тети Джосс:

— Ставь, Сеси, душенька.

Голос, звучащий для душеньки Сеси...

— Ловко у тебя выходит эта перекличка,— шепнул дочери Мак-Грегор, не уверенный, выйдет ли так ловко у него.

Сеси тянула Мак-Грегора скорей на мощеный старый двор — показать свой черный драндулет — и во дворе сказала отцу:

— Мне здесь чудесно. Тетя Джосс чудесная. Ни о чем не спрашивает, что бы я ни делала,— мне нужно только объявить погромче в холле.

Слова эти не слишком успокоили Мак-Грегора. Каждый раз после разлуки с дочерью, даже самой недолгой, его при взгляде на Сеси брал на минуту страх. Страх за Сеси. Она была длинная, костлявая, с хрупкими лодыжками и локтями и с неугомонными, настойчиво-пытливыми пальцами. Порой она рассерженно сжимала их в кулаки, обхватив четырьмя пальцами пятый — тощенький большой. И когда-нибудь что-нибудь переломит ее пополам. Это пророчили и нежно-синие глаза, и худые руки-ноги, и длинно, мягко падающие волосы. Но когда Сеси позвала Марэна, чтоб открыл ворота, Марэн послушно засеменил отворять, а когда она (действуя коленями и локтями как рычагами) повела драндулет из ворот, то и машина проявила послушание. Сеси властно вбросила «ситроен» в поток машин, текущий бульваром Инвалидов,— в безначалье, быстроту, напор Парижа,— и, забыв о хрупких руках и ногах, о глазах как у лани и об испытующих пальцах, Мак-Грегор подумал: «Сеси крепче нас всех. Настоящий повод для тревоги могут дать только ее своеволие и юная пылкость». И, откинувшись на сиденье, глядя, как вокруг развертывается Париж, он почувствовал себя успокоеннее и свободнее здесь, чем в Лондоне.

Но, зараженный парижской спешкой, он знал уже, что предпримет, не откладывая, пусть краткую, но самостоятельную попытку разыскать деньги.

Глава тринадцатая

— Изволь,— сказала Кэти, раздраженно и устало дернув плечом, и не стала его удерживать.

Мак-Грегор почувствовал себя ребенком, которому позволили для вящей науки обжечь себе пальцы, и с этим не особенно бодрящим чувством он шел теперь по банковским улицам Цюриха, где затерялся след денег. Сняв номер в отеле в старой части города, он затем пересек Лиммат и, с доверенностями в кармане, направился в Коммерческий банк. Там, у небольшой стеклянной стойки, он сказал, что хочет видеть герра Гёца (имя, сообщенное ему Аббекром).

— А по какому делу? — спросила девушка за стойкой.

— Связанному с аккредитивом,— сказал Мак-Грегор.— На большую сумму.

Герр Гёц сидел у себя за стеклянно-металлическим столом с ящиками, вдвигающимися с плотностью и пригнанностью часовой крышки. Только здесь предъявил Мак-Грегор свои курдские полномочия. Герр Гёц прочел ливанско-французский замысловатый текст, положил листок на стол и накрыл нервно ладонью, точно опасаясь, как бы не сдуло ветром.

— Но ведь вы не курд, мистер Мак-Грегор,— сказал Гёц.

— Я уполномочен курдским Комитетом, ведшим с вами дело.

— Это понятно. А что именно вам от нас угодно? — Гёц слегка постучал пальцами по бумаге.— Здесь не сказано.

— Я просто хочу знать, где эти деньги, герр Гёц.

Гёц перечел текст, явно оттягивая время — думая, что ответить.

— Не могу сообщить вам ровно ничего,— произнес он наконец.

— Но почему же?

— Потому что, несмотря на письмо, не знаю, кто вы, собственно, такой.

Мак-Грегор достал паспорт, но Гёц поднял, как бы отмахиваясь, руку:

— Я не в том смысле. Я хочу сказать, что не знаю, от чьего, собственно, имени вы говорите.

— Но из текста ведь ясно,— указал Мак-Грегор на листок.

— Это всего лишь письмо,— возразил Гёц, нажал кнопку на серой консоли и сказал по-немецки, чтобы прислали Хёхста.

Вошли двое, сели у дверей, и Мак-Грегор почувствовал, что взят под стражу в этих четырех звуконепроницаемых стенах. Герр Гёц встал, извинился и, захватив с собой письмо, вышел с видом человека, торопящегося к кому-то за указанием. Двое за спиной у Мак-Грегора хранили молчание; Мак-Грегор стоя ждал. В кабинете было жарко, он снял пальто, и две услужливые руки помогли ему сзади.

— Благодарю вас.

Ответа не последовало. Мак-Грегор стоял, оценивая взглядом всю безупречность этой цюрихской банкирской конторы. Приезжая в Европу из Персии, он всякий раз любовался точностью, подогнанностью, завершенностью линий, кромок и расцветок. Вся Европа выстроена по линии прямой и строгой; сквозь персидские же улицы, дома, интерьеры до сих пор проглядывает путаница глинобитных слепых дворов — даже сквозь отличную архитектуру банков и вилл, роскошь богатых зданий.

— Мистер Мак-Грегор...

Вернулся Гёц — еще с одним безупречно одетым швейцарским немцем-банкиром, и Мак-Грегор мысленно порадовался тому, что Кэти заставила его пойти в Лондоне к хорошему портному и сшить себе хороший костюм: Мак-Грегор понимал, что если к нему и отно-

сятся здесь с долей уважения, то благодаря английскому покрою пиджака, а не курдским верительным грамотам.

— Это герр Мюлер,— сказал Гёц.— Он объяснит ситуацию.

— К сожалению,— тут же подхватил Мюлер на безукоризненном английском,— объяснять нечего. Мы ничем не можем вам помочь, мистер Мак-Грегор.

— Но ведь вы знаете, где эти деньги.

— Мне нечего прибавить,— сказал Мюлер твердо, как ножом отрезал.— Мы не уполномочены давать вам какие-либо сведения.

— А кто уполномочен? — спросил Мак-Грегор.

— Затрудняемся сказать,— ответил Гёц.— Во всяком случае, мы больше не несем ответственности.

— А кто же несет, герр Гёц?

Они стояли посреди кабинета, на безупречно настланном ковре — подальше от стульев, и Мак-Грегора не приглашали сесть; герр Мюлер не выпускал из рук письма, покачивался на каблуках, явно торопился по делам. На минуту Мак-Грегор забыл, кто из них Мюлер, кто Гёц.

— Мы ничего не можем обсуждать и ничего не можем сделать. Крайне сожалею, но мне нечего прибавить,— повторил Мюлер.

Мак-Грегор помолчал, подумал.

— Что ж,— сказал он. Надел пальто, протянул руку за письмом. Герр Мюлер покачал головой:

— Думаю, письмо мы должны оставить у себя.

— Нет,— резко сказал Мак-Грегор.

— Боюсь, что должны будем...

— Это личная доверенность,— сказал Мак-Грегор.— И прошу возвратить ее мне.

— Считаю, что следует оставить письмо у нас, мистер Мак-Грегор...

Мак-Грегор выдернул у Мюлера из рук письмо.

— Вы ошибаетесь, герр Мюлер,— сказал он, чувствуя, что вся кровь бросилась ему в лицо.

Теперь, желая уйти, он ощутил в наступившей паузе, что все четверо в комнате враждебны ему. Но он решительно направился к дверям. К его удивлению, они оказались не заперты. Стеклянными коридорами он вышел на Банхофштрассе, спустился оттуда к Лиммату и остановился, чтобы успокоить нервы. Не сам инцидент так на него подействовал, а осознание того, что не следовало и являться в банк.

Подлинные размеры ошибки стали ясны два часа спустя, когда к нему в отель на набережной, под курантами, звучащими, как перезвон альпийских коровьих бубенцов, явились двое в неброском штатском и, предъявив полицейские карточки с вытисненным сверху большим белым крестом, попросили Мак-Грегора пройти с ними в канцелярию — тут же по соседству, на набережной.

— Нет,— сказал Мак-Грегор, все еще гневно-напряженный.— Никуда я с вами не пойду.

— Так, так. Вы говорите по-французски или по-немецки, мистер Мак-Грегор? — спросил один.

— Нет,— солгал Мак-Грегор, зная, что лучше держаться родного языка.

— Тогда не угодно ли спуститься к управляющему отелем?

— Нет, не угодно, мосье. Никуда я с вами идти не намерен.

— В таком случае придется нам побеседовать здесь,— сказал полицейский помедлив.

— Пожалуйста.

— Прошу вас сесть.

— Садитесь, если хотите,— сказал Мак-Грегор.— Я же предпочитаю стоя.

— Как вам угодно.

Вид у них был американцев, а выговор — швейцарцев; один вел «беседу», второй же глядел — молодо, насупленно-серьезно и строго. Беседующий был рыжеволос и держался так, как если бы ему доподлинно было известно, что́ кроется за розысками денег.

— Есть у вас документ, удостоверяющий личность? — спросил он.

Мак-Грегор предъявил паспорт; полицейский бегло просмотрел его, но возвращать не спешил, держал небрежно в руке.

— Нет ли других документов?

— Нет.

— Как я понимаю, у вас имеется письмо, мистер Мак-Грегор.

Мак-Грегор не ответил.

— Нельзя ли нам взглянуть?

— Письмо, о котором речь, не имеет никакого отношения к швейцарской полиции,— проговорил Мак-Грегор.— Это письмо частное.

— Нельзя ли в таком случае узнать, чья там подпись и где оно было написано?

— На подобные вопросы я отвечать не обязан и прошу не задавать их,— сказал Мак-Грегор.

— К вашему сведению, мистер Мак-Грегор,— сказал полицейский,— нам известно, что в Европе — и у нас в Швейцарии — существуют курдские террористические организации.

— Я ровно ничего не знаю о террористических организациях. Это не имеет ко мне ни малейшего отношения.

— Как мы понимаем, письмо ваше является доверенностью от курдской организации.

— Мое письмо — всего лишь частное рекомендательное письмо, связанное с денежным аккредитивом. Вот и все.

— С чьим аккредитивом?

— Опять-таки думаю, что не обязан отвечать,— сказал Мак-Грегор. Он стоял неподвижно и молча — так безмолвствует житель Востока, задавшийся целью «перестоять» противника. Мак-Грегор делал это бессознательно — он с детства так привык. Но тут вдруг осознал восточность своего молчания, видя, что обоих полицейских явно раздражает такая непреклонность.

— Прошу учесть: Швейцария не любит, когда иностранные организации действуют в ней, пользуясь здешними благоприятными условиями,— сказал рыжеволосый.

— Разумеется.

— Вот это нам и хотелось бы с вами обсудить, мистер Мак-Грегор. Так не угодно ли спуститься с нами?

Мак-Грегор мотнул головой.

— Своею волей я никуда отсюда не пойду,— сказал он,— вам придется меня прежде арестовать.

Пауза, неподвижность.

— Мы не хотим прибегать к таким мерам,— сказал полицейский, нарочито медленно пряча паспорт Мак-Грегора в карман.

— Прошу отдать паспорт,— сказал Мак-Грегор, протягивая руку.

— Вы получите его позже. Нам нужно кое-что проверить.

— Нет. Прошу вернуть его сейчас. Или же дать мне расписку.

Паспорт вернули, и Мак-Грегор подумал, что вот и пригодился немалый опыт, приобретенный на полицейских допросах в Иране.

— Так, так, мистер Мак-Грегор,— сказал рыжеволосый.— Мы не желаем принуждать вас к чему-либо силой. Мы знаем, что вы уполномочены нелегальной курдской организацией, действующей в Швей-

царии, и хотя вы не ограничены в праве въезда и выезда, но в подобной ситуации существует предел нашей терпимости. Что происходит в Турции, нас не касается. Но что происходит здесь, касается.

Мак-Грегор почувствовал, что серые тени двух убитых турок неумолимо следуют за ним и здесь, на улицах Европы. Гнев испарился. Его сменил знакомый страх запутаться, попасть в ловушку, и Мак-Грегор снова ушел под защиту молчания. Просто стоял не шевелясь и молчал — упрямо и непреклонно.

— Предлагаем вам безотлагательно покинуть Швейцарию,— сказал рыжеволосый, и на этом разговор кончился, они ушли.

Мак-Грегор тяжело перевел дух. Хорошо хоть, что Кэти здесь нет. Он не удивился, когда в цюрихском аэропорту паспорт снова передали тем двоим — рыжеволосому и его насупленному молодому спутнику, поджидавшим у контрольного барьера. Через полчаса паспорт молча возвратили и пропустили Мак-Грегора в самолет. Но Мак-Грегор знал, что теперь он попал в серую, в пластиковом переплете книгу, которую чиновники паспортного контроля раскрывают всякий раз, когда на красно-белый швейцарский рубеж прибывает известный преступник, проститутка или революционер, желающий въехать в страну.

Глава четырнадцатая

Из осторожного рассказа мужа Кэти поняла, что́ произошло в Цюрихе. Детали Мак-Грегор опустил, но, как и ожидал, Кэти укорила его, что он глупо и зря подставил себя под удар.

— Сколько я тебе твердила, что нельзя так,— напомнила она ему.— Ты только сам обратишь себя в жертву, натравишь на себя всю европейскую полицию.

Он понимал, что Кэти права: не столько сам по себе промах был досаден, сколько сознание того, что и границы, и парадные двери Европы закроются перед ним, если он опять поведет себя так неуклюже. И сказав: «Согласен. Знаю. Ты была права, а я неправ», он снова предоставил Кэти действовать и согласился ждать, покуда она приводила дом тети Джосс в порядок, требующийся для приема влиятельных парижан.

Дом первоначально и был обставлен для богатых и чинных — в эдвардианском духе — приемов, но тетя Джосс попросту затворила его весь, спрятала под замок его сокровища и зажила беспечально под лестницей, опекаемая своим привратником в шлепанцах и его женой. Мадам Марэн стирала, стряпала, вносила, грузно ступая, завтраки, обеды и чаи в таинственное обиталище тети Джосс, а затем скрывалась и сама в свою комнату за кухней. Однако когда Кэти извлекла из буфетов великолепный старинный выпукло-узорный фарфор, столовое белье и увесистое серебро, ей пришлось через агентство по найму пригласить девушку-прислугу Сильвену, поскольку мадам Марэн хоть и отлично готовила, но подавать гостям отказалась. Ноги отекают, да и печень болит. Так что уж провансалке Сильвене приходилось курсировать между кухней и столовой, тяжко украшенной ореховою кудрявой резьбой, тусклыми дорогими гобеленами и громадными, в мушиных точках, люстрами, которые Кэти велела снять и промыть спиртом.

Кэти принялась за дело, чутьем зная, кого пригласить и куда явиться с визитом. Мак-Грегор знал, что французская буржуазия редко допускает чужаков в свои гостиные, даже в Тегеране, но двери салонов парижской верхушки оказались гостеприимно раскрыты. Круг знакомств Кэти был здесь примерно тот же, что и в Англии:

владельцы особняков и земель, банкиры, потомки придворных, обратившиеся в дипломатов, сановников, колонизаторов, родовитые господа, разбогатевшие на производстве коньяка или неизвестно на чем; и всем этим семействам было безразлично. Пятая, Шестая ли, Седьмая ли во Франции республика и чем занята буржуазия в своих коридорчиках власти — только бы под ногами не путалась и делала то, чего от нее ожидают. И Мак-Грегор был в этой среде так же чужероден, как и в английских загородных особняках.

Но внимание он привлекал. Его тщились разгадать — роль его была им непонятна. О его деятельности они знали. Но почему он держится так замкнуто? Почему так льдистоглаз и молчалив? Что кроется за его отрешенностью, за этим сосредоточенным и непреклонным лицом? Он держится (заметила Кэти ему), как, в представлении французов, и положено держаться англичанам — только в жизни англичане редко ведут себя так.

— А как же мне вести себя иначе? — сказал он смущенно.

— Я ведь не жалуюсь,— сказала она, и Мак-Грегор вскоре и счет потерял стеклянно мерцающим обеденным столам, за которые садился, гостиным, где вставал у стены с бокалом в руке, потерял счет чашечкам по-французски отменного кофе, выпитым на высоких, выложенных изразцами балконах, выходящих на Орлеанскую набережную, или авеню короля Альберта, или на Марсово поле. Но он знал, что Кэти требуется лишь время, чтобы выбрать здесь нужного им человека,— Мак-Грегор подозревал даже, что еще до всех этих визитов Кэти уже сделала свой выбор.

Нужным человеком оказался Ги Мозель, глава коммерческого банка.

Из объяснений Кэти Мак-Грегор знал уже, что Мозель, в сущности, куда значительней обычного банкира. В восьмидесятые годы прошлого века род Мозелей, покинув свои старые феодально-аристократические позиции, сбросив расшитые галунами мундиры придворных и дипломатов, основал по всей Европе обширную финансово-политическую разведывательную службу — глаза и уши французских банков. Служба эта стала столь же необходимой для французской международной валютной политики, как Второе отделение (Deuxieme Bureau) для французской государственной безопасности. И как бы в согласии со своей нынешней ролью, Мозель англизировался внешне. Канула в прошлое Франция баронов, графов, маркизов, шевалье. Осталась лишенная помпезности власть богатства. Облик власти стал сухощаво-строгим, как сам Мозель. Ги Мозель сохранил еще родовые поместья в Нормандии, хотя считал их делом нестоящим, поскольку доходное ведение хозяйства слишком затруднено французской системой сдачи земель в аренду крестьянам. По словам Кэти, с поместьями он возился лишь для того, чтобы не терять дворянской связи с землей. А управлял ими жестко и деловито потому, что не умел иначе.

— Он — нечто вроде Томми Барбана. Так что будь с ним осторожен,— предостерегла Кэти.

— Вроде кого? — переспросил Мак-Грегор.

— Помнишь француза из книги Фицджеральда? Барбан участвовал во всех и всяких войнах, потому что только воевать и годился. Вот и Ги Мозель годится только для той роли, которая упрочилась за ним при французском порядке вещей — упрочилась почти незыблемо, и он знает это.

Мак-Грегор помнил Барбана с его забавной верностью нехитрым понятиям о чести и с его хитрой профессиональной выучкой. Но Мозель был строже и даровитей Барбана. Каждое утро Мозель в верховом костюме делал круги по конным аллеям Булонского леса;

иногда следом рысила его восемнадцатилетняя дочь на бывшем строевом жандармском коне, несоразмерно крупном для своей всадницы. Летом, когда все уезжают на юг, Мозель уезжал на север, на восток или на запад; весной же и осенью он, сам пилотируя американский «бичкрафт», летал в Канн на длинные уик-энды, проводимые на нефешенебельных, но зато уединенных сосновых холмах над Манделье,— в доме, где уцелел остаток давно утраченной ривьерской сумеречной тишины.

— Это дом для неприкаянных,— с лукавым огоньком в глазах сказал Мозель Мак-Грегору, пригласив его и Кэти слетать с ним туда на уик-энд.— Для таких, как вы и я. Мы с вами, думаю, споемся.

Мак-Грегору Мозель понравился. Не мог не понравиться. Но если и существовало братство неприкаянных, то вряд ли, по мнению Мак-Грегора, они с Мозелем состояли там в одном разряде неприкаянности.

— Именно Мозель нам необходим,— говорила Кэти, лежа в старой ванне тети Джосс.— Если он решит тебе помочь, то уж не разболтает никому. И не предаст тебя, невзирая ни на что. Таков его смешной кодекс чести.

— Тебя явно восхищает этот кодекс,— сказал Мак-Грегор, с ревнивым чувством косясь на ее живот, видневшийся из-под белой шапки мыльной пены.

— Что ж,— сказала Кэти,— мне всегда нравились честные люди — в их числе и ты. Я ведь говорила тебе, что знаю Ги всю жизнь, еще до тебя знала.

«А какова будет та цена, которую Мозель заломит за помощь?— хотел Мак-Грегор спросить жену.— Цена порядочная, надо думать». Но не спросил, поскольку Кэти уже дала понять, что все равно они непременно слетают в Канн на мозелевском «бичкрафте».

— Мозель уже знает, что тебе от него что-то нужно — так дай хоть ему возможность выяснить, что именно тебе нужно,— сказала она, пробивая молчаливое сопротивление мужа.

— А как же Сеси здесь без нас?

Сеси их обоих встревожила. За завтраком, хрустя кукурузными хлопьями, она сообщила, что идет сегодня на большую студенческую демонстрацию, которая соберется во дворе Сорбонны.

«Без bagarre[1] не обойдется,— сказала Сеси.— Из Нантера явятся Кон-Бендит и все эти троцкисты с гуманитарного, а группа правых «Оксидан» уже поклялась сорвать демонстрацию при помощи своей обычной тактики».

«Какой тактики?» — поинтересовался Мак-Грегор.

«Ну, скажем, изобьют нескольких студентов. Или подожгут что-нибудь, стычку спровоцируют».— И Сеси белыми худыми пальцами, как гребнем из слоновой кости, прочесала свои длинные мягкие волосы.

Выйдя из ванны, Кэти сказала Мак-Грегору:

— О Сеси не тревожься. У нее здесь найдется уже с десяток защитников, а воспрепятствовать мы с тобой все равно ничему не сможем. Она не первый раз на демонстрациях.

— Так-то так...

Мак-Грегор не забыл тегеранских расправ с мятежными студентами. И если существует — одна для всех — логика взаимоотношений между полицией и студентами, то и французскую полицию бросят на Сорбонну для подавления смуты слезоточивым газом и дубинками.

Но Сеси посмеялась над его страхами:

---

[1] Столкновение, драка, сумятица *(франц.)*.

— Глупости какие. Здесь не Тегеран. Здесь по-другому.

— А в чем именно разница?

Сеси ответила смехом.

В парижском аэропорту Орли, пристегиваясь ремнями в серой коробочке-кабине «бичкрафта», Мак-Грегор наблюдал, как смуглые, в безукоризненных манжетах, руки Мозеля умело управляются с рычагами, рукоятками, миниатюрными наушниками, переключателями, а язык Мозеля ловко управляется с летным жаргоном. И снова Мак-Грегор задумался о том, велика ли разница между здешними и персидскими тревожными проблемами, между характерами причастных к этим проблемам людей, включая сюда и Мозеля.

Посадив Кэти рядом с собой, француз объяснял ей управление машиной, а Мак-Грегора затиснули подальше, назад, чтобы не мешал. Три часа провел молча Мак-Грегор на заднем сиденье, тревожась о Сеси; наконец самолет приземлился в маленьком каннском аэропорту, в аллее поздних весенних мимоз. Сев в ожидавшую их скромную «симку» Мозеля, они пересекли автостраду и по галечным взгорьям Манделье поднялись на синеющий соснами гребень, где стояла вилла Мозеля. Дом расположен был умно: в соседстве с морем, в виду Канна и Антибского мыса, но высоко — вдали от душной туристской толчеи, опоганившей побережье. В дневные часы оно отодвигалось куда-то, ночью же дом высился аванпостом над приморскими городами, яркие огни которых играли, переливались всеми цветами на горизонтах автострад.

— Я и забыла уже о существовании таких мест,— сказала Кэти Мак-Грегору, когда, сидя после ужина в сумраке круглой стеклянной веранды, они глядели на Средиземное море и вплотную за стеклами висели звезды.

Не отвлекаясь красотами вида, Мозель принялся небрежно объяснять им Францию. Над ней явно сгущались тучи, и, как человек, имеющий личное касательство к делам Франции, Мозель считал себя обязанным дать разъяснения.

— Что мы раньше делали во Франции по праву,— говорил он, и в голосе его не слышалось обиды или сожаления,— того теперь приходится добиваться как одолжения. Перемена неизбежная, хоть и тормозящая дело.

В спортивно-гибкой фигуре Ги Мозеля, в безупречной рубашке, безупречном лице, в безупречных французских манерах был смысл и толк, в скандальном же поведении Франции — не было.

Мак-Грегор молча сидел, глядел на звезды, слушал, как провансальские собаки лают внизу в лощине, отодвинувшей от дома сутолоку автострады. Словно издали дошел сквозь лай голос Мозеля: Мозель спрашивал, по какому делу ездил Мак-Грегор в Швейцарию и зачем ходил справляться в банк.

— Почему вы не обратились прямо ко мне?

— Я ведь не знал еще тогда, что вы можете помочь. Не был даже знаком с вами.

— Напрасно Кэти вам не подсказала.

— Нельзя же было мне ворваться и брякнуть: «Здравствуйте, Ги. Знакомьтесь — мой муж. Помогите ему». Слишком уж бесцеремонно.

— Напрасно,— повторил Мозель, но так, что это прозвучало не упреком, а похвалой Кэти.— Так в чем заключается дело?

Мак-Грегор рассказал ему о пропаже курдских денег, о странном молчании и враждебности, с которыми столкнулись курды в своих попытках розыска.

— Они решили, что нужен человек вроде меня, с европейской фамилией и внешностью, чтобы докопаться до правды.

— Прелестно! — сказал Мозель.— И это все?

— Это все,— помедлив, ответил Мак-Грегор.— Меня просили разыскать деньги.

— А знаете ли вы, какая о вас здесь прошла слава? — произнес Мозель, улыбаясь своей холодновато-дружеской улыбкой.

— Слава? — встрепенулся обеспокоенно Мак-Грегор.

— Еще бы. Одна уже таинственность ваших связей с курдами, ваша молчаливая причастность! Но помимо того, говорят, что вы спустились с гор с целью, отнюдь не сводящейся к возврату денег.

— Я приехал разыскать деньги. Вот и все.

— Недостаточно романтично,— со смехом сказал Мозель.

— Не до романтики тут,— сказала Кэти.

— Вы не понимаете. Рецепт успеха в таком деле — сгущать тайну, а не прояснять.

— Нет, Ги,— твердо сказала Кэти.— Не надо романтического вздора.

— Но, Кэти, романтический вздор здесь уже налицо, и я советую воспользоваться им.

— О каком романтическом вздоре вы говорите? — спросил Мак-Грегор.

— О мучительном любопытстве, вами возбуждаемом. Ходят восхитительные слухи о том, что вы убивали турок, партизанили в горах, что вы самоотверженный боец, отдавший себя курдскому делу, и прочее, и прочее.

— Ах, это полнейший бред,— сказала Кэти.

— Разве?

— Бред и глупость.

— Во всяком случае, не следует недооценивать заманчивых возможностей, связанных с таким реноме,-- сказал Мозель.— У вашего мужа,— кивнул он на молча хмурившего брови Мак-Грегора,— замечательно самоотрешенный вид. А поскольку подлинную силу всех этических систем составляет самоотречение, то в наши дни этим снова начинают восторгаться. Не правда ли? — обратился он к Мак-Грегору.

— От чего же это я, по слухам, самоотрешился? — спросил тот.

— Кто знает? — сказал Мозель усмешливо, но дружелюбно.— Вот взгляните-ка на этих женщин.— Он обернулся к двум женским фигурам работы Жермены Ришье, легонько похлопал по бронзе рукой.— Они полны внутренней силы, ибо воплощают отрешенность от себя. Самоотречение.

Кэти засмеялась.

— В жизни не слышала подобной чепухи.

— Я говорю серьезно,— сказал Мозель, по-прежнему улыбаясь.— Вы, Кэти, не понимаете французов.

Но Кэти досадливо отмахнулась:

— Вы просто умничаете.

— Я ведь читал досье Мак-Грегора,— заметил в ответ Мозель.

Вызванный нажатием кнопки, явился слуга, взял опустевшие бокалы. Над зеленой бухтой Ла-Напуль одноглазо и огромно вставала луна. Слуга сказал: «Вечерние известия, мосье» — и, войдя с веранды в кабинет, включил телевизор.

В английском, стерильно-чистом кабинете Мозеля они сели у горящего камина — этот анахронизм оказался весьма кстати весенним ривьерским вечером. И вечер не сулил никаких тревог. Но внезапно на экране появились полицейские в противогазах, точно алебардщики в шлемах с опущенным забралом. И точно на бунтующих средневековых крестьян, ринулись они по тускло освещенному парижскому

бульвару на студентов, столпившихся за примитивными баррикадами у площади Эдмона Ростана (после того как, по словам комментатора, их прогнали со двора Сорбонны).

— Да тут бойней пахнет,— проговорила Кэти, выпрямляясь в кресле.

Она и Мак-Грегор напряженно стали вглядываться в растрепанные фигуры сбитых с ног, окровавленных, потерявших сознание людей, которых волокли к полицейским фургонам. Но нигде в этой каше не видно было изувеченной Сеси.

— Надо позвонить тете Джосс,— сказала Кэти.

— Ничего с Сеси не случится,— сказал Мак-Грегор, вдруг опять обретая уверенность в надежности и крепости ее локтей и коленок.

— О, пожалуйста,— сказал Мозель, узнав, в чем дело. Он набрал Париж, дозвонился до тети Джосс.— Алло, тетя Джосс. Говорит Ги Мозель. Прошу прощения, если разбудил вас — время позднее, но Кэти хочет узнать, как там Сеси.

Кэти взяла трубку, а Мак-Грегор — вторую, дополнительную.

— Мне кто-то позвонил и сказал, что Сеси в восемь часов арестовали во дворе Сорбонны,— услышали они голос тети Джосс.

— А куда увезли, сказал? — спросила Кэти.

— Я не уточнила, Кэти, душенька. Я ведь знаю, что ее отпустят, лишь только выяснится, кто она такая.

С тяжким вздохом — как же безнадежно отстала от жизни тетя Джосс! — Кэти спросила ее, кто был звонивший. Но и этого тетя Джосс «не уточнила».

— Если будут какие-нибудь вести, позвоните мне сюда,— сказала Кэти и дала номер телефона.— И пожалуйста, тетя Джосс, в следующий раз спрашивайте, кто звонит.

— Хорошо, Кэти, душенька.

Положив свою трубку, Мак-Грегор сказал Мозелю, что хотел бы еще ночью вернуться в Париж. Если бы узнать, в котором часу ближайший рейс Ривьера — Париж, и если бы Мозель смог доставить его в Ниццу, в аэропорт, откуда летают рейсовые самолеты...

— Быть может, этого и не потребуется,— сказал Мозель.— Ее, вероятно, увезли в полицейский участок на Сен-Сюльпис. Подождите минутку, я выясню.

— Хорошо,— сказал Мак-Грегор.— Но все же надо бы вернуться в Париж.

— Погоди,— сказала Кэти.— Возможно, у Ги это проще получится.

Проще — означало нажать на рычаги инстанций по нисходящей. Мак-Грегор слушал, как, узнав номер участка на Сен-Сюльпис, Мозель говорит затем с одним, с другим полицейским чином и добирается, наконец, до нужного ему человека. Есть ли среди арестованных студентов une anglaise (англичанка) Сесилия Мак-Грегор? Заминка на том конце провода; Мозель резким тоном велел полицейскому проверить по спискам и, после краткой паузы, кивнул. Прикрыл рукой микрофон трубки.

— Она в Сен-Сюльписе,— сказал Мозель.— Но их хотят перевезти в Нотр-Дам-де-Шан...

— Как она там? Цела ли?

Опять жесткие слова в трубку; оказалось, что Сеси цела и невредима.

— Хотите, я устрою, чтобы ее выпустили? — обратился Мозель к Мак-Грегору, и тому пришлось по душе, что вопрос обращают к нему, хотя ответила за него Кэти:

— Ну конечно!

Мозель спросил в трубку, достаточно ли его, Мозеля, слова для немедленного освобождения девушки. Или же придется позвонить министру? Выслушав ответ, Мозель опять прикрыл трубку ладонью, сказал:

— Он говорит, что им приказано выдворять из Франции всех иностранцев, участвующих в демонстрациях. Он согласился выпустить ее сейчас безотлагательно, но говорит, что если начнут следствие (procès), заведут дело, тогда ей будет грозить высылка из Франции.

— А вы можете устроить так, чтобы не было следствия?

— Могу. Но это лучше не по телефону.

— Все равно мне надо ехать,— сказал Мак-Грегор, переглянувшись с Кэти.

— Ги, простите ради бога,— сказала Кэти.

— Ну, о чем речь. Но прошу вас, не тревожьтесь. Я позабочусь, чтобы не было ни следствия, ни дела. Утром сразу же отправимся. Вас это устраивает? — спросил Мозель Мак-Грегора.— Не то мы вылетим в Париж сейчас же. Только все равно я ничего не смогу там сделать до утра.

— Нет, нет. Вполне устраивает,— сказал Мак-Грегор.— Большое спасибо.

— Временами просто беда с нашей Сеси,— сказал Мозель, как бы изымая Сеси из-под отцовского крыла и беря под свое покровительство — и это резнуло слух Мак-Грегора.

Кэти и Мак-Грегор сошли вниз и легли спать, намеренно не обменявшись ни словом о Сеси. К чему ссориться? А ранним утром, хрустально-чистым на четырехкилометровой высоте, они плавно понеслись от моря над голубой полосой Роны, и к девяти часам Мозель доставил их к тете Джосс. Он сказал, что тотчас отправится улаживать дела Сеси, но на это может потребоваться время, так как сегодня суббота.

— Приходите-ка обедать в понедельник на Пиле-Виль,— сказал он Мак-Грегору,— и я сообщу вам, что́ смог выяснить относительно курдских денег

— А где это Пиле-Виль? — спросил Мак-Грегор.— И что это такое?

— Это улочка между улицами Лафайетта и Лафита,— пояснил с улыбкой Мозель,— сразу за бульваром Османна. Дом пять, подъезд «А». Позвоните и не удивляйтесь, если прождете несколько минут, пока спустятся и откроют. Это мой приватный вход.

Мак-Грегор поблагодарил его за хлопоты и за гостеприимство. Поцеловав Кэти, Мозель уехал, а они принялись колотить в деревянные ворота, будить Марэна. И пока Марэн там у себя натягивал штаны, они молча ждали — говорить по-прежнему было не о чем.

Сеси не только оказалась дома, но и встала уже и сидела за завтраком у тети Джосс, когда Кэти оповестила в холле о своем прибытии,— и Сеси выбежала к ним, вытирая салфеткой слегка вспухшую губу.

— Что это у тебя? — спросила Кэти, коснувшись пальцами ее лица.

— А-а, локтем кто-то двинул,— отмахнулась Сеси.

— Полицейский?

— Не знаю. Не разобрать было в суматохе.

— Тебе ведь велели держаться в стороне.

— Я и держалась,— возразила Сеси.— Стояла во дворе там, на лестнице, под статуей Виктора Гюго, а они как налетели и погнали

меня вместе со всей толпой. Одного парня сграбастали, а заодно и меня. Вот и все.

— Тебе еще повезло, что тебя не избили как следует и не бросили на месяц в тюрьму,— заметила Кэти.

— Ну что ты, мама! Меня и не допросили даже.

— Потому что за тебя похлопотал Ги Мозель.

Сеси удивилась, затем возмутилась:

— Ах, вон оно что! А я думала, это потому, что из студенток одну меня арестовали.

— Ги поехал сейчас заминать дело: если начнется следствие, тебя вышлют из Франции.

Сеси на мгновение опешила, затем сердито проговорила:

— К черту Ги Мозеля! Я не знала, что это его стараниями.— И, повернувшись к отцу, сказала: — Вчера вечером неожиданно явился Таха.

— Куда? К нам?

— Да. Он наверху, спит,— сказала Сеси.

— Как он тебя разыскал? — спросила Кэти.

— Да я ему писала из Парижа раза два. Но он не ко мне, он тебя хотел видеть,— сказала Сеси отцу.

— Этого лишь недоставало,— сказала Кэти.— Единственно этого! Но здесь у нас он не останется, так что и не приглашай его, Сеси.

— Он и не собирается. Ему в городе тут надо разыскать одного иракского курда, с медицинского факультета, но вчерашние беспорядки помешали.

— Вот и ступай разбуди его,— сказала Кэти.

— А тебя сегодня утром тоже спрашивали,— сказала ей Сеси.— Тот мегрикский богач, сын ильхана. По телефону.

— Дубас?

— Да. Я без тебя не стала говорить ему, где ты и что ты. Притом их с Тахой надо держать подальше друг от друга.

— Слышал, как твои курды действуют? (Да, Мак-Грегор слышал.) Они не только последовали за тобой в Париж, но и привезли с собой сюда свои дурацкие распри.

— В Париже им не развернуться,— успокоил Мак-Грегор.

— Ты уверен? Они приехали за этими деньгами. А будучи курдами, они ни перед чем не остановятся для достижения цели.

Кэти ушла из холла в кухню — сказать мадам Марэн, чтобы та приготовила им завтрак.

— Почему она так всполошилась? — спросила Сеси отца.

— За тебя тревожится...— ответил Мак-Грегор.

— Но отчего она так вдруг взъелась на Таху, еще и не увидав его?

— Не в Тахе дело.

Мак-Грегор знал, что Кэти, собственно, рада видеть Таху. Оба они остались к Тахе навсегда привязаны — почти так же крепко, как к своим детям, хоть Кэти и не пожалела трудов, чтобы разлучить с ним Сеси. Но теперь хватало и других поводов для тревоги.

(Продолжение следует)

Новеллы японских писателей

ТЭЦУРО МИУРА

Река терпения

Мы с Сино поехали в Фукагава вскоре после того, как познакомились. Не правда ли, забавно: я приехал в Токио из глухой провинции Тохоку всего лишь прошлой весной, а теперь служил гидом уроженке здешних мест. Сино родилась в Фукагава и прожила там до двенадцати лет. Правда, в конце войны ее семья эвакуировалась в Тотиги, и Сино больше там не бывала, поэтому, естественно, она не могла знать, во что превратился этот район Токио, обгоревший до неузнаваемости.

Для меня же Фукагава — одно из самых знакомых мест (не считая дороги в университет, по которой я ходил изо дня в день утром и вечером), я бывал там два или три раза в месяц, а то и каждую субботу.

Трамвай, курсирующий от канала Кинсибори до Токийского вокзала, обогнув канал Судзаки, остановился у парка Фукагава-тоё. Сино вышла из вагона, потянулась и огляделась по сторонам, как бы стараясь освоиться с непривычной обстановкой. Стояла июльская жара. Над рядами низких бараков, раскаленных лучами палящего солнца, горячий воздух кружил белесую пыль.

— Ничего не узнаю! Совсем чужой город. Только эту школу и помню,— грустно сказала Сино, показывая на противоположную сторону улицы, где томилось на солнце обгоревшее здание трехэтажной школы. Сино проучилась в ней пять лет.

— Не унывай! Походим, узнаешь. Твои же места.

Сино улыбнулась.

— Что-нибудь непременно уцелело,— и, еще раз взглянув на чернеющее здание школы, добавила: — Мне говорили, что район выгорел до основания, но я не поверила бы, что от железобетонного здания может остаться один остов.

Слегка раскосыми глазами она напряженно, словно готовясь сделать открытие, вглядывалась в зияющие глазницы окон школы, напоминающей обгоревшую рамку с сотами. Наблюдая за Сино, я невольно улыбнулся.

— Если будешь так долго рассматривать каждое здание, мы никуда не успеем.

Сино пожала плечами:

— Ну, так пойдемте. Куда же?

— Может быть, в Киба?

— А может, в Судзаки?

Судзаки находится по другую сторону канала, и мы решили пойти сначала в Киба. Перешагнув через сияющие на солнце рельсы, пройдя под тенью школьного здания, мы направились к водохранилищу Киба.

Сино хотелось побывать там, где я в последний раз виделся со своим братом, а потом показать мне места, где она родилась и выросла.

Киба — район лесопилок и каналов, место, открытое всем ветрам. Плоты на водохранилище всегда покачиваются. Ветер приносит запах древесины и сточных канав и разносит по городу мириады мельчайших, невидимых глазу древесных опилок, от которых у непривычного человека воспаляются глаза. Если на улице Киба вам встретится прохожий со слезящимися глазами, значит, он не из здешних мест.

Когда я в первый раз бродил по Киба с братом, он все время посмеивался надо мной. В самом деле, это выглядело смешно: мое сердце переполняла радость от сознания, что я плечом к плечу шагаю со старшим братом, а из глаз лились слезы. Из-за ветра. Три года спустя, прошлой весной, я опять бродил по Киба, но уже без брата. Мое сердце иссушило горе, а глаза были опять полны слез. И все из-за ветра. Может быть, на моем пути было слишком много древесной пыли, но так или иначе я потерял всякую надежду привыкнуть к этому району.

В тот день Киба встретил нас с Сино особенно неприветливо. Горы, леса, водохранилище — все было залито слепящим светом. Невыносимо визжала пила. Раньше я любил бродить по Фукагава и потому знал многих в лицо: хозяйку табачной лавки, разносчика соба[1], сторожа столярной мастерской, водителей грузовиков. Когда брат пропал, я ходил от одного к другому, расспрашивая о нем, и все, что они рассказывали, записывал в тетрадь. Эти простаки поначалу приняли меня за сыщика, а потом сами над собой смеялись. В общем, я считал их хорошими людьми, но на сей раз мне казалось, что они поглядывали недружелюбно и отвечали неохотно. Даже ветер избегал меня, во всяком случае, глаза мои были сухими. В общем, Фукагава, с которым я сроднился, не признавал меня.

Мы стояли с Сино на берегу водохранилища. От порывов ветра солнце подрагивало на поверхности воды и плоты покачивались сильнее обычного. На противоположном берегу рыжело поле, откуда, словно жужжанье слепней, доносился шум каких-то машин.

— Вот тебе и Киба! Как видишь, ничего особенного,— сказал я и сплюнул в воду.

— Какой ветер! Вот теперь чувствую, что я в Фукагава.

В самую жару Сино таскала меня по незнакомым улочкам, простодушно подставляя лицо ветру, и теперь ее волосы растрепались, а на лбу и щеках выступили капельки пота.

— Что здесь смотреть. Может быть, поедем обратно? — робко предложил я, в глубине души сожалея, что согласился на эту поездку. Но Сино и слушать не хотела:

— Разве мы не специально приехали, чтобы все посмотреть? Побудем же немного.

Скрестив руки на груди, она присела на корточки и с грустью спросила:

— Это здесь произошло?

---

[1] Лапша из гречневой муки.

Да, именно здесь мы с братом виделись в последний раз. Брат окончил высшее техническое училище. Во время войны работал в лаборатории взрывчатых веществ. А после войны из-за каких-то интриг его перевели в компанию лесоматериалов, которой принадлежит это водохранилище. Он проработал здесь в должности директора пять лет. На четвертый год его службы я, после окончания школы, приехал в Токио и поступил в университет. Я был шестым ребенком в семье, и оставшийся в деревне отец не мог мне помогать. Он был уже плох. Брату же, судя по всему, эта помощь не была обременительной.

Когда я приходил к нему, он охотно давал мне деньги, угощал янагава[1] и всякими вкусными вещами. Как-то ранней весной после долгого перерыва я зашел в контору, но не застал его. Сторож, прикорнувший возле хибати[2], сказал, что директор, должно быть, на водохранилище. Я сразу же направился туда. Хотя наступила весна, дул по-зимнему холодный ветер, нагоняя на поверхность прозрачной воды глубокие морщины. Брат был один. В руках он держал багор и с его помощью непонятно зачем перепрыгивал с одного плота на другой. Он был без куртки, и от его белой рубашки рябило в глазах.

Мне стало не по себе. Я громко окликнул его. Вздрогнув от неожиданности, он застыл в неловкой позе и, узнав меня, стал осторожно перебираться на ближайший к берегу плот. Я побежал по забетонированному краю водохранилища ему навстречу. Но плот был довольно далеко, и нас разделяла полоса воды метров в десять. С трудом удерживая равновесие, он громко спросил меня, что случилось. Я крикнул, что всего-навсего мне нужны деньги. Брат кивнул и сказал, что чековая книжка и печать в конторе, в ящике стола, и что я могу взять столько, сколько нужно, но сегодня он занят, и предложил встретиться завтра. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Заходящее солнце освещало его фигуру со спины, и, вероятно, от этого он казался выше ростом. Глаза как будто ввалились, под ними лежали черные тени, издали голова напоминала череп. Когда, уходя, я стал благодарить его, лицо брата ожило, он что-то крикнул и в знак прощанья высоко поднял багор. Больше мы с ним не виделись.

С тех пор прошло три года, и вот мы с Сино стоим у того самого водохранилища, только директор здесь уже другой.

— Больше вы его не видели?

— Нет, не видел.

— А что с ним стало потом?

— Умер,— не задумываясь ответил я.

С детских лет мой язык привык к этому слову. Старшая сестра? Умерла. Старший брат? Умер. Удобное слово «умер», и ничего не надо объяснять.

— Может быть, пойдем? Здесь нечего смотреть. Водохранилище как водохранилище. Сколько ни смотри, ничего не изменишь.

Но прежде чем уйти, Сино, сидя на корточках, сложила молитвенно руки и поклонилась воде. Из-под крепового воротника блеснула белая шея. Звуки наших шагов, как удары колотушки, отдавались эхом в воде. Мы направились в Судзаки.

Судзаки, пожалуй, единственное место в этом районе, где я не бывал. Брат не брал меня туда. Помню, однажды он гостил у директора компании, где он служил. Директор с семьей на время перебрался в помещение той самой школы, где училась раньше Сино, и я навестил его. Тогда-то с крыши школы я и увидел Судзаки.

Это было необычное зрелище. Ярко выкрашенные домики, плотно

---

[1] Голец, запеченный в сое с зеленью и яйцами.

[2] Переносная жаровня.

прижавшись друг к другу, выстроились по обе стороны узких переулков. На крышах и окнах развевались по ветру белые и красные полотнища. Мне, деревенскому парню, все это было в диковинку, и я попросил брата сводить меня туда, но он сконфузился и обозвал меня дураком. Судзаки — район публичных домов.

Когда мы вышли к трамвайной линии, на Сино нахлынули воспоминания. Увидев норэн[1] знакомого ей с детства сирукоя[2], она даже вскрикнула:

— О, узнала. Наконец-то!

И, захлопав в ладоши, не дожидаясь меня, устремилась в переулок. Дорога шла вверх, обрываясь у массивного каменного моста, ведущего в Судзаки. У самого моста был небольшой ларек. В тени камышовой ширмы на кушетке сидела развалившись женщина средних лет с нездоровым цветом лица. На ней было платье с глубоким вырезом. Прищуренными глазами она смотрела на проходивших мимо людей.

— Вот он, мост Судзаки! — Сино ласково похлопала ладонью по каменным плитам с черными следами пожара и, запрокинув голову, любовно посмотрела на возвышающуюся над мостом арку. Она вполголоса прочитала надпись из маленьких неоновых ламп: «Р-ай Су-у-дзаки». Меня почему-то покоробило это слово «рай».

Раскрасневшаяся от возбуждения Сино молча шла по мосту, и я еле поспевал за нею. Сердце гулко стучало у меня в груди не оттого, что никогда раньше я не бывал в кварталах публичных домов. Случалось, мы с приятелями под хмельком захаживали сюда, но я не мог себе представить, что среди бела дня буду прогуливаться здесь с любимой женщиной, шагать с ней под одним зонтиком, как ходят влюбленные.

Когда мы прошли мост, Сино свернула в переулок налево, и мы оказались в «веселом квартале». Дома здесь выглядели убого, словно истощенная после болезни женщина. И тут и там лежал неубранный с вечера мусор. В переулке было тихо. Раздавались только звуки наших шагов. На углу одной из улочек Сино вдруг остановилась и, указав на старый обшарпанный домик, что стоял на углу, как ни в чем не бывало сказала:

— Вот здесь я родилась! — Возможно, по ее лицу скользнула тень смущения, но по голосу об этом нельзя было догадаться.— Мама держала здесь тир. Так что я — девушка из тира при «веселом квартале».

Сино пристально взглянула мне прямо в глаза и попыталась улыбнуться, что, по всей видимости, стоило ей немало сил. На лбу у нее выступила испарина. Ее возбуждение тотчас же передалось мне, словно от нее отхлынула волна и захлестнула меня. Я поспешил ее успокоить:

— Ну и что?

Видимо, стараясь унять дрожь, она так крепко сжимала ручку зонтика, что пальцы сделались совершенно белыми. Она взглянула на меня с немым укором и запальчиво сказала:

— Хорошенько смотрите, чтобы не забыть!

И я смотрел. Розовая краска на стенах дома облезла. Покрытые кафелем железобетонные подпорки, поддерживавшие балкон в европейском стиле, потрескались. Над домом, словно паутина, в беспорядке висели старые гирлянды с неоновыми лампами. В окнах торчали фонари немыслимого цвета. У меня не укладывалось в голове, что в

---

[1] Бамбуковая или матерчатая штора перед входом в магазин или кафе с изображением торгового знака фирмы.

[2] Закусочная, где подают сируко — сладкий суп из красной фасоли с рисовыми клецками.

этом полуразвалившемся «заведении для женщин» могла родиться Сино.

На наш зонтик будто упала капля дождя. Подняв головы, мы увидели в окнах второго этажа женщин, выставивших напоказ свои плечи и грудь. Все, как одна, подперев подбородок руками, облокотились на футоны[1], разложенные в окнах для проветривания. Припухшими глазами они молча смотрели на нас. Одна из них, вынув изо рта жвачку, бросила ее на зонтик Сино, и женщины дружно захихикали.

Сино, опустив глаза, молча пошла дальше, но пройдя немного, остановилась:

— Вам это странно? Извините! — проговорила она, как будто чувствовала себя виноватой, и с грустью добавила: — Я не хочу сказать ничего плохого про этих женщин, но в прежние времена они были другими. Раньше вообще люди иначе относились к своим обязанностям, а теперь все делают как попало. Я понимаю, времена меняются, но все же когда дзёро[2] опускаются так низко, это уж никуда не годится. Если бы отец узнал, он очень бы огорчился.

— Отец? А чем он занимается?

— Отец? — Она наклонила голову и улыбнулась.— Отец у меня непутевый человек. Теперь он болен. Такой беспомощный, что невозможно на него сердиться. В общем, я не знаю подробностей, знаю только, что он был старшим сыном владельца красильни в Тотиги, но усердия в учебе не обнаружил, и родители лишили его наследства. Тогда он вовсе перестал заниматься, без конца твердил, что он пропащий, никудышный человек. В конце концов запил и совсем опустился. В праздник бэнтэн[3] он надел свое лучшее шелковое хаори[4] и явился в «веселый квартал», назвавшись «стрелком из лука» — «атария». Так назывался мамин тир. Потом, узнав, насколько тяжела жизнь дзёро, он стал их жалеть и, чтобы хоть как-нибудь скрасить их существование, стал у них чем-то вроде советчика. Попадались среди них и хорошие женщины. Такой была О-Нака из дома Тонэро, она всегда меня жалела. Когда ей стало невмоготу заниматься своим ремеслом — у нее заболели легкие, а срок найма еще не истек,— она частенько наведывалась к отцу за советом. День ото дня ей становилось все хуже. В праздник фудо-мёо[5] она приняла яд, подмешав его в желе из агар-агара, и умерла. Эти женщины из Тонэро удивительно бездушны. Ни одна из них не позаботилась о ней, и все хлопоты, связанные с похоронами, отец взял на себя. Вечером гроб вынесли с черного хода и поставили на тележку. Отец тащил ее, а я подталкивала сзади. Помню, когда мы проходили по улице Наканотё, дворники поливали мостовую, черпая воду большими ковшами из бочек. Увидев гроб, они стали по одному присоединяться к нам. Проводили до самых ворот. Вот, пожалуй, и все, что я помню. Я была тогда еще маленькая.

Тем временем мы с Сино вышли на ту самую улицу Наканотё и направились к тем самым воротам, о которых она только что рассказывала. Улица оказалась широкой, с тротуаром, с аккуратными ларьками. Переглянувшись, мы ни с того ни с сего рассмеялись.

— Ну и находились!

— Зато теперь у меня легко на душе. Мне очень хотелось, чтобы вы сами все увидели.

Сино шла впереди, но у моста Судзаки вдруг остановилась и, схватив меня за руку, попросила:

---

[1] Матрас, подстилка.
[2] Женщина из публичного дома, гетера.
[3] Богиня счастья и богатства.
[4] Накидка японского покроя.
[5] Бог огня.

— Поедемте теперь в Асакуса.

— В Асакуса? Ты хочешь сказать, в Тотиги?

Электричка в Тотиги отправлялась из Асакуса.

— Нет. Мне хочется немного развеяться. Я походила по Судзаки, и теперь меня потянуло в Асакуса. Отец любил туда ездить и всегда брал меня с собой. Сначала мы шли в кино, а потом в парке я каталась на карусели. На обратном пути мы непременно заходили в бар «Камия». Отец заказывал для меня виноградное вино, а себе — коньяк.

— Да, но у нас необычная поездка. Не лучше ли сразу поехать в Тотиги?

В Тотиги жили отец, младшие сестры и брат Сино.

— Вот именно потому и хочется, чтобы она не была обычной.

Я подумал о том, как мало радостей в жизни Сино, сколь мучительным был для нее сегодняшний день. Чтобы сделать ей приятное, я согласился; она схватила меня за руку, но, смутившись, тут же ее отпустила.

— Думаешь, бар «Камия» еще стоит на месте?

— Ну да. Я недавно ездила в Тотиги и видела его. Мы пойдем сначала в кино, а потом в бар. Вы закажете мне вина, а себе коньяку. За сегодняшний день нельзя не выпить.

— Будто я — твой отец, а ты — моя дочь.

— Вот глупенький! Ох, извините!

Сино наклонила голову, вскинула зонтик на плечо и мелкими шажками побежала по мосту Судзаки.

Я познакомился с Сино в марте в ресторане «Синобугава». Учился я в частном университете в северо-западном районе Токио, а жил в студенческом общежитии неподалеку от этого ресторана. Как-то мартовским вечером с компанией выпускников я впервые попал в «Синобугава». Сино — женщина из этого ресторана.

«Синобугава» хоть и называется рестораном, но, несмотря на внушительные ворота и ограду из кустарника, он мало чем отличался от обычных кафе, возле которых редко останавливаются частные машины. Здесь можно съесть котлеты из свинины, выпить прямо у стойки. В углу — табачный лоток. Ресторан посещают школьные учителя с ближайших станций, служащие компаний, торговцы и дельцы. Иногда обитающих здесь женщин навещают молодые рабочие из мясных и рыбных магазинов. Словом, «Синобугава» — скромный пригородный ресторанчик. Тем не менее он так же дорожит своим престижем, как любой первоклассный ресторан, и здесь существуют свои наценки на сакэ.

В общежитии — человек двадцать, приехавших из прибрежных деревень северного Тохоку, студенты — большие любители выпить. Большей частью это дети рыбаков, здоровые ребята, и привычка пить сакэ чашками — у них в крови. По любому поводу, с горя ли, с радости, они первым делом спешат опрокинуть чашечку сакэ. Чаще всего они пьют прямо в общежитии, а потом, как правило, идут в одэн'я[1], что под мостом, или в кабачок у железной дороги. Сакэ там крепкое. Иногда, рискнув раскошелиться, вся компания направляется в сусия[2], где к вину в придачу подают суси. Такие пирушки, в общем, не редкость.

В «Синобугава» мы не ходили. Рестораны нам не по душе. Мы уве-

---

[1] Закусочная, где подают одэн — блюдо из соевого творога и бататов.

[2] Закусочная, где готовят суси — колобки из риса, приправленные рыбой, яйцом, овощами, уксусом и сахаром.

ряли друг друга, что там сакэ слабое. В действительности же нам это было не по карману. Ресторанные женщины тоже нас не жаловали. Рассказывают, что сын богатого рыбака Сиота, красавец мужчина и большой любитель женщин, однажды вечером тайком от всех заглянул в «Синобугава». Однако с чем пришел, с тем и ушел. Какая-то двадцатилетняя красотка выставила его как миленького. С тех пор наши простаки побаиваются женщин из «Синобугава».

Но так случилось, что в прощальный вечер мы все же попали туда. Один из выпускников, известный краснобай и любитель выпить, произнес проникновенную речь о проведенных в общежитии годах и, между прочим, заметил, что мы обошли все питейные заведения в районе, кроме «Синобугава». Его речь возымела действие. В самом деле, пристало ли нам возвращаться домой, не побывав в «Синобугава»? Возможно, сказалась затаенная обида на высокомерных обитательниц этого заведения, но так или иначе было решено немедленно туда отправиться.

Итак, поздно вечером десять удальцов, выпив для храбрости, с шумом ввалились в вестибюль «Синобугава». Вечер выдался холодный, и на первом этаже у стойки никого не было. К ней мы и направились шумной ватагой, на ходу заказывая горячее сакэ. Мы расселись вдоль стойки и, как-то сразу сникнув, стали молча потягивать сакэ. Было уже поздно, в зале царила тишина, и только со второго этажа доносились звуки сямисена[1].

— О, слышите, сямисен! — выпалил один из нас с таким неподдельным восторгом, что молодой повар невольно улыбнулся. Мы совсем растерялись и поспешили допить сакэ. Выручили нас неожиданно появившиеся три женщины в кимоно. Как только они подошли к стойке, обстановка сразу разрядилась. Попав с улицы в теплое помещение и выпив подогретого сакэ, мы сразу же почувствовали, как хмель ударил в голову. А захмелев, мы принялись распевать зычными, грубыми голосами деревенские песенки, чем вконец рассмешили дам. Кто-то заговорил с поваром о рыбе, и вскоре в разговор включились все. В чем, в чем, а в этом наши ребята знают толк.

Я же изрядно опьянел. Не будучи сыном рыбака, я не мог тягаться со своими приятелями в выпивке, да и в рыбе мало смыслил. Облокотившись на стойку, я неподвижно сидел с закрытыми глазами.

— Смотри-ка! — зашептал мне на ухо сосед, толкнув меня в бок.— Та самая милашка, что отшила Сиота!

Мутными глазами я уставился туда, куда он показал. Со второго этажа медленно спускались по ступенькам белые чулки и сверкающий подол ярко-синего кимоно. Наконец, откинув норэн, появилась изящная невысокая женщина. Ее волосы были уложены на затылке в пучок. Поклонившись, она прошла мимо стойки, держа перед собой поднос с бутылочками сакэ. Ничего не соображая, я крикнул:

— Эй! Принеси-ка холодной воды!

— Хай[2],— улыбнулась она и, низко поклонившись, исчезла в глубине коридора. Это «хай» еще долго звучало в моих ушах.

— Ничего себе! Выходит, я обставил этого выскочку Сиота. Вот тебе и на! Хотя известно — человека выбирают не по наружности. Как это понять?

Положив отяжелевшую голову на стойку, я разговаривал сам с собой. Вдруг у меня за спиной раздался женский голосок:

— Извините! Заставила вас ждать!

Обернувшись, я увидел ту самую женщину, которая неизвестно

---

[1] Национальный трехструнный щипковый инструмент.

[2] Утвердительный ответ: «хорошо», «слушаюсь».

когда и откуда появилась и теперь стояла с чашкой в руках. Застигнутый врасплох, я залпом выпил воду, но чашку почему-то не хотелось отдавать.

— А вы не слышали, что я тут говорил?

Она улыбнулась уголками губ — нижняя губка у нее была толще верхней — и простодушно призналась:

— Слышала только, как вы сказали, что человека выбирают не по наружности.

— Это я про вас.

Она удивленно подняла брови.

— Вы же выставили Сиота.

— Ах, вот вы о чем. Ну да. Очень уж он назойливый!

— А если бы был не назойливый, не выставили бы?

Она лукаво улыбнулась:

— Смотря кого!

— Меня, например.

Не знаю, как сорвались у меня с языка эти слова, но хмель сразу как рукой сняло. Она засмеялась и, слегка наклонив голову, ответила:

— Я вижу вас сегодня впервые. Как мне знать?

— Тогда я приду завтра.

— Милости прошу, только позовите меня, и я спущусь.

— А как позвать?

— Сино.

На следующее утро, едва я проснулся, перед глазами сразу же возникло ее лицо. Умываясь холодной водой, я смеялся над своим вчерашним дурачеством. Но вечером, когда зажгли фонари, мне стало не до смеха. Я бродил вокруг ресторана и сам себя уговаривал: «Раз обещал, надо зайти на минутку. Только услышу, как говорит она «хай», и уйду. Что в этом плохого! А с завтрашнего дня — туда ни шагу».

В конце концов незаметно для себя я оказался в «Синобугава». Подойдя к стойке, я заказал сакэ и попросил позвать Сино-сан. Она не заставила себя долго ждать. Я извинился за вчерашнее и, не зная о чем говорить, не поднимая глаз, молча потягивал сакэ.

Сино же не испытывала смущения. Она смотрела на меня и улыбалась. Раз или два за ней приходили сверху, но она отвечала, что занята.

Дальше молчать было просто неприлично. Я назвал ее по имени:

— Сино-сан!

— Хай?

Услышав заветное «хай», я сбежал. Десять дней не находил себе места. Меня терзали сомнения. Днем я не мог поверить в Сино, не мог избавиться от мысли, что ее благосклонность ко мне — всего лишь профессиональная привычка. А по ночам не мог не верить ей, не мог не думать, что это она — от чистого сердца. По ночам моя душа пробуждалась и я укорял себя за свои дневные сомнения, а утром она опять впадала в оцепенение, и я гнал прочь ночные грезы. Разрываясь между этими двумя чувствами, я все глубже погружался в трясину любовных мук.

Как-то июньским вечером, беседуя с Сино, я обмолвился, что потерял брата в Фукагава. При упоминании о Фукагава у Сино заблестели глаза, и она сказала, что это ее родина, но она не была там уже восемь лет и что ей очень хотелось бы туда съездить. Недолго думая, я предложил поехать вместе. Мне хотелось хоть раз увидеть Сино днем.

Однако у Сино было много постоянных посетителей, и ей никак не удавалось выкроить денек для поездки. Прошел месяц, прежде чем мы отправились в Фукагава. Тогда я впервые поверил в Сино днем.

Вечером, когда мы вернулись из Фукагава, я не мог избавиться от чувства вины перед Сино. В дневное время она вела себя так же просто и непринужденно, а я по-прежнему сомневался в ее искренности. В этот вечер я написал Сино свое первое письмо. Не для того, чтобы извиниться, а для того, чтобы ответить откровенностью на откровенность.

«Из этого письма вы узнаете, что я утаил от вас, когда в Фукагава рассказывал о брате. Я — шестой ребенок в семье, у меня было два брата и три сестры. Когда мне исполнилось шесть лет, средняя сестра покончила с собой. Она любила одного человека, он не отвечал ей взаимностью, и, не выдержав мучений, она бросилась в море, в Цугару. Летом того же года отравилась старшая сестра, решив, что она виновата в смерти средней сестры. А осенью бесследно пропал старший брат. Он был нервозным, впечатлительным человеком и не мог пережить гибели двух сестер. Не зная, как жить дальше, он предпочел уйти из жизни. Средний брат был волевым, деятельным человеком, и мы очень надеялись на него. Это о нем я рассказывал вам сегодня. Он жил в Фукагава, и благодаря его помощи я мог учиться в университете. Но три года назад поздней весной он объявил нам, что хочет открыть собственное дело — лесостроительную контору, а для этого ему нужны деньги. Заручившись нашим согласием, он поехал в деревню, распродал наше скромное имущество, одолжил денег у родных и исчез неизвестно куда. (В Киба я сказал вам неправду, извините меня.)

Вероломство брата чуть не погубило всю семью. У отца случился инсульт. Все были в отчаянии. Казалось, мы уже не сможем оправиться от удара. Но постепенно боль утихла. Я заменил им брата и вернул надежду.

Я никогда не праздновал свой день рождения. Мне казалось, что с ним как-то связана гибель сестер и брата. В прошлом году в этот день у меня было так скверно на душе, что я отправился бродить по Фукагава. Я всегда брожу по Фукагава, когда бывает не по себе. Во время таких прогулок рассеиваются воспоминания о брате и мне становится легче.

Вот, кажется, и все».

Придя в «Синобугава», я попросил продавщицу табачного лотка, услужливую Токи, передать письмо Сино. На следующий день через нее же получил ответ. Сино написала всего одну фразу: «Как бы мне хотелось побывать на вашем дне рождения в следующем году!»

Я был влюблен в Сино без памяти.

В конце июня я пережил потрясение. Мне стало известно, что у Сино есть жених. Рассказал мне об этом Сиота. Его родители разорились, и он вынужден был вернуться домой, не завершив учебу. Перед отъездом Сиота и сообщил мне по секрету эту новость.

Я ушам своим не верил. У Сино — жених! Просто Сиота сводит со мной счеты. Но он уверял, что знает точно, и даже назвал имя жениха: Мотомура Юкифуса. Он видел их вместе в Асакуса.

Мне не хотелось верить в это, однако в сердце закралась тревога и не давала мне покоя. А что, если она действительно меня дурачит? Больше я не мог оставаться в неведении и, чтобы все выяснить, бросился в «Синобугава». Полуденное солнце слепило глаза, и мне каза-

лось, что все вокруг окутано мраком. Я растолкал Токи, дремавшую у лотка. Напуганная моим видом, она опрометью бросилась за Сино.

Сино вышла ко мне в легком темно-синем кимоно, перехваченном узким пояском. Ее волосы были распущены и длинными прядями падали на плечи. Прежде я никогда не видел ее такой. Ее вид лишь усилил мои подозрения.

— Что случилось? — сдвинув брови, удивленно спросила она.

— Ты знаешь Мотомура? Мотомура Юкифуса?

Сино растерялась:

— Кто вам сказал?

— Не все ли равно! Это правда? Этот человек, этот мужчина — твой жених?

Сино часто заморгала и опустила глаза.

— Это правда? — не унимался я.

— Я все скажу. Все. Но не здесь. Сегодня в семь часов я буду ждать вас на мосту. Отпрошусь у хозяйки на часик. Непременно. Только успокойтесь.

— В Судзаки говорила, что теперь я все про тебя знаю. Значит, лгала?

— Что вы! — Сино вздрогнула.— Я думала, так лучше — не говорить. Надеялась, обойдется. «Лгала»! Мне легче умереть!

Она говорила так взволнованно, что не поверить ей было невозможно. Мы молча смотрели друг на друга, пока я не почувствовал, что задыхаюсь.

— Приходи раньше. В шесть. Я не могу ждать.

— Хорошо. Буду в шесть.

Я выскочил из «Синобугава», оставив ошеломленную Сино. Блуждая по улицам, я перебирал в памяти события последних дней: Сино, я, Мотомура, Судзаки, письмо. Какой я идиот! Машинально забрел в попавшуюся на пути баню и несколько раз обдал себя горячей водой. После этого забрался в бадью для купания. И тогда где-то в отдаленном уголке мозга шевельнулась мысль. Я даже произнес ее вслух: «Отнять!» Кровь отхлынула. Как это я раньше не догадался?

Отнять Сино! Если у нее есть жених, то нужно отнять ее у него. Я сидел в просторной бадье, то и дело повторяя: «Отнять, отнять». Я решил во что бы то ни стало отнять Сино.

Когда в шесть часов я пришел в условленное место, Сино уже ждала меня. Мы молча пошли рядом вдоль каменной ограды и вскоре свернули в пустынный переулок.

— Это случилось весной прошлого года,— начала она тихим голосом, глядя прямо перед собой.— К нам зашел директор отдела по сбыту машин и спросил, не соглашусь ли я выйти замуж за некоего Мотомура, агента их компании. Он занимается оформлением заказов на машины. Этот Мотомура увидел меня однажды на новогоднем вечере и очень захотел на мне жениться. Вот и прислал к хозяйке посредника. Директор сказал, что Мотомура богатый, предприимчивый человек и характер у него покладистый. В общем, лучшего жениха не придумаешь.

Мне тогда было девятнадцать. Я уже служила в ресторане и о замужестве не помышляла. Я растерялась, не знала, как лучше поступить. Мне ведь приходится помогать родным. И все же я решила отказать ему. Тогда хозяйка и директор стали меня уговаривать, пророчили счастливый брак, советовали подумать о родителях, брате и сестрах, которые живут в Тотиги. Ну, я не выдержала и согласилась, а потом жалела. Так у меня объявился жених. И уже как жених он водил меня в кино и на чайную церемонию, но все это меня не радовало. Я никак не могла привыкнуть к нему, а он спешил со свадьбой. Только

и разговоров было: где устроим свадьбу, куда отправимся в свадебное путешествие, причем непременно на самолете. В общем, все это так мне надоело, что я потеряла к замужеству всякий интерес. Чем больше он торопил меня, тем дальше под разными предлогами я отодвигала день свадьбы. Тогда Мотомура-сан...

Сино замолчала и потупила взор.

— Что Мотомура-сан? Что он сделал?

— Стал добиваться своего...

— Ну и что? Добился? — спросил я, теряя самообладание.

— Добился! — Она весело рассмеялась.— Нет, уж очень он нудный. Надоел до ужаса. Когда я ехала к отцу в Тотиги посоветоваться, он ужасно злился. Хотел сам туда приехать. Но я воспротивилась. А отец мне сказал, что я буду всю жизнь каяться, если выйду замуж против своего желания. Жених, конечно, человек самостоятельный, но это еще не все. Замуж надо выходить за человека, без которого не можешь жить и которого любишь до смерти.

Я остановился. Она смотрела на меня.

— Откажи ему!

— Хай.

— Забудь о нем! Как будто его не было.

— Хай!

— Скажи отцу, что выходишь замуж по любви.

Сино смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Наше жаркое дыхание обволакивало нас и превращало в нерасторжимое целое. Сино обхватила свои плечи руками. У меня от волнения пересохло в горле.

— А я не назойлив?

— О нет!

Наконец она улыбнулась.

К концу осени отцу Сино стало совсем плохо. Он еще в молодости пристрастился к вину, и с тех пор, как переехали в Тотиги, у него все время болела печень. После смерти матери его здоровье ухудшилось. Благодаря помощи детей он кое-как держался, но на выздоровление надежд не было.

Из писем брата Сино узнавала о состоянии отца и с грустью приговаривала: «Что ни делай, ему уже ничем не поможешь. На раскаленных камнях вода не держится». Однажды утром ей принесли телеграмму: «Отец при смерти». Отправив ко мне посыльную, Сино стала спешно собираться в дорогу. Когда я примчался в «Синобугава», она уже уложила вещи и только ждала меня. Бледная, она поднялась мне навстречу.

— Отцу плохо. Я еду,— проговорила она и, медленно развернув телеграмму, протянула ее мне. У меня сжалось сердце.

— Я провожу.

— Спасибо, но...

— Пойдем же!

— Прямо так?

Действительно, я был в домашнем кимоно, небрежно схваченном поясом, и небрит.

— А тебе стыдно?

— Нет, если вам ничего...

— Тогда пошли. Надо торопиться.

Я проводил ее до станции. Отсюда на электричке до Тобу было два часа пути.

Пока мы стояли на платформе в ожидании поезда, Сино рассказывала об отце. Она понимала, что он обречен.

— У отца знаете какая болезнь: печень все время сжимается, делается все меньше и меньше, потом станет совсем маленькой, как камешек. И ничем нельзя помочь.

Мне очень хотелось ее подбодрить, но я не находил нужных слов. Пока я лепетал что-то насчет того, что нельзя падать духом, подошла электричка. Сино достала из-за пояса сложенную в несколько раз записку и сунула мне в руку.

— Когда поезд отойдет, прочитайте, пожалуйста.

— Если буду нужен, отправь телеграмму.

— Хорошо. Извините.

Она легким движением прикоснулась к моей руке и исчезла в вагоне.

Поезд отошел. Прямо на платформе, устало опустившись на скамейку, я развернул записку. Записка была написана карандашом и хранила следы спешки.

«Умоляю вас хотя бы одним глазком взглянуть на отца. Так будет обидно, если он умрет, не увидев вас. И тогда уж ни один из моих родителей не будет вас знать. Если отец вас увидит, то умрет спокойно, не тревожась за свою Сино.

Простите мою назойливость, но если бы вы завтра смогли выехать часовым поездом, моя сестренка Тами встретила бы вас на станции.

Да, я вам не говорила, что мы живем в помещении синтоистского храма. Наш дом в Фукагава сгорел, и в Тотиги мы оказались без крова, вот нам и позволили поселиться в этом храме под энгава[1]. Там мы и живем. Вы уж не удивляйтесь.

Умоляю вас, приезжайте. До завтра! Только бы успели! Если не застанете отца в живых, посмотрите хотя бы на мертвого.

Сино».

На следующий день я отправился часовым поездом из Асакуса и через три часа прибыл в Тотиги. Не успел я выйти из вагона, как ко мне подбежала улыбающаяся девчурка с коротко подстриженными волосами. По прямому носу и слегка раскосым глазам я сразу догадался, что это сестра Сино.

— Тами-тян?

Она кивнула и громко, как на экзамене, произнесла мое имя.

— Отец жив?

— Врач уже давно сказал, что вот-вот кончится, а он все живет.

Девочка говорила на местном диалекте с ударением на каждом слове.

— Это хорошо,— сказал я, памятуя о желании Сино.

— Сестра сказала, что отец не умрет, пока вы не увидите его.

Сино, видимо, очень хотелось успокоить отца и родных, но чем могу помочь я человеку, от которого уже отказался врач? Могу ли я хоть на несколько часов продлить жизнь одного-единственного человека? Как все-таки неумолимы законы природы!

Пройдя немного по узкой тропе вдоль путей, мы свернули в поле. На фоне голубого неба с редкими облаками носились красные стрекозы.

— Вы живете так далеко от железной дороги? — спросил я у своей спутницы.

— Нет, мы идем не прямо.

---

[1] Открытая галерея вокруг дома.

— Почему же не прямо?

— Но ведь отец не умрет до тех пор, пока вы не придете. А придете, может и умереть.

Тами произнесла это очень серьезно, и я невольно замедлил шаг.

Впереди показалась небольшая криптомериевая роща, которую облепили черные вороны.

— Ну вот, опять прилетели! — сердито сказала Тами.

Однако, подойдя поближе, я убедился, что это не роща, а всего лишь узкая полоска деревьев, оставшаяся от вырубленного леса. Мы прошли через накренившиеся, наполовину сгнившие тории[1]. Там, где когда-то был лес, среди пней и редких деревьев стояло совсем уже ветхое здание заброшенного храма. Здесь и жила семья Сино.

Тами побежала вперед, и вскоре навстречу мне вышла Сино в своем рабочем костюме. Пройдя мимо Тами, она подошла прямо ко мне.

— Ну, вот я и приехал!

— Прошу вас! Мы очень ждали.

Стянув с головы повязку, Сино теребила ее в руках. За одну ночь она изменилась до неузнаваемости — глаза ввалились, губы потрескались и побелели.

— Как хорошо, что вы успели!

Я направился к храму. Сино стояла в нерешительности, закусив губы. Храм, видимо, давно не действовал, и из утвари ничего не сохранилось. Только у входа висел жалкий колокольчик. Я хотел было войти под широкую энгава, откуда только что появилась Сино, но она остановила меня:

— Там мастерская брата. Сюда, пожалуйста.

Нагнувшись, я поднялся по ступенькам. За деревянной дверью в полумраке светилась единственная желтая лампа. Комната была разделена перегородкой на две части. В задней половине комнаты пол был на ступеньку выше, чем в передней. Там в беспорядке были свалены ящики разной величины, очевидно, когда-то в них хранились реликвии храма. В передней половине пол был застелен потрепанными татами. Возле старомодного черного комода на тонком футоне лежал отец Сино. У изголовья стояли на коленях брат, сестра-третьеклассница и Тами.

Сино принялась тормошить отца:

— Отец! Он приехал! Приехал!

Лицо несчастного высохло, и невозможно было поверить, что это лицо взрослого человека. Сино теребила его за плечи, и голова с закрытыми глазами перекатывалась беспомощно из стороны в сторону. Сино трясла его изо всех сил, выкрикивая мое имя. Он только стонал. Ни говорить, ни открыть глаза у него, видимо, не было сил.

— Отец, он приехал! Неужели ты так и не увидишь его? — чуть не плача повторяла Сино и, как бы ища поддержки, смотрела на брата и сестер. И тут Тами, наклонившись к самому уху отца, закричала:

— Жених Сино приехал! Жених Сино!

Не успел смолкнуть ее голос, как глаза отца приоткрылись. Тами снова закричала:

— Жених Сино приехал! Мы здесь все около тебя собрались.

Освещенные красноватым светом глаза отца, подрагивая, медленно повернулись в мою сторону, как будто выкатились из глазниц. Опершись руками о пол, я наклонился над ним и тихо произнес: «Отец!»

---

[1] Закусочная, где готовят блюда из птицы.

— А, я — отец Сино,— сказал он, едва шевеля губами, но удивительно ясным голосом. Напрягаясь, он хотел приподнять голову, но я остановил его, придержав за сухие, как доски, плечи.

— Что вы! Лежите.

— Я глупец. Разве так нужно воспитывать детей! Но, прошу вас, пусть уж с Сино будет все в порядке,— только и успел сказать он и тотчас же впал в беспамятство.

— Отец, ты его видел? Видел? — засуетилась Сино. Она не могла смириться с мыслью, что отец умрет, так и не увидев меня, и в каком-то отчаянии продолжала тормошить его.

— Видел,— прохрипел он в полузабытьи совсем уже другим голосом. Но Сино не унималась:

— Ну как? Как он тебе показался?

— Хороший человек!

Веки отца сомкнулись. Он продолжал еще шевелить губами, но голоса уже не было слышно.

— Отец видел вас. Он сказал: «Хороший человек».

Сино опустила глаза. На заострившийся кадык отца закапали слезы. Через день он умер. После его смерти храм перешел в другие руки. Все разъехались кто куда. Брат поступил на службу в компанию по изготовлению щеток. Сестры перебрались к дальним родственникам. А Сино я увез с собой.

На пятьдесят седьмой день после смерти отца мы последовали его совету — «женились по любви».

В канун Нового года мы с Сино отправились ночным поездом в сторону Уэно. Когда мы приехали на станцию, шел мелкий снег. Над платформой не было навеса, и снег серебряной пылью ложился на блестящие волосы Сино.

Моя мать, завидев нас, не могла скрыть радости. Ее морщинистое лицо расплылось в улыбке. Еще издали она протянула к нам руки, словно желая заключить нас в объятия. Сино, нисколько не смущаясь, направилась прямо к ней и поклонилась. Мать в ответ поклонилась еще ниже и начала нараспев, как принято в этих местах, произносить слова приветствия.

— О, радость-то какая! Приехали в такую даль, в наши снежные края,— приговаривала она и стряхивала снег с пальто Сино. Та немного смущалась, но не противилась.

— Зря ты в такую погоду пришла встречать! — пожурил я мать, но она только руками всплеснула:

— Что ты такое говоришь! Невеста сына приехала, а я встречать не приду! Я и машину заказала.

Машина с трудом двигалась по дороге, занесенной снегом. С трудом одолев замерзшую реку, шофер свернул направо и выехал на узкую дорогу, где невозможно разминуться двум встречным машинам. Он даже засомневался:

— Проедем ли в такой снег?

Но мать не отступала:

— Ты уж постарайся. Ведь невесту везешь.

— Невесту? Ну, тогда другое дело. Если под Новый год везешь невесту, это к счастью. В пути останавливаться нельзя — плохая примета. Ничего не поделаешь, надо ехать.

Возле дома у обочины дороги поджидали отец и сестра. Шофер громко просигналил несколько раз, и отец радостно замахал деревянной лопаткой для расчистки снега.

— Приехали! Наконец-то! — воскликнул старик. Сестра обняла Сино и, раскрыв над головой зонт, повела в дом.— Со вчерашнего вечера валит снег, и конца не видно. Всю дорогу замело,— пожаловался отец.

— Может быть, это к лучшему,— пошутил я.

Я оглядел отца. Он сильно сдал за этот год (и еще больше сгорбился). Заметив мое беспокойство, он засмеялся и стал уверять, что все в порядке.

— Вот так всегда,— пожаловалась мать.— Совсем себя не бережет.

Когда стемнело, мы впятером уселись в чайной комнате возле котацу [1] и принялись за угощение. Отец, в который уж раз, просил меня рассказать одну и ту же историю, и его любопытству не было конца.

Мать с сестрой собрались готовить ужин. Сино тоже встала и вынула из чемодана свой передник.

— Что вы, Сино-сан! — заволновалась мать.— Вы же невеста! А невесте полагается сидеть и ждать.

— Но я немножко помогу вам.

— И не думайте. Мы с Коё сами справимся. А вы отдыхайте.

Наблюдая, как они тянут друг у друга передник, мы с отцом расхохотались.

— Мама, ну раз Сино хочется тебе помочь, ты уж ей не мешай.

Мать искренне удивилась и обрушилась на меня:

— Что ты такое говоришь! Жених называется! Невеста не успела приехать, а ее заставляют работать на кухне. Даже не думай об этом. Если люди узнают, что они скажут?

— Скажут, что она не такая, как другие. Сино не может понять, почему невеста не должна работать. И разве не все равно, что скажут люди? Что здесь плохого — невеста приехала и от чистого сердца помогает тебе по хозяйству.

— Ну, как хотите!

Мать засмеялась, словно заплакала, и покорно повязала Сино фартук.

Мы отправили Сино спать пораньше: в поезде она не сомкнула глаз, а сами собрались в чайной комнате обсудить вопрос о моей женитьбе. Решено было отпраздновать свадьбу на следующий день вечером в семейном кругу. Родных и близких друзей в этом городе у нас не было. Я вообще не помышлял ни о какой пышной свадьбе. Мне просто хотелось доставить удовольствие старикам. Они произвели на свет шестерых детей, но только теперь, когда им перевалило за шестьдесят, сподобились женить одного из сыновей. Вот почему я решил ни в чем им не перечить и делать все, как они хотят.

Отец и сестра пошли спать, мы с матерью остались в чайной комнате одни. Некоторое время мы сидели молча, слушая, как булькает вода в котелке.

— Ну, сынок, тебя можно поздравить! — нежно сказала мать.

Я не возражал.

— Я все время очень беспокоилась. Все-таки женщина из ресторана. Она мне даже снилась. Беспокоилась, пока не увидела. Много пережила, бедняжка, потому и не похожа на других. Сразу видно человека. Ты уж береги ее.

Я кивнул.

— А как Коё-сан? — спросил я у матери.

— Она рада за тебя.

---

[1] Вделанная в пол комнатная жаровня.

У меня отлегло от сердца.

Одно смущало меня в моей женитьбе — как к этому отнесется сестра. Она была болезненной. У нее было плохо с глазами, и потому она всегда носила синие очки. В этом году ей исполнилось тридцать пять, и она уже не рассчитывала на замужество. Из шестерых нас осталось двое. Мой долг — быть ее защитником, и я боялся неосторожным поступком загасить маленький огонек привязанности, тлевший в ее одинокой душе. Ей могла не прийтись по вкусу моя невеста, и тогда, при ее склонности к одиночеству, она еще больше замкнется в себе.

Этой ночью мы с сестрой спали на втором этаже. Мать и Сино расположились на первом. Когда я проходил мимо кухни, мне показалось, что сестра как-то уж очень шумно умывается. Я знал о ее привычке умываться перед сном, но на сей раз она вроде бы плакала и пыталась скрыть это от окружающих. Понравилась ей Сино или нет? Сестра настолько чувствительный человек, что не могла не принять мою женитьбу близко к сердцу.

Я медленно поднимался по лестнице, размышляя над тем, что было бы, если бы все братья и сестры остались в живых. Сестра не могла не слышать моих шагов. Когда я окликнул ее, она обернулась, и я увидел ее раскрасневшееся лицо. Как ни в чем не бывало я спросил у нее:

— Ну, как тебе невеста?

Моргая ресницами, на которых повисли капельки воды, сестра улыбнулась:

— По-моему, ничего!

— Теперь у тебя будет сестренка. Правда, хорошо?

Она ничего не ответила и, засмеявшись, по-кошачьи похлопала меня по груди. Такое могут себе позволить только близкие люди.

— Ну, спасибо.

Я благодарил ее за то, что она рассеяла мои сомнения.

На следующий день снегопад прекратился. Вечером вышла луна тринадцатой ночи[1].

Я надел костюм. Мать и отец обрядились в кимоно с фамильными гербами. Отец, который не любил выходить из дома, да и здоровье ему не позволяло, достал из комода свое праздничное кимоно, пролежавшее там более десяти лет. Воротник хаори помялся, и он попросил отутюжить его. У Сино не было свадебного наряда, и она надела свое единственное выходное кимоно. Сестра повязала праздничный оби[2], расшитый по белому золотыми нитками.

Сквозь стеклянную дверь гостиной виднелось заснеженное поле. Мы с Сино сидели в центре, по бокам — отец и мать, рядом с матерью — сестра. На маленьких столиках красовались запеченные окуни. У нас была совсем скромная свадьба, без гостей. Но вместе с тем наша свадьба была необычайно теплой, сердечной. Она сулила нам с Сино счастье.

Мы троекратно обменялись чашечками сакэ[3]. В нашем доме водилась красивая посуда — остатки былой роскоши,— предназначенная для гостей, но свадеб в нашем доме не справлялось, и поэтому для церемонии троекратного обмена мы воспользовались обыкновенными чашками. Сестра разливала сакэ. Это было непривычным для нее делом, и, переливая каждый раз через край, она смущенно охала, а мы прыскали со смеху.

---

[1] Ночь на 14-е число 9-го месяца по лунному календарю славится красивым полнолунием.

[2] Пояс для кимоно.

[3] Ритуал, принятый во время японских брачных церемоний.

Когда кончилась традиционная церемония, отец, раскрасневшись от выпитого сакэ, вдруг всем на удивление предложил:

— А не спеть ли нам Такасаго [1]?

Мы никогда не слышали, чтобы отец пел, и подумали, что он шутит. Но он не шутил. Приняв торжественную позу, отец громко откашлялся. Его сжатая в кулак правая рука, лежавшая на колене, так сильно дрожала, что край стола вибрировал ей в такт. С некоторых пор у него стали дрожать руки: стоило ему поволноваться, и уже не уймешь дрожь.

— Таа-каа-саа-гоо,— тряся головой, пел отец. И не то чтобы пел. Язык его заплетался, голос застревал где-то в горле, и лишь свистящее дыхание прорывалось сквозь редкие зубы.

— Отец, отец, довольно, перестань! — умоляла его мать со слезами на глазах. Но отец не унимался. Сестра пыталась придержать его дрожащую руку, а он все пел и пел.

Я молча наблюдал за происходящим. Отец и мать, которые безропотно мирились с изменой детей — каждый из детей по-своему обманул их надежды,— были до смерти рады этой встрече. Все, наконец, собрались под родным кровом и по такому радостному случаю. Может быть, впервые они были по-настоящему счастливы. Меня душили рыдания. Сино же, ничего не подозревая, смеялась до слез.

На сей раз второй этаж был отведен для нас с Сино. Я быстро сдвинул футоны, положив рядом подушки.

— В снежных краях есть обычай — спать без всего. В пижаме не удобно.

Сбросив кимоно и нижнее белье, я, как есть, быстро забрался под футон.

Сино аккуратно сложила свое кимоно, щелкнула выключателем, присела на корточки возле моей подушки и робко спросила:

— И мне без всего?

— А как же! Ведь ты теперь — житель снежной страны.

Сино прошуршала в темноте одеждой.

— Извините!

Что-то светлое прильнуло к моему боку.

Я впервые обнимал Сино. Ее тело оказалось прекраснее, чем я предполагал. Скользнув ладонью по упругой груди Сино, я ощутил сладостную истому. Кожа у нее была настолько нежная и тонкая, что, прикасаясь к ней, я чувствовал, как в жилах течет кровь. Жар ее тела передался мне, и вскоре мы оба горели.

Этой ночью Сино была послушной куклой, и я, неопытный кукловод, обезумев от счастья, наслаждался ею.

Мы лежали, прижавшись друг к другу, и не могли уснуть.

— Тебе не жарко? — спросил я тихо.

— Ничуть. Давай и в Токио будем так спать,— предложила Сино.

Мы стали в подробностях вспоминать минувший день и нашу свадьбу.

— Ты знаешь, мне стыдно признаться: я ничего не умею делать. Но я научусь. Только теперь я поняла, как глупо провела двадцать лет жизни. Я никогда не думала о себе. Все думала о других — когда мне этого хотелось и когда не хотелось. Терпела... Терпела...

— Сино-сан из «Синобугава»! [2]

— Нет, нет! Забудь об этом. Я теперь не та Сино. Теперь я буду думать только о тебе и о себе. Все будет хорошо.

---

[1] Песня, которую исполняют в театре по случаю брачного союза.

[2] Игра слов: «синобу» — терпеть, «Синобугава» — буквально: «Река терпения».

Когда она умолкла, в снежном краю стало тихо, как на дне земли. Неожиданно тишину нарушил чистый звон колокольчика. Звон медленно приближался.

— Колокольчик? — удивилась Сино.

— Это сани.

— Сани?

— Да, лошадь тащит сани. Какой-нибудь крестьянин возвращается из кабачка.

— Ой, как мне хочется посмотреть!

Мы выскочили в коридор, накинув одно кимоно на двоих. Когда я немного раздвинул ставни, холодный, как клинок, свет упал на голое тело Сино. По белой от снега дороге медленно двигалась черная тень. В санях, закутавшись в одеяло, дремал одинокий возница. Он был один и, наверное, возвращался домой. При лунном свете на копытах лошади сверкали подковы.

Мы смотрели, как завороженные, пока я не почувствовал, что Сино дрожит.

— Пойдем быстрее! Завтра в дорогу. Поспим хотя бы немного.

— Уснем, пока не смолк колокольчик.

Забравшись под футон, Сино прижалась ко мне поплотнее. Она никак не могла согреться, и я почувствовал плечом, что у нее зуб на зуб не попадает.

Колокольчик замер, но в ушах оставался звон.

— Слышишь?

Сино не ответила. Я прикоснулся к ее губам. Она спала.

На следующее утро мы отправились в свадебное путешествие.

Мне не хотелось ехать только потому, что так принято, но мать все-таки настояла — мы повиновались. Решено было, что мы отправимся к горячим источникам. Это небольшая деревушка в долине, немного севернее здешних мест. Там в далекой юности, разочаровавшись во всем и забросив школу, я проболтался четыре сезона. Теперь мне захотелось свезти туда Сино, чтобы в тот источник, в белой мути которого я смывал горький пот своих страданий, окунулась та, что освободила меня от них.

Утренний поезд был битком набит торговцами. К счастью, нам удалось найти свободные места друг против друга. Полузакрытыми глазами Сино смотрела на утренний пейзаж за окном. Но не успели мы отъехать, как вдруг она очнулась и, тряся меня за колени, вскрикнула:

— Смотри! Смотри! Видишь?

За окном, куда она указывала, мелькали невысокие дома, запорошенные снегом, обледеневшая река, мост, сторожевые будки, храм, за ними — невысокие горы.

— Куда смотреть?

— Как куда? Вон же наш дом!

В самом деле среди снега, у самого края реки, в лучах утреннего солнца белела стена нашего дома.

— А, вижу.

— Видишь! Это мой дом!

Сино, которая все еще держала меня за колени, с тех пор как родилась, ни разу не жила в настоящем доме. Мне была понятна ее радость: увидеть из окна поезда, увозившего ее в свадебное путешествие, «свой дом». И вдруг я заметил, что по-новогоднему одетые торговцы, впервые в этом году вывозившие товары, молча с интересом наблюдают за нами. Под их пристальными взглядами я почувствовал, что краснею.

НАОЯ СИГА

Преступление Хана

Случилось нечто непредвиденное. Во время представления фокусник, китаец Хан, метнув тяжелый нож, перерезал сонную артерию своей жене. Молодая женщина умерла на месте. Хан был немедленно арестован. Несмотря на то, что все это произошло на глазах директора театра, ассистента Хана, тоже китайца, конферансье, находившегося на своем посту полицейского и более трехсот зрителей,— для всех оставалось тайной: предумышленное это убийство или нет.

Номер Хана заключался в следующем: его жена становилась возле огромного деревянного щита, а Хан с расстояния двух кэнов[1] бросал длинные ножи с таким расчетом, чтобы они, вонзаясь в щит в двух сунах[2] от тела ассистентки, обозначили контуры ее фигуры.

Первым судья допросил директора:

— Скажите, этот номер считается сложным?

— Нет, для опытного мастера он не сложен, но, чтобы его выполнить, нужны крепкие нервы и полная сосредоточенность.

— Значит, промах маловероятен?

— Да. В противном случае я не разрешил бы этот номер у себя в театре.

— Тогда не считаете ли вы, что произошло предумышленное убийство?

— Нет, не думаю. Утверждать категорически, что этот номер выполняется с точностью машины, вряд ли возможно. Правда, нам и в голову не приходило, что такая вещь может случиться. Теперь-то ясно, что возможность промаха не была исключена.

Судья был в затруднительном положении. Факт убийства налицо, но никто не мог доказать — предумышленное это убийство или нет (если предумышленное, то чистая работа).

Следующим судья допросил ассистента Хана, проработавшего с ним вместе не один год. Судья начал с вопроса:

— Что вы можете сказать о Хане?

— По-моему, Хан — порядочный человек: в азартные игры не играет, женщинами не увлекается, не пьет. С прошлого года он вроде бы стал проявлять интерес к христианству. По крайней мере, в свободное время всегда почитывает сборники проповедей и другие их книжки.

— А какого вы мнения о покойной?

---

[1] Кэн — 1,81 метра.

[2] Сун — 3,03 сантиметра.

— Она тоже была порядочным человеком. Вам, наверно, известно, бродячие актеры — народ неразборчивый. Могут, например, соблазнить чужую жену и сбежать с ней. Случается. Жена Хана была хорошенькой, миловидной женщиной, ее тоже пытались сбить с толку, но ничего не вышло. Хан и его жена были добрые и приветливые люди, умели владеть собой и никогда ни с кем не ссорились. Но... — здесь китаец запнулся и, немного поразмыслив, добавил: — Может быть, я наврежу Хану, если расскажу о том, что друг к другу они относились с какой-то необъяснимой жестокостью.

— Отчего же?

— Не могу понять.

— И всегда так было?

— Нет, это началось года два назад, когда госпожа Хан родила. Роды были преждевременными, и ребенок на третий же день скончался. Тогда-то у них и начался разлад. Все уже знали, что они не ладят. Из-за любого пустяка начиналась ссора. Хан в эти минуты был бледен как полотно и все же не поднимал руку на жену. Наверно, это запрещается его верой. Но в глазах кипела дикая злоба. Однажды я спросил у него: «Чем так жить, не лучше ли разойтись?» Он ответил, что если у жены и есть причины для развода, то у него их нет. Хан всегда поступал по-своему. Он как-то мне признался: «Я разлюбил жену. Она это почувствовала и тоже охладела ко мне. Ничего не поделаешь». Думаю, он начал читать Библию и все эти сборники проповедей, чтобы как-то смягчить сердце и избавиться от ненависти к жене, которую не за что было ненавидеть. Она скорее достойна была жалости. Три года они бродяжничали вместе по белу свету. На родину ей возвращаться не было смысла. Старший брат, беспутный человек, промотал все имущество семьи. Решись она расстаться с Ханом и вернуться к себе, на новый брак ей рассчитывать было нечего, раз три года она скиталась с бродячими актерами. Наверно, потому она и не оставляла Хана и терпела все эти муки.

— А что вы думаете о случившемся?

— Вы хотите спросить, считаю я это несчастным случаем или убийством?

— Именно.

— Я и сам много раздумывал над этим, но чем больше думал, тем меньше понимал, что же произошло на самом деле.

— Почему же так?

— Не знаю, но это факт. Наверно, и остальные не смогут вам ответить. Я спрашивал у конферансье. Он тоже ничего не может понять.

— А какая мысль вам пришла в голову в тот самый момент, когда это случилось?

— Я подумал: он убил ее!

— Вот видите!

— Но конферансье в ту же минуту подумал: промахнулся!

— Да, но это первое, что может прийти в голову, если не знаешь об их отношениях.

— Видимо, так. Но ведь и я подумал об убийстве не потому ли, что знал об их отношениях?

— Ну, а как вел себя Хан, когда это случилось?

— В тот момент он вскрикнул, и я увидел, что у нее из горла хлещет кровь. Несколько секунд она еще держалась на ногах, потом колени ее подогнулись, тело качнулось вперед, нож выпал, и она, как подкошенная, рухнула на пол. Мы замерли от ужаса, но ничем не могли помочь. Словно окаменевшие, уставились на нее. Поэтому я и не могу сказать точно, что делал в эти минуты Хан. Нам было не до него. Наверно, он испытывал то же, что и все мы. Правда, спустя не-

которое время у меня появилась мысль: «Все-таки он убил ее!» Но в эту минуту Хан стоял с закрытыми глазами и был очень бледен. Когда опустили занавес, мы подошли к ней. Она была мертва. «Как же я промахнулся!» — вполголоса промолвил Хан и, став на колени, начал молча молиться. Вид у него был потерянный.

— Благодарю. Если возникнут вопросы, я вас вызову.

Судья отпустил ассистента. После него ввели Хана. Это был человек с умным, очень бледным и напряженным лицом. Судье достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, какое сильное нервное потрясение ему пришлось пережить.

— Я уже допросил директора театра и вашего ассистента,— начал судья, как только Хан сел.— Теперь разрешите задать несколько вопросов вам.

Хан кивнул.

— Скажите, вы совсем не любили свою жену?

— Это не так. Со дня нашей женитьбы и до рождения ребенка я любил ее всей душой.

— Ну, а что же случилось потом?

— Я понял, что ребенок не мой.

— И знали чей?

— Догадывался. Ее двоюродного брата.

— Вы с ним знакомы?

— Да, он был моим другом. Он и уговорил меня жениться на ней.

— Вы предполагаете, что их связь началась еще до вашего брака?

— Да. Ребенок родился через восемь месяцев после женитьбы.

— Но ваш ассистент сказал, что роды были преждевременными.

— Я сам это придумал.

— Но ребенок вскоре умер.

— Да.

— Что же с ним случилось?

— Она придавила его грудью, когда кормила.

— Она сделала это умышленно?

— Нет, говорила, что случайно.

Судья пристально взглянул на Хана. Тот приподнял голову в ожидании следующего вопроса, но глаза его были опущены.

— Жена не призналась вам в этой связи? — продолжал судья.

— Нет. Я и не спрашивал. Смерть ребенка, казалось мне, искупила ее вину. Мне хотелось быть великодушным.

— Но вам это не удавалось?

— Не удавалось. Меня не оставляла мысль, что смерть ребенка все же недостаточное возмездие. Когда ее не было рядом, я готов был все простить, но стоило мне увидеть ее, как неприязнь к ней снова вспыхивала.

— А вы не думали о разводе?

— Думал, и не раз, но не говорил ей об этом.

— Почему же?

— Духу не хватало. Она говорила, если я ее брошу, она покончит с собой.

— Значит, она вас любила?

— Нисколько.

— Почему же она так говорила?

— Просто ей нужно было как-то существовать. Она знала, что ни один порядочный человек не возьмет к себе бывшую жену бродячего актера. На родных ей рассчитывать было нечего: ее старший брат разорил их. Ну, а для того чтобы работать, у нее были слишком маленькие ножки.

— В каких вы находились отношениях? Ее влекло к вам?

— Думаю, что нет. Близость со мной была ей видимо, в тягость. Но она выносила это с таким терпением и стойкостью, которым мог позавидовать любой мужчина. Она с холодной жестокостью взирала на то, как рушится моя жизнь. И когда я в муках взывал о помощи, мечтая как-то наладить нашу жизнь, она хладнокровно и даже с каким-то злорадством наблюдала за мной со стороны.

— Почему же вы терпели?

— Разные были причины.

— Что вы имеете в виду?

— Мне хотелось подавить в себе гордость, но ничего не получалось.

— А у вас не возникала мысль убить ее?

Хан молчал. Судья повторил вопрос. Хан и на этот раз ответил не сразу:

— Я думал не раз: лучше бы она умерла.

— Значит, если бы это не каралось законом, вы бы могли убить жену?

— Я не потому не делал этого, что боялся закона. Просто духу не хватало. У слабых людей сильна тяга к жизни.

— И в последнее время у вас появлялась мысль об убийстве?

— У меня не хватало решимости, но думать об этом я думал.

— Незадолго перед этим?

— Да, накануне, в последний вечер или даже на рассвете.

— Вы были в ссоре?

— Да.

— Из-за чего?

— Из-за какой-то ерунды. И говорить не о чем.

— Все-таки расскажите.

— В тот вечер она замешкалась с ужином, а я, когда голоден, бываю очень раздражителен. Ну вот я и разозлился.

— Сильнее обычного?

— Нет. Но на сей раз долго не мог успокоиться. В последнее время я сильно страдал от того, что не налаживаются наши отношения. Я лег в постель, но заснуть не мог. Мой воспаленный мозг обуревали разные мысли. Я вдруг отчетливо понял, что все напрасно, что все мои старания ни к чему не приведут, мои надежды не сбудутся и мне никогда не избавиться от того, что стало для меня невыносимым. Причиной была жена. Я понял, что и в будущем нет просвета. Когда-то я мечтал о светлой жизни, но эта мечта угасала. Вернее, огонек надежды не погас совсем, но был при последнем издыхании и страшно чадил. Сомнения и страдания стравляли меня. И когда они окончательно меня доконают, я буду мертв. Вроде бы живой и все же мертвый. Я понял, что нет надежды, и все-таки хотелось что-нибудь придумать. Тогда и пришла мне в голову эта отвратительная мысль: «Хоть бы она умерла!» Почему я все-таки не убил ее? Последствия убийства меня не пугали. Наверно, тюремная жизнь была бы не хуже моего горестного существования. Но я понимал, что ничего не изменится, чему быть, того не миновать. Все пойдет прахом. У меня больше не было сил противиться судьбе, и я покорился ей. Я и забыл, что рядом со мною лежала жена. Я смертельно устал. Но это была не та усталость, после которой приходит крепкий сон. И по мере того как я терял силы, блекла идея убийства. Я ощутил полную опустошенность, которая наступает после кошмарного сна. Мною овладела тоска, я впал в бесчувствие. А когда стало светать, заметил, что и жена не спит.

— Когда вы встали, у вас все было как обычно?

— Мы просто не разговаривали друг с другом.

— Вам и тогда не пришла в голову мысль просто уйти от нее?

— Вы хотите сказать, что в этом случае осуществились бы мои надежды?

— Положим.

— Думаю, что нет.

Хан молча посмотрел на судью. Тот понимающе кивнул...

— Конечно, эти мысли не совсем то же, что предумышленное убийство. В этот день с самого утра я был очень взволнован, физически изнемог и нервы сдали. Не в силах оставаться на месте, отправился бродить по безлюдным местам. Я все время думал, что необходимо что-то предпринять, но мысль об убийстве, которая вчера пришла мне в голову, больше не возвращалась. Я даже не вспоминал о предстоящем выступлении. Если бы вспомнил, то, наверно, заменил бы этот номер другим. Наступил вечер. Подошла наша очередь выходить на сцену. Как ни в чем не бывало я продемонстрировал зрителям отточенность ножей, рассекая бумагу и вонзая их в пол. Вскоре вышла сильно напудренная жена в ярком китайском наряде. Все как обычно. Приветливо улыбаясь и раскланиваясь, она стала у щита. Захватив ножи, я занял свое место. Впервые со вчерашнего вечера наши глаза встретились. И тогда-то я понял, что зря не заменил номер, что если не удастся взять себя в руки, то все может плохо кончиться. Я пытался успокоиться, но не мог справиться со своими расшатанными нервами и с дикой усталостью, которая, казалось, пронизала меня до самого сердца. Руки мне больше не повиновались. Закрыв на мгновение глаза, я все же попытался сделать над собой усилие, но лишь ощутил дрожь в теле. Пора было начинать. Я метнул первый нож над ее головой. Он вошел в щит на сун выше обычного. Она развела руки в стороны, и я метнул по ножу под каждую из них. У меня было ощущение, что нож прилипает к пальцам, будто что-то его удерживает. Я уже не мог точно определить цель и после каждого броска благодарил судьбу, что не промахнулся. Я пытался взять себя в руки но ничего не получалось. Скованность, охватившая мой мозг, передалась пальцам. Вонзив нож слева от шеи, я хотел было метнуть с правой стороны. И вдруг заметил ужас в ее глазах. При каждом броске она, видимо, сжималась от страха. Может быть, мое состояние передалось ей, а может быть, она предчувствовала, что какой-то из ножей вонзится ей в шею. Не знаю почему, но ее страх подхлестнул меня. Я почувствовал головокружение. Теряя силы, не прицеливаясь, почти вслепую я метнул нож...

Судья молчал.

— Тогда-то у меня и мелькнула мысль: «Наконец-то я убил ее!»

— Вы хотите сказать, что сделали это намеренно?

— Да, мне показалось, что я сделал это намеренно.

— Но затем вы опустились возле нее на колени и начали молиться. Не так ли?

— Да, я вдруг решил схитрить. Все думают, что я правоверный христианин. А я, делая вид, что молюсь, обдумывал, как вести себя дальше.

— Итак, вы были уверены, что сделали это намеренно?

— Да, но я тут же понял, что смогу выдать убийство за несчастный случай.

— И все же что привело вас к мысли, что вы убили ее умышленно?

— Мое сердце, которое забилось учащенно.

— Вы решили, что вам удалось всех провести?

— Да. Тогда я как можно естественнее изображал ужас и скорбь. Окажись рядом хотя бы один проницательный человек, он заметил

бы, что я притворяюсь. Теперь при одном воспоминании об этом меня бросает в холодный пот...

В тот вечер я решил во что бы то ни стало доказать всем свою невиновность. Против меня и не было улик, это можно почувствовать только сердцем. Все знали, что мы не ладили, но из этого не следовало, что я способен убить ее. Мне достаточно было сказать: «Промахнулся» — и никто не доказал бы обратного. Возможно, наши отношения кое-кого навели на подозрения, но это не могло служить доказательством моей вины. В общем, за отсутствием улик меня должны были оправдать. Совершенно спокойно перебирая в памяти подробности случившегося, я представлял себе, как, давая показания, все будут утверждать что произошел несчастный случай. Но потом мною вдруг овладело сомнение: а почему все-таки я решил, что сделал это умышленно? Видимо, потому, что в последний вечер я думал об убийстве и оно действительно произошло. Я окончательно запутался и перестал что-либо понимать. Но потом на меня нашло просветление и на душе стало легко. На радостях мне захотелось кричать во весь голос.

— Вы поняли, наконец, что промахнулись?

— Нет, я так еще не думал. Я просто понял, что сам ничего не знаю и что, если честно расскажу все, как было, меня не осудят. Поэтому я могу не обманывать себя и других, не изображать все это несчастным случаем. Я не могу категорически утверждать, что промахнулся, но и не могу сказать, что совершил предумышленное убийство, не могу ни признать свою вину, ни отрицать ее.

Хан замолчал. Молчал и судья, потом вдруг произнес скороговоркой:

— Все это похоже на правду. Но скажите, неужели вам нисколько не жаль своей жены?

— Нисколько. Я и представить себе не мог, что буду рассказывать о смерти жены с такой радостью.

— Хорошо! Можете идти.

Хан молча поклонился и вышел. Судья, будто кто его подхлестнул, резким росчерком пера написал: «Невиновен».

Перевод Т. ГРИГОРЬЕВОЙ

ДЗЮНИТИРО ТАНИДЗАКИ

Татуировка

Это было во времена, когда люди почитали легкомыслие за добродетель, а жизнь еще не омрачали, как в наши дни, суровые невзгоды. То был век праздности, когда досужие острословы могли жить припеваючи, заботясь лишь о безоблачном

настроении богатых и знатных молодых людей да о том, чтобы улыбка не сходила с уст придворных дам и гейш. В романах с гравюрами и на театральных подмостках появились женоподобные герои: Садакуро, Дзирайя, Наруками.

Повсюду красота сопутствовала силе, а уродство — слабости. Люди шли на все ради красоты, некоторые даже соглашались покрыть свою кожу несмываемым раствором. Причудливые сочетания линий и красок испещряли тела.

Посетители «веселых кварталов» Эдо выбирали для своего паланкина носильщиков с искусной татуировкой, женщины из Есивара и Тацуми охотно дарили благосклонность татуированным. Среди любителей подобных украшений встречались не только игроки, пожарники и прочая беднота, но также зажиточные горожане, а иногда и самураи. Время от времени устраивались смотры, участники которых демонстрировали свои обнаженные тела, гордо похлопывая по татуировкам, хвалились новыми приобретениями и обсуждали достоинства рисунков.

В те времена жил необычайно искусный молодой татуировщик по имени Сэйкити. Сравнить его можно было лишь с такими мастерами, как Тярибун из Асакуса или Яцухэй из Мацусима-мати. Кожа десятков людей, словно шелк, ложилась под его иглы. Немало работ из тех, что снискали всеобщее восхищение на смотрах татуировок, принадлежало ему. Дарума Кин славился изяществом ретуши, Каракуса Гонта — яркостью киновари, Сэйкити же был знаменит непревзойденной смелостью рисунка и красотой линий.

Прежде Сэйкити был художником укиё-э[1] школы Тоёкуни и Кунисада. И после того, как он оставил живопись и занялся татуировкой, прежние навыки давали о себе знать в изысканности манеры и особенном чувстве гармонии. Люди, чья кожа или сложение не пришлись ему по вкусу, ни за какие деньги не могли добиться услуг Сэйкити. Те же, к кому он обращал свою благосклонность, должны были полностью довериться ему, положившись на его вкус и не спрашивая о цене, чтобы затем месяц, а то и два подвергаться мучительным пыткам.

Молодой татуировщик лелеял тайную страсть и тайное наслаждение. Наслаждение доставляли ему судороги несчастного, в которого он вонзал свои иглы, терзая кроваво-красную, распухшую плоть. Чем громче стонала жертва, тем большее наслаждение испытывал Сэйкити. Самые болезненные процедуры — нанесение ретуши и пропитка киноварью — доставляли ему наибольшее удовольствие.

После того как люди выдерживали пять или шесть сотен уколов за обычный дневной сеанс, а потом еще парились в ванне, чтобы лучше проявились краски, все они, обессиленные, замертво падали к ногам Сэйкити. Художник хладнокровно созерцал это жалкое зрелище. «Что же, я полагаю, вам и впрямь больно»,— замечал он с довольной улыбкой.

Когда малодушный кричал под пыткой или сжимал зубы и строил страшные гримасы, словно в предсмертной агонии, Сэйкити говорил ему: «Послушайте, вы ведь эдокко[2]. К тому же вы пока как следует не почувствовали уколы моих игл». И он продолжал работу все так же невозмутимо, лишь изредка бросая долгий взгляд на залитое слезами лицо жертвы.

Порой человек самолюбивый, собрав все силы, мужественно тер-

---

[1] Популярное направление средневековой живописи, воспевавшее быт и нравы городских верхов.

[2] Уроженец Эдо (ныне Токио). Эдокко славились остроумием, находчивостью, умением всегда сохранять бодрость духа.

пел боль, не позволяя себе даже поморщиться. В таких случаях Сэйкити только посмеивался, показывая белые зубы: «Ах ты упрямец! Не хочешь сдаваться... Ну ладно, посмотрим. Скоро начнешь корчиться от боли. Я знаю — такого тебе не вытерпеть».

Долгие годы Сэйкити жил одной мечтой — создать шедевр своего искусства на коже прекрасной женщины и вложить в него всю душу. Прежде всего для него был важен характер женщины — красивого лица и стройной фигуры было недостаточно. Он изучил всех знаменитых красавиц «веселых кварталов» Эдо, но ни одна не отвечала его взыскательным требованиям. Несколько лет прошло в бесплодных поисках, но запечатленный в сердце образ совершенной женщины продолжал волновать воображение Сэйкити. Надежда не покидала его.

Однажды летним вечером, на четвертый год поисков, Сэйкити проходил мимо ресторанчика Хирасэй в Фукагава, неподалеку от своего дома. Неожиданно перед ним предстало дивное зрелище — молочно-белая обнаженная женская ножка выглядывала из-под занавески паланкина, ожидавшего у ворот. Острому взгляду Сэйкити человеческая нога могла поведать не меньше, чем лицо. То, что он увидел, было поистине совершенством. Изящно очерченные пальчики, ногти, подобные перламутровым раковинам на побережье Эносима, округлость пятки, напоминающей жемчужину, блестящая кожа, словно омытая в водах горного потока,— да, то была нога, достойная окунуться в кровь мужчин, ступать по их поверженным телам. Он понял, что такая нога может принадлежать единственной женщине — той, которую он искал много лет. Сдерживая биение сердца, в надежде увидеть лицо незнакомки Сэйкити последовал за паланкином. Однако, миновав несколько улочек и переулков, он вдруг потерял паланкин из виду.

Давняя мечта Сэйкити превратилась в жгучую страсть. Как-то раз через год после этой встречи, поздней весной, Сэйкити, выйдя поутру на бамбуковую веранду своего домика в Фукагава, в квартале Сага, стоял, любуясь лилиями омото в горшочке и одновременно орудуя зубочисткой. Внезапно раздался скрип садовой калитки. Из-за угла внутренней ограды показалась девушка. По хаори, украшенному драконами и змеями, он заключил, что пришла посыльная от знакомой гейши.

— Сестрица просила передать вам это кимоно и спросить, не соблаговолите ли вы нанести на него узор с обратной стороны,— сказала девушка. Развязав сверток цвета шафрана, она достала женское шелковое кимоно (завернутое в лист плотной бумаги с портретом актера Иваи Тодзяку) и письмо.

В письме подтверждалась просьба. Далее знакомая сообщала, что подательница письма вскоре станет гейшей и как «младшая сестра» поступит под ее покровительство. Она надеется, что и Сэйкити, памятуя их старую дружбу, не откажет девушке в протекции.

— Мне как будто не доводилось видеть тебя раньше. Ты не заходила сюда в последнее время? — спросил Сэйкити, внимательно изучая лицо гостьи. На вид девушке было не более пятнадцати-шестнадцати лет, но лицо ее было отмечено необычайно зрелой красотой, словно она уже провела многие годы в «веселых кварталах» и погубила души десятков грешников. Она казалась волшебным порождением целых поколений прекрасных мужчин и обольстительных женщин, живших и умиравших в этой огромной столице, где сосредоточились все пороки и все богатства нации.

Сэйкити усадил девушку на веранде и принялся разглядывать ее изящные ножки, обутые в легкие соломенные сандалии.

— Не случалось ли тебе уезжать в паланкине из Хирасэй в июле прошлого года? — осведомился он.

— Возможно,— ответила девушка, улыбнувшись странному вопросу.— Тогда еще был жив мой отец, и он часто брал меня с собой в Хирасэй.

— Вот уже пять лет я жду тебя. Да, да, лицо твое я вижу впервые, но мне запомнилась твоя нога... Послушай, я хочу кое-что тебе показать. Давай поднимемся ко мне на минутку.

И Сэйкити, взяв за руку девушку, уже собиравшуюся распрощаться, увлек ее в свою мастерскую на втором этаже, откуда открывался вид на полноводную реку. Там он достал два свитка с картинами и развернул один из них перед девушкой. На картине была изображена китайская принцесса, фаворитка древнего императора Чу из династии Шан. Как бы изнемогая под тяжестью золотого венца, обрамленного кораллами и ляпис-лазурью, она стоит, томно облокотившись на балюстраду. Подол богато изукрашенного платья стелется по ступеням. Правой рукой она подносит к губам большой кубок с вином, глядя на приготовления к пытке в дворцовом саду. Руки и ноги жертвы прикованы цепями к медному столбу, внутри которого будет разведен огонь. Выражение лица мужчины, покорившегося своей участи, стоящего перед принцессой со склоненной головой и закрытыми глазами, передано с ужасающим мастерством.

Стоило девушке посмотреть немного на странную картину, как глаза ее невольно заблестели, а губы задрожали. Лицо ее приобрело поразительное сходство с лицом принцессы. В картине она нашла свое скрытое «я».

— В этом полотне отразилась вся твоя душа,— с довольной улыбкой произнес Сэйкити, заглядывая в глаза девушки.

— Зачем вы показываете мне такие страшные вещи? — спросила она, подняв к Сэйкити побледневшее лицо.

— Женщина на картине — это ты. Ее кровь течет в твоих жилах.— С такими словами он развернул второй свиток. Картина называлась «Тлен». В центре помещена женщина, прислонившаяся к стволу сакуры. Она созерцает бесчисленные трупы мужчин, распростертые у ее ног. Над трупами вьется стайка птиц. Глаза женщины светятся гордостью и радостью. Что здесь изображено — поле битвы или цветущий весенний сад? Глядя на картину, девушка почувствовала, как ей открылось то сокровенное, что таится на самом дне души.— Здесь, на картине, ты видишь свое будущее. Точно так же мужчины отныне будут жертвовать жизнью ради тебя,— сказал Сэйкити, показывая на портрет женщины, чьи черты как две капли воды походили на черты девушки.

— Я вижу себя в ином перерождении. О, прошу вас, уберите скорее эту картину! — взмолилась она.

Отвернувшись от свитка, как бы стремясь уйти от его завораживающей власти, она простерлась на татами. Наконец она снова заговорила:

— Да, я признаюсь вам. Вы правы, в душе я такая же, как эта женщина. Поэтому умоляю, уберите картину, я больше не могу!

— Ну-ну, не бойся. Вглядись-ка получше в картину. Сейчас тебе страшно, но это скоро пройдет.— И на лице Сэйкити появилась его обычная злорадная улыбка.

Девушка не поднимала головы. Припав к полу и уткнувшись лицом в рукав кимоно, она твердила:

— Пожалуйста, отпустите меня. Я не хочу у вас оставаться, мне страшно.

— Подожди немного. Я сделаю из тебя настоящую красавицу,— прошептал Сэйкити, осторожно приближаясь к ней. У него на груди под кимоно был спрятан флакон с хлороформом, полученный от голландского врача.

Солнце сияло, отражаясь от гладкой поверхности реки, и вся мастерская в восемь татами казалась объятой пламенем. Лучи, скользя по воде, золотистыми струями падали на бумажные сёдзи [1] и лицо девушки, погруженной в глубокий сон. Сэйкити, закрыв двери и вооружившись инструментами для татуировки, на какой-то миг замер в восхищении. Впервые он по-настоящему ощутил всю прелесть этой женщины. Сэйкити подумал, что мог бы вот так безмолвно просидеть десять, сто лет, не в силах наглядеться на это безмятежно-спокойное лицо. Подобно тому, как обитатели древнего Мемфиса украсили чудесную землю Египта пирамидами и сфинксами, он собирался окрасить своей любовью чистую кожу девушки.

Но вот Сэйкити взял кисть в левую руку между безымянным пальцем, мизинцем и большим, коснулся кончиком кисти спины девушки, а правой начал наносить уколы. Душа молодого татуировщика растворялась в густой краске и словно переходила на кожу девушки. Каждая капля смешанной со спиртом киновари с Рюкю становилась кровью его сердца. Страсть его обретала цвет татуировки.

Вскоре миновал полдень, и тихий весенний день незаметно сменился сумерками. Рука Сэйкити не останавливалась ни на минуту, и сон девушки ни разу не прерывался. Посыльного от гейши, пришедшего узнать, почему задержалась девушка, Сэйкити отправил обратно, сказав, что она давно уже ушла.

Когда луна поднялась над крышей ресторанчика «Тюсё» на противоположном берегу реки, заливая прибрежные постройки фантастическим сиянием, Сэйкити продолжал сосредоточенно работать при свечах.

Нанести даже один-единственный штрих было для него нелегким делом. Каждый раз вонзая и вынимая иглу, Сэйкити испускал глубокий вздох, как будто бы игла проходила сквозь его собственное сердце. Мало-помалу следы иглы начали обретать очертания огромного паука-дзёро [2], и ко времени, когда ночное небо посветлело, это странное злобное создание раскинуло все свои восемь лап по спине девушки. Когда весенняя ночь сменилась рассветом, с лодок, сновавших вверх и вниз по реке, донесся скрип уключин, рассеялась утренняя дымка над белыми парусами, заблестели под солнцем крыши домов в Тюсю, Хакодзаки и на островке Рёган. Сэйкити, отложив кисть, любовался пауком на спине девушки. Его жизнь отныне была заключена в этой татуировке. Теперь, закончив работу, он ощущал пустоту в душе.

Некоторое время обе фигуры оставались неподвижными. Наконец, прозвучал хриплый низкий голос Сэйкити:

— Чтобы сделать тебя прекрасной, я вложил в татуировку всю душу. В Японии нет женщины, достойной сравниться с тобой. Твой страх уже исчез. Да, все мужчины превратятся в грязь у твоих ног...

Как бы в ответ на его слова слабый стон слетел с губ девушки. Понемногу она приходила в себя. При каждом затрудненном вздохе и сильном выдохе лапы паука шевелились, как живые.

— Тебе, должно быть, тяжело. Паук держит тебя в объятиях.

---

[1] Раздвижные перегородки в японском доме.

[2] Вид паука. Слово «дзёро» по-японски означает «гетера».

При этих словах девушка открыла глаза и огляделась. Зрачки ее постепенно прояснялись — так разгорается вечером неясная луна,— и блестящие глаза остановились на лице мужчины.

— Скорее покажите мне татуировку на спине. Раз вы отдали мне свою жизнь, я, наверно, действительно стала очень красива.

Слова девушки звучали как в полусне, но в ее интонации он отчетливо услышал что-то зловещее.

— Да, но сначала тебе нужно принять ванну, чтобы лучше проявились краски. Это больно, но потерпи еще немного,— прошептал с состраданием Сэйкити ей на ухо.

— Если это сделает меня красивой, я готова вытерпеть что угодно,— и, превозмогая боль, пронизывающую все ее тело, девушка улыбнулась.

— Ах, как горячая вода разъедает кожу! Пожалуйста, оставьте меня одну, поднимитесь в мастерскую и подождите там. Я не хочу, чтобы мужчина видел меня такой жалкой.

Выйдя из ванной, она была не в силах даже вытереться. Оттолкнув руку, которую ей предложил Сэйкити, она, извиваясь от боли, бросилась на пол, стеная, словно одержимая демонами. Распущенные волосы свисали на лоб в диком беспорядке. За спиной женщины стояло зеркало. В нем отражались две белоснежные пятки.

Сэйкити был поражен переменой, происшедшей в поведении девушки со вчерашнего дня, но, подчинившись, отправился ждать в мастерскую. Всего каких-нибудь полчаса спустя она поднялась к нему, аккуратно одетая, с расчесанными волосами, ниспадающими на плечи. Глаза ее были ясны, в них не осталось и следа боли. Облокотившись на перила веранды, она смотрела в небо, чуть подернутое дымкой.

— Картины я дарю тебе вместе с татуировкой. Возьми их и возвращайся домой.

С этими словами Сэйкити положил перед женщиной два свитка.

— Я избавилась от своих прежних страхов. И вы первый стали грязью у моих ног.— Глаза женщины сверкнули, как лезвие. В ушах у нее звучали раскаты победного гимна.

— Покажи мне еще раз твою татуировку перед тем, как уйдешь,— попросил Сэйкити.

Она, молча кивнув, скинула с плеч кимоно. Лучи утреннего солнца упали на татуировку, и спину женщины объяло пламя.

Перевод А. ДОЛИНА

МИРА АЛЕЧКОВИЧ

С сербского

Босоножка

Лужи на улицах... И мои босые ноги —
белые рыбы в воде,
крылья, несущие в неведомое, которые
не остановит никто и нигде.
И когда теперь я велю обуться дочке
на рассвете дождливого дня,
как я обрадуюсь,
если под дождь она выскочит босая
и собой повторит меня.

Март, весна и белое облако

Когда мне было пятнадцать,
я краснела, взглянув на тебя украдкой,
я хотела, чтобы и ты на меня
поглядел исподлобья.
Другие не знали о нашей любви.

Когда мне было пятнадцать,
шла война, смеяться я не умела,
я только хотела
быть возле тебя, как возле огня,
и чтоб ты никуда не ушел от меня.

Когда мне исполнилось двадцать,
война окончилась, и мне было больно,
что лишь сейчас, после долгой разлуки
живые встретились наши руки.

И с этой минуты я стала неверная,
и ты был кому-то неве́рен, наверное.
Может, это любовь несбывшаяся сбылась
или просто весны всесильная власть —
март, весна и белое облако...

Перевод РИММЫ КАЗАКОВОЙ

Земляничка в траве

Видишь — земляничка... Ты ее не трогай.
Может, низкий холмик детской стал могилой.
Как же говорить мне с этакою крохой,
с бабочкой беспечной и голубокрылой?

Дочка дорогая, ягоду не рви ты.
До сих пор я слышу выстрелов раскаты...
Где-то тут, я знаю, спит малыш убитый...
Сердце, как и прежде, горечью объято.

Не тянись к травинке, не роняй слезинки.
Смерти ты не знаешь и войны не помнишь.
Терпкостью весенней бестревожно дышишь...
Может, так и надо, мой родной детеныш.

Перевод ТАМАРЫ ЖИРМУНСКОЙ

Белградская баллада

Вышел ребенок с ведерком — в доме воды не осталось,
а от ребенка с ведерком — туфелька только осталась.

Фашисты бродили без цели. Над чем-то смеялись и пели,
плыл снег ослепительно белый, и все купола побелели.

Наставшая тьма означала ночи холодной начало...
Дитя не вернулось... и тихо вода у колонки журчала.

Мать выла — зачем я сказала, что в доме воды не осталось.
У колонки, где струйка журчала,— там туфелька только осталась.

Смятенье

Мне говорили, когда не убили меня на войне, что везенье
чертовское выпало мне,
а на этой войне убили отца моего и брата,
а мне, когда повели, тряпкой заткнули глотку, чтоб замолчала,
в голос не закричала.

Изо всех углов одиночки глазели клопы-шпионы,
и днем, и ночью бессонной сползаясь ко мне во тьме,
и плели пауки паутину слов, как смерть, монотонных,
и звучали женские стоны в коридорном аду бетонном,
и родился у мертвой женщины живой ребенок в тюрьме.

Моя мама тридцать ночей после всего случившегося
просидела, тупо таращась на дверь — меня ожидая,
а на тридцать первое утро отпустили ее в числе излечившихся,
потому что она на охрану не лаяла, как прочие бабы в этом содоме.
Моя мама была в сумасшедшем доме.

Люди, одни только люди, от смерти могли спасти,
люди успели выкопать мою маму еще живой,
и запах смерти навеки остался у ней во плоти,
она все хотела повеситься на слибе, такой молодой,
которой бог знает когда суждено расцвести.

Я и ныне тот мрак неволи, когда лезвие — в главной роли,
когда лязгает нож в окошко — чтоб над книгой погасло пламечко,
я и ныне тот мрак неволи проклинаю, губу закусив до боли,
и слышу во мраке убийственный топот и лай: «Открывай!»
и шепот: «Уводят, мамочка».

И никогда не бросайте упрека, что я часто пою о радости,—
мой дом превратился в пепел за оградой, сгоревшей на тризне,
и грусть очень часто приходит, она — мой гость,
освобожденье от боли, душевные спазмы жизни,
чтобы и мне, и вам под тяжестью легче жилось.

Меня еще не покинули мечты после всех Испаний...
Может быть, взгляд — печальней и чуть-чуть потемнел от
страданий,
но притяженье к прекрасному не покидает жизни.

И Сербия переменилась...

И Сербия переменилась, но сливы,
но старые сливы по-прежнему живы.
Она плодородна, чиста, благородна,
и помыслы Сербии трудолюбивы.

Плавные нивы... зеленые травы
со дна поднялись над всенными рвами.
Черные галки умолкли — и правы.
И полотнам болот спится в плотном бурьяне.

И птичьи гнезда не только птицам
нужны сегодня, дыша соблазном
в лицо дошкольникам бронзолицым,
в глаза дошкольницам сероглазым.

О, сербские сливы, о, белые шествия,
мне дали возможность счастливые силы
на вас наглядеться, лелея и пестуя
новую жизнь и старые сливы.

С веток свисают белые росы,
руку подставишь — капелька брызнет,
лезет из кожицы зернышко проса,
и крик его слышится — хочется жизни,

ходит младенец — ноженьки босы,
снег расцветает — вплетается в косы,
с веток свисают белые росы,
у белого света — так много света!

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

Партизанское кладбище

Вы — камень,
а я —
будущая земля.

Истерзаны болью,
скорбью порубленных сербских лесов,
из родника нищеты горстями мятежную долю
вы пили вволю.

Винтовка — на сотню,
патрон — на десятерых.

Пошатнувшиеся твердыни,
люди, которых опьянила свобода,
нет, не свобода —
гордость за то, что — травинка в снежных сугробах —
плеть перешибла обух.

Вы — камень,
а я —
будущая земля.

Земные заботы

Я лишь стихи слагаю, а если б я
вдруг родником говорливым стала
и, побежав по гальке, струя моя
солнечным сиянием заблистала?

Я лишь стихи слагаю, а если б вдруг
нежным, живым и огневым соком
я напоила досыта все вокруг,
зеленея веткой трепетной и высокой?

Взгляды цвели б моею голубизной.
я бы жила в каждой живинке малой,
я б поняла, что шепчут травы весной,
знала б, о чем рыбы молчат и скалы.

Я лишь стихи слагаю, а если б мне
выпало быть дождем тростников зеленым
и колыханьем вторить плавной волне
и перелетных птиц косякам утомленным?

Но я лишь поэт, я это давно поняла.
Сейчас я — земля, небытия антипод...
И даже если б ребенком я стать могла,
я бы состарилась от ее забот.

Не рви и не топчи цветы

Всю ночь мне снился рокот вод,
из русла вышедший поток,
и лодки нет, и где там брод,
и берег темен и далек.

И снился мне цветущий сад
и кто-то в нем средь темноты,
и я кричала наугад:
— Не рви и не топчи цветы!

И красных яблок не срывай,
и слив, что вызрели как раз,
что смотрят на родимый край
голубизною детских глаз...

Кричала я, но шум не стих,
все гуще полог темноты,
все больше их, все больше их,
угрюмо топчущих цветы...

Перевод РИММЫ КАЗАКОВОЙ

Радость

Заалела зорька. Дерзостнее кисти
и светлее краски
в жизни не видала.
На коре дубов, на тополиных листьях
отсвет алый.

Выглянуло солнце и залюбовалось
голубым простором.
Ощущаю радость в каждой ветке,
даже в этом камне, на котором
торопливые пишу заметки.
Связана всей жизнью,
воедино слита
с новою землею,
точно день с зарею.

Солнце появилось. Озарило шпалы.
С ним перемигнулась,
как с хорошим другом:
сам пришел, хотя его не ждали,
и зачем-то медлит над боснийским лугом.

Люди меня вопрошали

Люди меня вопрошали, зачем я вокруг себя сею
искры горящего сердца.
Чтоб костер запылал, чтоб жилось веселее,
чтоб могли вы согреться.

Люди меня вопрошали, кому я отдам свои очи —
звездного неба частицы.
Только тому, кто впотьмах заблудился и хочет
к дальнему свету пробиться.

Люди меня вопрошали, кому я отдам свои руки —
они обнимают так жарко.
Только тому, кто измаялся в долгой разлуке,
для такого не жалко.

Люди меня вопрошали, кому, не моргнувши и глазом,
все отдам, что имею.
Только душе, что вместит все дары мои разом
и не станет теснее.

Люблю

Люблю говор вод, неумолчный, вечный,
и чистых источников лепетанье,

и белых садов убор подвенечный,
и сливовых синих ветвей бормотанье.

Если ж со злобой придет кто-либо
и чистый родник превратится в омут,

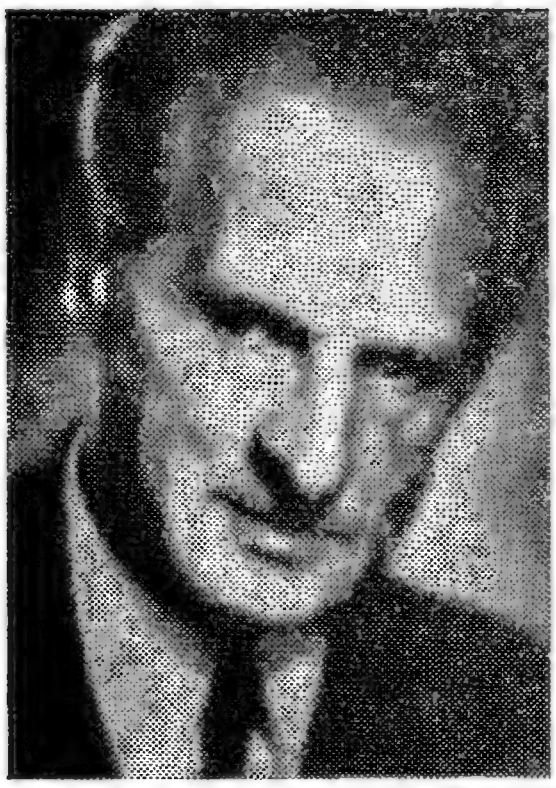
стану я твердой, суровой глыбой,
под коей кости прадедов стонут.

Губители жизни раздуют пламя,—
в их бойне я не приму участья.

Хочу под сливовыми ветвями
детей обучать науке счастья.

Перевод ТАМАРЫ ЖИРМУНСКОЙ

■



ЮЛИАН ТУВИМ

Ироническая проза

■

Перевод с польского и вступление АСАРА ЭППЕЛЯ

Лирика Юлиана Тувима, восьмидесятилетие со дня рождения которого отмечалось четыре месяца назад, у нас широко известна. Известны его стихи для детей, афоризмы, записные книжки, литературоведческие статьи. Блестящему и темпераментному поэту с равным успехом удавались и вдохновенные строфы, и превосходные переводы, и язвительнейшие эпиграммы, и сатирические поэмы. Юлиан Тувим, полемист и острослов, оставил довольно значительное количество эссе, памфлетов и пародий. Сравнительно меньше известны рассказы. Их не так много, и небольшим разделом включены они в третий том его собрания сочинений, изданный в Варшаве в 1953 году. В свое время рассказы эти печатались в сатирическом журнале «Цырулик Варшавски», в еженедельнике «Вядомощи литерацке» и др.[1]

Чувство слова, стиля, превосходное владение жанром и тут не изменяют Тувиму, хотя, как было отмечено, подобные произведения его весьма немногочисленны и, конечно, являлись побочным литературным занятием.

Сегодня некоторые проблемы и положения тувимовских рассказов могут показаться отзвучавшими, но будем помнить, что имена конкретных лиц и события, актуальные в двадцатые—тридцатые годы, когда рассказы были написаны, значительно усиливали повествование, делая его живым и злободневным.

В предлагаемую публикацию вошли и критические эссе, и просто юмор, и бытовая сатира, и политические фельетоны (например, в рассказе «Интервью» высмеиваются стиль и демагогия фашиствовавших молодежных изданий).

Подборка составлена с таким расчетом, чтобы сравнительно небольшая публикация давала представление о тематическом и стилистическом разнообразии «легкой» музы поэта.

Интервью

На визитной карточке, которую протянула мне горничная, стояло: «Богдан Рышард Лупко, литератор». Затем вошел сам литератор Богдан Рышард Лупко, объявил, что он — Богдан Рышард Лупко, литератор, и сел.

Богдан Рышард Лупко оглядел стены, письменный стол, полки и, наконец, голосом дрожащим и радостно возбужденным сказал:

— Вот, значит, храм раздумий, в коем созидает маэстро.

Положительное впечатление, произведенное на меня Богданом Рышардом Лупко, возникло как-то сразу. «Маэстрящих» я вообще-то ненавижу. Но, поглядев в его голубые сияющие глаза, полные восторга и поклонения по отношению ко мне (в глазах этих было целое

[1] Оба эти издания выходили в Варшаве в 20—30-е гг. *(Здесь и далее — примечания переводчика).*

посвящение — длинное, сердечное, преувеличенное, завершенное глубоким уважением и преданностью), поглядев на беспомощные руки Лупко, руки, которые могли быть в данный момент самыми счастливыми, держи они букет роз (предназначенный, разумеется, мне),— я почувствовал теплую симпатию к Богдану Рышарду и с неподдельным дружелюбием ответил:

— Вот значит.

Лицо Лупко раскраснелось так, словно бы ответ мой был сенсацией, сюрпризом, чем-то менее всего на свете ожидаемым. Влажным восхищенным взглядом начал он полировать мебель. Он превратился в весеннее солнце, от которого некрашеные полки, стол, стулья (и я сам) засияли, словно наполитуренные.

Мы помолчали несколько мгновений, оба счастливые и смущенно улыбающиеся.

— Я пришел, маэстро, просить у вас интервью. Я редактирую литературный ежеквартальник слушателей Высшей Шелководческой Академии (ВША,— прибавил он с лукавой улыбкой). Журнал наш называется «Зови нас. рань!» и...

Название журнала столь озадачило меня с фонетической стороны, что я прервал Лупко и попросил написать последнее на бумаге. Несколько успокоенный увиденным, я поинтересовался программой журнала, его содержанием, целями и тому подобным, то есть абсолютно не имеющими для меня значения вещами.

Литератор Богдан Рышард откашлялся, малость придвинул стул и с воодушевлением начал излагать:

— Нашей целью, маэстро, являются красота и дух. Мы верим в лучезарное будущее, в победу добра и солнца. Наши идеалы: правда, вера, искусство и сила. Долой слабость! Долой маразм! Мы стремимся к новой заре! Человечество должно возродиться, омытое в кринице истины и духа! Серая повседневность должна исчезнуть с лица земли — мы заменим ее царством духа и красоты.

На благородном лице розового от природы Лупко проступили пылающие помидорные пятна; левой рукой он темпераментно маневрировал между сердцем и потолком.

Программа ежеквартальника мне очень понравилась. Царство красоты и духа было ведь и моей тайной мечтой. Поэтому я спросил, каким образом ВША реализует свои намерения.

Оказалось, что очень просто. Каждый квартал будет выходить по номеру журнала «Зови нас, рань!», в каковом будет прививаться человечеству вера в красоту, в дух и в лучезарное будущее. С помощью идеалов, истины, искусства и могущества будут изгнаны из мира слабость и маразм, после чего все начнут стремиться к заре — и народы автоматически возродятся в кринице истины и духа. Тут-то и исчезнет серая повседневность, а затем уже настанет царство духа и красоты.

Не скрою — я загорелся этими идеями. Ведь все было ясно и без долгих слов... Подумать только, человек веками мучается, трудится, ищет новых дорог, проглатывает сотни книг, но все более погрязает в сомнениях и внутреннем разладе. А между тем вот этакий Богдан Рышард с молниеносной быстротой овладел совокупностью проблем и загадок, наметил себе чудесную цель, изыскал простые средства для ее достижения и — в орлином полете — мчит к победе.

— Чем же я могу быть вам полезен? — спросил я.

— Мы просим, маэстро, интервью! Мы ждем, чтобы со страниц нашего ежеквартальника прозвучали сильные мужские слова...

— Пожалуйста, задавайте вопросы.

Лупко вытащил из кармана блокнот и карандаш.

— Что маэстро думает о красоте?

Я не колеблясь ответил:

— Верю в лучезарное будущее красоты.

— Великолепно! Великолепно! — шептал Лупко, записывая небывалый мой ответ.

— А о духе что вы думаете. маэстро?

— Дух — это сила. Истина духа и веры должна светить человечеству, а дорога к ней ведет через золотые врата искусства.

Лупко от восторга потерял рассудок.

— Верно! Верно! — говорил он горячим, заклинательским шепотом, записывая мои слова.— А каковы, маэстро, должны быть идеалы человечества?

— Идеалами человечества должны быть сила и вера в лучезарную зарю рассвета! Народам следует возродиться в кринице истины и духа, а лозунгом их должна стать вера в то, что маразм и слабость исчезнут с лица земли, омытые рассветными лучами царства духа.

Лупко плакал. Из пылких, горящих глаз его слезы стекали на помидорные пятна, а последующие капали на блокнот, испещренный нервическими буквами.

— Ну не чудотворно ли, ну не чудесно ли.— воскликнул он,— что вы, маэстро, понимаете все и чувствуете, как мы! Ведь мы же не сговаривались! Ведь из ваших уст, маэстро, я услышал подтверждение наших идеалов! Да! Мы тоже веруем в лучезарную победу духа! Наши идеалы идентичны: сила, искусство и истина! Мы устремляемся вместе с вами к новой заре!

— Вместе, юные друзья [1]! — крикнул я.— Да здравствует дух!

— Да здравствует!!! — завыл Лупко уже в трансе, уже в экстазе, уже мой навеки.

— А теперь — водяры бы, девок бы, надраться бы, трах-тарарах бы! — рычал я, как безумный, самозабвенно вознося десницу к потолку.

— Да! Да! — кричал Лупко в идеалистическом помрачении.— Вместе! Водки! Девок! Трах-тарарах! Надраться! К новой заре! К новым рассветам!

Возвращались мы с Бодей в лучезарном сиянии новой зари. Было семь утра. Бодя плелся потрепанный и помятый.

Наконец он пробормотал:

— Слышь, Юлька!.. А может, на вокзале продадут?

Как известно, железнодорожные буфеты открыты круглосуточно и без перерыва, а с недавних пор стали продавать там и спиртные напитки.

1931 г.

Городской проказник

Миллион милых шуток и проказ с приспособлениями и без

I

Ты входишь в скобяную лавку, когда хозяин завтракает (или обедает) на своей половине, а за прилавком стоит приказчик.

Ты входишь и с очень серьезным видом, с видом человека, который прекрасно знает, что ему нужно, спрашиваешь:

[1] Строка из знаменитого стихотворения Адама Мицкевича «Ода к молодости».

— Будьте любезны, дайте мне «Избранные сочинения» Леонардо да Винчи в переводе Стаффа.

— Чего?

— Я прошу «Избранные сочинения» Леонардо да Винчи в переводе Стаффа.

— Пардон... Не понимаю-с... У нас тут скобяная торговля...

— Вот я и говорю — в переводе Стаффа, два тома.

— Извиняюсь... Но вы, кажется, не заметили... что лавка-то со скобяным товаром...

— Я знаю, любезный, что говорю! И не надо меня учить. Издание Мортковича, перевод Стаффа, два тома.

— Извольте тогда подождать... Пойду позову хозяина... а-то я, ей-богу...

Приказчик идет за хозяином, рассказывает ему о чудно́м клиенте и его дикой просьбе. Спустя минуту оба появляются в лавке. Хозяин внутренне готов или к скандалу, или к тому, что придется иметь дело с душевнобольным. Смерив тебя взглядом, он довольно грозно спрашивает:

— Ну-с? Чего изволите?

А ты в ответ очень спокойно:

— Да вот гайку зашел купить.

II

Ты входишь в магазин головных уборов, подходишь к прилавку, вынимаешь из кармана блокнот и карандаш и пишешь на листке: «Покажите мне, пожалуйста, черный котелок». Листочек протягиваешь продавщице. Она читает, с состраданием глядит на бедняжку немого и показывает тебе несколько шляп. Ты примеряешь их, выбираешь одну и снова пишешь на листке: «Эта подойдет. Сколько стоит?»

Растроганная твоим физическим изъяном, продавщица решает, что ты к тому же еще и глухой, и поэтому пишет на листочке цену. Ты читаешь, киваешь головой, делаешь жест, выражающий сожаление по поводу дороговизны, платишь деньги и надеваешь новый котелок. Затем, поклонившись, ты громко и отчетливо произносишь:

— Мое почтение!

И уходишь из магазина.

III

В кондитерской ты спрашиваешь, есть ли в продаже шоколадные буквы: 10 букв «N» и 12 букв «L».

— Сейчас, к сожалению, нету,— отвечает хозяйка,— но если изволите прийти в четыре, они будут готовы.

Уже в три ты в магазине. Ждешь, нетерпеливо расхаживаешь, в общем, делаешь вид, что спешишь. Ровно в четыре услужливая хозяйка показывает тебе 10 шоколадных «N» и двенадцать «L».

Ты таращишь глаза, и кровь бросается тебе в голову от возмущения.

— Позвольте, что это такое? Они какие-то вычурные, завитушки какие-то! Мне нужны простые печатные буквы латинского алфавита: десять букв «N» и двенадцать букв «L». Да-а-а, порядочки у нас!..

Хозяйка сто раз просит ее извинить, вызывает специалиста-кондитера, и вдвоем вы растолковываете ему, что следует сделать из шоколада десять букв «N» и двенадцать букв «L», а не какие-то там

другие, и притом без всяких финтифлюшек. Можешь, если хочешь, даже нарисовать кондитеру, что именно тебе нужно.

Хозяйка просит зайти в шесть.

Заходишь. Буквы готовы.

— Вот,— говоришь ты,— эти хорошие.

— Завернуть? — спрашивает предупредительная хозяйка.

— Не надо,— отвечаешь ты,— я их тут скушаю.

1924 г.

Слесарь

В ванне что-то засорилось, трубы издавали гудение, временами переходящее в протяжный вой, причем вода из кранов еле сочилась Попытка исправить дело домашними средствами (ковыряние в трубе зубной щеткой, напрасные старания дунуть в кран, устные высказывания и т. д.) не увенчались успехом. Пришлось вызвать слесаря.

Слесарь был худ, высок, с седой щетиной на щеках и в очках на остром носу. Его большие голубые глаза взирали исподлобья каким-то мутным плачущим взглядом. Войдя в ванную, он покрутил краны, стукнул молотком по трубе и сказал:

— Фершлюс надо разогнать.

Быстрота диагноза понравилась мне, и я, не сморгнув, спросил:

— А зачем?

Слесарь поразился моему любопытству, но после первой реакции удивления, выразившейся во взгляде поверх очков, кашлянул и сказал:

— Потому что дросселькланан не в аккурат отрихтован и люфтит.

— Ага! — сказал я.— Понимаю! Значит, если бы дросселькланан был в свое время отрихтован в аккурат, то сейчас бы не люфтил и не надо было бы разгонять фершлюс.

— Конечно! А теперь из-за этого пуфер придется раззенковывать, шабровку ему дать, чтобы штендер законтрить.

Я трижды стукнул молотком по трубе, кивнул головой и констатировал:

— Даже по стуку слыхать.

— Чего слыхать?

— Что штендер незаконтренный, но я уверен, что если дать ему шабровку, да еще и раззенковать как следует, то дросселькланан отрихтуется, перестанет люфтить и, само собой разумеется, облегчится разгонка фершлюса.

И я измерил слесаря ледяным нахальным взглядом.

Мой профессиональный язык, а также легкость, с которой я сыпал услышанными впервые техническими терминами, сбили с толку аскетичного мастера, и он решил мне чем-нибудь понравиться.

— Сейчас я, правда, сделать не смогу — шведик не взял с собой... А заплатить вам за ремонт придется,— он помедлил немного, чтобы добить меня экономическим эффектом,— а заплатить вам придется 7 злотых и 85 грошей.

— Это немного,— заметил я спокойно.— Я думал, раза в два дороже будет. Что же касается шведика, то, честно говоря, не вижу в нем необходимости. Попытаемся обойтись без шведика.

Слесарь был бледен. Слесарь ненавидел меня. Саркастически улыбнувшись, он сказал:

— Без шве-е-едика! А как же без шведика сифон зачеканишь? Если бы трихтер был сделан толково, то можно! Но на нем же центра потеряны и во фланце три нитки сорвано, так что я одними клипцанками обойтись не смогу.

— Ну знаете,— воскликнул я, разводя руками,— уж этого я от вас не ожидал! Значит, трихтер, по-вашему, сделан бестолково? Ха-ха! Просто смешно! Где же, господи боже ты мой, видно, что на нем центра потеряны?

— Как это где? — буркнул слесарь.— А допуска на заплечиках с зазором!

Я покраснел до ушей и смущенно сказал:

— Действительно... Я ведь и не заметил, что допуска на заплечиках у него с зазором. Правда ваша. Без шведика тут не обойтись.

И он пошел за шведиком. Ибо из-за того, что допуска на заплечиках были с зазором, трихтер действительно был сделан бестолково и центра на нем оказались потеряны, так что без шведика невозможно было бы зачеканить сифон с целью раззенковки пуфера, от которой зависело, дать ли ему шабровку, чтобы законтрить штендер, что в свою очередь позволило бы разогнать фершлюс, который оттого плохо работал, что дроссельклапан был отрихтован не в аккурат и теперь люфтил.

1931 г.

Из дневника нервного человека

12 декабря

Вчера собирался на раут. Побрился безопасной бритвой. И довольно прилично, хотя щетина у меня жесткая. Был даже в неплохом настроении. Муки начались, когда надевал крахмальную фрачную рубашку. Застегивая воротничок, думал — лопну. Пальцы у меня млели. Нечеловеческим усилием протолкнул запонку сзади на шее. Сразу же выскочила передняя. Слабая была какая-то и ненадежная. Другой не оказалось. Пришлось прикрепить нижней тесемкой. В конце концов удалось. Но уже у зеркала, завязывая галстук, заметил на пластроне красную капельку. Капнуло, видать, с подбородка. Хотел стереть и размазал еще хуже. Снял рубашку и воротничок с помощью ножниц. На раут не пошел.

13 декабря

Ждал сегодня на остановке семнадцатый. Сначала пришла девятка. Потом — пятерка. Потом — снова девятка. Наконец показалось, что вдалеке двузначный номер. Девятнадцатый. Потом двадцать третий. И снова пятерка. Тут я завелся. Остановил такси. Когда отъезжали — пришел семнадцатый.

14 декабря

Ожидание приводит меня в ярость. У телефона в кондитерской был сегодня шестым в очереди. Очень обстоятельно разговаривали дамы. Одна информировала приятельницу, во что были разодеты

разные там шлюхи в ночном дансинге. Другая объясняла какому-то мужчине, что не сможет. Сцепился с одним из-за места в очереди. Удалось настоять на своем и пойти первым. Номер был занят. После двадцати минут ожидания! Тот, с которым я поскандалил, ухмылялся. Снова встал в очередь. Впереди четверо. Четыре дамы.

16 декабря

Сегодня наблюдал одного в кондитерской. Он повесил трость на спинку стула. Немного повисев, трость свалилась. Субъект поднял ее и снова повесил. Трость, разумеется, снова свалилась. И так — несколько раз. А я все это время нервничал — ждал, когда упадет. Но всего больше меня бесила несообразительность этого человека. После трех-четырех раз он мог бы, наконец, понять, что следует изменить способ вешания и падать не будет. Болван, однако, не догадался.

17 декабря

Уже пять дней не ношу подтяжек. Старые разорвались, новых купить не могу. Боже! Выбирать в магазине подтяжки! Мне абсолютно ведь все равно какие, а там откроют несколько коробок... «Может, вам оригинальные английские?»... Начнут расхваливать, показывать. Наконец, решился. Говорю: «Мне подтяжки». «Какие изволите?» Ответил: «Джэксона и Хумпердинга, оригинальные с праполетами, номер девятнадцать с половиной!» Изумленный приказчик посмотрел на меня уважительно: «Таких не имеем». Я ушел с безразличным и высокомерным лицом.

18 декабря

Прицепляю брюки к рубашке булавками, и очень даже неплохо держатся. Настроеньице ничего. Доволен. Побывал у зубного. Исключительно удачно. Не застал его дома.

19 декабря

Морду разнесло. Английские булавки рвут рубашку. Прислуга принесла идиотский сифон, приходится долго трясти, пока набежит чуть-чуть. Сняли занавески и портьеры. В комнате голо, светло. Звонил Сташек, просил обратно свою рукопись. Куда я ее дел — не знаю. Перерыл шкафы, комоды, столы. Все есть, кроме рукописи. У этого паразита, видите ли, «нет копии». Почему же ты, спрашивается, не сделал копию?

20 декабря

Морда раздувается и раздувается, но не болит. Пристают насчет зубного. Был Сташек со скандалом: «Напишу в газеты». Пиши, удавись. Ношу ремешок с пряжкой. Выглядит элегантно, но нервирует. Точил карандаш. Сточил весь, ничего не осталось. На пере — волос.

21 декабря

Перенес ремешок на лицо, чтобы остановить опухоль. Не помогает. Начинает болеть. Занавески еще не повесили. Делают какую-то генеральную уборку. Мои книги расставили на полках согласно формату и цвету обложек. Высказался о домработнице. Уходит. В разгар уборки. Сташек прислал письмо. Не распечатываю. Третий день не бреюсь. Болит все сильнее. Мотаюсь, мотаюсь по квартире, одной рукой придерживаю щеку, другой — брюки...

1926 г.

О знакомых

Знакомым называется человек, с которым вы когда-то обменялись рукопожатием, сказав свое имя и при этом, вероятно, добавив: «Очень приятно!» Знакомый немедленно начинает пользование знакомством; раскланивается с вами на улице и свято верит в то, что знает вас «лично», ибо прежде он знал вас только «в лицо». Знакомые бывают всегда старые и хорошие. Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы говорили: «Это мой молодой или плохой знакомый». О старом же и о хорошем слышишь буквально на каждом шагу.

Для совершения знакомства достаточен обряд представления людей друг другу. Обряд этот, как правило, имеет место при любезном посредничестве третьего лица. Третье лицо является вашим знакомым, и у него есть знакомый, который является вашим незнакомым. Поэтому третье лицо представляет вам незнакомого, говоря: «Позвольте представить — пан Цыбуляк» (возможна и другая фамилия), затем Цыбуляк говорит: «Цыбуляк» или «Цыбуляк, с вашего разрешения», вы тоже говорите «Цыбуляк» или «Цыбуляк, с вашего разрешения», если случайно вы с ним оказываетесь однофамильцами, оба Цыбуляка пожимают друг другу руки — и с этой минуты становятся знакомыми. На всю жизнь. В свою очередь новый знакомый может представить вам всех своих знакомых, все они — своих, и так до бесконечности, на веки вечные. Это как раз и страшно.

Когда-то, еще школьником, в будке с газированной водой я разменял двадцать копеек — у газировщика не было сдачи — некоему жаждущему газировки. Благодарный за великодушие мое возлиятель представился мне. Это случилось в 1912 году. С той поры человек этот раскланивается со мной на улице. И как сердечно! В будке с газированной водой он был взмокшим, красным от жары мальчиком. Теперь мальчик превратился в седеющего, одышливого, толстого быка; у него астма, и он ходит с тремя своими детьми есть мороженое к Земянской, где со мной и раскланивается. Хотя он и начинает сиять, завидев меня, но, будучи человеком тактичным, знает, что между нами нет ничего общего, поэтому ко мне не подходит и разговора не начинает. Этот вид знакомства до гробовой доски — самый примитивный и относительно наименее вредный.

А бывает похуже. Бывают роковые знакомые. Чудовища. Они подходят и разговор начинают:

— Тыщу лет! Как дела?!

Обычно отвечаешь:

— Ничего... помаленьку...

— Жарковато сегодня?

— Да.

— А ведь дождь вроде будет!

— Похоже.

— У вас тут не занято?

И садится. Садится, ибо он знакомый. Он знакомый, потому что Цыбуляк шел как-то с ним по улице, остановил меня и, будучи моим знакомым, спросил, как дела, и его представил.

— Цыбуляка видите?

Цыбуляк как бы связной. Мой собеседник убежден, что Цыбуляк — личность для меня живая и близкая. Цыбуляк — все, что этому человеку известно обо мне и о моей жизни. Цыбуляк наш общий знакомый. Он тот, кто нас познакомил, и, возможно, для моего собеседника он столь же посторонний, как и для меня, но Цыбуляк необ-

ходим для начала разговора. Он — некий мистический фактор. Спасительный обломок доски. Из доски этой сделан стул, на который за мой столик уселся знакомый. Разговор оживленно продолжается:

— А у вас что слыхать?

— Ничего, так, спасибо.

— Пишете?

— Пишу...

— Читал недавно, что у вас книжка вышла.

— Было дело.

— Где ее можно достать?

— В книжном магазине.

— Обязательно куплю.

— Хорошо.

Я ведь знаю, что не купит, что его это совершенно не интересует и интересовать не должно, да и не может. Он пьет кофе, мутным взглядом глядит куда-то, курит мои папиросы, критикует правительство, говорит, что времена нелегкие, сетует, что «в его деле паршиво», спрашивает, что я думаю о Пилсудском («да в общем-то, как сказать...»), выражает уверенность в плодотворности торговли с Россией, высказывает дельную мысль, что литературой прожить, наверно, трудно, наконец, просит записку, чтобы дали контрамарку в театре.

Пишу торопясь и говорю, что следует поспешить.

— Это почему? Ведь сейчас только четыре...

— Да, но пока дойдете...

Ушел.

Это был знакомый, у которого к вам «нет дела». Но есть знакомые, у которых «дело есть». Они не менее ужасны.

— Кстати же я вас встретил! Знаете, организуется театр, что-то вроде «Синей птицы»... Есть деньги, помещение, разрешение, труппа, всё. Нужен репертуар...

Или:

— Организуется журнал... Который, знаете ли, сгруппировал бы и т. д.

Или:

— Здравствуйте! Чу́дно, что я вас встретил! У меня дело к вам. Моя кузина тяготеет к литературе, знает языки, может переводить. Очень способная барышня. Нет ли у вас чего-нибудь для нее...

С места заявляю, что ничего нет.

— Ну а вдруг! Давайте-ка на всякий случай я запишу ваш телефон, а вам оставлю свой, и, если вы что-нибудь узнаете...

Начинаются поиски карандаша, бумаги и т. п. мучительство.

Театра и журнала никогда не будет. Знакомый об этом знает. Но все-таки пристает. Кузине с языками следует выйти замуж. Знакомый знает и об этом. Но морочит голову.

Зачем? Во всеуслышание спрашиваю: зачем?!

1926 г.

О визитах

Стойко и неуступчиво борясь со всякого рода кошмарами жизни повседневной или попросту говоря: жизни (ибо где, как не в повседневности,— та другая, которую пишут с большой буквы «Ж»), я хотел бы поговорить о страшном обычае нанесения визитов, а также обо всем, что связано с этим демоническим

явлением. Если существуют полицейские кары за нарушение общественного спокойствия, то штрафы во сто крат тяжелее, притом денежные, следует налагать на людей, нарушающих спокойствие личности, ибо «мой дом — моя крепость», а легкомысленное посещение этой моей крепости так называемыми «знакомыми» (смотри трактат о знакомых) является взывающим к богу о возмездии нарушением элементарнейших прав человека на тишину и покой.

Конечно, у каждого из нас попадаются среди знакомых люди милые, близкие, умные, с которыми с удовольствием поболтаешь часик, даже полчасика, и не только поболтаешь, но и помолчишь, сидя за столом за несколькими стаканами чая, к которому подадут обязательное печенье или яблоки (о, тупые фруктовые ножики!). Повторяю — тут я не против. Такой гость — радость без преувеличения. И счастье — с преувеличением.

Но есть визиты дьявольские, визиты кошмарные — принудительные, словно каторжные работы. Вот об этих я и хотел подробнее порассуждать и порассуждавши, проклясть. Они делятся на внезапные и неожиданные визиты родственников, свойственников и, по божьему произволению знакомых, и на посещения этих же особ, заранее намеченные. Рассмотрим внимательней эту мерзость в обеих ее ничтожных разновидностях.

— К вам пришли.

— Меня нету.

— А я сказала, что вы дома.

Девушка из Люблинского воеводства, выполняющая вспомогательные функции в моем так называемом домашнем хозяйстве, окидывается взглядом своего благодетеля, означающим, что благодеяния могут и прекратиться.

И вот гость уже вешает пальто в коридоре, утирает нос, подправляет пробор перед зеркалом, застегивается, где следует, и, наконец, с торжественным и оживленным лицом входит в комнату. Вместо того чтобы сказать ему твердо и сурово с места и без обиняков: «Вон!» — а если станет упираться, взять за шиворот и вышвырнуть на лестницу, вы с какой-то скотской улыбочкой делаете вид, что приход этого типа явился для вас приятнейшей неожиданностью.

— Добрый вечер! Как поживаете? Пожалуйста! Садитесь...

Ну, и начинается. «Разговор» начинается. Злодей произносит сначала несколько вступительных фраз:

— Давненько я у вас не бывал. Дела, знаете,— совсем времени нет. А сейчас проходил мимо и заскочил на минутку. Я не помешал?

Единственный честный и деловой ответ был бы: «Да. Вы мне помешали. Даже очень. До свидания». После чего следовало бы, легко подталкивая гостя, вывести его в коридор, дать ему в руки пальто, шляпу, трость, калоши и прочие вещи, которые он принес с собой, и выставить его в прихожую. Пускай там одевается. Но врожденная мягкость и вежливость не позволяют мне прибегать к этим не принятым в обществе, хотя и естественным реакциям.

Поэтому я отвечаю:

— Что вы? Ради бога...

— Уж не прервал ли я вашу работу? (И ведь видит, бестия, что на письменном столе лежат раскрытые книги, разложена бумага и даже перо мокро от чернил!)

— Нет... Так... В общем-то... Да садитесь, пожалуйста! (А он уже сидит несколько минут, но что еще можно сказать?)

— Что поделываете? — спрашивает милый гость.

— Так, работаю...

— Хорошо, если есть работа. Съездить никуда не собираетесь?

Тут у меня в голове мелькает гениальная мысль — ответить, что уезжаю! Выезжаю через полчаса! Но, кто знает, не захочет ли этот грозный человек проводить меня на вокзал? И я говорю:

— Да вот, собираюсь... Хотелось бы, только денег нету...

— Да, деньги вот, действительно. Всеобщая болезнь. Хотя, знаете ли, если за границей практично жить, то обойдется не дороже, чем у нас. Сейчас один знакомый поехал во Францию и пишет, что...

И начинает рассказывать. С потолка нависают уже тяжелые сталактиты сгущенной скуки. Я уныло гляжу на распаленного гостя и мечтаю, что когда он кончит информацию о жизни за границей («другой мир, другие люди, темп жизни, культура, для вас, как для поэта...»), то встанет и уйдет. Но человек этот — просто Везувий разговорчивости. Литература, искусство, политика, наука — словом, самые дикие темы. Наконец, он спрашивает, который час. Отвечаю, что половина восьмого (он пришел в пять). «А,— говорит он,— нужно отправляться. Мне тут еще в семь надо побывать в одном месте». И сидит еще полчаса. Потом прощается. Очень долго. В коридоре, уже в пальто, он, продолжая разговаривать, несколько минут держится за дверную ручку. На прощанье я говорю ему: «Заскочите как-нибудь» (а сам думаю — под автомобиль). Тогда гость просит, чтобы и я его посетил; расстегивает пальто, развязывает шарфик, расстегивает пиджак, вынимает из кармана бумажник, из бумажника визитную карточку и дает мне свой адрес. Но на визитной карточке нет номера телефона. Поэтому гость возвращается в мой кабинет, чтобы записать этот номер. А когда записывает — замечает на письменном столе какую-то книгу... И вот, стоя в пальто, он сызнова заводит разговор — разговор об этой книге... Полиция-я-я-я!!!

Не менее омерзительное дело — так называемый «прием на несколько персон». Такой визит не бывает, правда, внезапным сюрпризом, потому что уже за несколько дней известно, что «будут гости», однако он не менее чудовищен. Точнее говоря — хуже вышеупомянутого из-за хмурого сознания, что гости придут. Лучше же он потому, что присутствие нескольких человек освобождает хозяина от интенсивного «поддерживания беседы» и «развлечения» гостей. Хозяин половчей может даже оставить гостей одних, сам же сесть в отдаленной комнате у окна и глядеть себе на улицу. Но я по опыту знаю, что хозяйка дома, как правило, бывает недовольна таким поведением. В многолюдном обществе беседа идет очень оживленно. Говорят о квартире, о том, что далеко живут (так не притаскивайтесь, если вам далеко!), что на улице скользко, что в этом году в Закопане было битком, что в каждом доме грипп, что в кабаре прекрасная программа, что Слонимский «уж слишком», что в Париже другая жизнь, но вот франк сейчас... что Новый год был или будет лучше или хуже, чем в прошлом году, что уже несколько лет, как изменился климат, что журнал «Цирюльник» очень хорош, что Литва, что забастовка шахтеров в Англии, что Пилсудский, что чарльстон, что Декобра, что дорого что Бодо, что радио, что кикарабаса рабамфука дыпа хомба пунта брекс!..

Одни хлебают чай, другие кофе, эти едят пирожные, те мастерски чистят яблоки и апельсины (есть такие артисты по обработке фруктов), стол замусорен, комната замусорена, хозяйка угощает, граммофон играет, начинают танцевать.

— Валенсия-я-я-я!

— Полиция-я-я-я-я-я!!!

1927 г.

Несколько слов касательно оперетты

Велики и неисчислимы мерзости сценического зрелища, именуемого опереттой. Нищета идиотского шаблона, тошнотворной сентиментальности, дешевой разнузданности, убийственных шуточек, хамство «безумной роскоши», бездонная черная тоска извечных ситуаций, банальность унылых «эффектов» — весь этот протухший торт, начиненный мелодраматическими сладостями, политый приторными сливками, каким-то кремом с малиновым сиропом, то бишь «мотивчиками», все это неприличие, сладострастно облизываемое кретинами из партера и мелобандитами с галерки, весь этот театральный организм, именуемый опереттой, должен быть, наконец, пнут в соответствующее место столь основательно, чтобы все в нем перевернулось. Пение, музыка, танец, связанные живым и пульсирующим ритмом, могут создать в театре явление чудесное и увлекательное. Но старую идиотку оперетту надлежит прикончить. Даже помучить ее немного перед смертью, чтобы впредь неповадно было. Будь то «Графиня Марица» или «Марина Царица», «Летучая чушь» или «Собачья мышь», «Баяколла», «Перидера», «Индуска», «Пиндуска» или наоборот — всегда, вечно одно и то же: графы, финьшампань, гульба, «любэвь», демонические героини, дуэтик, балетик, кабинетик, веселые разгульные песенки, от которых веет кошмаром отчаяния, безумные драматические моменты, позывающие к животному смеху, две влюбленные пары, смертельно остроумный комик, очаровательное недоразумение (скажем, отец не узнает дочку, поскольку та в новых перчатках; целующаяся пара не замечает входящего в комнату полка тяжелой артиллерии и т. д.), дипломатические осложнения на Балканах, магараджа в Париже (чтоб тебя там первое же авто переехало!) — таково приблизительное содержимое типичной оперетты.

Героиня каждого такого непотребства обладает поразительной особенностью: в среднем до пятнадцати раз переодевается. В первом акте она сперва одета в скромный домашний костюмчик: платье из серебряной парчи, усеянное бриллиантами, на голове громадная корона из белых плюмажей. Затем она на минутку удаляется в соседнюю комнату, поскольку граф с горничной должны пропеть дуэт о «грезе любви». Возвращается. На ней уже зеленое платье. Она поет с графом и рассыльным, который невесть откуда появился, куплеты о том, что в мае деревья цветут, а вот осенью, как правило, увядают, танцует, уходит, возвращается. На ней горностаево-шиншилловый туалет, утыканный какой-то дорогой мерзостью. Во втором акте она переодевается цветочницей, потом, оказавшись совершенно голой, вспоминает «сны детских дней, когда сердце в нас трепещет сильней», швыряет миллион франков музыкантишке из «Табарен», пьет шампанское, разбивает вдребезги бокал (потому что она демоническая), переодевается мидинеткой, ноги при этом видны до пупка, поет вдвоем с князем Сашей Лейнамиску о «сладких грезах любовных снов, когда приходит вновь в кровь любовь», влезает на стол, переодевается генералом, спрыгивает со стола и поет о том, что военные — это сплошное удовольствие и «любовный чад сплошных утрат». В третьем акте мы снова видим графиню в домашней обстановке; одетая в бальный туалет, она поет с директором полиции миленькую частушку о шампанском, причем сорок пять — неизвестно откуда прибывших — шлюх выполняют позади них различные эволюции с крокетными молотками либо с моделями аэропланов (ведь подобные предметы каждый всегда имеет дома под рукой, а уж графиня-то наверняка!), потом

появляется комик, переодетый дядюшкой обожаемого Саши, графиня убегает, возвращается в венгерском национальном костюме и выходит замуж за маркиза Булонь сюр Мерд.

Поразительно пленительным бывает во всякой оперетте так называемый хор. Это — трупы и трупини во фраках и голубых платьях Прежде чем графиня появится где-либо, вся эта труппа трупов образует полукруг и упорно себе потявкивает:

Когда же графиня появится впредь?
Ее что-то нету давно уж нас средь!

Стоит графине явиться, хорьё восторгается ею и, глядя на капельмейстера, а также грациозно выставляя вперед левую руку, взывает:

А вот и графиня, кумир она ж наш —
Любовные сны ей возьмешь и отдашь!

Перед будуарной сценой (Саша — Графиня) хорилы и хорицы удаляются, беседуя столь оживленно, что пожизненных каторжных работ недостаточно, чтобы искупить подобный интерес к судьбе героини.

Несравненен в своем очаровании язык переводных либретто. Я в этом деле как-никак разбираюсь, поскольку сам перевел несколько. Влюбленный в живую, искреннюю, непосредственную по своей выразительности речь, я, переводя оперетки, не смог противиться искушению и страстно всобачивал «счастья сон» и «любви кумир», а все потому, что герой «дивный он», и возлюбленной не жалко отдать «весь мир». Все ведь должно быть зарифмовано, а посему — ничего не попишешь! Небывалой популярностью пользуется в опереттах словечко «сон». Ради рифмы дочь, например, обращаясь к отцу, зачастую называет последнего «дивный сон», графиня умоляет лакея принести ей шампанского, «словно во сне», кто уходит «вон», у того, само собой разумеется, сбудется «сладкий сон», где бы ни появлялось «вновь», там без «снов» ни шагу, если уж «весны», то и «сны», и уж конечно: «Помнишь, ах! В сладких снах». Простенько и замечательно также словечко «крас» (родительный падеж множественного числа от существительного «краса»): «Вы мне милей всех крас, пойдемте в лес тотчас, там ждет блаженство нас!» либо: «А я тут жду как раз с томленьем ваших крас!» Этого слова в переводах оперетт я, признаться, не употребляю никогда (клянусь всем святым!), но что касается «снов» и «мечт» — случается: «Узнай же ты мои мечты!» — дивно, не правда ли?

О современной опереточной музыке я уж не пишу. Однако уверен, что в настоящем музыканте она вызывает такое же омерзение, как либретто — в поэте. В ней безраздельно царит венско-берлинская дешевка; попадается, правда, красивый «Wiener Walzer» либо шлягер а-ля знаменитый «Юзик» из «Мадам Помпадур», но в общем — австрийская слащавость, немецкая «Gemütlichkeit»[1] и международная шиммистость[2] берут верх.

Дурацкое это зрелище, нищету коего подчеркивают все более роскошные наряды и все более ординарнейшие «вставки», должно решительно уступить место музыкальной комедии — без хоров, графов, «красоток», шампанского, без ослепительных туалетов примадонны (50% сметы и успеха), без наддунайско-черногорского фольклора и берлинских кретинизмов (типа: «Schatzi, zeig mir dein Fratzi»[3] или что-

---

[1] Здесь: «благодушие» *(нем.)*.
[2] Шимми — распространенный танец 20-х годов.
[3] «Канашка, где твоя мордашка» *(нем.)*.

нибудь вроде). Дебелую эту докучную немчуру, эту расфуфыренную фрау Раффке театрального искусства самое время препроводить в паноптикум.

1924 г.

Чудо с налоговым инспектором

Жара стояла адская. С обуглившегося неба несло, как из пекарни, сухим, злобным жаром, словно вдохновенный гнев огня ополчился против рода человеческого. Оазисом во всей квартире был угол, в котором стояли два прохладных кожаных кресла, низкий столик, а на нем — вода со льдом и лимонным соком. Я бессильно, как в нирване, дремал, погруженный в грезу о буре и дожде, о грозе и потопе. И вот взъяренное от зноя небо начало хмуриться, синеть, лиловеть, что-то заворчало, что-то загромыхало, и под изможденным от зноя небосводом потянуло первым после нескольких недель предвестьем грозы. Я облегченно вздохнул. В ту же минуту у дверей кто-то позвонил. Я поднялся с кресла, счастливый, легкий, полный радостного ожидания недалекого ливня, и отворил. Вошел какой-то пожилой человек — красный, вспотевший сопящий — с портфелем под мышкой и с листочком бумаги в руке. Войдя, он промолвил:

— Из финансовой инспекции.

Грохнул гром, и крупные капли понемногу, пока еще нерешительно, начали барабанить в стекла. Какое счастье! Дождь!

— Пожалуйста, уважаемый! Разрешите! Какая жарища! Вы просто еле дышите. Но, слава богу, наконец-то дождь. Пожалте направо.

Пунцовый, с трудом переводящий дыхание, истекающий потом налоговый инспектор сперва огляделся. Затем он сказал:

— Я принес исполнительный лист... Вы до сих пор не заплатили подоходного нало...

Я, как можно вежливей, прервал его:

— Прежде всего, сделайте одолжение, сядьте и отдышитесь. Выпейте, пожалуйста, воды со льдом и лимоном. Это освежает.

— ...налога за год 1933-й.

По небу, как молодые кони по лугу, прыгали молнии. Дождь лил ручьями, и от распахнутого окна тянуло неописуемой свежестью и прохладой. Боже, как я был счастлив!

— Да вы сядьте, пожалуйста. А напиток великолепный, правда? Мой друг Казя добавляет еще красного вина. И получается, надо вам сказать, нектар! Жаль, что вина нет! Но зато есть арак. Замечательно!

Я метнулся к буфету, вытащил бутылку и долил в ледяную воду ароматного арака.

— Теперь попробуйте!

Инспектор выпил, поблагодарил, но я видел, что ему явно не по себе.

— Итак, здесь обозначено 620 злотых плюс 10 процентов дополнительного обложения, плюс...

Дождь хлестал так, что прямо сердце радовалось!

— Вы просто не представляете,— сказал я,— до какой степени я обожаю дождь. Я даже Ноя ревную к потопу! Вы только вообразите, пане инспектор, сорок дней дождя! Жара, скажу я вам, действует на меня разлагающе. Я пропадаю в жару. Зато дождь — эти серебряные струи с неба — пробуждает во мне какую-то бодрость, мальчишество, радость и попросту энтузиазм! Поверите ли, в прошлом году...

Инспектор поглядел исподлобья, кашлянул, прервал мои счастливые признания и сказал:

— ...плюс пени за неуплату до 10 июля сего года. Итого...

— Да! — быстро перебил я его,— да! В прошлом году только за одну дождливую неделю я написал что-то около двадцати лирических стихотворений, за все же остальные, жаркие дни лета, два или три. Вам не попадались? «Хляби небесные» сборник называется. Мне даже ставят в вину влияние Поля Валери. Смешно! Кстати, что вы думаете о нем?

И я налил ему еще холодной воды с ароматным араком. Инспектор снова кашлянул и процедил сквозь зубы:

— Это, проше пана, не имеет отношения к делу. И вообще, должен вам заметить. поведение ваше неуместно. Шуточки, обихаживание... Я воспринимаю все это как издевку.

Я раскрыл глаза от удивления и сказал:

— Однако же, пане инспектор! Какая издевка? Какие шуточки? Я попросту в прекрасном настроении. И будучи вообще человеком вежливым, я веду с вами приятную беседу. Вот и все. Почему же шуточки?

— Потому что вы меня хотите заговорить. Но нас не проведешь, пане!

Небо неистовствовало. Все души, брандспойты, фонтаны, краны, поливалки и прочие водометы перебрались на небеса и струили такую проливную обильность, что по улицам неслись бурные реки. Я просто с ума сходил от счастья.

— И посему,— продолжал инспектор,— я не желаю слышать о всяких там «Хлябях небесных» и о Валери, а ставлю вас в известность, что всего с вас причитается злотых 776 и грошей 48.

Я быстро начал подсчитывать.

— Семь да семь четырнадцать — да шесть — двадцать — да четыре — двадцать четыре — плюс восемь — тридцать два. Прекрасно! Счастливое число. Вы верите в магию чисел? Я лично люблю четверку и все кратные ей... поэтому цифра 32 мне особенно близка. Немецкий ученый Бишоф в труде «Die Magie der Zahlen» утверждает, что...

Красный до этой поры инспектор позеленел и ударил по столу:

— Я же просил вас не морочить мне голову! Здесь, пане, никакой магии нету. Причитается 776 злотых и 48 грошей. Будете платить?

Я замолк. Несколько мгновений я гипнотически вглядывался в его глаза, а затем тихо и отчетливо шепнул:

— Буду.

Инспектор, видно, не расслышал, потому что сказал:

— Я вас польским языком спрашиваю — будете платить?

— А я польским языком отвечаю — буду!

— То есть как?

— Очень просто. Причитается 776 злотых и 48 грошей, вы пришли за этой суммой, а я ее вам плачу.

Липы, черемухи, акации, жасмины, сирени, левкои, резеда, розы — все благоуханнейшее соединилось в один сладкий свежий аромат и обильной упоительной волной било в открытое окно. Зелень сияла, вся в драгоценных каменьях дождевых капель. О, как же мне было хорошо!

Инспектор как-то скособочился в кресле.

— Пане Шумский! — крикнул он.— Если вы сию же минуту не перестанете шутки шутить, то будете отвечать за оскорбление должностного лица! Я вас в последний раз спрашиваю: будете платить?

Я спокойно, с непередаваемой улыбкой вынул из ящика 776 злотых и 48 грошей, положил их на стол и сказал:

— Буду. Вот деньги.

Огромная радужная арка скрепила зенит неба и центр земли (sic!).

Инспектор сжал голову руками и сквозь стиснутые зубы прошипел:

— Бесссовессстно! Бесссовессстно!

Признаюсь, мурашки забегали у меня по спине от этого зрелища.

— Что случилось? — испуганно спросил я.— Почему вы так дрожите, пане инспектор?

За окном было уже тихо и спокойно, свежо и проветренно. Зато в комнате разразилась гроза.

— Почему?! — рычал инспектор.— Почему?! Да как же вы смеете? Кто вас уполномочил? Вы думаете, пане Шумский, что столь безнаказанно можно издеваться над бедным изработавшимся налоговым инспектором?

— Кто издевается, дорогой мой? За что такое обвинение?

— Как то есть за что? — выл он.— Как за что? Я прихожу. Вы меня встречаете весело, с улыбкой, с дьявольской вежливостью! Вы предлагаете мне кресло! Вы угощаете меня освежающим напитком, которого я так жаждал, вы говорите со мной о каких-то стихах — хорошо, я все стерпел, я думал, что вы мне зубы заговариваете. Но затем — вы платите! Наличными! Не пытаясь добиться отсрочки или рассрочки! Хотя бы на неделю! Или две! Он платит, бессовестный! Платит, преступник! На стол деньги выкладывает! Двадцать три года я работаю инспектором, и никто еще со мной так жестоко не обходился! Ты — Шумский? Скотина ты, вот кто! На колени! Умоляй, проси, пресмыкайся! Немедленно предложи, что сейчас заплатишь только сто злотых, а остальное станешь вносить помесячно!

Я взывал, ползая на коленях:

— Нет. Всё — сегодня! До гроша! Сигарку не желаете, пане инспектор?

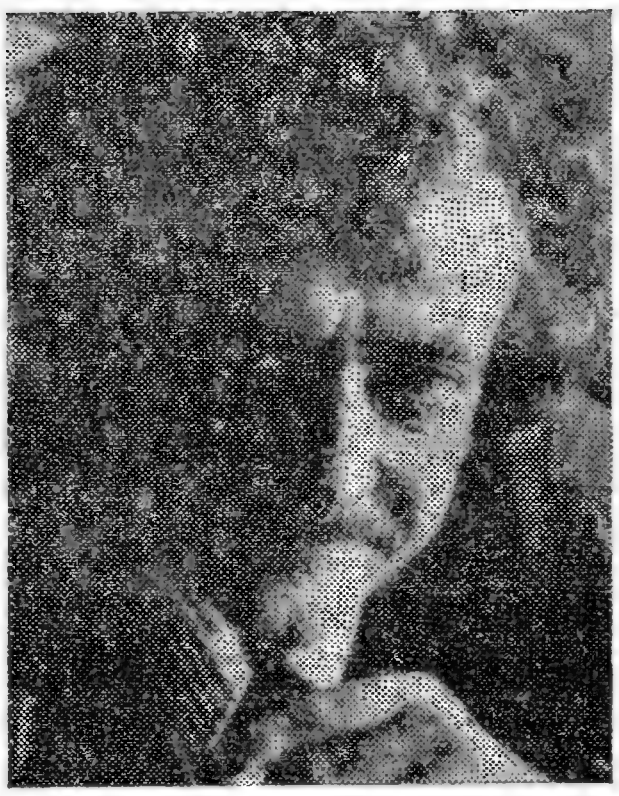
И тут — не с апокалипсического ли свода — обрушился страшный гром? Нет! Это был крик инспектора, который пал, пораженный Перуном Чуда.

В ту же секунду раскрылись за его плечами белые, ангельские крылья, он вылетел в окно и вознесся, бедный и замученный, на высоты твои, о Предвечный!

Дай же ему место одесную престола Твоего.

Я же, прослеживая лёт его в лазури, попиваю арак уже без воды, и полной грудью впиваю озон преображенного грозой мира.

1933 г.



КУРТ ВОННЕГУТ

Завтрак для чемпионов

РОМАН

Перевод с английского Р. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ

Памяти Фиби Хэрти,
утешавшей меня
во время Великой депрессии.

Он знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду, как золото.

(Иов. 23.10)

Предисловие

Название «Завтрак для чемпионов» запатентовано акционерной компанией «Дженерал миллз» и стоит на коробке пшеничных хлопьев для завтрака. Титул данной книги, совпадающий с этим названием, никак не связан с акционерной компанией «Дженерал миллз», не служит ей рекламой, но и не бросает тень на ее отличный продукт.

Той Фиби Хэрти, которой я посвящаю эту книгу, давно, как говорится, нет в живых. Когда я с ней познакомился — к концу Великой депрессии,— она жила в Индианаполисе и уже вдовела. Мне было лет шестнадцать, ей — около сорока.

Она была богата, и, однако, всю свою взрослую жизнь она ежедневно ходила на службу и работала не переставая. Остроумно и толково она вела отдел «Советы влюбленным» в «Индианаполис таймс» — хорошей газете, ныне усопшей.

Усопшей...

Кроме того, Фиби Хэрти сочиняла рекламу для владельцев универмага «Вильям Блок и Компания» — этот универмаг до сих пор процветает в здании, выстроенном по проекту моего отца. Вот какую рекламу Фиби Хэрти сочинила для осенней распродажи летних соломенных шляп: «За такую цену можете даже пропустить эту шляпу через лошадь и удобрить ею ваши розы».

Фиби Хэрти подрядила меня писать рекламу готового платья для подростков. Мне полагалось и самому носить ту одежду, которую я расхваливал. Это входило в мои обязанности. И я очень подружился с двумя сыновьями Фиби Хэрти, моими сверстниками. Я вечно торчал у них дома.

Не стесняясь в выражениях, она откровенно разговаривала обо всем и со мной, и со своими сыновьями, и с нашими подружками — мы часто приводили их к ней домой. С ней было весело. С ней я чувствовал себя свободно. Она приучила нас не только называть своими словами все, что касалось секса, но и говорить в непочтительном тоне об американской истории и всяких знаменитых героях, о распределении земных благ, об учебных заведениях — словом, обо всем на свете.

Теперь я зарабатываю на жизнь всякими непочтительными высказываниями обо всем на свете. У меня это выходит довольно грубо, нескладно. Но я стараюсь подражать непочтительному тону Фиби Хэрти — у нее все выходило удивительно тонко, изящно. Мне кажется, что ей было легче найти нужный тон, чем мне, потому что во время Великой депрессии настроение у людей было другое. Тогда Фиби Хэрти, как и многие американцы, верила, что народ станет счастливым, справедливым и разумным, как только наступит «просперити» — благосостояние.

Теперь мне уже никогда не приходится слышать это слово — «просперити». А раньше оно было синонимом слова «рай». И Фиби Хэрти могла верить, что непочтительное отношение, которому она нас учила, поможет создать американский рай.

© Kurt Vonnegut, Jr., 1973

Нынче такое неуважительное отношение ко всему вошло в моду. Но в американский рай уже никто не верит. Да, мне ужасно не хватает Фиби Хэрти.

Теперь — о подозрении, которое я высказываю в этой книге, будто все человеческие существа — роботы, механизмы. Надо принять во внимание, что в Индианаполисе, где я рос, очень многие люди, особенно мужчины, страдали локомоторной атаксией, часто наблюдающейся в последней стадии сифилиса. Я часто видел их на улицах и в толпе у цирка, когда был мальчишкой.

Эти люди были заражены крошечными хищными винтиками-спирохетами, видимыми лишь под микроскопом. Позвонки больного оказывались накрепко спаянными друг с другом после того, как эти прожорливые спирохеты съедали всю ткань между ними. У сифилитиков был удивительно величественный вид — так прямо они держались, уставив глаза в одну точку.

Как-то раз я увидел одного из них на углу улиц Меридиен и Вашингтонской, под висячими часами, сделанными по эскизу моего отца. Кстати, этот перекресток прозвали «Америка на распутье».

Сифилитик стоял на этом распутье и напряженно думал, как бы ему заставить свои ноги сойти с тротуара и перейти Вашингтонскую улицу. Он весь тихо вибрировал, как будто у него внутри застопорился какой-то моторчик. Вот в чем состояла трудность: участок мозга, откуда шли приказания к мышцам ног, был сожран спирохетами. Провода, передававшие эти приказания, уже лишились изоляции или были проедены насквозь. Выключатели по пути тоже были намертво спаяны или навечно разомкнуты.

Этот мужчина выглядел старым-престарым, хотя ему, наверно, было не больше тридцати. Он все стоял, стоял, думал. И вдруг брыкнул ногой два раза, как балерина делает антраша.

Мне, мальчишке, он тогда показался подлинным роботом.

Есть у меня еще другая склонность — представлять себе человеческие существа в виде больших пластичных лабораторных баллонов, внутри которых происходят бурные химические реакции. Когда я был мальчиком, я встречал много людей с зобом. Видел их и Двейн Гувер, продавец автомобилей марки «понтиак», герой этой книги. У этих несчастных землян так расперло щитовидную железу, как будто у них из глоток росла тыква.

А для того, чтобы стать как все люди, им только надо было глотать ежедневно примерно около одной миллионной унции йода.

Моя родная мать погубила свою нервную систему всякими химикалиями, которые будто бы помогали ей от бессонницы.

Когда у меня скверное настроение, я глотаю малюсенькую пилюльку и сразу приободряюсь.

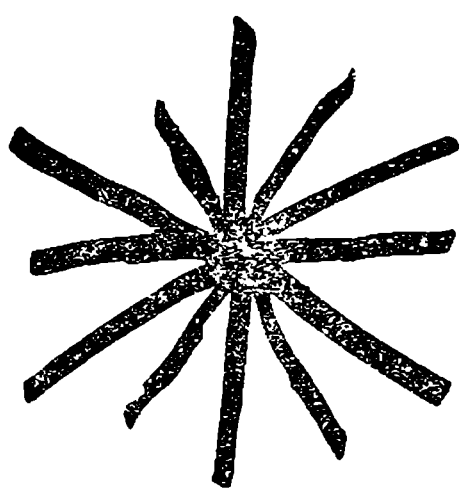
И так далее.

Вот почему, когда я описываю в романе какой-то персонаж, у меня появляется страшное искушение: сказать, что он ведет себя так из-за испорченной проводки либо оттого, что съел или не съел в этот день микроскопическое количество того или иного химического вещества.

Что же я сам думаю об этой своей книге? Мне от нее ужасно муторно, хотя мне от каждой моей книжки становится муторно. Мой друг, Нокс Бергер, однажды сказал про какую-то очень закрученную книгу: «...читается так, будто ее сварганил какой-нибудь Снобби Пшют». Вот в кого я, наверно, превращаюсь, когда пишу книгу, которая, по всей вероятности, во мне запрограммирована.

Эта книга — мой подарок самому себе к пятидесятипетию. У меня такое чувство, будто я взобрался на гребень крыши, вскарабкавшись по одному из скатов.

В пятьдесят лет я так запрограммирован, что веду себя по-ребячески: неуважительно говорю про американский гимн, рисую фламастером нацистский флаг, и задики, и всякое другое. И чтобы дать представление о том, насколько я зрелый художник, вот пример иллюстраций, сделанных мной для этой книги: это задик.



Думается мне, что я хочу очистить свои мозги от всей той трухи, которая в них накопилась,— всякие флаги, зады, панталоны. Вот именно — в этой книге будет рисунок: дамские панталоны. И еще я выкидываю за борт героев моих старых книг. Хватит устраивать кукольный театр.

Думаю, что это — попытка все выкинуть из головы, чтобы она стала совершенно пустой, как в тот день пятьдесят лет назад, когда я появился на этой сильно поврежденной планете.

По-моему, так должны сделать все американцы — и белые и небелые, которые подражают белым. Во всяком случае, мне-то другие люди забили голову всякой всячиной — много там и бесполезного и безобразного, и одно с другим не вяжется и совершенно не соответствует той реальной жизни, которая идет вне меня, вне моей головы.

Нет у меня культуры, нет человечности и гармонии в моих мыслях. А жить без культуры я больше не могу.

Значит, эта книга будет похожа на тропинку, усеянную всякой рухлядью, мусором, который я выбрасываю через плечо, путешествуя во времени назад, к одиннадцатому ноября 1922 года.

А потом я пропутешествую во времени до того дня, когда одиннадцатое ноября — кстати, это день моего рождения — стало священным днем: его назвали День перемирия. Когда я был мальчиком и Двейн Гувер тоже был мальчиком, все люди, когда-то сражавшиеся в первой мировой войне, ежегодно в этот день соблюдали минуту молчания — одиннадцатую минуту одиннадцатого часа одиннадцатого дня одиннадцатого месяца в году.

Именно в такую минуту в 1918 году миллионы миллионов человеческих существ перестали калечить и убивать друг друга. Я разговаривал со старыми людьми, которые в ту минуту находились на поле боя. Все они, хотя и по-разному, говорили мне, что неожиданная тишина показалась им Гласом божьим. Так что есть еще среди нас люди, которые точно помнят, как Создатель во всеуслышание заговорил с человечеством.

День перемирия переименовали в День ветеранов. День перемирия был священным днем, а День ветеранов — нет.

Значит, День ветеранов я тоже выкину через плечо. А День перемирия оставлю себе. Не хочу выбрасывать то, что священно.

А что же еще священно? Ну, например, Ромео и Джульетта.

И вся музыка.

СНОББИ ПШЮТ

Глава первая

Это рассказ о встрече двух сухопарых, уже немолодых, одиноких белых мужчин на планете, которая стремительно катилась к гибели.

Один из них был автором научно-фантастических романов по имени Килгор Траут. В дни встречи он был никому не известен и считал, что его жизнь кончена. Но он ошибся. После этой встречи он стал одним из самых любимых и уважаемых людей во всей истории человечества.

Человек, с которым он встретился, был торговцем автомобилями — он продавал автомобили фирмы «Понтиак». Звали его Двейн Гувер. Двейн Гувер стоял на пороге безумия.

Слушайте:

Траут и Гувер были гражданами Соединенных Штатов Америки — страны, вкратце называвшейся просто Америкой. Вот какой у них был национальный гимн — сплошная белиберда, которую и они, и многие другие, по-видимому, принимали всерьез:

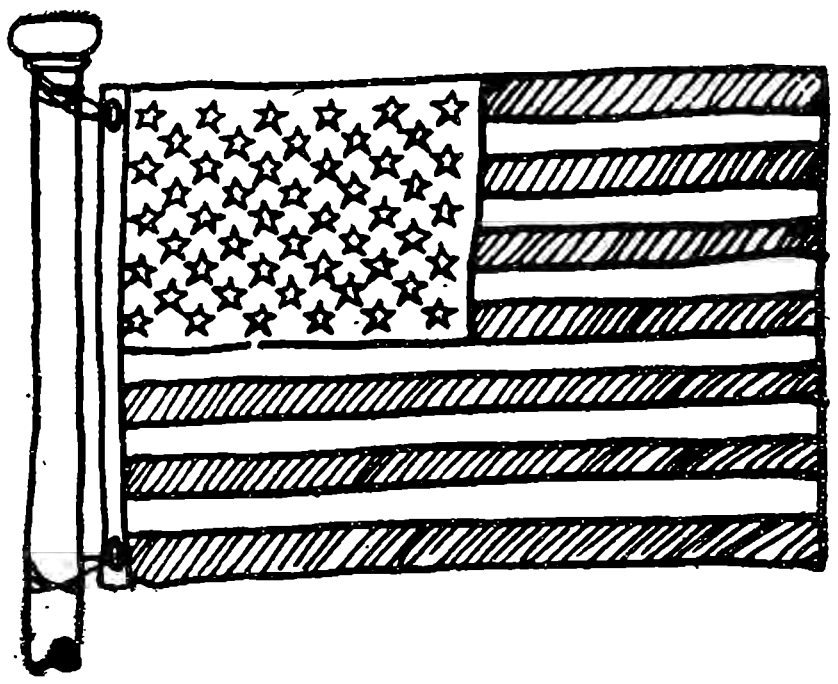
Ты скажи, ты ответь, наша слава жива ль?
Ныне видишь ли то, чем гордился вчера ты,—
Сквозь огонь и сквозь дым устремлявшийся вдаль,
Нам сиявший в боях звездный флаг полосатый?

Вспышки бомб и ракет, разрывавшие мрак,
Озаряли вверху полосатое знамя;
Ты скажи, все ль еще вьется звездный наш флаг
Над землей храбрецов, над свободы сынами? [1]

[1] Перевод Юлия Петрова.

На свете существовало около квадрильона разных национальностей, но только у той нации, к которой принадлежал Килгор Траут и Двейн Гувер, был вместо национального гимна такой бессмысленный набор слов, испещренный вопросительными знаками.

А вот какой у них был национальный флаг:



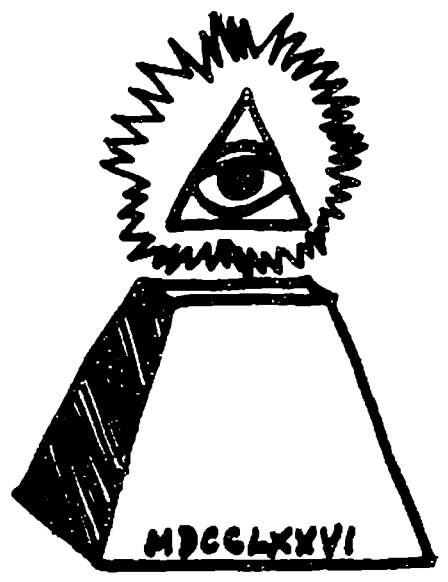
И еще, на всей планете только у ихней нации был закон, в котором говорилось: «Флаг наш никогда, ни перед кем и ни перед чем спускать не должно!»

Спуском и подъемом флага назывался дружественный обычай, когда в знак приветствия флаг опускали по флагштоку ниже, к земле, а потом снова подымали вверх.

Девиз родины Двейна Гувера и Килгора Траута на языке, на котором уже никто на свете не разговаривал, означал: «Из множества — единство» — «Ex pluribus unum».

Неспускаемый флаг был красавец, да и гимн и девиз никому бы не мешали, если бы не одно обстоятельство: многих граждан этой страны до того обижали, презирали и надували, что им иногда казалось, будто они живут вовсе не в той стране, а может, и не на той планете и что произошла какая-то чудовищная ошибка. Может быть, им было бы легче, если б хотя бы в их гимне или в их девизе говорилось о справедливости, или братстве, или надежде на счастье, чтобы этими словами их радушно приветствовали, как полноправных членов общества, совладельцев его богатств.

А когда они разглядывали свои ассигнации, чтобы понять, что у них за страна, они видели там, среди всякой другой вычурной чепухи, изображение усеченной пирамиды, а на ней — растопыренный глаз, вот такой:



Даже сам президент Соединенных Штатов не знал, что это значит. Выходило так, словно страна говорила своим гражданам: «В бессмыслице — сила».

Вся эта бессмыслица была невольной виной отцов-пилигримов — основателей той нации, к которой принадлежали Двейн Гувер и Килгор Траут. Эти основатели были аристократы, и им хотелось похвастать своей никчемной образованностью, которая заключалась в заучивании всякой ахинеи из древней истории. И к тому же все они еще были рифмоплетами.

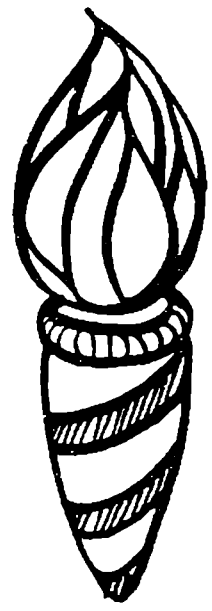
Но среди этой галиматьи попадались и очень вредные идеи, потому что они прикрывали великие преступления. Например, школьные учителя в Соединенных Штатах

Америки постоянно писали на доске вот такую дату и заставляли детей вызубривать ее и повторять гордо и радостно:

1492

Преподаватели говорили ребятам, что их континент был открыт именно в этот год. А на самом деле в этом самом 1492 году миллионы людей уже жили там полноценной, творческой жизнью. Просто в этом году морские разбойники стали убивать, грабить и обманывать этих жителей.

И вот еще какую вредную чушь учителя вбивали в головы ребятам: будто бы эти пираты основали правительство, которое стало факелом свободы для всех людей на свете. И детям показывали статуи и картины этого воображаемого факела свободы. Факел был похож на фунтик с мороженым, из которого выбивалось пламя. Вот как он выглядел:



Кроме того, морские пираты, которые главным образом участвовали в создании нового государства, владели людьми-рабами. Они пользовались человеческими существами вместо машин, и даже после того, как рабовладение уничтожили — потому что все-таки это было очень стыдно,— те пираты и их потомки продолжали относиться к простым рабочим людям как к машинам.

Пираты были белые. Люди, жившие на том континенте, куда явились эти пираты, были краснокожие. Когда на этом континенте началось рабовладение, рабами были чернокожие.

Все дело было в цвете кожи.

Вот каким образом пиратам удавалось отбирать все, что им было угодно и у кого угодно: у них были самые лучшие корабли на свете, и они были свирепее всех, и еще у них был порох — так называлась смесь серы, угля и селитры. Они подносили огонь к этому, казалось бы, безобидному порошку, и он бурно превращался в газ. Газ выталкивал снаряды из металлических трубок со страшной силой и чудовищной скоростью. Эти снаряды запросто врезались в живое мясо и кости, так что пираты могли разрушить проводку, или вентиляцию, или канализацию внутри живого существа, даже если оно находилось очень далеко.

Но главным оружием пиратов была их способность ошеломлять людей: поначалу никому и в голову не приходило, что они такие бессердечные и жадные, а потом становилось поздно.

Когда встретились Двейн Гувер и Килгор Траут, их страна была, пожалуй, одной из самых богатых и сильных стран на планете. В ней было много еды, и полезных ископаемых, и машин, и она усмиряла другие страны, угрожая им, что обстреляет их гигантскими ракетами или забросает всякими штуками с самолетов.

У многих стран ни шиша не было. А во многих и жить было невозможно. Там было слишком мало места и слишком много народу. Жители распродали все, что

можно было продать, жрать им было нечего, и все равно люди там беспрестанно спаривались.

Это и был способ делать детей.

Многие люди на этой подпорченной планете были коммунистами. У них была теория, по которой все, что еще осталось на земле, надо разделить более или менее поровну между всеми людьми, которые, кстати, никого не просили поселить их на этой порченой планете. А тут еще каждую минуту нарождались дети, сучили ножками, орали, требовали молока.

Были даже такие страны, где люди просто ели землю или сосали мокрые камешки, а в нескольких шагах от них продолжали рождаться дети.

И так далее...

Страна Килгора Траута и Двейна Гувера, где всего было навалом, не признавала коммунизма. Там никак не соглашались, что те земляне, у которых всего много, должны делиться с другими, у которых ничего нет, если им этого не хочется. А большинству этого не хотелось.

Значит, они ни с кем и не делились.

Считалось, что в Америке каждый должен заграбастать сколько может и не выпускать из рук. Некоторые американцы здорово сумели всего нахватать и не выпускать из рук. Они стали сказочно богатыми. Другие не могли накопить ни шиша.

Двейн Гувер был сказочно богат, когда встретился с Килгором Траутом. Как-то утром Двейн проходил по улице, и один человек шепнул своему соседу именно эти слова: «Сказочно богат!»

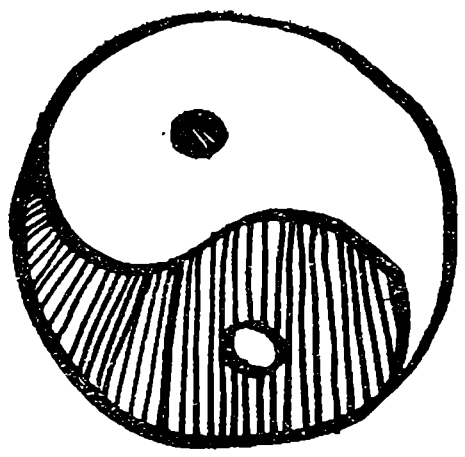
А вот что было в те дни у Килгора Траута на нашей планете: ни шиша.

Итак, Килгор Траут и Гувер Двейн встретились в Мидлэнд-Сити, родном городе Двейна, во время фестиваля искусств осенью 1972 года.

Как уже говорилось, Двейн Гувер торговал автомобилями марки «понтиак» и постепенно сходил с ума.

Разумеется, ненормальность Двейна Гувера зависела главным образом от вредных веществ. Организм Двейна Гувера вырабатывал некоторые дурные вещества, нарушавшие работу его мозга. Но Двейну, как всякому начинающему сумасшедшему, при этом еще нужно было найти какие-то нехорошие идеи, чтобы его помешательство приобрело определенную форму и направление.

Скверные вещества и скверные мысли были Инь и Ян безумия. А Инь и Ян — это китайские символы гармонии. Вид у них такой:



Вредные идеи Двейну Гуверу внушил Килгор Траут. Траут считал себя не только безвредным, но и невидимым. Мир так мало обращал на него внимания, что он считал себя уже покойником.

Он **надеялся**, что он покойник.

Но после встречи с Двейном он понял, что способен внушить своему ближнему идеи, которые превратят его в чудовище.

Вот суть самой вредной идеи, которую Траут внушил Двейну Гуверу. Все на свете — роботы, все до единого, за исключением Двейна Гувера.

Из всех живых существ в мире один только Двейн Гувер мог думать, и чувствовать, и волноваться, и размышлять, и так далее. Никто, кроме него, не ведал, что такое боль. Ни у кого не было свободного выбора. Все остальные были полностью автоматизированными машинами и служили для того, чтобы стимулировать Двейна Гувера. Сам Двейн Гувер был новым видом живого существа — подопытным экземпляром, который испытывал Создатель вселенной.

Во всем мире только один Двейн обладал свободной волей.

Траут и не ожидал, что ему кто-нибудь поверит. Он изложил все эти вредные идеи в научно-фантастическом романе — оттуда их и вычитал Двейн Гувер. Траут слы-

хом не слыхал о Двейне Гувере, когда сочинял этот роман. Роман был предназначен для любого, кто его случайно откроет. Там просто-напросто говорилось первому встречному: «Эй! Знаешь что? Ты — единственное существо со свободной волей! Как тебе это нравится?» И так далее. Это был всего лишь tour de force [1]. Это была jeu d'esprit [2].

Но Двейну эта идея отравила мозги.

Траут перепугался, когда понял, что даже он мог принести в мир зло — в виде вредных идей. И после того, как Двейна в смирительной рубашке отвезли в сумасшедший дом, Траут фанатически уверовал в значение идей и как причины болезней, и как средства излечения. Но никто не хотел его слушать. Он был неопрятный старик, и, как глас вопиющего в пустыне, его голос взывал из-за кустов и деревьев: «Идеи или отсутствие идей могут вызвать заболевание».

И Килгор Траут стал первооткрывателем в области душевного здоровья. Он проповедовал свои идеи под видом научно-фантастических романов. Умер он в 1981 году, почти через двадцать лет после того, как по его вине так серьезно заболел Двейн Гувер.

Тогда Траут уже получил всеобщее признание как великий писатель и ученый. Американская Академия наук и искусств поставила памятник над его прахом. На лицевой стороне была высечена надпись — цитата из его последнего романа, двести девятого романа, который остался недописанным из-за его кончины. Памятник выглядел так:

[1] Здесь: выдумка *(франц.)*.
[2] Игра ума *(франц.)*.

Глава вторая

Двейн был вдовцом. Ночью он жил в сказочном доме на Фэйрчайлдских холмах — в самом лучшем районе города. Каждый дом стоил там по крайней мере сто тысяч долларов. Каждый дом был окружен участком по меньшей мере в сто гектаров.

Единственным товарищем Двейна по ночам был ньюфаундленд по имени Спарки. Спарки не мог вилять хвостом: много лет назад он попал в автомобильную катастрофу. Поэтому он никак не мог выказывать свои дружеские чувства к другим собакам. Оттого ему и приходилось без конца ввязываться с ними в драку. Уши у него висели клочьями. Он весь был в шрамах.

Была у Двейна и черная служанка по имени Лотти Дэвис. Она ежедневно убирала его дом. Потом она готовила и подавала ему ужин. Потом она уходила домой. Она была потомком рабов.

Лотти Дэвис и Двейн почти не разговаривали, хотя очень хорошо относились друг к другу. Главные разговоры Двейн вел со своим псом. Он ложился на пол и катался со Спарки по ковру и говорил ему что-нибудь вроде: «Ты да я, Спарк!» или: «Ну, как живешь, старикан?»

Так оно все шло, даже когда Двейн стал понемногу сходить с ума, но Лотти Дэвис ничего не замечала.

У Килгора Траута был попугай по имени Билл. Как и Двейн Гувер, Килгор Траут по ночам бывал совершенно один, не считая его дружка. Он тоже разговаривал со своим другом.

Но в то время как Двейн говорил со своим псом ласково, Килгор Траут подсмеивался над своим попугаем и постоянно плел ему всякое про конец света.

— Теперь уже скоро,— говорил он.— Да и давно пора.

У Траута была теория, что скоро в земной атмосфере нечем будет дышать.

Траут полагал, что когда атмосфера станет ядовитой, Билл отдаст концы на несколько минут раньше самого Траута. И он вечно дразнил попугая: «Ну, как дышится, Билл?», или же: «Что-то мне чудится, будто у тебя началась хорошенькая эмфизема легких, Билл», или еще: «А ведь мы с тобой ни разу не обсуждали, какие похороны ты себе надумал, Билл. Ты мне даже не сказал — какой ты веры». И так далее.

Он сказал Биллу, что человечество заслуживает самой страшной смерти за то, что оно так жестоко и расточительно обращалось с этой милой землей. «Все мы — Гелиогабалы, Билл»,— говорил Траут. Гелиогабалом звался римский император, который велел скульптору отлить пустотелого железного быка с дверцей посредине. Дверцу можно было запирать снаружи. Пасть у быка была разинута. Это было второе отверстие, выходившее наружу.

Гелиогабал отдавал приказ посадить живого человека через дверцы в быка и запереть дверцы. Все звуки, какие издавал при этом человек, доносились наружу из пасти быка. Потом Гелиогабал созывал гостей на приятную вечеринку, где было много еды и вина, много красивых девушек и юношей, и тут Гелиогабал приказывал слуге поджечь хворост. Хворост лежал под грудой сухих дров, а дрова лежали под брюхом быка.

У Траута была еще одна странная привычка: он называл зеркала «лужицами». Его забавляла мысль, что зеркало — как вода, переливается в зазеркалье.

И если он видел ребенка около зеркала, он предостерегающе грозил ему пальцем и говорил: «Не подходи так близко к лужице, ты же не хочешь перелиться в другую вселенную, в зазеркалье?»

Конечно, после смерти Траута все стали называть зеркала «лужами». Вот до чего дошло: даже к его шуткам стали относиться с уважением.

В 1972 году Траут жил в полуподвальной квартирке, в Когоузе, штат Нью-Йорк. Он зарабатывал деньги тем, что устанавливал алюминиевые оконные рамы вместе со ставнями. Продажей этих приспособлений он не занимался, потому что ему не хватало обаяния. Обаянием называлось такое качество, когда один человек у другого сразу вызывал к себе любовь и доверие независимо от того, что было на уме у этого обаятельного типа.

В Двейне Гувере была бездна обаяния.

Во мне тоже бывает бездна обаяния — стоит мне только захотеть.

Во многих людях — бездна обаяния.

Хозяин Траута и его сослуживцы понятия не имели о том, что он писатель. Кстати, ни один уважаемый издатель о нем понятия не имел, хотя ко времени встречи с Двейном Траут уже написал сто семнадцать романов и двести рассказов.

Никаких копий со своих писаний он никогда не делал. Он отсылал рукописи по почте и даже не вкладывал конверта с обратным адресом для возвращения рукописи. Иногда он и вообще никакого адреса не давал. Названия и адреса издательств он находил в журналах, посвященных литературным делам,— он жадно прочитывал эти журналы в читальном зале периодических изданий районной библиотеки. Так он связался с издательством под названием «Мировые классики», которое издавало в Лос-Анджелесе самую грубую порнографию. Издательство для объема подверстывало романы Траута, где даже о женщинах не говорилось ни слова, к непристойным рассказам и альбомам с похабными фотографиями.

Ему даже не сообщали, где печатаются его вещи. А вот сколько ему платили: ни шиша!

Ему даже не присылали авторских экземпляров — ни книжек, ни журналов, в которых он печатался, так что ему приходилось разыскивать их в порнографических лавчонках. И заглавия его романов были изменены. Например, «Хозяин Галактики» стал называться «Обезумел от губ».

Но больше всего Траута сбивали с толку иллюстрации, которые издатели подбирали для его романов. Например, он написал историю одного землянина — звали его Делмор Скэг,— холостяка, жившего в квартале, где у каждого была куча ребят. А Скэг был ученый, и он изобрел способ производить потомство из куриного бульона. Он соскребал бритвой живые клетки с ладони правой руки, смешивал их с бульоном и подвергал эту смесь воздействию космических лучей. И клетки превращались в младенцев, как две капли воды похожих на Делмора Скэга.

Вскоре у Делмора Скэга каждый день стала появляться целая стайка ребятишек, и он, гордясь и радуясь, приглашал соседей на крестины. Иногда в день крестили до сотни младенцев. Он прославился как отец самого большого в мире семейства.

И так далее.

Скэг рассчитывал, что в его стране будет издан закон, запрещающий заводить слишком большие семьи. Но законодательные учреждения и суды отказались вникнуть в проблему перенаселения. Вместо этого они издали строжайший закон, запрещавший неженатым людям варить куриный бульон.

Ну и так далее.

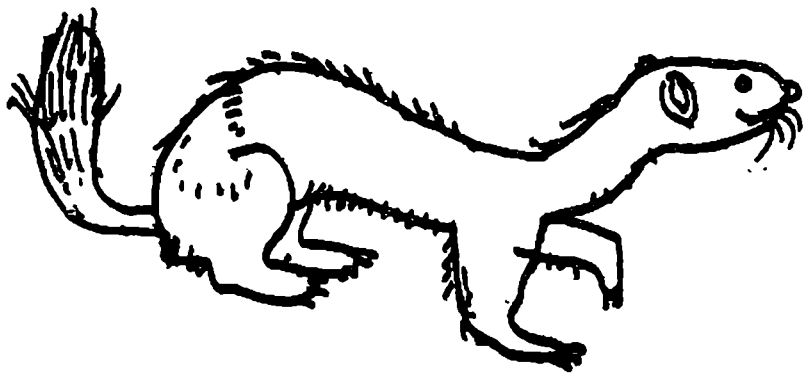
Иллюстрациями к этому роману служили мутные фотографии, на которых различные белые женщины занимались одним и тем же противоестественным непотребством с одним и тем же темнокожим мужчиной, на котором почему-то было одно только мексиканское сомбреро.

Ко времени встречи Двейна Гувера с Килгором самой распространенной книгой Траута была «Чума на колесах». Издатель не изменил названия, но и оно и фамилия автора были почти закрыты вызывающе-яркой наклейкой с многообещающей надписью:

НОРКИ-НАРАСПАШКУ!

«Норками» почему-то называли фотографии совсем голых или полуодетых девиц. Выдумали это выражение газетные репортеры-фотографы, которым часто удавалось видеть полуодетых во время всяких происшествий, спортивных тренировок или на пожарах, с нижних ступенек пожарных лестниц и так далее. Им надо было придумать условный знак, чтобы крикнуть другим газетчикам и знакомым полисменам, на что можно поглазеть, если им захочется. Вот они и придумали кричать: «Норки — нараспашку!»

На самом же деле норкой назывался небольшой зверек. Выглядел он так:



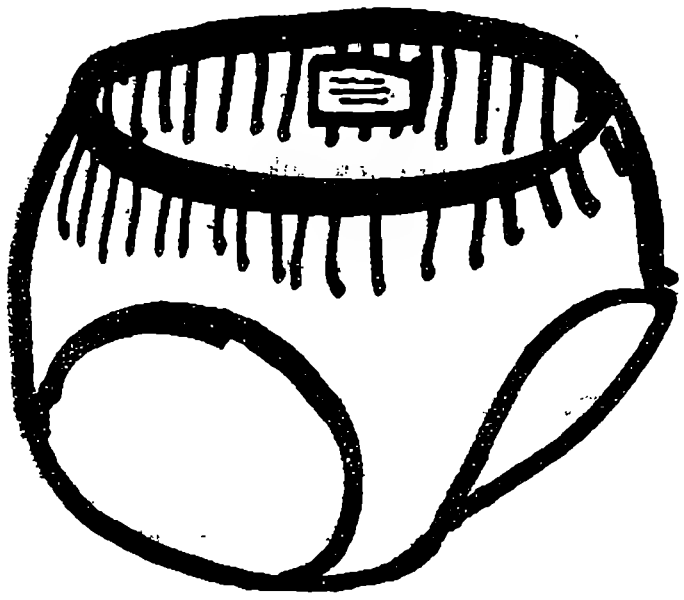
А то, от чего приходили в раж газетчики, было просто местом, откуда рождались дети.

Когда Двейн Гувер и Килгор Траут были мальчиками, и когда я был мальчиком, и даже когда мы стали людьми средних лет и постарели, в обязанность полиции и судов входило наблюдение за тем, чтобы люди, не связанные с медицинской профессией, не рассматривали и не обсуждали все, что касалось некоторых анатомических деталей, вслух или в печати. Почему-то решили, что этих условных «норок», которых на свете было во сто тысяч раз больше, чем настоящих, должна окружать глубочайшая тайна под защитой закона.

Итак, существовал маниакальный интерес к «норкам нараспашку». А также к некоему мягкому легкоплавкому металлу под названием «золото».

Этот маниакальный интерес к «норкам нараспашку» распространялся и на преувеличенный интерес к женским панталонам, особенно когда мы с Двейном Гувером и Килгором Траутом были мальчишками. Девочки изо всех сил старались прятать свои штанишки, а мальчишки изо всех сил старались подсмотреть.

Женские панталоны тогда выглядели так:



Кстати, первое, что выучил Двейн в школе, еще совсем маленьким, был стишок; его надо было орать, когда случайно, на переменке, во время игры у какой-нибудь девочки виднелись трусики. Этому стишку его научили другие мальчишки — вот он:

Англию, Францию видим в книжке,
А у девчонки видны штанишки!

Когда Килгору Трауту в 1979 году вручали Нобелевскую премию по медицине, он сказал в своей речи: «Говорят, что прогресса нет. Должен сознаться: тот факт, что сейчас на земле из всех животных остались только люди, кажется мне несколько сомнительной победой. Тот, кто знаком с моими старыми опубликованными работами, поймет, почему я был особенно опечален, когда погибла последняя норка.

Впрочем, когда я был мальчиком, нашу планету вместе с нами населяли еще два чудовища, и ныне я приветствую их гибель. Они стремились убить нас или, во всяком случае, превратить нашу жизнь в полную бессмыслицу.

И они почти что преуспели. Это были жестокие враги, не то что мои четвероногие друзья, маленькие норки. Думаете, львы? Тигры? О нет! Львы и тигры почти всегда дремали. А те чудовища — сейчас я их вам назову — никогда не дремали. Они гнездились в нашем мозгу. Это были неуемные страсти: жажда золота и — помилуй бог! — интерес к женским панталонам.

Спасибо, что эти страсти были так нелепы: именно эта их нелепость доказала нам, что людям можно внушить любую, самую бессмысленную идею и они будут со страстью следовать этой идее — любой идее.

Давайте же теперь строить бескорыстное справедливое общество, отдавая этому бескорыстному делу весь тот пыл, который мы так бессмысленно отдавали золоту и женским панталонам».

Он сделал паузу, а потом скорбным голосом продекламировал стишок, которому его научили в школе на Бермудских островах, когда он был маленьким. Теперь этот стишок особенно хватал за душу, потому что в нем упоминались две нации, а их уже давно, как таковых, не существовало.

— «Англию,— затянул Килгор Траут,— Францию видим...»

На самом деле к моменту встречи Двейна Гувера и Килгора Траута женские панталоны совершенно потеряли цену. Правда, золото все еще подымалось в цене.

На фотографии женских панталон и бумагу тратить не стоило, и даже многокрасочные фильмы с «норками нараспашку» никаких покупателей не находили.

Было время, когда самый популярный роман Траута «Чума на колесах» из-за иллюстраций стоил двенадцать долларов экземпляр. Теперь его продавали за доллар, и те, кто покупал, брали роман вовсе не из-за фотографий — они платили за текст.

В тексте этой книги описывалась жизнь на планете, под названием Линго-Три, где жители были похожи на американские автомобили. У них были колеса. У них был двигатель внутреннего сгорания. Они ели ископаемое топливо. Однако их не делали на заводах. Они размножались. Они клали яйца, из которых вылуплялись маленькие автомобильчики, и эти малыши росли в лужах машинного масла, выливавшегося из взрослых моторов.

На Линго-Три прилетели космонавты и узнали, что существа эти вымирают, потому что они изничтожили все ресурсы на своей планете, включая атмосферу.

Но космонавты не могли оказать никакой материальной помощи. Существа-автомобили надеялись призанять у них кислороду и надеялись, что посетители унесут хотя бы одно из их яиц к себе на другую планету, где из яйца вылупится автомобильчик, от которого пойдет новая автомобильная цивилизация. Но их самое мелкое яйцо весило сорок восемь фунтов, а космонавты были всего в дюйм высотой, и прилетели они на корабле объемом не больше земной коробки из-под ботинок. Прилетели они с планеты Зельтольдимар.

Представитель зельтольдимарцев, Каго, сказал, что единственное, что он может для них сделать,— это рассказать во всей вселенной, какие они, эти существа-автомобили, замечательные. Вот что он сказал всем этим ржавеющим реликтам, оставшимся без горючего: «Уйдя из жизни, вы не уйдете из памяти».

Иллюстрация к данному эпизоду романа изображала двух голых китаянок, по всей видимости близнецов, в довольно рискованной позе.

И вот Каго со своими храбрыми маленькими зельтольдимарцами — все они были однополые — облетел вселенную, поддерживая память об автосуществах. Наконец экипаж прибыл на планету Земля. Ничего не подозревая, Каго стал рассказывать землянам про автомобили. Каго не знал, что идеи могут изничтожать землян не хуже любой чумы или холеры. Иммунитета к безумным идеям у землян не было.

Вот как Траут объяснял, почему человеческие существа не в состоянии отвергнуть идею, даже если она скверная:

«На Земле идеи служили значками дружбы или вражды. Их содержание никакого значения не имело. Друзья соглашались с друзьями, чтобы выразить этим дружеские чувства. Враги возражали врагам, чтобы выразить враждебные чувства.

В течение сотен тысяч лет идеи никакого значения для самих землян не имели — все равно они ничего изменить не могли. Идеи могли быть просто нагрудными значками или вообще чем угодно.

У них даже была пословица насчет несуразности всех идей:

Если бы желание было бы конем,
Каждый голодранец ездил бы на нем.

А потом земляне изобрели орудия. Вдруг стало опасно соглашаться с друзьями: можно было себя погубить или даже хуже. Но соглашения продолжались и продолжались — и не ради здравого смысла, или порядочности, или самосохранения, а просто из дружеских чувств.

И земляне демонстрировали дружеские чувства, когда лучше им было бы подумать как следует. Даже когда стали строить компьютеры, чтобы те за них думали, земляне их строили не столько для знаний, сколько из дружеских чувств. Голодранцы-самоубийцы принялись скакать во весь опор».

Глава третья

Через столетие после прибытия маленького Каго на Землю, как писал Траут в своем романе, вся жизнь на этой когда-то мирной, влажной и плодородной сине-зеленой планете вымирала или уже вымерла. Везде лежали остовы тех огромных насекомых, которых люди создали и обожествили. Назывались они автомобили. Они уничтожили все.

Но маленький Каго умер сам задолго до гибели планеты. Он пытался выступить в одном из баров города Детройта с речью о вреде автомобилей. Но он был такой малюсенький, что никто его не замечал. И когда он на минуту лег передохнуть, пьяный рабочий с автозавода принял его за спичку. И он убил Каго, чиркнув им несколько раз о стойку бара.

До 1972 года Килгор Траут получил только одно-единственное письмо от читателя. Написал его чудак-миллионер, который специально поручил частному детективному агентству узнать, кто такой Траут и где его можно найти. Но Траут жил в такой неизвестности, что поиски обошлись в восемнадцать тысяч долларов.

Письмо попало к Трауту, в его полуподвал. Оно было написано от руки, и Траут решил, что написал его мальчуган лет четырнадцати. В письме говорилось, что «Чума на колесах» — самая гениальная книга на английском языке и что Траута надо избрать президентом Соединенных Штатов.

Траут прочел письмо вслух своему попугаю.

— Дела разворачиваются, Билл,— сказал он,— так я и знал... Ты только вникни!

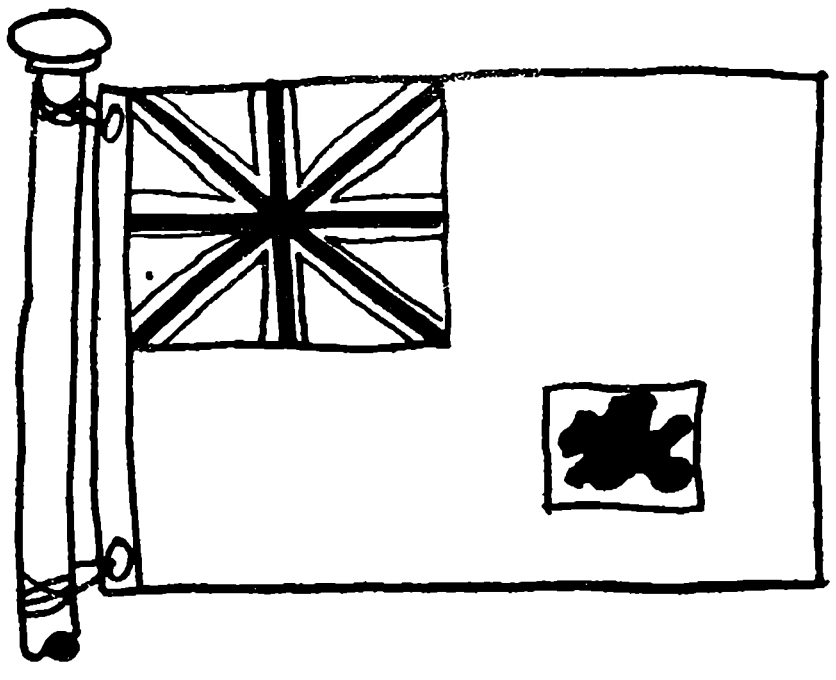
И он прочел попугаю письмо, по которому никак нельзя было догадаться, что написал его взрослый человек по имени Элиот Розуотер и что он сказочно богат.

Кстати, Килгору Трауту никогда не бывать президентом Соединенных Штатов, если только не появится еще одна поправка к конституции. Он родился не в Америке. Родился он на Бермудских островах. Его отец, Лео Траут, оставаясь американским гражданином, много лет служил в Британском королевском орнитологическом обществе хранителем единственного в мире гнездовья бермудских буревестников. Эти громадные зеленые морские птицы постепенно вымирали, и никакие меры тут помочь не могли.

В детстве Килгор Траут видел, как постепенно гибли эти птицы. Отец поручил ему печальную обязанность: измерять размах крыльев у мертвых птиц. Они были самыми крупными существами на планете, летавшими без каких-либо механизмов. У последней погибшей птицы был самый широкий размах крыльев — девятнадцать футов, три и три четверти дюйма.

После того как все буревестники перемерли, ученые открыли причину их гибели. Они погибли от грибка, поражавшего их глаза и мозг. Этот грибок в их гнездовья занесли люди в довольно безобидной форме микоза ног.

Вот как выглядел флаг страны, где родился Килгор Траут:



Словом, детство у Килгора Траута было невеселое, хотя жил он в солнечном краю, на свежем воздухе. Может быть, пессимизм, одолевший его позднее в жизни, расстроивший три его брака, после чего его единственный сын Лео четырнадцати лет сбежал из дому,— быть может, этот пессимизм и коренился в сладковато-горьком запахе тления от разлагавшихся птичьих тушек.

Письмо от читателя пришло слишком поздно. Ничего хорошего оно не обещало. Траут воспринял его как посягательство на свою личную жизнь. В письме Розуотера

таилось обещание прославить Килгора Траута. И вот что Килгор Траут сказал по этому поводу при единственном свидетеле — попугае Билле:

— Не суйтесь в мой персональный мешок, черт вас дери!

«Персональным мешком» назывался большой контейнер из пластика для свежеубитого американского солдата. Этот мешок был большим новшеством.

Не знаю, кто изобрел «персональный мешок». Зато знаю, кто изобрел Килгора Траута. Его изобрел я сам.

Я ему придумал кривые зубы. Я дал ему волосы, но сделал их седыми. И не разрешил ему причесываться и стричься у парикмахера. И заставил его отрастить длинные космы.

И ноги я ему сделал такие, какие Создатель дал моему отцу, когда отец стал очень-очень грустным старичком. Ноги у него были бледные и тонкие, как палки. Они были безволосые. Они были испещрены причудливым узором варикозных вен.

А через два месяца после первого и единственного читательского письма Траут, по моей придумке, нашел у себя в почтовом ящике приглашение — выступить на фестивале искусств в одном из штатов Среднего Запада Америки.

Письмо послал председатель фестиваля Фред Т. Бэрри. Написано оно было с глубоким уважением, даже с некоторым подобострастием. Бэрри умолял Килгора Траута быть одним из высокочтимых иногородних гостей на этом фестивале, который продлится всего пять дней. Фестиваль задуман в честь открытия Мемориального центра искусств имени Милдред Бэрри в Мидлэнд-Сити.

В письме не было сказано, что покойная Милдред Бэрри была родной матерью председателя фестиваля — самого богатого человека в Мидлэнд-Сити. Он и построил этот Мемориальный центр искусств — полый прозрачный шар на подпорах. Когда внутри включалось освещение, шар становился похож на полную луну, восходящую летним вечером.

Кстати, Фред Т. Бэрри был ровесником Килгора Траута. Они родились в один и тот же день. Но конечно, они совершенно не походили друг на друга. Фред Т. Бэрри даже не походил на белого человека, хотя и был по происхождению чистейшим англосаксом. Чем старше он становился, чем лучше ему жилось и чем больше у него выпадали волосы, тем разительнее он становился похож на восторженного старого китайца.

Он до того стал похож на китайца, что и одеваться начал по-китайски. Настоящие китайцы часто принимали его за настоящего китайца.

В письме Фред Т. Бэрри признавался, что произведений Килгора Траута никогда не читал, но с радостью прочитает их перед фестивалем.

«Вас горячо рекомендовал Элиот Розуотер,— говорилось в письме.— Он уверил меня, что Вы, безусловно, величайший из современных американских писателей. Высшей похвалы я не знаю».

К письму был пришпилен чек на тысячу долларов. Фред Т. Бэрри объяснил, что деньги посылает на путевые расходы и как гонорар.

Сумма была большая. Траут внезапно стал сказочно богат.

Вот как случилось, что Килгора Траута пригласили на фестиваль. Фред Т. Бэрри очень хотел, чтобы фестивальный зал Мидлэндского центра искусств украшала какая-нибудь сказочно дорогая картина. И хоть он сам был сказочно богат, все же купить такую картину ему было не по карману, и он стал искать, у кого бы на время призанять какой-нибудь шедевр.

Прежде всего он обратился к Элиоту Розуотеру, у которого была картина Эль Греко, стоившая три миллиона долларов с лишним. Розуотер сказал, что даст на фестиваль эту картину при одном условии: на праздник должен быть приглашен в качестве докладчика величайший писатель из всех пишущих на английском языке, а именно: Килгор Траут.

Траут посмеялся над лестным приглашением, но потом вдруг перепугался. Снова посторонний человек лез к нему в «мешок». Угрюмо косясь в сторону, он спросил у своего попугая:

— Откуда вдруг возник такой интерес к Килгору Трауту?

Он снова перечитал письмо.

— Да они не только хотят, чтобы приехал Килгор Траут,— сказал он попугаю,— они желают, чтобы он явился в смокинге, понимаешь, Билл?.. Нет, тут что-то не так...— Он пожал плечами.— А может быть, они потому и пригласили меня, что узнали про смокинг?

У Траута действительно был смокинг. Лежал он в чемодане, который Траут таскал за собой с места на место уже лет сорок. В чемодане хранились его детские игрушки, кости бермудского буревестника и много разных других курьезов, в том числе и смокинг, который Траут надевал когда-то на школьный бал, в 1924 году, перед окончанием

средней школы имени Томаса Джефферсона в Дейтоне, штат Огайо. Траут родился на Бермудских островах, учился там в начальной школе, но потом его родители переехали в Дейтон.

Его средняя школа носила имя крупного рабовладельца, который был также одним из самых выдающихся теоретиков в мире по вопросам прав человека на свободу.

Траут вытащил из чемодана смокинг и померил его. Смокинг был очень похож на тот, который как-то на старости лет надевал мой отец. Материя была покрыта зеленоватой патиной плесени. В некоторых местах плесень походила на тонкий кроличий пушок.

— Как вечерний костюм вполне годится,— сказал Траут.— Но скажи мне, Билл, что там, в Мидлэнд-Сити, носят в октябре, до вечера, пока еще солнце светит? — Траут подтянул штаны, так что стали видны его икры в причудливом сплетении вен. — Бермудские шорты с носками, что ли? А, Билл? Что ж, в конце концов я сам — с Бермудских островов.

Он потер смокинг влажной тряпкой, и плесень легко сошла.

— Неприятно мне, Билл,— сказал он про убитую им плесень.— Плесень тоже хочет жить, как и я. Она-то знает, Билл, чего ей хочется. А вот я ни черта теперь не знаю...

Тут он подумал: «А чего хочет сам Билл?» Угадать было легко.

— Билл,— сказал Траут,— я так тебя люблю, и я теперь стал такой важной шишкой, что сейчас же могу исполнить три твоих самых заветных желания.— И он открыл дверцу клетки, чего Биллу не удалось бы добиться и за тысячу лет.

Билл перелетел на подоконник. Он уперся плечиком в стекло. Между ним и вольной волей стояла только одна эта преграда — оконное стекло.

— Твое второе желание сейчас тоже исполнится,— сказал Траут и снова сделал то, чего Билл никак сделать бы не мог: он открыл окошко. Но попугай так испугался шума при открывании окна, что тут же влетел обратно в клетку.

Траут закрыл клетку и запер дверцу на задвижку.

— Умней тебя еще никто не придумал такого исполнения трех желаний, — сказал он попугаю.— Теперь ты знаешь точно, чего тебе желать в жизни: вылететь из своей клетки.

Траут понял, что единственное письмо от читателя как-то связано с приглашением, но никак не мог поверить, что Элиот Розуотер — взрослый человек. Почерк у Розуотера был совсем детский:

Ты должен стать президентом Соединенных Штатов!

— Билл,— задумчиво сказал Траут,— ведь это дело для меня обстряпал какой-то мальчишка. Наверно, его родители дружат с председателем фестиваля искусств, а в тех краях никто книжек не читает. И когда мальчик сказал им, что я хороший писатель, они все сразу поверили. Не поеду я, Билл,— добавил Траут, покачав головой.— Не хочу я вылетать из своей клетки. Слишком я умный. Да если бы мне и хотелось отсюда вылететь, я бы ни за что не поехал в Мидлэнд-Сити. Зачем нам становиться посмешищем — и мне, и моему единственному читателю.

Так он и решил. Но время от времени он перечитывал приглашение и запомнил его наизусть. А потом он внезапно понял, что в этой бумаге скрыт некий тайный смысл.

Выискал он этот смысл наверху бланка, где были изображены две маски, символизирующие комедию и трагедию. Одна маска была такой:

Другая такой:

— Видно, им там нужны одни счастливцы с улыбочкой,— сказал он своему попугаю.— А невезучим там не место.

И все же Траут не переставая думал о приглашении. Вдруг у него появилась идея, которая показалась ему очень заманчивой: а что, если им будет полезно посмотреть именно на такого неудачника?

И тут в нем вспыхнула огромная энергия.

— Билл, Билл, слушай, я вылетаю из клетки, но я сюда вернусь. Поеду туда, покажу им то, чего никогда ни на одном фестивале искусств никто не видел: представителя тысячи тысяч художников, которые всю свою жизнь посвятили поискам правды и красоты — и ни шиша не заработали!

Так в конце концов Траут принял приглашение. За два дня до начала фестиваля он поручил Билла своей квартирной хозяйке и на попутных машинах добрался до Нью-Йорка. Пятьсот долларов он приколол к подштанникам, остальные пятьсот положил в банк.

Отправился он в Нью-Йорк, так как надеялся найти там свои книжки в порнографических лавчонках. Дома у него ни одного экземпляра не было — он свои произведения презирал. Но теперь ему хотелось почитать кое-что вслух в Мидлэнд-Сити, чтобы люди поняли его трагедию, такую нелепую и смешную. И еще он собирался им рассказать, какой он для себя придумал памятник.

Вот как этот памятник выглядел:

Глава четвертая

А тем временем Двейн все больше терял рассудок. Однажды ночью он увидел одиннадцать лун над кровлей нового здания Центра искусств имени Милдред Бэрри. На следующее утро он увидел, как огромный селезень регулирует уличное движение на перекрестке Арсенал-авеню и Олд-Кантри-роуд. Он никому не рассказал, что он увидел. Он все держал в тайне.

А оттого, что он все скрывал, скверные вещества в его мозгу все накоплялись и набирали сил. Им уже было мало, что он видел и чувствовал что-то несуразное. Им хотелось, чтобы он и делал что-нибудь несуразное и еще при этом подымал шум.

Им надо было, чтобы Двейн Гувер гордился своей болезнью.

Потом люди говорили, что они не могут себе простить, как это они не замечали в поведении Двейна опасных симптомов, не обращали внимание на то, что он явно взывал к ним о помощи. После того как Двейн окончательно спятил, местная газета поместила глубокосочувственную статью о том, что все должны следить друг за другом — не проявляются ли опасные симптомы. Вот как называлась эта статейка:

ЗОВ НА ПОМОЩЬ

Но никаких особенных странностей до встречи с Килгором Траутом Двейн еще не проявлял. Вел он себя в Мидлэнд-Сити как было принято в его вполне консервативной среде, говорил то, что надо, и верил во все, что полагается. Самый близкий ему человек — его секретарша и любовница Франсина Пефко сказала, что за месяц до того, как он у них на глазах превратился в маньяка, он становился все веселее и веселее.

— Мне все время казалось,— говорила она репортеру, сидевшему у ее больничной кровати,— что он наконец перестал вспоминать о самоубийстве своей жены.

Франсина работала на главном предприятии Двейна — «Парк «понтиаков» у Одиннадцатого поворота». Парк был расположен у самого шоссе рядом с гостиницей «Отдых туриста».

Франсине показалось, что Двейн становился все веселее и веселее, потому что он вдруг стал напевать песенки, которые были популярны в дни его молодости, например: «Старый фонарщик», и «Типпи-типпи-тинн!», и «Голубая луна», и «Целуй меня!», и так далее. Раньше Двейн никогда не пел. А теперь стал громко распевать, сидя за своим столом, или демонстрируя на ходу новую марку покупателю, или же наблюдая, как механик обслуживает автомобиль. Однажды, входя в холл новой гостиницы «Отдых туриста», он громко запел, улыбаясь и приветствуя широкими жестами посетителей, словно его наняли петь для их удовольствия. Но никто не подумал, что это — признак помешательства, тем более что ему принадлежала часть гостиницы.

Черный шофер и белый официант обсуждали пение Двейна.

— Слышь, как заливается,— сказал шофер.

— Будь у меня столько добра, я бы тоже запел,— ответил официант.

Единственный человек, сказавший вслух, что Двейн сходит с ума, был разъездной агент Двейна в фирме «Понтиак», некто Гарри Лесабр. За целую неделю до того, как Двейн окончательно свихнулся, Гарри сказал Франсине Пефко:

— Что-то на Двейна нашло. Он был таким обаятельным. А теперь я и следа этого обаяния в нем не нахожу.

Гарри знал Двейна лучше, чем все остальные. Он поступил к нему двадцать лет назад, когда контора еще стояла на самой границе негритянского квартала. Негром назывался человек, у которого была черная кожа.

— Я его знаю, как солдат на войне знает своего боевого товарища,— говорил Гарри.— Мы с ним каждый день жизнью рисковали, когда контора находилась на Джефферсон-стрит. На нас совершали налеты не меньше четырнадцати раз в году. И я вам говорю: таким, как нынче, я Двейна никогда в жизни не видал.

Насчет налетов он сказал правду. Оттого Двейн и купил предприятие так дешево. Только у белых людей было достаточно денег на покупку новых автомобилей да еще у нескольких черных гангстеров, которые непременно хотели покупать «кадиллаки». Но белые люди уже стали бояться ходить в район Джефферсон-стрит.

Вот как Двейн Гувер раздобыл деньги на покупку конторы по продаже автомобилей. Он взял заем — ссуду в Национальном банке Мидлэнд-Сити. В обеспечение займа он отдал акции одного акционерного общества, которое тогда называлось «Ору-

жейная компания Мидлэнд-Сити». Позже эта же компания стала называться «Бэрритрон лимитед». А сначала, когда Двейн скупал акции во время Великой депрессии, это акционерное общество называлось «Американская компания Робо-Мажик».

Названия акционерного общества с годами менялись, потому что оно часто меняло свои функции. Но правление общества сохраняло свой старый девиз — в память прежних лет. А девиз звучал так:

ПРОЩАЙ, ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК!

Слушайте.

Гарри Лесабр сказал Франсине:

— Когда побываешь с человеком в бою, замечаешь в своем товарище самую что ни на есть чуточную перемену, а Двейн здорово изменился. Вы спросите Вернона Гарра.

Вернон Гарр был механик, белый,— единственный, кроме Гарри, из служащих Двейна, кто работал у него до переезда парка и конторы к автостраде. В это время у Вернона были свои неприятности: его жена, Мэри, заболела шизофренией, так что Вернону было не до того, изменился Двейн или нет. Жена Вернона вообразила, что ее муж пытается превратить ее мозг в плутоний.

Гарри Лесабр имел право разговаривать про бои. Он сам побывал в бою, на войне. Двейн в боях не бывал. Однако во время второй мировой войны он был вольнонаемным в военно-воздушных силах американской армии. Один раз ему даже велели написать лозунг на пятитонной бомбе, которую собирались сбросить на город Гамбург, в Германии. Вот что он написал:

— Гарри,— сказала Франсина,— у каждого бывают свои черные дни. А у Двейна, по сравнению с другими, их куда меньше. Так что если у него портится настроение, как сегодня, люди и удивляются и обижаются на него. И напрасно. Он такой же человек, как и мы все.

— Но почему же он придирается именно ко мне? — допытывался Гарри. И он был прав. В этот день Двейн выбрал именно его и, непонятно почему, непрестанно обижал его и оскорблял.

Конечно, потом Двейн нападал на всяких людей, а один раз пристал к троим совершенно чужим, приезжим из города Ири, штат Пенсильвания, а они даже никогда в Мидлэнд-Сити не бывали. Но теперь он выбрал Гарри своей единственной жертвой.

— Почему меня? — спрашивал Гарри.

Этот вопрос часто слышали в Мидлэнд-Сити. Люди задавали его, когда их грузили в карету «Скорой помощи» после всяких несчастных случаев, или когда их задерживали за хулиганство, или грабили, или били по морде и так далее. «Почему меня?» — спрашивали они.

— Должно быть, потому, что он видит в вас настоящего мужчину, настоящего друга и понимает, что вы стерпите его выходки, когда у него плохое настроение.

— А вам было бы приятно, если б он насмехался над вашим костюмом? — спросил Гарри. Вот, оказывается, чем Двейн обидел Гарри: насмехался над его костюмом.

— А я бы помнила, что во всем городе у него служить лучше всего,— сказала Франсина. И это была правда. Двейн платил своим служащим больше всех, они получали долю прибыли и еще премиальные в конце года, к рождеству. Он первый завел для своего персонала страховые полисы «Синий крест — Синий щит» — на случай заболевания. Он установил пенсионную шкалу — лучшую во всем городе, кроме об-ва «Бэрритрон». Двери его кабинета всегда были открыты для любого служащего, если у того были неприятности и надо было посоветоваться — все равно, касались ли эти неприятности служебных дел, продажи автомобилей или же нет.

Например, в тот день, когда он обидел Гарри своими насмешками над его одеждой, Двейн просидел часа два с Верноном Гарром, обсуждая, какие галлюцинации у жены Вернона.

— Ей мерещится то, чего нет,— сказал Вернон.

— Отдохнуть бы ей, Верн,— сказал Двейн.

— Может, и я схожу с ума,— сказал Вернон.— Приду домой и битых два часа разговариваю со своим псом, мать его...

— Двое нас таких,— сказал Двейн.

Вот какая сцена произошла между Гарри и Двейном, вот из-за чего Гарри так расстроился.

Гарри зашел в кабинет Двейна сразу после Вернона Гарра. Никаких неприятностей он не ожидал, ибо у него с Двейном никогда серьезных неприятностей не бывало.

— Ну, как мой старый боевой товарищ? — спросил Гарри.

— Ничего, все как полагается,— сказал Двейн.— А у вас ничего не случилось?

— Нет,— сказал Гарри.

— Жена Верна вообразила, что он превращает ее мозг в плутоний,— сказал Двейн.

— А что такое плутоний? — спросил Гарри. Так они поболтали, а потом Гарри решил выяснить для себя некоторые вопросы — просто ради хорошего разговора. Он сказал, что иногда грустит, оттого что у него нет детей.— Хотя отчасти я и рад,— сказал он,— ну зачем мне принимать участие в перенаселении земли?

На это Двейн ничего не ответил.

— Может, надо было нам хоть усыновить кого,— сказал Гарри,— да теперь уже поздно. Нам со старухой и так не скучно — упражняемся друг с дружкой будь здоров. Зачем нам ребенок?

Вот когда он упомянул об усыновлении, Двейн взбесился. Его самого усыновили: взяла его супружеская пара, переехавшая в Мидлэнд-Сити из Южной Виргинии, чтобы заработать побольше денег на заводе во время первой мировой войны. Родная мать Двейна была незамужней учительницей, она писала сентиментальные стишки и уверяла, что ведет род от Ричарда Львиное Сердце, который был королем. Родной отец Двейна был приезжий наборщик, соблазнивший его мать тем, что отпечатал ее стишки типографским способом. Он не тиснул их в газету и вообще никуда не отдал. Ей было достаточно того, что он их отпечатал в одном экземпляре.

Она была неполноценной детородной машиной и автоматически самоуничтожилась, рожая Двейна. Наборщик исчез. Он был самоисчезающей машиной.

Может быть, слово «усыновить» вызвало какую-то злополучную химическую реакцию в мозгу Двейна. Во всяком случае он совершенно неожиданно зарычал на Гарри:

— Слушайте, Гарри, взяли бы у Верна Гарра ветошь, облили бы «Суноко-Синью» и сожгли бы весь свой хреновый гардеробчик. А то мне мерещится, будто я сижу у «Бр. Ватсон».

«Бр. Ватсон» называлось похоронное бюро для белых людей среднего достатка. «Суноко-Синь» была марка бензина.

Сначала Гарри обалдел, потом ему стало обидно. Ни разу за все годы, что они работали вместе, Двейн ни словом не обмолвился о его одежде. По мнению Гарри, одевался он строго и аккуратно. Рубашки он носил белые. Галстуки — синие или черные. Костюмы — серые или темно-синие. Ботинки и носки — черные.

— Знаете что, Гарри,— сказал Двейн, и лицо у него стало зловредное.— Подходит «Гавайская неделя», и я не шучу: сожгите свои тряпки и купите себе все новое или же поступайте на службу к «Бр. Ватсон».

Гарри так и стоял, разинув рот,— а что ему еще было делать?

«Гавайская неделя», про которую упомянул Двейн Гувер, была рекламным предприятием: всю контору убирали и украшали так, чтобы помещение как можно больше походило на Гавайские острова. Люди, купившие новые или подержанные машины или заплатившие за ремонт свыше 500 долларов, тем самым получали право участвовать в лотерее. Трое таких счастливчиков выигрывали по бесплатной поездке на два лица: сначала — в Лас-Вегас и Сан-Франциско, потом — на Гавайские острова.

— Я уж не говорю, что ваша фамилия звучит как модель «бьюика», хотя продаете вы «понтиаки»,— продолжал Двейн. Он намекал на то, что один из заводов «Джекерал моторс», выпускавший «бьюики», какую-то модель своих машин назвал «Лё Сабр».— Тут вы не виноваты.— Двейн уже тихонько похлопывал ладонью по столу, и это было хуже, чем если бы он стучал по столу кулаком.— Но есть до черта всякого такого, что вы можете переменить, Гарри. У вас будет несколько свободных дней. Надеюсь увидеть вас совершенно другим после уик-энда, когда я вернусь на работу во вторник.

Уик-энд был на этот раз особенно длинным, потому что понедельник был национальным праздником, Днем ветеранов. Праздник проводили в честь лиц, которые когда-то, служа своей стране, носили военную форму.

— Когда мы только начали продавать «понтиаки», Гарри,— сказал Двейн,— эта машина была удобным видом транспорта для учительниц, бабушек, незамужних тету-

шек.— (Так оно и было.) — Но может быть, вы, Гарри, не заметили, что теперь «понтиак» стал блистательным спутником золотой молодежи, людей, которые любят в жизни приключения, азарт. А вы одеваетесь, как будто у нас похоронное бюро. Взгляните на себя в зеркало, Гарри, и спросите себя, кому придет в голову связать марку «понтиак» с такой фигурой?

Но Гарри был слишком потрясен, чтобы напомнить Двейну, что как бы он ни выглядел, его все равно считали лучшим агентом по продаже «понтиаков» не только в своем штате, но на всем Среднем Западе. А в районе Мидлэнд-Сити «понтиак» раскупался лучше других машин, хотя цена машины считалась не очень низкой. Цена на нее считалась средней.

Двейн Гувер объяснил Гарри Лесабру, что «Гавайский фестиваль» начнется сразу после длинного уик-энда и что для Гарри открывается радужная перспектива — растормозиться, развлечься, да и других людей подбодрить, поразвлечь.

— Гарри,— сказал Двейн,— у меня есть для вас новость: современная наука изобрела для нас целую гамму роскошных красок с изумительными, странными названиями. Красный! Зеленый! Розовый! Оранжевый! Чувствуете, Гарри? Больше мы не ограничены только черным, белым да серым. Чудесная новость, Гарри, верно? А судебная палата только что объявила, что улыбаться в часы работы вовсе не преступление, Гарри, да и наш губернатор лично мне обещал, что он никого не засадит в исправительную колонию для взрослых, в сектор сексуальных преступников, за какой-нибудь анекдотик.

Эта новость не причинила бы Гарри Лесабру особого ущерба, если бы он не был тайным травести. По выходным дням он любил наряжаться в женское платье, и к тому же самое пестрое. Гарри с женой опускали шторы, и Гарри превращался в райскую птицу.

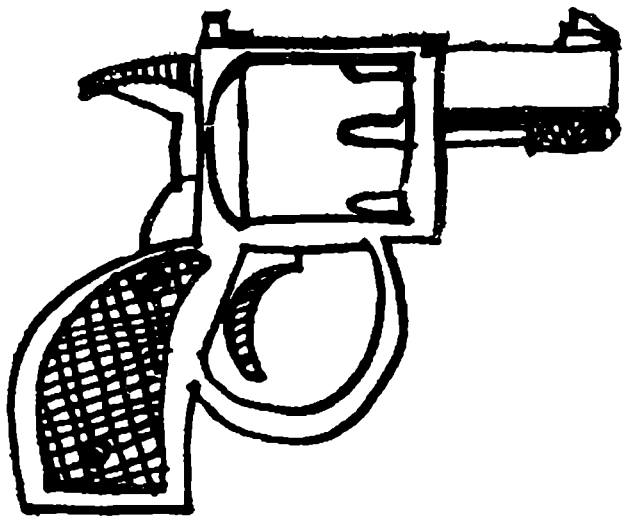
Этой тайны никто, кроме жены Гарри, не знал.

Но когда Двейн стал дразнить его тем, как он одевался на службе, да еще упомянул про сектор сексуальных преступников в исправительной колонии для взрослых в Шепердстауне, Гарри сразу заподозрил, что его тайна выплыла наружу. А тайна эта вовсе была не такой уж смешной и безобидной: Гарри мог быть арестован за свои развлечения по выходным дням. На него могли наложить штраф до трех тысяч долларов и посадить на строгий режим в секторе сексуальных преступников исправительной колонии для взрослых в Шепердстауне.

Из-за этого бедный Гарри провел в жутком настроении и День ветеранов, и всю неделю после него. Но Двейну было еще хуже.

Вот что случилось в последнюю ночь этого уик-энда с Двейном. Вредные вещества в его мозгу вытурили его из постели. Они заставили его одеться в такой спешке, словно случилось что-то, срочно требовавшее его вмешательства. Было это на рассвете. День ветеранов окончился в полночь, с последним ударом часов.

Скверные вещества в организме Двейна заставили его выхватить из-под подушки револьвер тридцать восьмого калибра и сунуть его себе в рот. Револьвером назывался инструмент, единственным назначением которого было делать дырки в человеческих существах. Вид у него был такой:



В той части планеты, где жил Двейн, любой человек, захотевший иметь такую штучку, мог купить ее в местной скобяной лавке. У всех полицейских были револьверы. И у всех преступников тоже. И у людей, живших рядом с ними.

Преступники направляли револьвер на человека и говорили: «Отдай мне все деньги». И те, как правило, отдавали. А полицейские направляли револьверы на преступников и говорили: «Стой!» — или что-нибудь еще, смотря по обстоятельствам, и преступники, как правило, подчинялись. А иногда не подчинялись. Иногда жена так злилась на мужа, что вдруг пробивала в нем дырку. А иногда муж так злился на жену, что пробивал дырку в ней. И так далее.

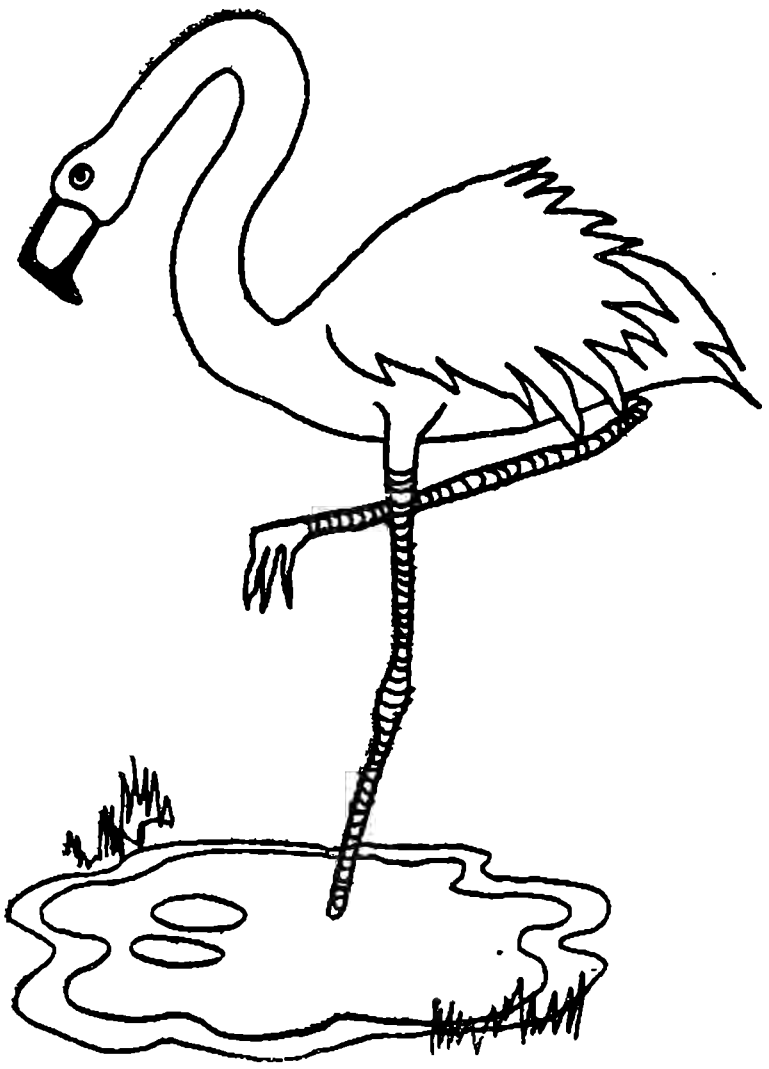
В ту же неделю, когда Двейн Гувер стал буйно помешанным, четырнадцатилетний мальчик из Мидлэнд-Сити прострелил дырки в своих родителях, потому что не хо-

тел показывать им плохие отметки, которые ему поставили в школе. Его адвокат собирался защищать его, доказывая, что мальчик заболел временным помешательством, а это означало, что в ту минуту, когда он стрелял, он был не способен отличить хорошее от дурного.

Иной раз люди пробивали дырки в каких-нибудь знаменитостях, чтобы и самим стать хоть немножко знаменитыми. А иногда люди садились в самолет, который отправлялся в определенный рейс, и грозились пробить дырки в первом и втором пилотах, если те откажутся направить самолет в совершенно другую сторону.

Двейн немножко подержал дуло револьвера во рту. Он ощутил вкус смазки. Револьвер был заряжен, курок взведен Аккуратные шгучки, содержащие уголь, селитру и серу, находились в нескольких дюймах от мозга Двейна. Ему достаточно было только нажать курок, и порох превратился бы в газ. А газ вытолкнул бы кусочек свинца и загнал его в мозг Двейна.

Но Двейн вдруг решил, что лучше разгромить одну из своих ванных комнат, выложенных плиткой. Он всадил куски свинца и в унитаз, и в умывальник, и в загородку вокруг ванны. На матовом стекле загородки был нанесен рисунок — птица фламинго. Вот какая она:



Двейн застрелил фламинго. Потом, вспоминая этого фламинго, он злобно ругался. Вот как он ругался: «У, дурацкая птица, мать ее...»

Выстрелов никто не слыхал. Все дома по соседству были отлично заизолированы, так, чтобы звуки туда не входили и оттуда не выходили. Например, звуку, который захотел бы выйти или войти в дом-мечту Двейна Гувера, надо было бы проникнуть через полтора дюйма пластика, потом через звукоизоляционный полистериновый барьер, через лист алюминия, трехдюймовый воздушный слой, пласт стекловаты в три дюйма толщиной, еще один лист алюминия, дюймовую доску из прессованных опилок, пропитанных смолой, дюйм деревянной обшивки, слой просмоленного картона и, наконец, пустотелую алюминиевую облицовку. Пустота внутри алюминиевой облицовки была заполнена изоляционным чудо-материалом, который употребляется для ракет, летящих на Луну.

Двейн включил все прожектора на своем участке и стал играть сам с собой в баскетбол на черной асфальтированной площадке перед гаражом на пять машин.

Пес Двейна, Спарки, спрятался в подвал, когда Двейн стал стрелять в своей ванной комнате. Но тут он вылез. Спарки смотрел, как Двейн играет в баскетбол.

— Одни мы с тобой, Спарки,— сказал Двейн. И еще всякое. Двейн на самом деле очень любил этого пса.

Никто не видел, как он играет в баскетбол. Он был закрыт от соседей деревьями, кустами и высокой загородкой из кедровых досок.

Он убрал мяч и сел в черный «плимут» модели «Фьюри», который он накануне взял на комиссию. «Плимут» делали на заводах Крайслера, а Двейн был представи-

телем компании «Дженерал моторс». Он решил дня два поездить на «плимуте», чтобы знать, что собой представляют его соперники.

Когда он выезжал по своей подъездной дороге, он решил, что надо как-то объяснить соседям, почему он ездит на машине «плимут», и он закричал из окна: «Надо же знать соперников». И нажал гудок.

Двейн промчался по Олд-Кантри-роуд и вылетел на автостраду, где кроме него не было ни души. Он с маху повернул на десятом повороте, врезался в штангу и завертелся на месте. Потом задним ходом выехал на Юнион-авеню, перескочил кювет и остановился на незастроенном участке. Участок принадлежал Двейну.

Никто ничего не слыхал: на этом участке никто не жил. Предполагалось, что примерно каждый час участок будет объезжать полисмен, но полисмен «кимарил» в проулке, за товарным складом «Вестерн электрик», милях в двух от участка Двейна. «Кимарить» на жаргоне полицейских значило спать на посту.

Двейн немножко побыл на незастроенном участке. Он включил радио. Все станции в Мидлэнд-Сити ночью спали, но Двейн нашел какую-то музыкальную передачу из Западной Виргинии. По радио ему предложили купить около десяти сортов цветущих кустарников и пять фруктовых деревьев за шесть долларов наложенным платежом.

— Неплохо, по-моему,— сказал Двейн. Он и вправду так считал. Все передачи, которые передавали и принимали в стране Двейна — даже телепатические,— так или иначе были связаны с куплей-продажей какой-нибудь чертовни. Для Двейна они были слаще колыбельной песни.

Глава пятая

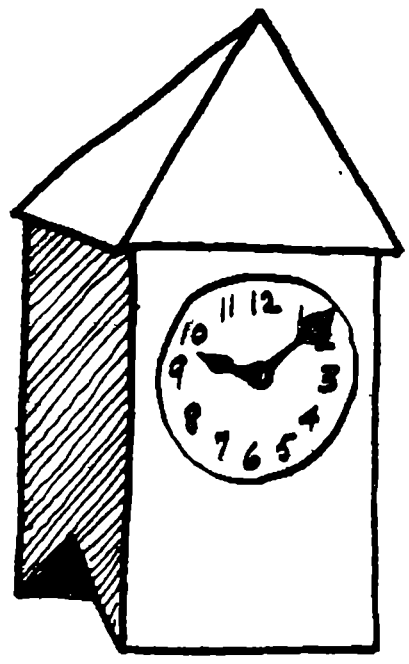
Пока Двейн Гувер слушал радио из Западной Виргинии, Килгор Траут пробовал выспаться в одном из кинотеатров Нью-Йорка. Это было гораздо дешевле, чем снимать номер в гостинице. Траут никогда в жизни этого не делал, но он знал, что по таким киношкам спят самые грязные старикашки Нью-Йорка. А ему хотелось прибыть в Мидлэнд-Сити самым грязным из всех стариков. Предполагалось, что он там примет участие в симпозиуме на тему: «Будущее американского романа в век Маклюэна». И он хотел выступить на этом симпозиуме так: «Не знаю, кто такой Маклюэн, но я знаю, что значит провести ночь в кинотеатре Нью-Йорка с другими грязными стариками. Может быть, поговорим об этом?»

И еще он хотел сказать: «А может ли этот Маклюэн, кто он там ни есть, объяснить связь между порнофотографией и книгоиздательским делом?»

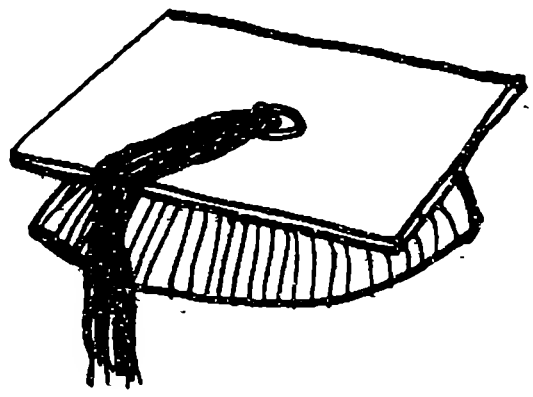
Днем Траут приехал из Когоуза. Он успел зайти в несколько порнографических книжных лавчонок и в магазин белья. Он купил две свои книжки: «Чуму на колесах» и «Теперь все можно рассказать», потом журнал со своим рассказом и рубашку под смокинг. Журнал назывался «Черные подвязки». На вечерней рубашке вся грудь была в рюшах. По совету продавца Траут вместе с рубашкой купил еще пакет с набором туалетных принадлежностей. В наборе был пояс, бутоньерка и галстук бабочкой. Все это было апельсинового цвета.

Это добро Траут держал на коленях вместе с шуршащим бумажным мешком, в котором был его смокинг, шесть пар новых шортов, шесть пар новых носков, бритва и новая зубная щетка. У Траута много лет зубной щетки вообще не было.

Широковещательная реклама на обложках романов Траута обещала, что будет много «норок нараспашку». Картинка на обложке романа «Теперь все можно рассказать» (кстати, именно этот роман превратил Двейна Гувера в кровожадного маньяка) изображала университетского профессора, которого раздевала компания голеньких студенток. В окно женского студенческого общежития виднелась башня городской библиотеки. За окном стоял день, и на башне виднелись часы. Вид у них был такой:



На профессоре уже ничего не оставалось, кроме полосатых кальсон, носков, подвязок и конфедератки — это была такая шапка, и выглядела она так:



Ни одного слова насчет профессора, или студенток, или университета в книжке Траута не было. Эта книга была написана в виде письма от Создателя вселенной единственному обитателю этой вселенной, обладавшему свободой воли.

Что же касается рассказа в журнале «Черные подвязки», то Траут понятия не имел, что рассказ был опубликован. А рассказ был напечатан давным-давно — в апрельском номере 1962 года. Траут нашел журнал случайно перед входом в лавочку в корзине со всякой другой пошлятиной. Все это были панталонные журнальчики.

Когда Траут купил журнал, кассир решил, что он не то пьяный, не то слабоумный. Чего там он увидит, кроме дамочек в трусиках, подумал кассир; разве можно их сравнить с теми картинками, которые продавались в глубине лавки?

— Надеюсь, получите удовольствие,— сказал кассир Трауту. Этим он хотел сказать, что Траут там найдет картинки, под которые можно будет самоублажаться, так как все эти журналы издавались именно с такой целью.

— Это для фестиваля искусств,— сказал Траут.

Что же касается самого рассказа, то он назывался «Плясун-дуралей», и, как во многих произведениях Траута, в нем говорилось о трагической невозможности наладить общение между разными существами.

Вот сюжет рассказа. Существо по имени Зог прибыло на летающем блюдце на нашу Землю, чтобы объяснить, как предотвращать войны и лечить рак. Принес он эту информацию с планеты Марго, где язык обитателей состоял из пуканья и отбивания чечетки.

Зог приземлился ночью в штате Коннектикут. И только он вышел на землю, как увидал горящий дом. Он ворвался в дом, попукивая и отбивая чечетку, то есть предупреждая жильцов на своем языке о страшной опасности, грозившей им всем. И хозяин дома клюшкой от гольфа вышиб Зогу мозги.

В кинотеатре, где сидел Траут, держа свой пакет на коленях, показывали только скабрезные фильмы. Музыка тихо баюкала зрителей. На серебряном экране молодой человек и молодая женщина безмятежно почмокивали друг дружку в разные места.

И Траут, сидя там, сочинил новый роман. Героем романа был земной астронавт, прилетевший на планету, где вся животная и растительная жизнь была убита от загрязнения атмосферы и остались только гуманоиды — человекообразные. Гуманоиды питались продуктами, добываемыми из нефти и каменного угля.

В честь астронавта — звали его Дон — жители планеты задали пир. Еда была ужасающая. Разговор шел главным образом о цензуре. Города задыхались от кинотеатров, где показывали исключительно непотребные фильмы. Гуманоидам хотелось бы прикрыть все эти кинотеатры, но так, чтобы не нарушать свободы слова.

Они спросили Дона, представляют ли порнофильмы такую же опасность на земле, и Дон сказал: «Конечно». Они поинтересовались, действительно ли на земле показывают очень похабные фильмы. Дон сказал:

— Хуже не придумаешь.

Это прозвучало как вызов. Гуманоиды были уверены, что их порнофильмы переплюнут любой земной фильм. И тут все расселись по пневмокебам и поплыли в порнокино на окраине.

Был перерыв, и Дон успел поразмышлять — что же можно придумать гаже, чем те фильмы, которые он видел на Земле? И он даже почувствовал некое возбуждение еще до того, как начался фильм. Женщины из публики тоже были распалены и взволнованы.

Наконец свет погас, и занавес раздвинулся. Сначала на экране ничего не было. Слышалось только чавканье и стоны через динамики. Потом появилось изображение. Это были первоклассные кадры — гуманоид мужеского пола, евший нечто вроде груши. Камера переходила с его губ и языка на зубы, блестевшие от слюны. Ел он эту

грушу не торопясь. Когда последний кусок исчез в его слюнявой пасти, камера крупным планом остановилась на его кадыке. Его кадык непристойно прыгал. Он удовлетворенно рыгнул, и на экране показалась надпись на языке этой планеты:

КОНЕЦ.

Все это, конечно, было липой. Никаких груш на планете не было. И фильм про грушу был просто короткометражкой, чтобы публика успела поудобнее усесться.

Потом начался самый фильм. В нем участвовали мужская и женская особь, двое их детей, их собака и их кот. Они непрерывно ели — целых полтора часа: суп, мясо, бисквиты, масло, зелень, овощи, картофельное пюре с соусом, фрукты, конфеты, пирожные. Камера все время была примерно в футе расстояния от их сальных губ и прыгающих кадыков. А потом отец поднял на стол и собаку и кота, чтобы они тоже могли принять участие в этой оргии.

Через некоторое время актеры наелись досыта. Они так обожрались, что глаза у них полезли на лоб. Они еле двигались. Они сказали, что теперь они, наверно, с неделю ничего не смогут проглотить. Они медленно убирали со стола. Переваливаясь, они прошли на кухню и там выкинули фунтов тридцать недоеденной пищи в мусорный ящик.

Публика сходила с ума.

Когда Дон с приятелями вышли из кино, к ним стали приставать гуманоидные проститутки и предлагать им и апельсины, и яйца, и молоко, и масло, и орехи. Разумеется, никаких таких вкусностей у проституток и в помине не было.

Гуманоиды предупредили Дона, что если он пойдет к одной из них, она приготовит ему ужин из нефти и каменного угля и сдерет чудовищную плату.

И пока он будет есть, она ему будет нашептывать всякие сальности — про то, какая это сочная и свежая еда, хотя вся еда была липовая.

Глава шестая

Двейн Гувер посидел часок в машине на своем незастроенном участке, слушая радио из Западной Виргинии. Ему сообщили, как можно застраховать свое здоровье, откладывая несколько пенсов в день. Ему сообщили, как лучше пользоваться машиной. Ему сообщили, как бороться с запорами. Ему предложили Библию, в которой слова, доподлинно сказанные Создателем или Христом, выделены красным шрифтом. Ему предложили купить комнатное растение, которое будет привлекать и пожирать всех болезнетворных микробов в его доме.

И все это откладывалось в памяти Двейна на случай, если что-нибудь ему понадобится. У него в голове много чего накопилось.

Пока Двейн сидел в одиночестве, старейшая жительница Мидлэнд-Сити умирала в городской больнице, в конце бульвара Фэйрчайлд, примерно в девяти милях от Двейна. Звали ее Мэри Янг. Ей было сто восемь лет. Она была черная. Родители Мэри Янг были черными рабами в штате Кентукки.

Между Двейном Гувером и Мэри Янг существовала еле заметная связь. Когда Двейн был маленьким, Мэри несколько месяцев стирала белье в его семье. Она рассказывала ему всякие истории из Библии и всякие истории про рабов. И она ему рассказала про публичную казнь одного белого: его повесили в Цинциннати у Мэри на глазах, когда она была совсем девчонкой.

Черный врач в городской больнице наблюдал, как Мэри умирает от воспаления легких.

Врач ее не знал. Он всего неделю как появился в Мидлэнд-Сити. Он даже не был американцем, хотя и окончил Гарвардский университет. Он был из племени индаро. Он был родом из Нигерии. Звали его Сиприан Уквенде. Он не чувствовал никакой родственной связи с Мэри или с другими черными американцами. Он чувствовал свое родство только с племенем индаро.

Умирая, Мэри была так же одинока на всей нашей планете, как и Двейн Гувер, как и Килгор Траут. Потомства она не завела. Ни друзей, ни родных при ее смерти не было. Потому свои последние слова на земле она сказала Сиприану Уквенде. У нее не оставалось сил привести в движение голосовые связки. Она могла только беззвучно шевелить губами.

И вот что она сказала в свой смертный час: «Ох, ох-ох...»

Как и все земляне перед смертью, Мэри Янг разослала смутные напоминания о себе всем, кто ее знал. Она выпустила маленькое облачко телепатических мотыльков, и один из них коснулся щеки Двейна Гувера, в девяти милях от нее.

Двейн услыхал усталый голос где-то сзади, хотя там никого и не было. Голос сказал Двейну: «Ох, ох-ох...»

Скверные вещества в мозгу Двейна заставили его завести машину. Он выехал с незастроенного участка и медленно поехал по Юнион-авеню, параллельно автостраде.

Он проехал мимо своего главного предприятия, «Парка «понтиаков» у Одиннадцатого поворота», и повернул к гостинице «Отдых туриста». Двейну Гуверу принадлежала третья часть гостиницы — его совладельцами были ведущий одонтолог Мидлэнд-Сити доктор Альфред Маритимо и Билл Миллер, занимавший множество постов и между прочим пост председателя комиссии при исправительной колонии для взрослых в Шепердстауне, которая выпускала арестантов на поруки.

Двейн поднялся по черной лестнице гостиницы на крышу, никого не встретив по дороге. Светила полная луна. Новое здание Мидлэндского центра искусств имени Милдред Бэрри — прозрачный полый шар на подпорах — было освещено изнутри и походило на полную луну.

Двейн посмотрел вниз, на спящий город. Тут он родился. Первые три года жизни он провел в сиротском приюте в двух милях от того места, где он сейчас стоял. Там его усыновили, там он потом учился.

Двейну принадлежали не только парк «понтиаков» и треть гостиницы, но и три закусочных, пять автоматических моек для машин, и еще он был совладельцем летнего кинотеатра на Сахарной речке, радиостанции ВМСУ, поля для игры в гольф «Три дальних клена», а также имел тысячу семьсот акций акционерной компании «Бэрритрон» — местной фирмы электронного оборудования. Ему принадлежали десятки незастроенных участков. Он был одним из директоров Мидлэндского отделения Национального банка.

Но сейчас Мидлэнд-Сити показался Двейну незнакомым и жутким. «Где это я?» — сказал Двейн.

Он даже забыл, например, что его жена Селия покончила с собой, наглотавшись «Драно» — смеси соды и алюминиевого порошка, предназначенной для прочистки канализации. Селия забурлила внутри, как небольшой вулкан, так как она была набита теми же веществами, которые обычно засоряли канализацию.

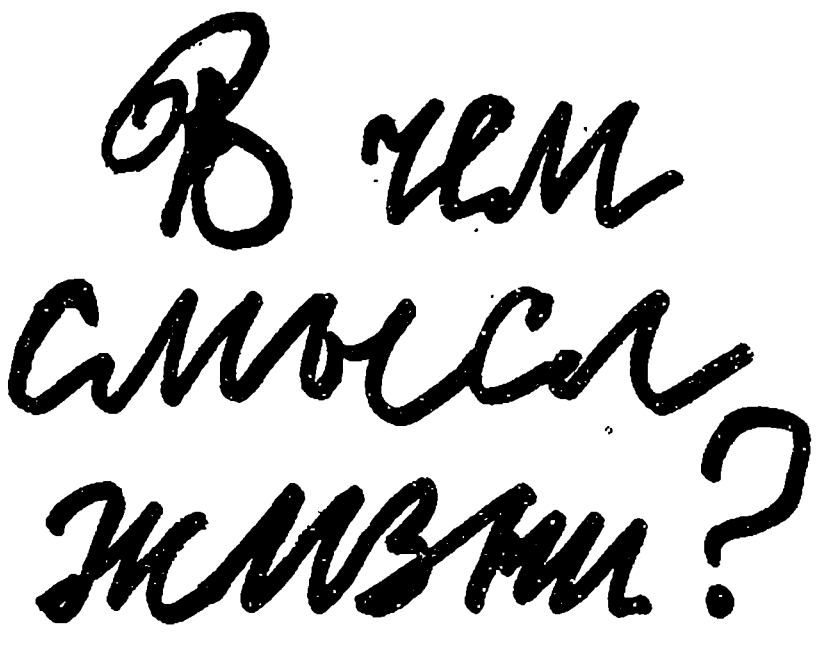
Двейн даже забыл, что его единственный ребенок, его сын, вырос и стал известным гомосексуалистом. Звали его Джордж, но все называли его Кролик. Он играл на рояле в новом коктейль-баре в гостинице «Отдых туриста».

«Где это я?» — сказал Двейн.

Глава седьмая

Килгор Траут зашел облегчиться в мужскую уборную в нью-йоркском кино. Около вертушки с полотенцем висела реклама. Рекламировалось заведение для массажа под названием «Гарем султана». Такие массажные заведения были интересным новшеством в Нью-Йорке. Мужчины ходили туда, чтобы фотографировать голых женщин, давать себя массировать и вообще развлекаться по-всякому.

— Ничего себе, веселая житуха,— сказал Килгор Траут. А на кафеле, около полотенца, карандашом было написано:



Траут обшарил карманы, ища карандаш или перо. Он мог ответить на этот воп-

рос. Но писать ему было нечем, не нашлось даже обгорелой спички. Пришлось ему оставить вопрос без ответа. Но вот что он написал бы, если б было чем писать:

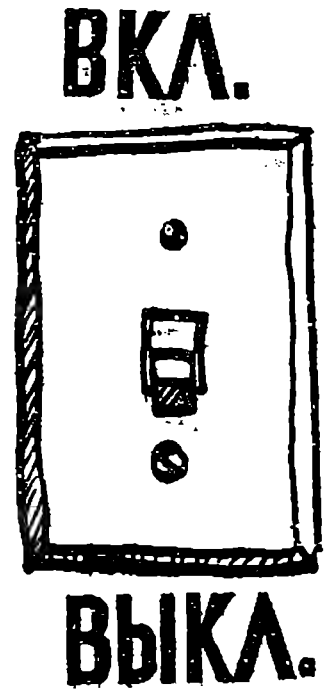
«Быть глазами, ушами и совестью Создателя вселенной, дурак ты этакий!»

Возвращаясь на свое место в кинозале, Траут стал играть — воображать себя глазами, ушами и совестью Создателя вселенной. Он начал посылать телепатические доклады Создателю вселенной — кто бы Он ни был. Он доложил Ему, что уборная при кинотеатре чиста, как стеклышко. «А ковер у меня под ногами мягкий, новый. Наверно, из какой-то чудо-ткани. Он синий. Вам понятно, что такое синий?» И так далее.

Когда Траут вошел в кинозал, там уже зажгли свет. Публики не было, остался только администратор, он же уборщик, он же билетер и вышибала. Администратор выметал сор из проходов между стульями. Это был немолодой белый человек.

— Кончилось развлечение, дедушка,— сказал он Трауту.— Пора по домам.

Траут не возражал. Но и сразу не ушел. Он стал рассматривать покрытый зеленой эмалевой краской стальной ящик на задней стенке кинозала. В этом ящике содержался проектор, звуковая аппаратура и пленка. От ящика шел провод к штепселю на стене. В передней стенке ящика была дырка. Из этой дырки и выходил фильм. Сбоку ящика был обыкновенный выключатель. Вид у него был такой:



Трауту стало интересно: ведь достаточно было включить ток — и на экране снова начнутся всякие скабрезности.

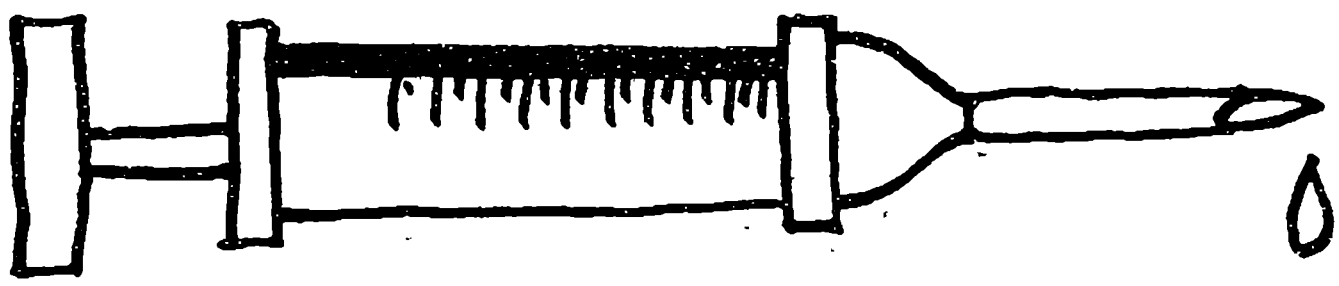
— Спокойной ночи, дедушка! — сказал администратор многозначительно. Траут неохотно отошел от аппарата. И вот что он сказал швейцару:

— Сколько она приносит пользы, эта машинка, и как ею легко управлять!

Уходя из кино, Траут послал телепатическое сообщение Создателю вселенной — сейчас он служил ему глазами, ушами и совестью: «Направляюсь на Сорок вторую улицу. Что Вам известно о Сорок второй улице?»

Глава восьмая

Траут вышел на тротуар Сорок второй улицы. Место было опасное. Да и весь город был опасным — из-за всяких химикалий и неравномерного распределения богатств и так далее. Многие люди походили на Двейна: они создавали в своем теле всякие вещества, вредные для их мозгов. Но в этом городе были тысячи тысяч людей, которые покупали всякие химические гадости и глотали их, нюхали или впрыскивали себе в вены при помощи вот таких штуковин:



Люди шли на такой страшный риск, вводя всякие химикалии в свое тело, потому что им хотелось улучшить свою жизнь. Жили они в безобразных условиях, и от этого им приходилось делать всякие безобразия. Ни шиша у них не было, так что улучшить окружающие условия они никак не могли. Вот они и шли на что угодно, стараясь как-то украсить хотя бы свою внутреннюю жизнь.

Результаты были катастрофические: самоубийства, грабежи, разбой, безумие и так далее. Но на рынок выбрасывались все новые и новые химикалии. В двадцати шагах от того места, где проходил Траут, на пороге порнографической лавчонки лежал без сознания четырнадцатилетний белый мальчик. Он проглотил полпинты нового растворителя для краски, поступившего в продажу только накануне. Кроме того, он проглотил две пилюли, предназначенные для предотвращения выкидышей у рогатого скота от заразной болезни, так называемой «болезни Банга».

Траут просто окаменел, выйдя на Сорок вторую улицу. Я придумал ему нестоящую жизнь, но вместе с тем я дал ему железную волю к жизни. На планете Земля это было обычное сочетание.

Администратор кинотеатра вышел за ним и запер двери.

Две молодые черные проститутки вдруг появились ниоткуда. Они спросили администратора и Траута, не желают ли они поразвлечься. Были они веселые, бесстрашные, потому что только полчаса назад съели целый тюбик норвежской мази от геморроя. У тех, кто изготовлял это лекарство, и в мыслях не было, что его можно есть. Оно было предназначено для смазывания геморроидальных шишек.

Девочки были из деревни. Они родились на юге этой страны, где их предками пользовались как сельскохозяйственными машинами. Но теперь белые фермеры больше не употребляли сельскохозяйственного инвентаря, сделанного из плоти и крови, потому что машины из металла были и надежнее, и дешевле, и довольствовались еще более простым жильем.

Поэтому черным машинам пришлось сматываться оттуда или умирать с голоду. Они прибывали в города, потому что на юге повсюду — на заборах, на деревьях — были развешены вот такие объявления:

Килгор Траут как-то написал рассказ под названием: «Вход воспрещается». Действие происходило на Гавайских островах — тех самых, куда должны были отправиться счастливцы из Мидлэнд-Сити, выигравшие в лотерее Двейна Гувера. Вся земля на этих островах принадлежала только сорока человекам, и в своем рассказе Траут заставил всех владельцев полностью утвердиться в своих правах. И они всюду поразвесили объявления: «Вход воспрещается».

Это создало ужасающие затруднения для миллионов других людей — жителей островов. Закон земного притяжения требовал, чтобы они хоть где-нибудь касались поверхности земли. Надо было либо стоять на земле, либо войти в воду и прыгать около берега. Но тут федеральное правительство выступило с экстренной программой помощи. Оно выдало всем безземельным мужчинам, женщинам и детям огромные воздушные шары, наполненные гелием.

С каждого шара свисали стропы. При помощи этих шаров жители Гавайских островов могли по-прежнему жить у себя, не тычась ногами в чужие участки земли.

Проститутки работали на сутенера. Он был ослепительно красив и жесток. Для них он был богом. Он отнял у них свободную волю, что было в порядке вещей. Никакой воли им и не было нужно. Казалось, они предали себя на волю божью и теперь могли жить доверчиво и бескорыстно. Разница была только в том, что предали они себя на волю сутенера.

Их детство кончилось. Теперь они медленно умирали. С их точки зрения, вся планета Земля была населена одними пустобрехами.

Когда Килгор Траут и администратор — два пустобреха — вышли из кино и сказали, что им неохота развлекаться, как развлекаются другие пустобрехи, обе умирающие девчонки побежали, топая по планете, то касаясь ее ногами, то отрываясь от нее. Они исчезли за углом. Траут — глаза и уши Создателя — громко чихнул.

— Будьте здоровы! — сказал администратор Это было совершенно машинальным откликом многих американцев на чиханье другого человека.

— Спасибо! — сказал Траут Так между ними возникла мимолетная дружба.

Траут сказал, что надеется добраться до недорогой гостиницы. Администратор сказал, что надеется добраться до станции метро на Таймс-сквере. Они пошли рядом, звук их шагов, отдаваясь от высоких строений, подбодрял и успокаивал их.

Администратор рассказал Трауту, чем для него была эта планета. Для него, как он сказал, она была местом, где он жил с женой и двумя детьми. Они не знали, что он заправляет кинотеатром, где показывают порнофильмы. Они думали, что он работает консультантом по инженерной части и потому так поздно возвращается домой. Он сказал, что на нашей планете специалистам его возраста места нет, хотя когда-то они были для всех кумирами.

— Тяжелые времена,— сказал Траут.

Администратор сказал, что он принимал участие в разработке того изоляционного чудо-материала, который применяют в ракетах, летящих на Луну. Кстати, это был тот же материал, который создавал чудо-изоляцию в доме-мечте Двейна Гувера в Мидлэнд-Сити.

Администратор напомнил Трауту слова, которые сказал первый человек, ступивший на Луну: «Маленький шаг для человека — и гигантский прыжок для всего человечества».

— Золотые слова,— сказал Траут. Он взглянул через плечо и заметил, что их преследует белый «олдсмобил» модель «Торнадо» с черной виниловой крышей. Эта машина с двойной передачей, с мотором в четыреста лошадиных сил теперь ковыляла со скоростью трех миль в час, прижимаясь к обочине в десяти футах от них.

Вот и все, что помнил Траут: «олдсмобил» сзади них.

Очнулся он, уже стоя на карачках, под мостом Куинсборо на Пятьдесят девятой улице, около спортивной площадки, неподалеку от Ист-ривер. Брюки и кальсоны у него были спущены. Деньги исчезли. Его пакеты были разорваны и расшвыряны вокруг — смокинг, новая рубашка, книги. Из уха сочилась кровь.

Полиция схватила его, когда он подтягивал штаны. Полисмен ослепил его фонарем — он стоял, прислонившись к доскам загородки, и беспомощно возился с ремнем и пуговицами. Полицейские решили, что поймали его на месте преступления, что они застали его в ту минуту, как он нарушал общественный порядок.

Кое-какие деньжата у него еще остались: в кармашке для часов сохранилось десять долларов.

В больнице определили, что серьезных повреждений Траут не получил. Его отвели в полицейский участок и там подробно допросили. Он только и мог сказать, что его похитило воплощение зла в белом «олдсмобиле». Полиция допытывалась: сколько человек было в машине, их пол, их возраст, цвет кожи, как они разговаривали.

— Насколько я себе представляю, это вообще могли быть и не жители Земли,— сказал Траут.— Насколько я себе представляю, в машине могли находиться разумные газообразные существа с планеты Плутон.

Траут сказал эту фразу в полнейшей невинности, но оказалось, что его слова стали первым микробом, отравившим сознание множества людей. Вот как распространилась эта эпидемия: репортер написал статейку для «Нью-Йорк пост» и процитировал слова Траута.

Статейка появилась под заголовком:

БАНДА «ПЛУТОН»
ПОХИЩАЕТ ДВОИХ

Имя Траута было переврано — его назвали Килмер Троттер, адрес неизвестен, возраст его был указан: восемьдесят два года.

Другие газеты перепечатали статейку, кое-что подправив и дописав. Они все приняли всерьез шутку насчет плутонцев и писали со знанием дела про банду «Плутон». Репортеры требовали от полиции новых сведений о банде «Плутон». Полиция пыталась собирать сведения о банде «Плутон».

Таким образом, жители Нью-Йорка, обуреваемые обычно тысячей безымянных страхов, теперь легко поддались внушению — бояться чего-то определенного, а именно: банды «Плутон». Они накупили новых замков для дверей и новых решеток для окон, чтобы не залезла банда «Плутон». Они перестали ходить по вечерам в театры из страха перед бандой «Плутон».

Иностранные газеты распространяли страшные слухи, писали специальные статьи, внушая людям, желающим посетить Нью-Йорк, что им надо ходить только по определенным улицам Манхэттена и, может быть, тогда им удастся не попасть в лапы к банде «Плутон».

В одном из многочисленных нью-йоркских гетто, населенных темнокожими людьми, компания молодых пуэрториканцев собралась в подвале нежилого дома. Это были совсем мальчишки, но их было много — живых и энергичных. Им хотелось внушать людям страх, чтобы этим защищать и себя, и своих родных, и своих друзей, потому что полиция их никак не защищала. И еще они хотели выгнать торговцев наркотиками из своего района, хотели о них писать в газетах — им это было очень важно: тем самым они могли привлечь внимание правительства и заставить правительственные организации навести чистоту, убрать мусор и так далее.

Один из мальчиков, Хосе Мендоса, был неплохим художником. Он и нарисовал эмблему на куртках для всех участников новой банды. Эмблема была такая:

Глава девятая

Пока Килгор Траут совершенно непреднамеренно отравлял мозги всех нью-йоркцев, Двейн Гувер, свихнувшийся владелец агентства по продаже автомобилей «понтиак», спускался с крыши гостиницы «Отдых туриста» на Среднем Западе.

Двейн вошел в устланный коврами холл гостиницы незадолго до восхода солнца — он хотел взять для себя номер. Несмотря на такой неподходящий час, впереди него уже ждал очереди другой человек, к тому же чернокожий. Это был Сиприан Уквенде, индаро, врач из Нигерии, который решил остановиться в гостинице до приискания подходящей квартиры.

Двейн скромно ждал своей очереди. Он забыл, что гостиница отчасти принадлежит ему. А к тому, что вместе с ним в гостинице живут темнокожие, он относился вполне философически. Он даже подумал с некоторой приятной горечью: «Времена меняются. Да, времена меняются».

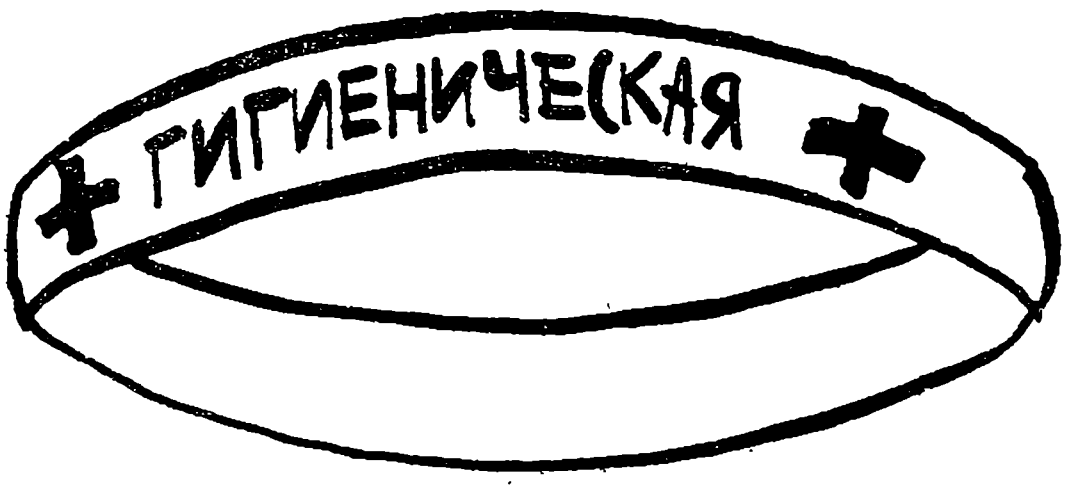
Этой ночью дежурил новый администратор. Он не знал Двейна. Он заставил Двейна заполнить подробную анкету. Двейн, со своей стороны, извинился, что не помнит номера своей машины. Он чувствовал себя виноватым, хотя знал, что ничего такого не сделал, за что мог бы себя винить.

И он обрадовался, когда клерк выдал ему ключ. Значит, он прошел испытание. И он влюбился в свой номер. Комната была такая новая, такая прохладная и чистая. Она была такая безличная. Она была родной сестрой тысячи тысяч номеров во всех гостиницах мира.

Может быть, Двейн Гувер и не знал, зачем он живет или что ему дальше делать со своей жизнью. Но одно он уже сделал правильно. Он поместил сам себя в безукоризненно удобный контейнер для человеческой особи.

Контейнер ждал любого жильца. Он дожидался и Двейна.

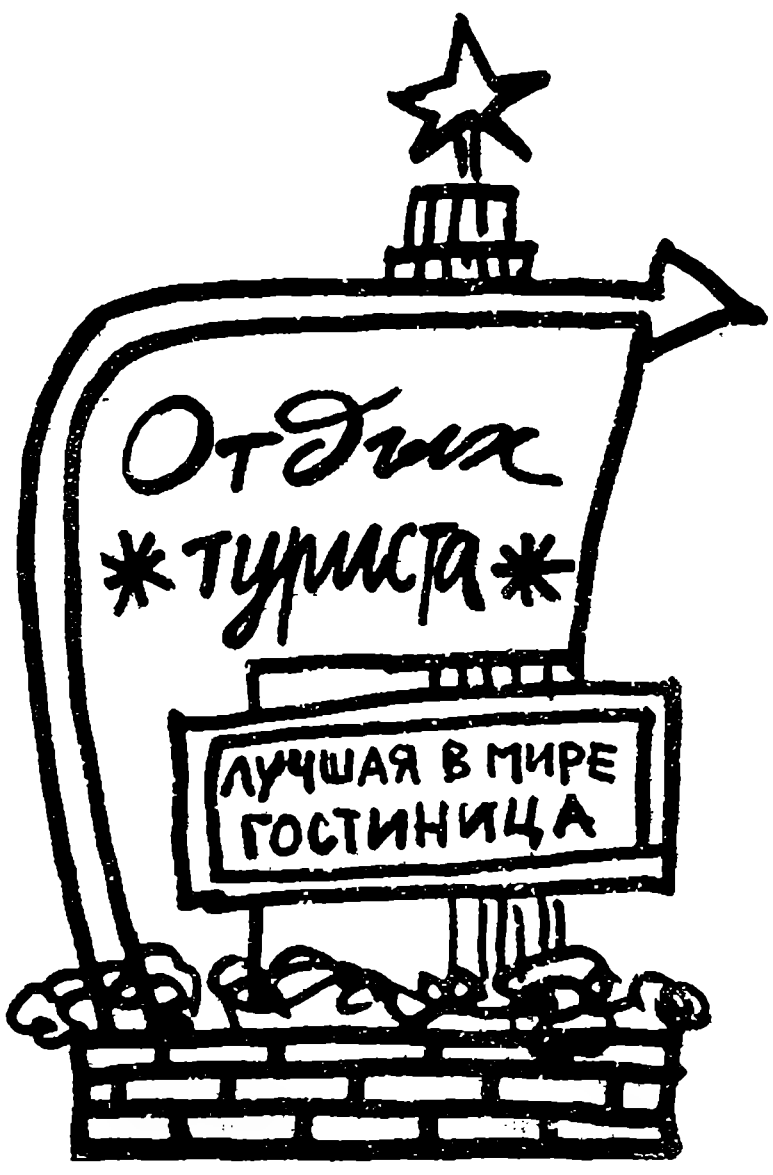
На унитазе красовалась вот такая бумажная полоса — ее надо было снять перед тем, как воспользоваться унитазом:



Эта бумажная полоса гарантировала Двейну безопасность — ему нечего было бояться, что крохотные микробы, похожие на пробочники, заползут в него через анальное отверстие и перегрызут всю нервную проводку. Хорошо, что хотя бы об этом Двейну нечего было беспокоиться.

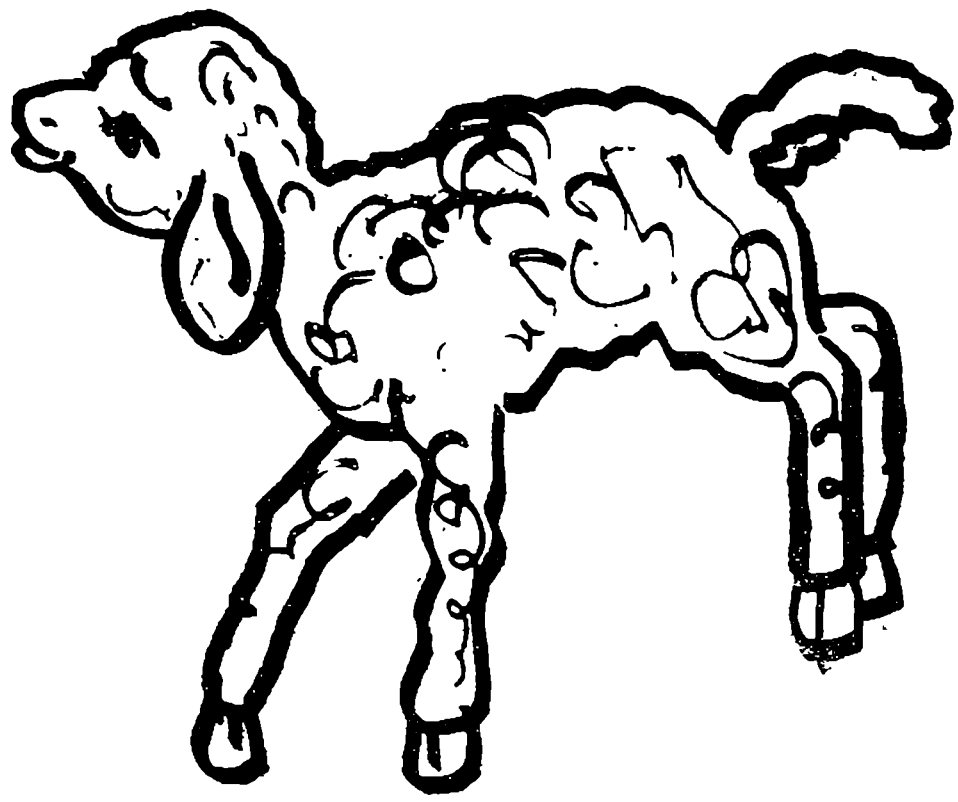
На внутренней ручке двери висела картонка, которую Двейн сразу перевесил наружу. Надпись на картонке была такая:

Двейн на минуту раздвинул плотные, от пола до потолка, гардины на окне. Он увидел рекламу, которая объявляла усталым путникам, едущим по большой магистрали, что их ждет гостиница. Вот эта реклама:



Двейн задернул гардины. Он наладил отопление и вентиляцию. Он уснул, как агнец божий.

Так назывался молодой барашек, и о нем ходила легенда, будто он спал лучше всех на планете Земля. Вот какой это был барашек:



Глава десятая

За два часа до рассвета, на следующий день после Дня ветеранов, полиция Нью-Йорка выронила Килгора Траута из рук, как неодушевленный предмет. Он брел через весь остров Манхэттен, и вместе с ним летели бумажные салфетки, старые газеты и сажа.

Траут попросился на грузовик. Грузовик вез семьсот восемь тысяч фунтов испанских оливок. Водитель подобрал Траута у выхода из туннеля Линкольна. Туннель назывался так в честь человека большого мужества и такой широты взглядов, что он сумел провести закон, запрещавший рабовладение в Соединенных Штатах Америки. Это было тогда большим новшеством.

Рабов просто отпустили, без всякого имущества. Отличить их от других людей было несложно. Все они были чернокожие. И они вдруг оказались на свободе — устраивайся как знаешь.

Водитель грузовика был белый. Он велел Трауту лежать на дне кузова, пока они не выедут за город, потому что подвозить никого не разрешалось.

Было еще темно, когда он позволил Трауту сесть. Они ехали по отравленным болотам и луговинам штата Нью-Джерси. Грузовик фирмы «Дженерал моторс» — модель «Астро-95» с дизельным двигателем — тянул прицеп в сорок футов длиной. Это была такая махина, что Трауту его собственная голова казалась величиной с дробинку.

Водитель рассказывал, что раньше он любил охотиться и рыбачить. Сердце у него надрывалось, когда он представлял себе, какие тут были луга и поймы всего лишь каких-нибудь сто лет назад.

— Только подумать, сколько дерьма делают на всех этих заводах — стиральные порошки, всякую мерзость, отраву.

Он сказал правильно. Всю планету отравляли отходы производства, а производили по большей части всякую дрянь.

Траут, в свою очередь, тоже высказал правильную мысль.

— Знаете,— сказал он,— когда-то и я тоже был за охрану природы. Расстраивался до слез, когда люди убивали птиц из автоматов, даже с вертолетов, и всякое такое. А потом махнул рукой. В Кливленде есть река, до того отравленная нефтяными отходами, что раз в год она воспламеняется. Бывало, посмотрю на все это — душа болит, а теперь только смех разбирает. А когда какой-нибудь танкер случайно вышлепывает нефть в океан и убивает миллионы птиц и миллиарды всякой рыбы, я только говорю: «Расти и крепни, «Стандард ойл» — или кто там разлил эту нефть!» Траут приветственным жестом поднял обе руки: — «Растуды и вас, «Мобиль-газ»!»

Водитель очень огорчился.

— Шутите! — сказал он

— Я понял, что Всевышний вовсе не намерен охранять природу,— сказал Траут,— значит, и нашему брату охранять ее вроде как святотатство и пустая потеря времени.

Вы когда-нибудь видали, какие у Него вулканы, как Он закручивает смерчи, напускает потопы? Вам рассказывали, как Он каждые полмиллиона лет устраивает ледниковые периоды? А болезни? Хорошенькая охрана природы! И это бог творит, а не люди. Вот дождется, пока мы наконец очистим наши реки, взорвет всю нашу галактику, и вспыхнет она, как целлулоидовый воротничок. Помните, была такая Вифлеемская звезда?

— А что она такое, эта звезда?

— Какая-то галактика вспыхнула, как целлулоидовый воротничок,— объяснил Траут.

На водителя это произвело впечатление:

— Да, как подумаешь, в Библии и взаправду ничего не сказано про охрану природы.

— Если не считать истории про потоп,— сказал Траут.

Некоторое время они ехали молча, но потом водитель опять высказал правильную мысль: он сказал, что отлично знает, как его грузовик отравляет воздух, а чтобы грузовики могли пройти где угодно, всю планету специально заковывают в асфальт.

— Значит, я занимаюсь самоубийством,— сказал водитель.

— Да вы не волнуйтесь,— сказал Траут.

— А мой брат еще хуже делает,— сказал водитель.— Он работает на заводе, где вырабатывают всякие химикалии, чтобы убивать деревья и посевы во Вьетнаме.

Вьетнамом называлась такая страна, где Америка старалась отучить людей от коммунизма путем сбрасывания на них всякой пакости с самолетов. Те химикалии, о которых говорил водитель, должны были изничтожить листву на деревьях, чтобы коммунистам некуда было прятаться от самолетов.

— Вы только не волнуйтесь,— сказал Траут.

— А в конце концов и брат мой самоубивается,— сказал водитель.— Вообще так выходит, что какую бы работу ни делал американец, все ведет к самоубийству.

— Правильно подмечено,— сказал Траут.

— Не понимаю, всерьез вы говорите или нет,— сказал водитель.

— Я и сам не пойму, пока не установлю, серьезная штука жизнь или нет,— сказал Траут.— Знаю, что жить опасно и что жизнь тебя здорово может прижать. Но это еще не значит, что она вещь серьезная.

Конечно, после того, как Траут стал знаменитостью, самой большой тайной для всех так и остался вопрос — шутит он или нет. Одному особенно настырному типу Траут сказал, что, когда он шутит, он всегда втайне скрещивает пальцы [1].

— И прошу вас заметить,— добавил Траут,— что, давая вам эту ценнейшую информацию, я скрестил пальцы [1].

И так далее...

Чем-то он людей ужасно раздражал. Через час-другой и водителю надоело с ним разговаривать. Траут воспользовался этим его молчанием и стал сочинять рассказ против охраны природы. Он его назвал «Гильгонго».

В «Гильгонго» описывалась некая планета, очень несимпатичная, потому что там шло непрестанное размножение.

Рассказ начинался с большого банкета в честь человека, который совершенно истребил породу прелестных маленьких медвежат — панда. Он посвятил этому всю свою жизнь. Для банкета был заказан специальный сервиз, и гостям разрешалось уносить тарелки с собой на память. На каждой тарелке красовалось изображение медвежонка-панда и дата банкета. Под картинкой стояло слово

ГИЛЬГОНГО!!!

На языке планеты это слово означало: «Истреблен!»

Люди радовались, что медвежата уже «гильгонго», потому что на этой планете и так было слишком много разных видов и почти каждый час появлялись все новые и новые разновидности. Совершенно невозможно было привыкнуть к невероятному разнообразию животных и растений, кишмя кишевших вокруг.

Люди всеми способами старались сократить количество новых существ, чтобы жизнь стала более уравновешенной. Но сладить с творчеством природы им было не под силу. В конце концов планета задохнулась под живым пластом в сто футов

---

[1] Старый обычай: если скрестить пальцы, когда врешь, то ложь прощается. *(Прим. перев.)*

толщиной. Пласт этот состоял из скалистых голубей, и орлов, и буревестников с Бермудских островов, и серых журавлей [1].

— Хорошо, хоть у нас тут оливки,— сказал водитель.

— Как? — спросил Траут.

— Могли бы везти и чего похуже...

— Верно,— сказал Траут. Он совершенно забыл, что главной их целью было доставить семьсот восемь тысяч фунтов оливок в Талсу, штат Оклахома.

Водитель поговорил и о политике.

Траут никогда не мог отличить одного политикана от другого. Все они казались ему одинаковыми восторженными обезьянами.

Грузовик остановился у закусочной. Вот что было написано на вывеске этой закусочной:

И они стали есть.

Траут увидал слабоумного, который тоже ел. Этот слабоумный белый мужчина находился под наблюдением белой сиделки. Говорить слабоумный не мог, и ел он с трудом. Сиделка повязала ему на шею слюнявчик.

Но аппетит у этого больного был потрясающий. Траут смотрел, как он набивает рот вафлями, свиной колбасой и запивает апельсиновым соком и молоком. Траут поражался, до чего этот слабоумный похож на большое животное. Изумляло и то, с каким восторгом этот идиот подтапливал себя калориями, которые должны были продлить его жизнь еще на целый день.

Траут так и подумал: «Накапливает топливо еще на день».

— Извините,— сказал водитель,— пойду сделаю лужицу.

— Там, откуда я родом,— сказал Траут,— «лужицами» называют зеркала.

— В жизни не слыхал такого,— сказал водитель и повторил: — Лужицы.— Он ткнул пальцем в зеркало на автомате для сигарет: — Вы это зовете «лужицей»?

— А вам не кажется, что похоже? — спросил Траут.

— Нет,— сказал водитель.— А вы-то откуда родом?

— Родился на Бермудских островах,— сказал Траут.

Через неделю водитель рассказал своей жене, что на Бермудских островах зеркала зовут «лужицами». Жена рассказывала об этом всем своим знакомым.

Когда Траут с водителем возвращались к грузовику, Траут впервые как следует, целиком рассмотрел это средство передвижения издали. На боковине грузовика огромными оранжевыми буквами, в восемь футов высотой, было написано название. Вот оно:

[1] Перечислены те птицы, которые сейчас находятся под охраной. *(Прим. перев.)*

Траут подумал: интересно, что при виде этой надписи подумает ребенок, который только что научился читать. Ребенок решит, что это — очень важная надпись, раз кто-то так расстарался, что написал ее этакими огромными буквами.

И тут Килгор Траут, как будто и он был ребенком, прочел вслух надпись и на другом грузовике. Надпись была такая:

Глава одиннадцатая

Двейн Гувер проспал в новой гостинице «Отдых туриста» до десяти часов утра. Он прекрасно отдохнул. Он заказал Завтрак Номер Пять — при гостинице был отличный ресторан, который назывался «Ату его!». Прошлым вечером все гардины были задернуты. Теперь их раздвинули во всю ширь. И солнечный свет хлынул внутрь.

За соседним столом, в таком же одиночестве, сидел Сиприан Уквенде, нигериец из племени индаро. Он просматривал разнесенные по рубрикам объявления в одной из газет Мидлэнд-Сити «Горнист-обозреватель». Ему нужно было жилье подешевле. Пока он осваивался, главная окружная больница в Мидлэнд-Сити оплачивала его счета в гостинице, но в последнее время там что-то забеспокоились.

Ему нужна была еще и женщина или, скорее, целый гарем — пусть бы они ублажали своего повелителя. Его так и распирали страсти и гормоны. И он тосковал по своим родичам-индаро. Там, на родине, он мог перечислить поименно шестьсот родичей.

Лицо Уквенде было совершенно бесстрастно, когда он заказывал Завтрак Номер Три с тостами из пшеничного хлеба. Но под этой маской таился молодой парень, которого поедом ела тоска по дому, и к тому же он почти дошел до ручки от распаленной похоти.

Двейн Гувер сидел на расстоянии всего шести футов от Уквенде, уставившись в окно на забитую машинами и залитую солнцем автостраду. Он сознавал, где находится. Вот знакомый кювет, отделяющий стоянку при гостинице от автострады,— бетонный желоб, по которому инженеры пустили Сахарную речку. За ним — знакомый барьер из упругой стали, чтобы грузовые и легковые машины не сваливались в Сахарную речку. За ним проходили три знакомые полосы, по которым движение шло на запад, и дальше — знакомая разделительная полоса, поросшая травой. После нее шли три знакомые полосы на восток и потом — снова знакомый заградительный барьер из стали. Дальше был знакомый аэропорт имени покойного Вилла Фэйрчайлда, а еще дальше за ним — знакомые поля и луга.

Да, за окном все было плоским донельзя — плоский город, плоские пригороды, плоский округ. Когда Двейн был еще малышом, он думал, что почти все люди живут на плоской земле без единого деревца. Он воображал, что океаны, и горы, и леса сохранились только в заповедниках и национальных парках. В третьем классе маленький Двейн нацарапал сочинение, где доказывал, что необходимо создать национальный парк в излучине Сахарной речки — единственного сколько-нибудь заметного «водохранилища» в восьми милях от Мидлэнд-Сити.

И Двейн произнес название этой знакомой речки про себя, чтобы никто не слышал: «Сахарная речка».

Теперь Сахарная речка, у той излучины, где, по мнению маленького Двейна, следовало разбить национальный парк, была всего в два дюйма глубиной и пятьдесят ярдов шириной. А вместо национального парка там устроили Мемориальный центр искусств имени Милдред Бэрри. Он был очень красивый.

Двейн нащупал свой лацкан, а на нем — значок. Он отколол его, потому что совершенно не помнил, что там написано Вот что было написано на этом значке:

Время от времени Сахарная речка разливалась. Двейн помнил, как это бывало. На такой плоской местности вода, разливаясь, представляла удивительно красивое зрелище. Сахарная речка бесшумно выходила из берегов и расстилалась широкой гладью, в которой без всякого риска могли плескаться дети.

По этой зеркальной глади местные жители сразу замечали, что живут в долине, они считали себя «горцами», так как жили на склонах холма, который повышался на целый дюйм с каждой милей, отделяющей город от Сахарной речки.

Двейн снова неслышно произнес это название: «Сахарная речка».

Двейн кончил завтракать и стал надеяться, что его душевная болезнь прошла, что перемена места и спокойный ночной сон вылечили его.

Дурные вещества, не вызывая у него никаких странных явлений, позволили ему пройти через гостиную и коктейль-бар, который еще не открывался. Но когда он вышел из боковой двери коктейль-бара и ступил на асфальтовую прерию, окружавшую и его гостиницу, и принадлежащую ему контору по продаже автомобилей «понтиак», он обнаружил, что кто-то превратил асфальт в некое подобие трамплина.

Асфальт пружинил под ногами Двейна. Он прогнулся под тяжестью Двейна гораздо ниже уровня земли, потом поднял его немного вверх. Двейн оказался в неглубокой как бы резиновой ямке. Он сделал второй шаг в сторону своей конторы. Он снова опустился, снова поднялся немного вверх и опять оказался в новой ямке.

Он стал озираться кругом — не видит ли кто-нибудь, что с ним творится? Обнаружился единственный свидетель. Сиприан Уквенде стоял на краю ямки и не проваливался. И Уквенде, невзирая на необычайное состояние Двейна, только сказал:

— Славный денек.

Двейн перескакивал из ямки в ямку.

Так он прочмокал до стоянки подержанных машин.

Он стоял в ямке, поднял глаза — и перед ним оказался второй чернокожий. Этот молодой человек протирал тряпкой темно-коричневый «бьюик» модель «Скайларк» 1970 года. Одет он был совсем не для такой работы. На нем был дешевый синий костюм с белой рубашкой и черным галстуком. И вот еще что: он не просто протирал машину — он ее надраивал до блеска.

Молодой человек продолжал драить машину. Потом он ослепительно улыбнулся Двейну и снова принялся наводить блеск на машину.

Все это объясняется довольно просто: молодого чернокожего только что выпустили из исправительной колонии для взрослых в Шепердстауне. Ему нужно было немедленно найти работу, чтобы не подохнуть с голоду. И теперь он показывал Двейну, какой он лихой работяга.

Он с девяти лет скитался по сиротским приютам, детским колониям и по тюрьмам всякого рода. Теперь ему было двадцать шесть лет.

Наконец-то он свободен!

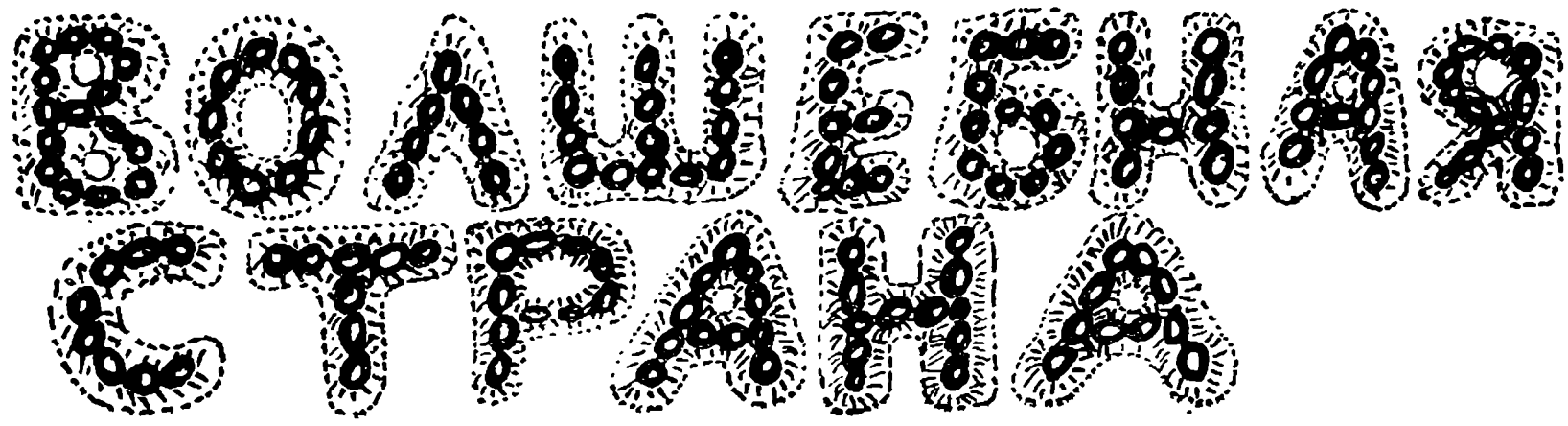
Двейн принял молодого человека за плод галлюцинации.

Молодой человек старательно начищал автомобиль. Жизнь ему ничем не светила. У него почти не было воли к жизни. Он считал, что планета — жуткое место

и что его не должны были посылать сюда. Где-то произошла ошибка. У него не было ни друзей, ни родных. Его все время перегоняли из клетки в клетку.

Он знал название лучшего мира, и этот мир ему часто снился. Название было тайной. Его бы засмеяли, вздумай он произнести его вслух, настолько это название было ребяческое.

Стоило молодому чернокожему скитальцу по тюрьмам захотеть — и он мог увидеть это название в любую минуту. Оно вспыхивало огоньками-буквами в его мозгу. Вот как оно выглядело:



У него в бумажнике хранилась фотография Двейна. На стенах его камеры в Шепердстауне тоже висели фотографии Двейна. Достать их было нетрудно, потому что улыбающаяся физиономия Двейна с его девизом красовалась на всех объявлениях, которые он давал в местной газете. Фотография менялась каждые полгода. Девиз оставался неизменным в течение двадцати пяти лет.

Вот какой это был девиз:

СПРОСИ ЛЮБОГО —
ДВЕЙНУ
МОЖНО ВЕРИТЬ.

Бывший арестант еще раз улыбнулся Двейну. Зубы у него были изумительные. Зубоврачебное обслуживание в Шепердстауне было первоклассное. Еда — тоже.

— Доброе утро, сэр,— сказал Двейну молодой человек. Он был ужасающе наивен. Ему еще так много предстояло узнать. Например, он совсем ничего не знал о женщинах. Франсина Пефко была первой женщиной, с которой он заговорил за последние одиннадцать лет.

— Доброе утро,— сказал Двейн. Он сказал это очень тихо, чтобы не было слышно поодаль — на тот случай, если он беседует с галлюцинацией.

— Сэр, я с большим интересом читал ваши объявления в газетах, и ваши объявления по радио тоже доставляли мне большое удовольствие,— сказал бывший арестант. Весь последний год в тюрьме он был одержим одной мечтой: настанет день, когда он поступит на работу к Двейну Гуверу и будет жить-поживать, добра наживать. Это и будет настоящей волшебной страной.

Двейн ничего не ответил, и молодой человек продолжал:

— Я очень старательный, сэр, сами видите. Я слышал о вас только хорошее. Я думаю, добрый господь предназначил мне работать на вас.

— О-о? — сказал Двейн.

— У нас имена очень похожие,— сказал молодой человек,— это добрый господь нам знак подает.

Двейн Гувер не стал спрашивать, как его зовут, но молодой человек и так ему сказал:

— Меня зовут Вейн Гублер, сэр,— сияя, сообщил он.

Повсюду в районе Мидлэнд-Сити это была самая обычная фамилия для черномазых — Гублер.

Двейн Гувер разбил сердце Вейна Гублера: он неопределенно покачал головой и пошел прочь.

Двейн вошел в свой демонстрационный зал. Земля под ним больше не пружинила, но зато он увидел нечто совершенно необъяснимое: сквозь пол демонстрационного зала проросла пальма. Дурные вещества Двейна заставили его начисто забыть про Гавайскую неделю. Ведь и эту пальму Двейн придумал сам. Это был спиленный телеграфный столб, обернутый рогожами На верхушке столба были прибиты гвоздиками настоящие кокосовые орехи. Из зеленого пластика вырезали нечто вроде пальмовых листьев.

Пальма так ошеломила Двейна, что он чуть не сомлел. Потом он огляделся и увидел, что все кругом усеяно ананасами и укулеле.

И вдруг он узрел нечто совсем невероятное. Его главный агент, Гарри Лесабр, с опаской приближался к нему, облаченный в светло-зеленое трико, соломенные сандалии, юбочку из травы и розовую фуфайку такого вида:

Гарри весь уик-энд обсуждал с женой: догадался ли Двейн, что Гарри — любитель наряжаться в женское платье, или не догадался. Они пришли к заключению, что у Двейна не было ни малейшего повода подозревать такие склонности. Гарри никогда не заговаривал с Двейном о женских тряпках. Он ни разу не участвовал в конкурсе красоты для травести и вообще, не в пример многим травести в Мидлэнд-Сити, не вступал в большой Клуб травести в Цинциннати. Он никогда в жизни не посещал местный бар, где встречались травести. Бар находился в подвале фэйрчайлдовского отеля и назывался «Наш старый добрый погребок». Никогда он не менялся стереофотографиями с другими травести, никогда не подписывался на их журналы.

Гарри и его жена решили, что никакого намека в словах Двейна не было и что Гарри лучше почуднее нарядиться на Гавайскую неделю, а то как бы Двейн его не выставил.

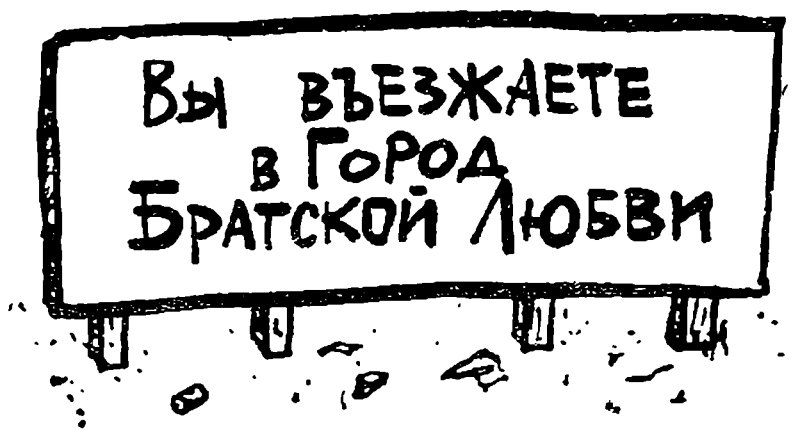
И вот Гарри предстал перед Двейном, порозовев от страха и волнения. В этот миг он чувствовал себя расторможенным, прекрасным, обаятельным и свободным от всего.

Он приветствовал Двейна гавайским словом, которое значило одновременно и «здравствуй» и «прощай».

— Алоа! — сказал он.

Глава двенадцатая

Килгор Траут был еще далеко, но расстояние между ним и Двейном неуклонно уменьшалось. Он все еще ехал на грузовике под названием «Пирамида». Грузовик проезжал по мосту, названному в честь поэта Уолта Уитмена. Мост был весь окутан дымом. Теперь грузовик подъезжал к Филадельфии. Плакат при въезде на мост выглядел так:



Если бы Траут был помоложе, он презрительно усмехнулся бы при виде этого заявления о братстве, водруженного на краю бомбовой воронки, что было видно с первого взгляда. Но в голове Траута уже и мысли не было о том, какой могла бы

и должна быть жизнь на планете, в отличие от того, какой она была на самом деле. Земля никак не могла быть другой, думал он, а только такой, какая она есть.

Все было нужно. Он увидел старую белую женщину — она рылась в помойном бачке. Так было нужно. Он увидел игрушку, которая когда-то плавала в ванночке,— маленького резинового утенка, лежавшего на боку, на решетке уличного стока. Он д о л ж е н б ы л лежать там.

И так далее.

Водитель сказал, что вчера был День ветеранов.

— Угу,— сказал Траут.

— Вы сами ветеран? — спросил водитель.

— Нет,— сказал Траут.— А вы?

— Нет,— сказал водитель.

Ни тот, ни другой ветераном не был.

Водитель завел разговор о друзьях. Он сказал, что ему очень трудно поддерживать настоящую дружбу, потому что он все время в дороге. Он пошутил: мол, было время, когда мы говорили «лучшие друзья». Он считал, что люди вообще перестают говорить про «лучших друзей», как только выходят из младших классов школы.

Он решил, что Траут, занимаясь таким делом, как установка комбинированных алюминиевых рам со ставнями, имел все возможности по ходу работы завязывать множество прочных дружеских связей.

— Ведь как получается,— сказал водитель.— Вы работаете с людьми изо дня в день, устанавливаете эти самые рамы — как же тут не сойтись друг с другом поближе?

— Я работаю один,— сказал Траут.

Водитель был разочарован.

— А я думал, что одному не справиться, нужно, по крайней мере, двое.

— Одного хватает,— сказал Траут.— Любой заморыш и в одиночку справится.

Но водителю, видно, хотелось, чтобы Траут жил полной и интересной жизнью, хотелось хоть вчуже порадоваться вместе с ним.

— Ну, все равно,— упорствовал он.— У вас есть приятели, есть с кем провести время после работы. Выпить пивка, в картишки перекинуться. Анекдотик рассказать.

Траут только пожал плечами.

— Вы же ходите каждый день по одним и тем же улицам,— сказал водитель.— Встречаете столько людей, да и они вас, наверно, знают, потому что улицы-то всегда одни и те же. Вы говорите: «Привет», и они вам отвечают: «Привет». Вы их даже по имени называете. И они вас называют по имени. Если вы влипнете в какую-нибудь историю, они вам помогут, потому что вы — из их города. Вы все заодно. Видят-то они вас каждый божий день.

Но Трауту спорить с ним не хотелось.

Траут все время забывал имя водителя.

У Траута был один умственный дефект, от которого и я страдал в свое время. Он совсем не помнил, как выглядят разные люди, встреченные им в жизни,— запоминал только тех, чья фигура или лицо чем-нибудь резко отличались от других.

Например, когда он жил на мысе Код, он мог сердечно приветствовать и называть по имени только одного человека — Алфи Бирза, однорукого альбиноса.

— Погодка что надо, Алфи! — говорил он.

— Где это вы пропадали, Алфи? — говорил он.

— На вас сегодня приятно смотреть, Алфи,— говорил он.

И так далее.

А когда Траут жил в Когоузе, он называл по имени только одного человека — рыжего лилипута-кокни, которого звали Дэрлинг Хис. Он работал в сапожной мастерской. На его скамейке была прибита дощечка, чтобы люди, если захотят, могли обращаться к нему по имени. Эта дощечка выглядела так:

Траут время от времени заглядывал в мастерскую и говорил что-нибудь такое:

— А кто нынче выиграет первенство мира, Дэрлинг?

Или:

— Не знаете, отчего это все сирены выли прошлой ночью, Дэрлинг?

Или:

— Вы прекрасно выглядите сегодня, Дэрлинг, где это вы отхватили такую рубашку? — И так далее.

Теперь Траут размышлял о том, не пришел ли конец его дружбе с Хисом. В последний раз, когда Траут зашел в сапожную мастерскую поговорить с Дэрлингом о том о сем, лилипут вдруг заорал на него.

Вот что он крикнул с типичным кокнейским акцентом:

— Отцепитесь вы от меня к чертовой матери!

Как-то раз губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер пожал Трауту руку в бакалейной лавке в Когоузе. Траут понятия не имел, кто это такой. А ведь его, автора научно-фантастических романов, должна была глубоко потрясти встреча с таким человеком. Рокфеллер был не просто губернатор. По своеобразным законам этой части планеты Рокфеллер был вправе владеть громадными пространствами земной поверхности, равно как и нефтью, и другими полезными ископаемыми, находящимися под его землей. Он владел и распоряжался значительно большей частью планеты, чем многие нации. И это был его удел с самой колыбели. Он так и родился владельцем этих несусветных богатств.

— Как дела, приятель? — спросил губернатор Рокфеллер.

— Да все по-старому,— сказал Килгор Траут.

Сначала водитель пытался навязать Трауту полную и интересную жизнь в обществе, а теперь — опять-таки для собственного удовольствия — сделал вид, что Траут просит и умоляет его рассказать, какая личная жизнь у водителя трансконтинентального транспорта, хотя Траут, конечно, ни о чем таком и не собирался просить и умолять.

— Хотите знать, как у нас, шоферов, клеится это дело? — сказал водитель.— Небось думаете, что шоферня гуляет напропалую, без передышки баб лапает по всей Америке?

Траут только пожал плечами.

Шофер разобиделся на Траута и стал упрекать его за такое постыдное невежество.

— Вот что я скажу вам, Килгор,— он запнулся.— Вас ведь так звать?

— Да,— сказал Траут. Он-то уже сто раз успел позабыть имя шофера. Каждый раз, как он отводил глаза, он забывал не только его имя, но и его физиономию.

— Тысяча чертей, Килгор,— сказал водитель,— к примеру, скажем, моя колымага поломается в Когоузе и придется застрять там на пару дней, пока ее починят, вы что, думаете, успею я закадрить бабенку за это время — всем чужой, да еще в таком виде?

— Зависит от вашей настойчивости,— сказал Траут.

Водитель вздохнул.

— Эх, ядрена мать,— сказал он, и ему стало ужасно себя жаль,— может, оттого и вся моя жизнь так повернулась — настойчивости не хватало.

Они стали рассуждать про то, что алюминиевая обшивка — это способ придавать старым домам совершенно новый вид. Издали эта обшивка, которая вообще не нуждается в окраске, выглядит точь-в-точь как дерево, окрашенное свежей краской.

Водителю хотелось обсудить еще и «Перма-стоун» — другую конкурирующую новинку. Этот способ заключался в покрытии стен цветным цементом, так что издали они выглядели совсем как настоящие каменные стенки.

— Раз уж вы занимаетесь алюминиевыми ставнями, надо бы вам и алюминиевой обшивкой заняться,— сказал водитель Трауту. По всей стране эти два занятия были тесно связаны.

— Моя компания продает алюминиевую обшивку,— сказал Траут,— я много раз ее видел. Но установкой никогда не занимался.

Водитель всерьез подумывал, не приобрести ли алюминиевую облицовку для своего домика в Литтл-Роке, и он заклинал Траута, чтобы тот ответил ему чистую правду на его вопросы:

— Вы много видели и слышали, так скажите, те люди, которые купили алюминиевую обшивку,— довольны они, по-вашему, или нет?

— У нас, в Когоузе,— отвечал Траут,— это, пожалуй, единственные настоящие счастливцы, которых мне приходилось видеть.

— Понимаю, понимаю,— сказал шофер.— Я как-то видел одно семейство — стояли в полном сборе возле своего домика. Они прямо глазам не верили, какой у них

стал славный домик после облицовки. Вот вам еще один вопрос, и можете мне ответить честно, как на духу, потому что нам с вами никаких дел вместе не делать: скажите, Килгор, долго ли владельцы будут радоваться на эту обшивку?

— Лет пятнадцать,— сказал Траут.— Наши продавцы уверяют, что потом можно все сделать заново на те деньги, что вы сэкономите на краске и отоплении.

— «Перма-стоун» на вид посолидней, да и выдерживает, наверно, подольше,— сказал водитель.— Однако она и стоит подороже

— За что платишь, то и получаешь,— сказал Килгор Траут.

Водитель рассказал Трауту про газовую колонку для ванны, которую он купил тридцать лет назад, и за все это время не знал с ней никаких забот.

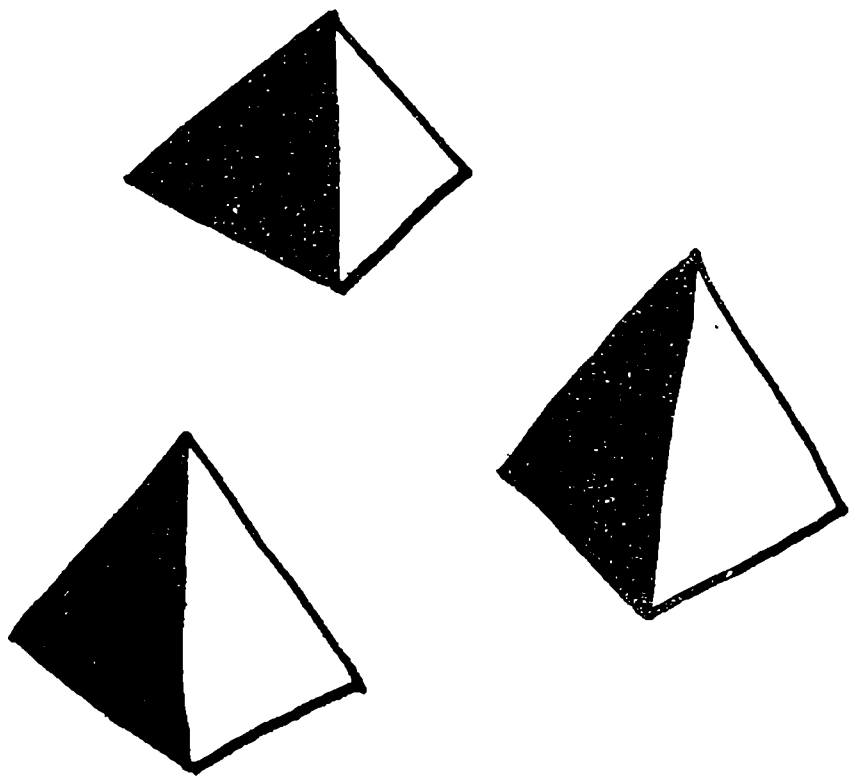
— Вот чертовщина! — сказал Килгор Траут.

Траут спросил водителя про его грузовик, и шофер сказал, что это самый громадный грузовик в мире. Он стоит без прицепа двадцать восемь тысяч долларов. На нем установлен дизельный двигатель Камминса мощностью в триста двадцать четыре лошадиных силы, с турбоустановкой, так что он дает хорошую тягу на большом подъеме. У него гидравлическое рулевое управление, пневматические тормоза, трансмиссия на тринадцать скоростей, и он принадлежит зятю водителя.

Зять водителя, по его словам, был президентом компании по перевозкам «Пирамида», и у него таких грузовиков было двадцать восемь штук.

— А почему он назвал свою компанию «Пирамида»? — спросил Траут.— Дело ведь в том, что из этой машины можно выжимать до ста миль в час, если понадобится. Это мощная, скоростная, полезная вещь, без украшательства. Она современна, как космический корабль. В жизни не видал ничего менее похожего на пирамиду.

Пирамидами назывались такие громадные каменные гробницы, которые строили египтяне много тысяч лет назад. В наше время пирамид в Египте уже не строили. Пирамиды выглядели вот так, и туристы со всего света съезжались, чтобы на них поглазеть:



— Ну почему какому-то из владельцев самых скоростных грузовиков пришло в голову назвать свою компанию и свои машины в честь сооружений, которые ни на сантиметр не передвинулись с самого рождества Христова?

Шофер ответил без промедления. Голос у него был недовольный: должно быть, вопрос Траута показался ему глупым.

— Видно, понравилось, как оно звучит,— сказал он.— А вам не нравится, что ли?

Траут кивнул, чтобы не портить отношений.

— Нет, отчего же,— сказал он.— Звучит очень славно.

Траут откинулся на спинку сиденья и стал обдумывать этот разговор. Он придумал сюжет, который так и не использовал до самой глубокой старости. Это была история планеты, где язык все время преобразовывался в чистую музыку, потому что жившие там существа обожали звуки. Слова превращались в музыкальные

аккорды. Фразы превращались в мелодии. Для передачи информации они совершенно не годились, потому что уже никто не знал, да и знать не хотел, что слова означают.

Поэтому правительство и торговые организации планеты были вынуждены, для поддержания своей деятельности, без конца изобретать новые, все более уродливые слова и словосочетания, чтобы их было никак невозможно превратить в музыку.

— Вы женаты, Килгор? — спросил водитель.

— Был. Три раза,— сказал Килгор. Он сказал чистую правду. Мало того: все его жены были исключительно терпеливыми, любящими и красивыми. И все они преждевременно увяли из-за его пессимизма.

— Дети есть?

— Сын,— сказал Траут. Где-то в прошлом, среди всех жен и потерянных при пересылке фантастических романов, заплутался его сын, которого звали Лео.— Теперь он уже взрослый,— сказал Траут.

Лео навсегда распрощался с домом в возрасте четырнадцати лет. Он наврал про свой возраст, и его взяли в морскую пехоту. Он прислал отцу записочку из военных лагерей. Там было написано вот что: «Жаль мне тебя. Заполз в собственный зад и там задохся».

Больше никакие вести о сыне ни прямо, ни косвенно не доходили до Траута, пока к нему не пришли два агента Федерального бюро расследований. Они сказали, что Лео дезертировал из своего подразделения во Вьетнаме. Он стал изменником. Он перешел на сторону Вьет-Конга.

Вот как ФБР оценивало на данный момент положение Лео на планете.

— Ваш сын здорово влип,— сказали они.

Глава тринадцатая

Когда Двейн Гувер увидел своего главного агента, Гарри Лесабра, в травянисто-зеленом трико, увидел юбочку из травы и все прочее, он глазам своим не поверил. Поэтому он заставил себя ничего не видеть. Он прошел прямо в свой кабинет, который тоже был забит ананасами и укулеле.

Франсина Пефко, его секретарша, выглядела как обычно, только на шее у нее висела гирлянда цветов и один цветок был заткнут за ухо. Она улыбалась. Она была вдова военнослужащего, губы у нее были мягкие, как диванные подушки, а волосы — ярко-рыжие. Она была без ума от Двейна. И от Гавайской недели она тоже была без ума.

— Алоа,— сказала она.

А Гарри Лесабр был совершенно уничтожен Двейном.

Когда Гарри в таком нелепом виде предстал перед Двейном, каждая молекула в его теле ждала, что будет. Каждая молекула на секунду перестала действовать, отключилась от соседних молекул. Каждая молекула ждала решения — быть или не быть той ее галактике, которая называлась Гарри Лесабр.

Когда Двейн прошел мимо Гарри, словно тот был невидимкой, Гарри решил, что он выдал себя с головой и его теперь выгонят, как отвратительного извращенца.

Гарри закрыл глаза. Он больше никогда не хотел их открывать. Его сердце послало его молекулам такое сообщение:

«По всем нам понятным причинам данная галактика распускается!»

Двейн и не подозревал об этом. Он наклонился к столу Франсины Пефко. Он чуть не сказал ей, как сильно он болен. Он ее предостерег:

— Сегодня тяжелый день, неважно почему. Так что никаких там розыгрышей, никаких сюрпризов. Пусть все будет как можно проще. И чтоб ни одного посетителя со странностями сюда не допускать. И к телефону не звать.

Франсина сказала Двейну, что близнецы уже ждут его в кабинете.

— Кажется, что-то неладное творится с пещерой,— сказала она.

Двейн был благодарен за столь простое и недвусмысленное сообщение. Близнецы были его младшие сводные братья — Лайл и Кайл Гуверы. Пещера называлась Пещерой святого чуда и была приманкой для туристов. Находилась она немного южнее Шепердстауна. Двейн владел этой пещерой на паях с Лайлом и Кайлом. Она была единственным источником дохода для Лайла и Кайла, занимавших одинаковые желтенькие домики по обе стороны палатки с сувенирами у входа в пещеру.

По всему штату к деревьям и придорожным столбам были прибиты указатели в виде стрелок, направленных в сторону пещеры. На них было обозначено расстояние до нее — например, вот так:

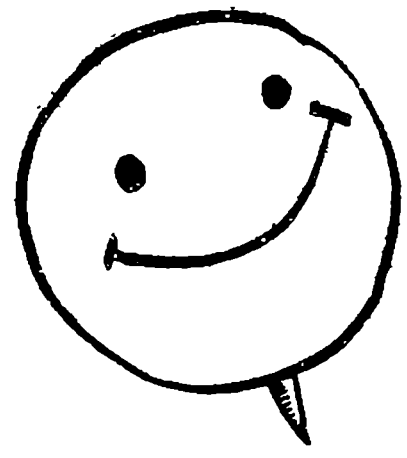
Задержавшись перед входом в свой кабинет, Двейн прочел один из смешных лозунгов, которые Франсина во множестве развесила по стенкам, чтобы позабавить сослуживцев и напомнить людям о том, что они так легко забывают: никто не обязан быть серьезным двадцать четыре часа в сутки.

Вот текст лозунга, который прочел Двейн:

Не надо быть идиотом,
Чтобы к нам поступить на работу.
Но неплохо при этом
Быть немного с приветом!

Рядом с текстом находилось изображение идиота. Вот какое оно было:

На груди Франсины был приколот значок, изображавший рожицу существа, находящегося в гораздо более здравом и завидном расположении духа. Вот какой был значок:



Лайл и Кайл сидели рядышком на черном кожаном диване в кабинете Двейна Гувера. Они были так похожи, что Двейн не мог их различить до 1954 года, когда Лайл ввязался в драку из-за женщины на катке, где разыгрывалось первенство по роликам. С тех пор Лайл был тот, у кого переломлен нос. Двейн помнил, что когда они были младенцами, в колыбели они сосали большие пальцы друг друга.

Вот как получилось, что у Двейна оказались сводные братья, хотя усыновили его люди, которые не могли иметь собственных детей. Это усыновление словно пустило в ход некий процесс в их организмах, и дети у них, в конце концов, ро-

дились. Это явление было довольно распространенным. По-видимому, многие супружеские пары были запрограммированы именно таким образом.

Двейн ужасно был рад их видеть — двух этих маленьких человечков. Оба в комбинезонах и рабочей обуви. На обоих — шляпы пирожком. Они были знакомые, они были настоящие. Двейн закрыл дверь, отгораживаясь от хаоса внешнего мира.

— Ну, рассказывайте,— сказал он.— Что там стряслось с пещерой?

С тех пор как Лайлу сломали нос, близнецы постановили, что отныне он будет говорить за двоих. Кайл с пятьдесят четвертого года не произнес и тысячи слов.

— Эти пузыри уже дошли до середины Собора,— сказал Лайл.— Если они будут еще прибывать, то за неделю-другую доберутся до Моби Дика.

Двейн все отлично понял. Подземный ручей, пробиравшийся в лабиринте Пещеры святого чуда, был загрязнен какими-то промышленными отходами, которые пускали пузыри, крепкие, как шарики для пинг-понга. Эти пузыри выталкивали друг друга вверх по переходу, который вел к огромному валуну, выкрашенному белой краской. Он должен был походить на Моби Дика, Громадного Белого Кашалота. В скором времени пузыри поглотят Моби Дика и проникнут в Храм шорохов — а это было самое интересное и заманчивое место во всей пещере. Тысячи пар устраивали свадьбы в Храме шорохов — в том числе и Двейн, и Лайл, и Кайл. И Гарри Лесабр тоже.

Лайл рассказал Двейну про эксперимент, который они с Кайлом провели прошлой ночью. Они вошли в пещеру со своими одинаковыми автоматическими пистолетами «браунинг» и открыли огонь по надвигавшейся лавине пузырей.

— Ну и вонь они распустили, просто невообразимую,— сказал Лайл. Он сказал, что от них разило, как от ног, пораженных грибком.— Мы с Кайлом вылетели оттуда, точно пробки. Включили на час вентиляцию, потом снова пошли. Вся краска с Моби Дика облупилась. Даже глаз не стало.

На Моби Дике раньше были нарисованы синие глаза с длинными ресницами, каждый величиной с тарелку.

— Орган весь почернел, а потолок стал какой-то грязно-желтый,— сказал Лайл.— Теперь уж и Святое чудо почти что совсем не видно.

Органом, вернее «Органом богов», назывались густо наросшие сталактиты и сталагмиты в одном из углов Собора. Позади был спрятан динамик, через который проигрывали музыку для свадебных и похоронных церемоний. Орган подсвечивался прожекторами, непрестанно менявшими цвет.

«Святым чудом» назывался крест на потолке Собора. Он образовался от пересечения двух трещин.

— Его и раньше-то было непросто разглядеть,— сказал Лайл про крест.— А теперь я и сам сомневаюсь, там он или нет.

Он просил у Двейна разрешения заказать грузовик цемента. Он решил зацементировать проход между ручьем и Собором.

— Плевать на Моби Дика, и Джесса Джеймса, и на рабов, и прочее,— сказал Лайл.— Надо спасать Собор.

Джесс Джеймс был скелет, приобретенный приемным отцом Двейна на распродаже имущества одного врача, еще во время Великой депрессии. Кости правой руки скелета были переплетены с заржавленным револьвером 45-го калибра. Туристам рассказывали, что его прямо так и нашли и что это, видимо, скелет какого-то грабителя поездов, которого в пещере застиг обвал.

Что касается рабов, то это были гипсовые скульптуры чернокожих в пещере футов на пятнадцать дальше Джесса Джеймса по проходу. Скульптуры освобождали друг друга от цепей при помощи молотков и напильников. Туристам рассказывали, что некогда настоящие рабы скрывались в пещере после бегства на свободу через реку Огайо.

Россказни про рабов были таким же враньем, как история Джесса Джеймса. Пещеру открыли только в 1937 году, когда земля расселась от небольшого землетрясения. Двейн Гувер нашел трещину самолично и потом вместе со своим приемным отцом расширил ее с помощью ломов и динамита. До них там даже крыс не было.

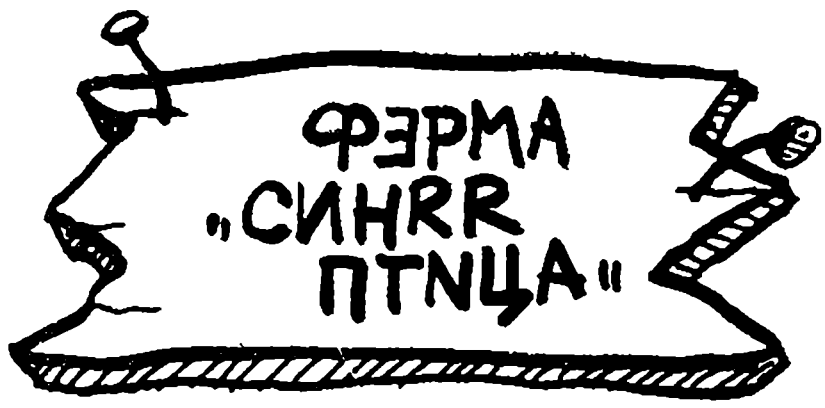
Единственной связью между пещерой и беглыми рабами было вот что: участок, на котором пещера была обнаружена, когда-то принадлежал бывшему рабу, Джозефусу Гублеру. Когда хозяин его освободил, он двинулся на север и построил там ферму. Потом он вернулся и выкупил свою мать и женщину, ставшую его женой.

Его потомки владели фермой до самой Великой депрессии, когда Мидлэндский окружной коммерческий банк опротестовал закладные. Потом приемного папашу Двейна сшибло машиной, которую вел белый человек, купивший ферму. В возме-

щение пострадавший получил по личной договоренности то, что он презрительно окрестил «богом проклятой фермой черномазых».

Двейн помнил первое путешествие, которое было предпринято семейством для осмотра фермы. Его отец содрал дощечку черномазых с почтового ящика черномазых и забросил ее в канаву.

Вот что было на ней написано:



Глава четырнадцатая

Грузовик с Килгором Траутом находился уже в Западной Виргинии. Вся поверхность штата была исковеркана техникой и взрывами: люди выковыривали из-под нее каменный уголь. Угля теперь почти не осталось. Он весь превратился в тепловую энергию.

То, что осталось от поверхности Западной Виргинии, лишенной своего угля, деревьев и плодородной почвы, постепенно перестраивалось в соответствии с законами тяготения. Земля проваливалась во все дыры, которые в ней прорыли. Горы Виргинии, некогда без всякого усилия стоявшие на собственном основании, начали съезжать в долины.

Западная Виргиния была изуродована с ведома и одобрения исполнительных, законодательных и судебных органов правительства штата, облеченного властью, данной ему народом.

Кое-где еще попадались обитаемые жилища.

Впереди Траут увидел сломанный барьер. Он заглянул в овраг за барьером и увидел, что в ручейке валяется перевернутый «кадиллак», модель «Эльдорадо» 1968 года. Судя по номеру, он был из Алабамы. В ручейке были еще какие-то старые предметы обихода — газовые плиты, стиральная машина, два холодильника.

Белая девочка с ангельским личиком и льняными волосами стояла возле ручейка. Она помахала Трауту. Она прижимала к груди бутылочку пепси-колы емкостью в восемнадцать унций.

Траут спросил сам себя вслух, как же люди развлекаются, и водитель рассказал ему странную историю: как он ночевал в Западной Виргинии, в прицепе своего грузовика, рядом с домом без окон, который все время жужжал на одной ноте.

— Мне было видно, что народ туда заходит, и видно, как народ выходит оттуда,— сказал он,— но я никак не мог сообразить, что за машина там жужжит. Дом был слеплен наспех, по дешевке, стоял он на бетонных блоках и прямо в чистом поле. Машины подъезжали и уезжали, и похоже было, что людям эта жужжащая штука очень даже нравится,— сказал он.

Так что он не вытерпел и заглянул внутрь.

— Там кишмя кишели люди, и все — на роликах,— сказал он.— Они катались все время в одну сторону, по кругу. Никто не улыбался. Все просто катались да катались по кругу.

Он рассказал Трауту, что он слыхал, будто местные жители хватают голыми руками живых гадюк и гремучих змей во время службы в церкви — хотят показать, как они глубоко верят, что Иисус их защитит.

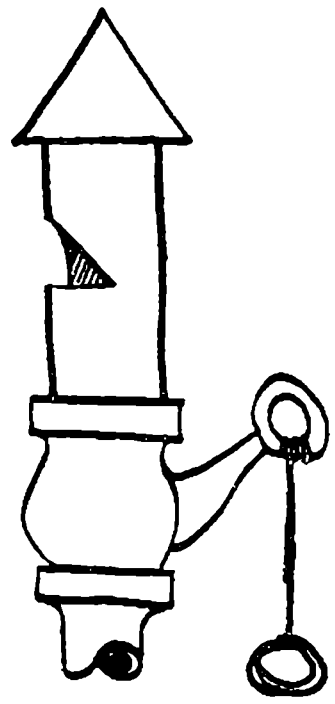
— Разные люди живут на белом свете,— сказал Траут.

Траут поражался, как недавно белые люди появились в Западной Виргинии и как быстро они ее стерли в порошок, добывая уголь для тепла.

«Теперь уже и тепла не осталось — оно рассеялось в пространстве»,— подумал Траут. Оно доводило воду до кипения, пар вертел ветряные мельницы из стали. А эти мельницы заставляли вращаться роторы в генераторах. Какое-то время Америка ку-

пались в электроэнергии, была залита электричеством. На угле работали также старинные пароходы и паровозы.

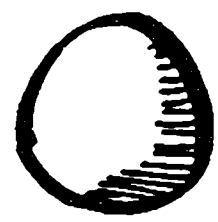
В те времена, когда Двейн Гувер, и Килгор Траут, и я были мальчишками, когда наши отцы были мальчишками, когда наши деды были мальчишками, на паровозах, пароходах и фабриках были свистки, которые свистели от пара. Свистки выглядели так:



Пар от воды, доведенной до кипения жаром пылающего угля, со страшной силой вырывался через свисток, и свисток испускал резкий красивый вопль — этот звук как будто вылетал из глотки подыхающего динозавра, звук был примерно такой: у-ууууууууууу-ух, у-ууууууух или трыннннннннннннннннннньэ и так далее.

Динозавром называется такое пресмыкающееся, ростом с паровоз. Оно выглядело так:

У него было два мозга: один — для передней половины, другой — для задней. Это животное вымерло. Оба мозга вместе были меньше горошины. Горошина была плодом бобового растения и выглядела так:



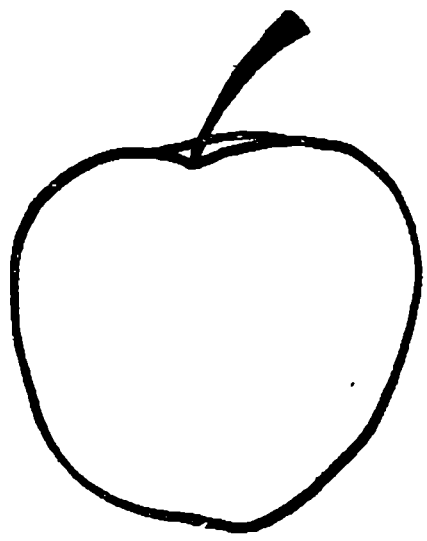
Уголь был сильно спрессованной смесью мертвых деревьев, и цветов, и кустиков, и травки, и прочего, с примесью навоза динозавров.

Килгор Траут размышлял о воплях паровых свистков и разрушении Западной Виргинии, из-за чего свистки и смогли распевать во все горло. Он думал, что эти душераздирающие вопли унеслись в межзвездное пространство вместе с теплом. Но он ошибался.

Как и у большинства писателей, занимающихся научной фантастикой, у Траута было весьма слабое представление о науке, а технические подробности нагоняли на него сон. Ни один вопль свистка не мог унестись особенно далеко от земли вот по

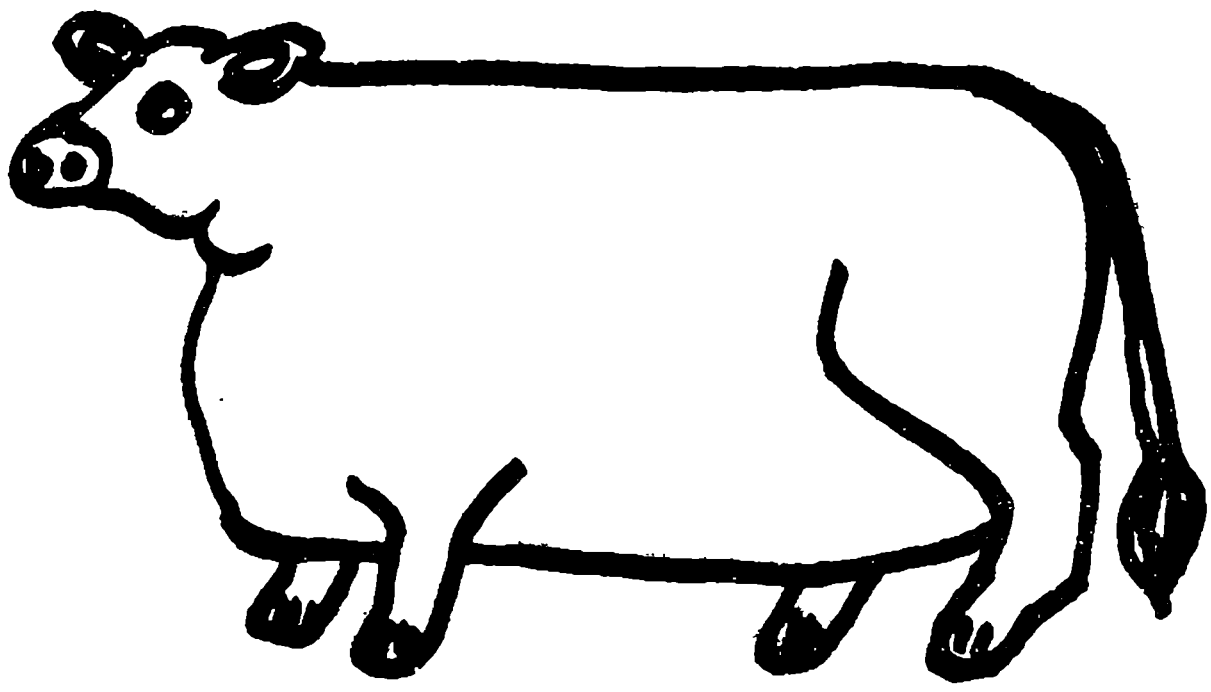
какой причине: звук может распространяться только в атмосфере, а земная атмосфера по отношению к Земле — тоньше яблочной кожуры. Дальше идет почти полный вакуум.

Яблоком назывался всеми любимый фрукт, который выглядел так:



Водитель любил покушать. Он заехал в закусочную Макдональда. Тогда было много разных заведений, торговавших рубленными бифштексами. Одна компания была «Макдональд». Другая — «Бургер-Шеф». Двейн Гувер, как уже говорилось, владел лицензиями на несколько «Бургер-Шефов».

Рубленые бифштексы приготовлялись из животного, которое выглядело так:



Животное убивали и перемалывали в фарш, потом делали из него котлетки, поджаривали их и закладывали между двумя кусками булки. Конечный продукт выглядел так:

А Траут, у которого денег почти не осталось, заказал чашку кофе. Он спросил старого-престарого деда, который сидел рядом с ним за столом, работал ли он в шахтах. Старик сказал так:

— С десяти и до шестидесяти двух.

— Рады, что избавились? — сказал Траут.

— Господи,— сказал старик,— да разве ж от них избавишься — даже во сне покоя нет. Я и во сне уголь рубаю.

Траут спросил его, как он смотрит на то, что работал в промышленности, которая ведет к полному уничтожению окружающей местности, и старик сказал, что всю жизнь так изматывался, что ни о чем таком и не думал.

— Да ведь все одно, задумываться или не задумываться,— сказал старый шахтер,— если то, о чем думаешь, не твое.

Он напомнил, что все права на полезные ископаемые во всей округе принадлежали железорудной и каменноугольной компании Розуотера, которая приобрела эти права вскоре после Гражданской войны.

— По закону получается,— продолжал он,— что если человек имеет собственность под землей и хочет до нее добраться, вы обязаны дать ему возможность смести к чертовой матери все, что находится между поверхностью и этой его собственностью.

Траут не увидел никакой связи между железорудной и каменноугольной компанией Розуотера и Элиотом Розуотером, своим единственным поклонником. Он по-прежнему думал, что Элиот Розуотер — подросток.

А дело было в том, что предки Розуотера были одними из главных виновников уничтожения земли и людей в Западной Виргинии.

— И все же как-то несправедливо получается,— сказал старый шахтер Трауту,— когда один человек имеет собственность под фермой, или рощицей, или под домом другого человека. И каждый раз, когда ему нужно достать из-под всего этого свою собственность, он в полном праве снести все, что стоит наверху, лишь бы до своего добраться. Живут люди на поверхности, а их права гроша ломаного не стоят по сравнению с правами хозяина того, что под ними лежит.

Он стал припоминать вслух, как он вместе с другими шахтерами пытался заставить железорудную и каменноугольную компанию Розуотера обращаться с ними по-человечески. Они устраивали маленькие войны с частной полицией компании, с полицией штата, с Национальной гвардией.

— Я никогда в глаза не видал ни одного Розуотера,— сказал он.— Но Розуотер всегда брал верх. Я ходил по Розуотеру. Я копал норы в Розуотере для Розуотера. Я жил в домах Розуотера. Я ел харчи Розуотера. Я выходил на борьбу с Розуотером, кто бы он там ни был, и Розуотер всегда меня разбивал в пух и прах, живого места не оставлял. Спросите здесь любого, и он вам скажет: для них весь мир — это Розуотер.

Водитель грузовика знал, что Траут едет в Мидлэнд-Сити. Он не знал, что Траут — писатель и едет на фестиваль искусств. Траут считал, что честному рабочему человеку нет дела до искусств.

— С чего бы это человеку в здравом уме и твердой памяти ехать в Мидлэнд-Сити? — поинтересовался водитель грузовика. Они уже ехали дальше.

— У меня сестра заболела,— сказал Траут.

— Мидлэнд-Сити — самая вонючая дыра на свете!

— Мне всегда хотелось узнать, где именно эта дыра.

— Если она не в Мидлэнд-Сити, то уж наверняка в Либертивилле, штат Джорджия,— сказал шофер.— Бывали в Либертивилле?

— Нет,— сказал Траут.

— Меня там арестовали за превышение скорости. У них там была устроена ловушка, где вдруг ни с того ни с сего надо было сбросить скорость с пятидесяти до пятнадцати миль в час. Я прямо взбесился. Перекинулся парой теплых слов с полисменом, вот они меня и упекли в кутузку. Там у них главная промышленность — превращать старые газеты, журналы и книжки в кашу и делать из этой каши новую бумагу,— сказал шофер.— Поездами и самосвалами туда целый день подвозили сотни тонн разной макулатуры.

— Угу,— сказал Траут.

— А при разгрузке халтурили, так что куски книг и журналов и все такое носилось по всему городу. Если вам вдруг захотелось бы собрать библиотеку, вы могли пойти на товарную станцию и унести оттуда сколько угодно книжек.

— Угу,— сказал Траут. Впереди показался белый мужчина с поднятой рукой, рядом с ним стояла беременная жена и девять ребятишек.

— Вылитый Гари Купер, а? — сказал шофер про «голосующего» мужчину.

— Да, похож, похож,— сказал Траут. Гари Купер был кинозвездой первой величины.

— В общем, у них, в Либертивилле, была такая пропасть книг, что они давали в тюремные камеры книги вместо туалетной бумаги. Они меня замели в пятницу под вечер, так что суд мог состояться не раньше понедельника. Так и пришлось мне сидеть в тюряге двое суток, а заняться было нечем — разве что читать свою бумагу для подтирки. До сих пор помню одну книжонку, которую я там читал.

— Угу,— сказал Траут.

— Это последняя книжка, которую я читал,— сказал шофер.— Батюшки, а ведь с тех пор прошло не меньше пятнадцати лет! Это был рассказ про другую планету. Дурацкая история. У них там было полно музеев, набитых картинами, а правительство пользовалось чем-то вроде рулеточного колеса, чтобы решать, что принимать в музей, а что выбрасывать.

На Килгора Траута внезапно накатило, как тошнота, ощущение, которое называется déjà vu — «я это уже видел». Шофер напомнил ему о книге, которую он сам не вспоминал годами. На туалетной бумаге в тюрьме Либертивилля, штат Джорджия,

был напечатан рассказ «Стоп-Крутила из Баньяльто, или Шедевр этого года». Автор — Килгор Траут.

Планета, на которой происходили описанные в книге события, называлась Баньяльто, а Стоп-Крутилой называлось официальное лицо, которое один раз в году раскручивало «колесо удачи». Граждане сдавали правительству произведения искусства, и каждому произведению присваивался порядковый номер, а затем Стоп-Крутила крутил колесо — и оно выбрасывало номер и цену данного произведения искусства.

Но главным персонажем книги был не Стоп-Крутила, а скромный сапожник по имени Гуз. Гуз жил в одиночестве, и он нарисовал свою кошку. Это была единственная картина, которую он нарисовал. Он отнес ее Стоп-Крутиле, а тот повесил на нее номерок и сдал на склад, забитый произведениями искусства.

Картине Гуза в лотерее сказочно повезло: ее оценили в восемнадцать тысяч ламбо, примерно миллиард долларов на наши деньги, правда, львиную долю этой суммы тут же забрал налоговый инспектор. Рисунок был вывешен на самом почетном месте в Национальной галерее, и люди становились в многомильные хвосты, чтобы взглянуть на рисунок ценой в миллиард долларов.

Был также устроен огромный костер из тех произведений искусства, которые, по мнению рулетки, ничего не стоили. А потом обнаружили, что рулетку кто-то нарочно испортил, так что она сдала, и тогда Стоп-Крутила покончил с собой.

Поразительное это было совпадение — водитель грузовика, оказывается, читал книгу Килгора Траута. Траут никогда в жизни не встречал ни одного своего читателя и теперь отреагировал на это очень занятным образом: он не признался, что книга — его детище.

Водитель обратил внимание Траута на то, что на всех почтовых ящиках по дороге — одна и та же фамилия.

— Вот еще один,— сказал он, указывая на почтовый ящик, который выглядел так:

Грузовик проезжал по тем местам, откуда были родом приемные родители Двейна Гувера. Они добрели до Западной Виргинии, до Мидлэнд-Сити времен первой мировой войны в надежде нажить состояние на Автомобильной компании Кицлера, которая выпускала самолеты и грузовики. Попав в Мидлэнд-Сити, они официально переменили фамилию Гублер на Гувер, потому что в Мидлэнд-Сити было полно чернокожих, которых звали Гублерами.

Однажды приемный отец Двейна Гувера дал ему такое объяснение:

— Просто податься было некуда. Здесь все давно привыкли, что Гублер — фамилия черномазых.

(Окончание следует)

Т. БАЛАШОВА

В ЦЕНТРЕ СПОРА— ПОЭЗИЯ

Бывают юбилейные даты, взрывающиеся грохотом споров. Значит, исподволь копилась энергия разных полюсов, ждала лишь повода, чтобы вырваться и прорезать яркими лучами сумрак недоговоренного, непроясненного.

Литературная Франция отмечала в 1974 году такой юбилей — юбилей поэзии Сопротивления [1]. Поэтические жанры не раз оказывались в эпицентре эстетических споров — и когда шли дискуссии о сущности символизма или перспективах футуризма, и когда искали критерии для оценки творчества крупнейших мастеров социалистического реализма — Маяковского и Неруды, Элюара и Арагона, Незвала и Тувима. Поэзия всегда на магистральных путях новаторства. 1974 год приковал внимание к ярчайшему моменту в жизни французской поэзии, когда она заняла свое место на баррикадах борьбы против фашистских оккупантов.

Год тысяча девятьсот семьдесят четвертый неумолимо возвращал нас к финальному этапу второй мировой войны. Над Софией, Прагой, Бухарестом, Белградом, Парижем, Брюсселем взвились в 1944-м знамена свободы. Изъеденная язвами неслыханных преступлений шагреневая кожа фашизма корчилась, съеживалась в пламени праведного мщения. Тысяча девятьсот семьдесят четвертый и семьдесят пятый заставляют подводить итоги, анализировать причины, искать ошибки. Чтобы ход мирной разрядки оказался необратимым — так хотят миллионы. Чтобы колесо истории завертелось вспять — этого хотят немногие, но опасные в своем фанатизме наследники Гитлера. Они тоже подводят итоги, анализируют причины, ищут ошибки, удивляются: как могло случиться, что прекрасно отлаженная военная машина расизма, подчинив себе пол-Европы, вдруг завязла под Москвой, Ленинградом, Сталинградом? Нацисты используют юбилейный рубеж для пропаганды расистских теорий и дискредитации позиции человеческой ответственности: в 30 километрах от Маутхаузена развернута подобострастная экспозиция «Вермахт во второй мировой войне», на витринах некоторых магазинов ФРГ порнография потеснена «документальной» прозой: палачи-пенсионеры вспоминают, как тяжела роль истязателя, как горько выполнять приказы, как хотелось им тогда — вместо всего этого — ласкать детей, разводить цветы, слушать фуги Баха.

Свою лепту в реабилитацию фашистской идеологии, к сожалению, внесла и культура. Профессор Н. Молчанов на страницах «Литературной газеты» недавно рассказал о позорных явлениях ретроискусства, маскирующих преступление слезливыми причитаниями по поводу общечеловеческой склонности к насилию.

Литература на войне, литература о войне — стоит произнести эти слова, и сразу всплывает вопрос-айсберг: как вообще искусство соприкасается с историей. Именно поэтому передовые деятели культуры Франции решили отметить еще один, уже «литературный» юбилей.

В 1944 году, когда отложили оружие франтиреры и макизары, вернулась из маки поэзия. Но... куда вернулась? Что оставила? С чем распрощалась? Что вообще нужно поэзии, если она хочет быть услышанной? Вопросы затрагивают суть искусства.

Ведь сказал же Ж.-П. Сартр, что «литера-

---

[1] Литература французского Сопротивления широко известна в нашей стране. Только недавно вышли две книги: «Литература антифашистского Сопротивления». М., «Наука», 1972, и «С Францией в сердце. Французские писатели и антифашистское Сопротивление». М., «Прогресс». 1973.

тура Сопротивления не породила ничего крупного», ведь убежден же именитый историк литературы Андре Руссо, будто только после войны поэзия занялась своим истинным призванием — лелеять слово; ведь названы же — черным по белому — в десятках монографий классические произведения военных лет всего лишь «патетическими документами», абсолютно чуждыми духу поэтической новизны. И это о «Свободе» Элюара, о «Броселиандском лесе» Арагона, о «Людях и нелюдях» Пьера Реверди. Речь идет, таким образом, о шкале ценностей — художественных и духовных. Можно замолчать это противостояние эстетических полюсов, а можно общенародно обнажить все противоречия, начав дискуссию.

«Диспут о Сопротивлении и литературе» — так называлась одна из массовых встреч, организованных в сентябре 1974 года на традиционном празднике газеты «Юманите». Зеленая поляна за павильоном Городка книги, грубо сколоченные длинные скамьи, которых не хватило собравшимся; молодежь (аудитория в основном молодежная) расположилась прямо на траве, поторопившись занять островки поближе к самодельной эстраде. Там за столом — советский писатель Константин Симонов, французские историки Фернан Гренье и Ален Герен, издатель Мадлен Брон, поэты Пьер Сегерс и Жак Гошрон. Из зала с помощью переносного микрофончика задают запальчивые вопросы: можно ли ограничивать права писателя на публикацию произведения? Почему в 1945-м казнили коллаборациониста Бразийяка, ведь он был отменным стилистом? Неизбежны ли антинемецкие интонации в антифашистской публицистике? Разве тема стихотворения может влиять на мелодику стиха? Зачем связывать «новое» с идеологической позицией или даже авторской мыслью, если новаторской бывает только форма? Реплики-возражения летят с разных концов поляны (уже без микрофона), постепенно сливаясь в темпераментные ответы-выступления ведущих дискуссию. «Я отказываюсь одинаково уважительно относиться к свободе воспевать народ и к свободе проповедовать фашизм!» — восклицает под всплеск аплодисментов Ален Герен.

Диспут закончен, а молодежь расходится неохотно. Взбудораженная мысль будет искать пищи и потом — в университетских аудиториях, тишине библиотечных залов, у стендов книжных магазинов. Те, кого увлекла эта интереснейшая дискуссия, наверно, поспешили купить на празднике «Юманите» два — тоже юбилейных — издания: книгу Пьера Сегерса «Сопротивление и его поэты» и специальный номер журнала «Эроп» — «Поэзия и Сопротивление» [1].

Поэзия избрана здесь для разговора о миссии писателя в современном мире.

Пьер Сегерс, известный поэт, критик, издатель, «долго колебался, прежде чем написать эту книгу. Все тридцать лет». Его книга увлекает достоверностью. Точно выверенные даты, тщательно описанные факты, подлинные имена героев и их палачей, страшные документы вишистского идолопоклонства и обнаглевшего нацизма — распоряжения Гитлера и Гиммлера, математические прикидки, какое количество человеко-единиц надлежит уничтожить в странах Европы. Самая крупная цифра — против графы «СССР».

Сегерс вспоминает смятение, охватившее французскую интеллигенцию в момент заключения советско-германского пакта о ненападении,— вспоминает, чтобы объяснить и это смятение, и необходимость той отсрочки: «Огромная необъятная Россия должна была выиграть время, пространство и любой ценой предотвратить худшее. Более 15 миллионов погибших и взятие Берлина пять лет спустя подтвердят это».

Четко прорисована в книге «одна из ключевых, одна из осевых дат истории... 21 июня 1941-го Гитлер приступил к операции «Барбаросса»... Тем самым фюрер подписал себе смертный приговор». И не менее четко другая — «2 февраля 1943-го под Сталинградом армия Советского Союза повернула судьбу мира и изменила лицо Истории». Потом открытие второго фронта, высадка английских и американских войск в Нормандии, освобождение Парижа.

«Но при чем тут поэты, спросите вы»? — несколько раз останавливает себя автор, словно слышит давно готовые возражения. И отвечает: «Стоит ли в работе, посвященной поэзии тех лет, извиняться, если воссоздаешь условия, то есть факты и документы, предопределившие характер, движение времени?..» «Поэзия Сопротивления — явление в равной степени историческое и литературное; она неотделима от породивших ее обстоятельств».

Обстоятельства — это и насаждаемая идеология человеконенавистничества, и подъем народного возмущения, и деятельность подпольной коммунистической партии, и сеть конспиративных печатных изданий, предоставлявших трибуну поэзии, потому что она мешала «распространять расистскую концепцию мира... развращать умы, разлагать души, ломать человеческую волю».

Литературная история Франции 1939—1945 годов запротоколирована Сегерсом столь же обстоятельно. «Первая работа такого решительного размаха»,— скажет о ней другой поэт, сподвижник Сегерса Жак Гошрон. «К этой ключевой работе будут теперь обращаться беспрерывно»,— так оценил книгу незадолго до своей кончины директор «Эроп» Пьер Абраам. Но «протокол», который ведет Пьер Сегерс, далек от хладнокровной констатации, от сухого сообщения. При всей хронологической точности рассказ Сегерса лирически взволнован, порой патетичен. Да и может ли быть иначе?

Сегерс первым — в 1939 году — начал собирать поэтические силы, его энергией держались издания «Поэт каскэ» и «Поэзи», а позднее многотомная библиотечка «Поэты сегодняшнего дня». «Только Сегерс мог написать подобную книгу»,— уверен Жак

---

[1] Pierre Seghers. La Résistance, et ses poètes. P., 1974; La Poésie et la Résistance, "Europe", 1974, juillet-août.

Гошрон. Сегерс причастен к деятельности подпольных «Эдисьон де минюи» и «Библиотек франсэз», к подготовке легендарной антологии «Честь поэтов» и поэтических сборников, которые тайком ввозили из Швейцарии. Он, как и сотни французских патриотов, рисковал своей жизнью, зная, что, прежде чем собрать урожай разумного, доброго, вечного, надо провести сев. Сеятелей подстерегали Освенцим и Бухенвальд. Как разделить, как развести к разным берегам (вот история, вот поэзия) судьбы смельчаков, поплатившихся за право сеять...

В одном сражении, во имя одного правого дела погибли члены ЦК ФКП Габриэль Пери и Пьер Семар, философы Жак Декур и Жорж Полицер, поэты Робер Деснос, Пьер Юник, Жан Прево, Андре Шеневьер. Поэты делили с согражданами горький хлеб тюремных камер и концентрационных лагерей — и в стихах звучала боль, тревога, убежденность несдавшегося народа. Границ между историей и поэзией, кажется, не существовало. Не случайно же Арагон сделал рефреном своей знаменитой «Баллады о том, кто пел во время казни» слова из предсмертного письма Габриэля Пери, а Жан Марсенак превратил в поэтическую строку реплику Валентина Фельдмана, обращенную к немецким солдатам за минуту до расстрела:

Глупцы, за вас я умираю...

Может быть, даже сам Сегерс не почувствовал глубины этих настойчивых ассоциаций, пронизывающих его книгу: поэзия питалась мыслями и надеждами всех, кто готовил Сопротивление, кто мечтал о будущем, кто шел за него умирать. Коммунисты Жак Декур и Габриэль Пери, студент-католик Роже Перонно, ученый-физик Фернан Гольвек, отказавшийся выдать оккупантам секретную документацию Национального центра научных исследований, моряки, взорвавшие флот в Тулоне, и бойцы Иностранного легиона во главе с армянином Мисаком Манушьяном,— каждый из них имеет прямое отношение к поэзии чувств, поднимавшей людей на борьбу, а значит, и к поэзии Сопротивления.

Вторая часть книги — антология (более 100 имен!), объединившая классические строфы Арагона, Элюара, Жува, Десноса, Кэйроля, Вильдрака, Кассу, Риффо с анонимными стихами, присланными из концентрационных лагерей. Поэтому подборка, осуществленная Сегерсом,— единственная в своем роде — производит потрясающее впечатление. Вспоминаются слова Ф. Мориака: «Никогда во Франции не было так много поэтов, как в те черные годы». Поистине мощны раскаты этой «всеобщей песни», как называет Пьер Сегерс, повторяя слова Пабло Неруды, поэзию Сопротивления. Но еще больше впечатляет та поэтическая антология, которая развертывается автором в первой части — прямо по ходу документального изложения.

Хронологический принцип введения того или иного стихотворного фрагмента несколько непривычен: часто определяющей является для Сегерса дата знакомства с текстом — когда он получал запоздавший журнал или очередную листовку, слышал стихи в устном чтении и т. д.

Временная сбивчивость искупается силой впечатления — ощущаешь, как героически, преодолевая барьеры, шли стихи к читателю, как ждали их, как радовались встрече с поэтической строкой — строкой боли или надежды.

Редко кому удается столь гармонично сплавить рассказ о поэзии с рассказом о том, что ее пробуждало к жизни и кого она пробуждала к действию.

Картины отчаянного исхода, женщины, дети, мечущиеся под бомбами,— и «Богоматерь исхода» Лоиса Массона, «Жалоба шарманки» Арагона:

Под поклажею женщины гнутся,
Дети с плачем — игрушек им жаль—
К матерям обессилевшим жмутся.
Дети плачут—игрушек им жаль,—
И глядят их глаза удивленно
В беззащитную синюю даль.

(Перевод Ю. Корнеева)

Без боя сданный Париж — и трагический голос Мадлен Рено, читавшей 28 сентября 1940 года в «театр франсэз» «Сирень и розы»; расстрел заложников в Шатобриане — и леденящие строки «Октября» Сегерса («Я не мог сдержать крика. Поэма вырвалась из меня в тот же день»); объявления оккупационных властей о расстрелах — и лаконичное, как эти страшные листки на стенах, «Объявление» Поля Элюара:

Была эта ночь перед казнью
Самой короткой в жизни
Он был еще жив и сердце
Сжималось от этой мысли
Тяжесть собственной силы
Камнем легла на плечи
На дне этой черной муки
Он вдруг улыбнулся ясно
Не ОДИН у него товарищ
Миллионы их миллионы
Они отомстят он верил
Для него заалело утро.

(Перевод М. Ваксмахера)

Можно как угодно объяснять появление многочисленных поэтических строф в первой части книги Сегерса — иногда они нужны автору, чтобы живее воскресить само событие, иногда — чтобы показать быстроту реакции поэта. В любом случае взаимосвязанность истории и поэзии продемонстрирована как бы изнутри, строфы всплывают с неумолимой необходимостью: они нужны на этих страницах так же, как были нужны тогда, на страницах подпольных и полулегальных изданий.

Сегерс предпочитает позицию очевидца позиции исследователя. Он только выстраивает факты, воспроизводит давно забытые публикации. Среди них — ключевые поэтические манифесты: «Манифест французской школы», призвавший защитить «нашу землю, наши села, нашу душу, наши верования, наш язык, французский гений и самое таинственное в нем — поэзию», знаменитое

Т. БАЛАЩОВА
В ЦЕНТРЕ СПОРА — ПОЭЗИЯ

предисловие Элюара к «Чести поэтов», темпераментные статьи тех лет «О вооруженной поэзии», «Кто спасет человека — спасет поэзию», «Поэзия и революция» и другие. Рядом приводятся письма, которые Сегерс получал от сподвижников.

Так, Жан Тардье писал Сегерсу в июне 1943 года:

«Поэзия — даже самая интимная, обнаженная — не может уединяться. Вернее, мы не можем уединяться, не имеем права позволить себе уединяться ради себя; можно уединиться только **ради других...** Когда идешь незнакомой дорогой, страдаешь, мучаешься, то в итоге все твои вопросы, все твои поиски должны вывести тебя к кому-нибудь. Иначе зачем писать?»

Это и кредо самого Сегерса:

«Поэтам пора осознать власть свою и свою роль. Поэзия — это оружие... Очевидцы эпохи, поэты должны быть вместе с ней, опережать ее, действовать, спасая немеркнущие ценности, поддерживать, оживлять надежду».

Сегерс уверен, что поэзия должна сражаться за человека всегда, что эпоха Сопротивления научила поэтов гражданственному пафосу, который не иссякает. «Конечно, можно посвятить жизнь поэзии, но я в первую очередь посвятил бы жизнь защите человека, защите жизни»,— спорит с невидимым собеседником Пьер Сегерс, почти повторив тем самым знаменитое некрасовское: «Поэтом можешь ты не быть...». Сегерс не задерживается на доказательствах эстетической ценности большинства книг, родившихся в подполье или в полулегальных условиях. Ему кажется более существенным показать, как тянулись тогда к поэзии самые «прозаические» натуры и как пробуждалась активность в самых аполитичных душах. Завершая свой этюд, автор уточняет:

«Критики скажут мне: «Ну хорошо, а открыли ли вы новые имена? Настоящих поэтов?» На что я ответил бы: «Я заново открыл людей. А что такое, по-вашему, настоящие поэты?»

Главная мысль Сегерса — искать Человека, искать Патриота, кем бы ни был он — поэтом или шахтером. Автор учит гражданственному долгу поколение, которое не знало войны, но которое может узнать ее, если уроки Сопротивления предать забвению.

На памяти нового поколения — трагедия Чили. Сегерс решительно трогает эту струну, зная, что на нее должны откликнуться юные сердца. «От Испании 1936—1939 годов к Чили 1973-го — неужели все тот же процесс? Кто знает — может быть, без помощи союзников, без Сопротивления Францию и французов ждала бы та же судьба?.. Неограниченная личная власть, прикрытая пародией правосудия, стадионы, превращенные в поле для расстрелов... человек и сегодня платит дорогой ценой за желание жить свободно и достойно».

Вот почему эту книгу автор писал в первую очередь для тех, «кто ничего не знает или хочет забыть. И если скажут мне — зачем ворошить пепел, я отвечу: для меня, **как и для многих других,** пепел этот еще горяч, это пепел моих погибших друзей, моих близких. Забыть? Все стереть, а потом начать снова? Нет! Я привожу вам доказательства. Я рассказываю историю совсем недавнюю, всю в крови, ее брызги попадают еще на ваши лица. Завтра в опасности могут оказаться ваш отец, ваша жена, ваш сын. Кому же, как не вам, думать об этом?»

Книга «Сопротивление и его поэты» обращена к историческим урокам национальной трагедии, в которой сыграли почетную роль писатели.

Другая книга — «Поэзия и Сопротивление» обращена скорее к эстетическим итогам истекших лет.

Если Пьер Сегерс, верный избранному документальному жанру, избегает далеко идущих обобщений, то специальный номер журнала «Эроп» объединил научно-исследовательские этюды, посвященные эволюции французской поэзии 1936—1945 годов. Ключевым остается, как и для Сегерса, вопрос об отношении искусства к истории, к действию. В этом номере читатель найдет неопубликованные стихи, документы героических лет, монографические эссе-портреты (Даниэля Леверса о Пьере Жане Жуве и Жане Кассу, Раймона Жана о Рене Шаре, Жерара Мило о Жаке Лоране, Жаклин Брюлер о Веркоре); воспоминания о погибших друзьях (Жоржа Коньо, Франсуазы Леклерк); очерки о целой армии печатников подполья (Поля Шове — «Сыновья Гутенберга» или Ги Мореля о журналах «Поэт каскэ» и «Поэзи»); стихи немецких антифашистов, ушедших во французское маки, безымянные песни Сопротивления (публикация Моники Уссен и Жозе Товар-Эстрада) и даже полный список Отто — позорный список запрещенных во время оккупации книг.

Как и книга Сегерса, августовский номер журнала «Эроп» — ценнейший источник информации, к помощи которого не раз будут прибегать историки литературы.

Но подлинным событием литературной жизни Франции 1974 года это издание стало именно потому, что задело главный нерв отношения искусства к истории. Что значит этот термин — поэзия Сопротивления? Может ли поэзия быть в стороне от борьбы? Бывает ли искусство, которое ничему не сопротивляется? Рецензия, появившаяся в «Юманите» (18 июня 1974 г.), повторила вывод, к которому пришел авторский коллектив журнала. Андре Вюрмсер писал: «Не было тогда другой истинной поэзии, кроме поэзии Сопротивления». И этот завет должна сохранить поэзия сегодняшнего дня.

Посмертно опубликованный текст директора «Эроп» Пьера Абраама назван «Les Transmissions»: цель существования человека и поэта — передавать (transmettre) что-то другим людям — надежду, тепло, ласку, тревогу.

Поэт Сопротивления Жан Марсенак, продолжив эту мысль, назвал поэзию «наукой о самом необходимом». Был хлебный паек и был паек поэтический, оба — чтобы выжить! Один из вдохновителей сопротивляющейся поэзии Макс-Поль Фуше вспоми-

нает сегодня о той эпохе, когда «заманчивые и пустые индивидуалистические игры уступили место Долгу, несовместимому с формализмом». Писатель нового поколения Роже Бордье (член редколлегии «Эроп» и один из руководителей Союза писателей) вступает в спор с концепцией элитарности искусства, согласно которой «меж необходимостью, управляющей человеком, и произвольностью, управляющей искусством, диалог невозможен». Припомнив речение Андре Бретона: «Нет капкана для голубой лисицы», Роже Бордье иронически рисует ситуацию, милую сердцу поборников элитарной поэзии:

«Удивленные, равнодушные, скептические или раздраженные массы бродят вокруг голубой лисицы, не решаясь ее приручить. А лисица все-таки пишет для них,— продолжает Роже Бордье,— часто о них. И надо помнить: когда лисицу и толпу опрокинет буря, о приручении позаботится История».

Бордье заставляет принять как аксиому, что родиться поэтом ничуть не почетнее, чем каменщиком. Гениальными бывают люди, а не профессии. Но если нет особой грани меж поэзией и человеческой деятельностью другого рода, продолжает Бордье, «чем же доказано, будто поэзия деградирует, **идя к народу** (выделено мной.—Т. Б.)? Все зависит от того, **как к нему идти**». В своих стихах Элюар и Кэйроль, Сюпервьель и Гильвик, Пьер-Жан Жув и Массон обращались к тысячам патриотов на высоком языке гражданственности и поэтического вдохновения.

На вопрос «как идти к народу» отвечала поэзия Сопротивления — «прекрасная поэзия, рожденная во тьме ночи,— пишет Бордье,— но несшая молодому поколению дневной свет». На него отвечали и великие поэты Франции минувших столетий, уверенные, как и Виктор Гюго, что «словами «свободный народ» неплохо кончить строфу».

Эти слова Гюго Роже Бордье вынес в заглавие своей статьи, утверждающей долг поэта идти к читателю, чтобы читатель испытал потребность шагнуть к поэзии.

Жак Гошрон, открывая номер журнала статьей «Решающий момент французской поэзии», подходит к этой актуальной проблеме — история и поэзия, читатель и писатель — уже не публицистически, а теоретически, пытаясь выявить ключевые закономерности поэтического развития. Эссе Гошрона, талантливого поэта и критика, полемично от начала до конца. Он все время, как и Сегерс, ощущает противника, предвидит его возражения, оттачивает собственные аргументы. Он спорит с Ж.-П. Сартром, с Пьером Эмманюэлем, сожалевшим, что кончилась героическая ситуация, когда возможно было братство поэтов; с Андре Руссо, объявившим дух партийности порождением «усеченной человечности». Младший коллега Ж. Гошрона Ги Морель добавляет к этому списку оппонентов главу школы неосюрреализма Жана Шюстера, опозорившего себя в 1965-м предисловием к переизданию коллаборационистской книжонки Б. Пере «Бесчестие поэтов». Он же **оспаривает вывод авторов «Учебника по литературе XX века»** (1967), где «Глаза Эльзы», «Паноптикум», «Французская заря» Арагона, «Поэзия и правда» Элюара появляются только как «волнующее напоминание о том периоде, когда большинство поэтов хотели сделать свое творчество ангажированным. После войны Тайна вернула себе права».

Вот с этого уточнения — что же такое **период** поэзии Сопротивления? к чему должна вернуться литература? — и начинает свое научное аргументированное наступление Жак Гошрон.

Действительно, в узком значении слова можно вычленить **период** поэзии Сопротивления, который Гошрон открывает не моментом «странной» войны, а войной за республику в Испании. Именно тогда возникло «соответствие между напряжением антифашистским и напряжением поэтическим», свойственное очень многим, ранее индивидуалистически настроенным литераторам. Трагическими буднями оккупации это напряжение, конечно, было усилено. Но ведь слишком часто исследователи повторяют слова «поэзия Сопротивления», подразумевая, что **такая** поэзия должна умереть вместе с Освобождением. Вот здесь и находится, по существу, эпицентр идеологических расхождений, которые определились задолго до юбилейного, 1974 года.

Подобные исследователи, говорит Жак Гошрон, мечтали после войны «все вернуть на свое место, навести порядок, будто ничего не произошло»; им «подозрительно любое убеждение», они бросали тень на «новую поэзию, истинно авангардную, пугали новыми ужасами, воскрешали былой скепсис». Им было удобно замкнуть идею гражданственности скобками исторических границ — от сих до сих можно быть политическим поэтом: что поделаешь, война! — а дальше уж дайте дорогу поэтической Тайне, поэтической Темноте. Жаку Гошрону кажется, что даже Пьер Сегерс недостаточно подчеркнул вечное стремление истинной поэзии быть голосом родины, народа. Гошрон подходит к центральной мысли своего этюда:

«По сути, нет особой «поэзии Сопротивления». Французская поэзия продолжает и развивает в те годы размышления о смысле собственного существования. Поэзия Сопротивления — это лицо всей французской поэзии». И дальше: «Нельзя не видеть, что поэтическое обновление, вызванное историческими событиями, есть продолжение и выявление магистральных потоков, не раз поднимавшихся на поверхность нашей поэтической истории». «Поэтическое обновление» — не случайное у Гошрона сочетание слов: шедевры антифашистской поэзии поражают до сей поры новизной чувств и поэтических образов. Считать, будто острота этих чувств, напротив, убивала образность, значит фальсифицировать глубинный закон искусства.

Гошрон вспоминает, что первая волна таких споров набежала на берега литера-

---

Т. БАЛАШОВА
В ЦЕНТРЕ СПОРА — ПОЭЗИЯ

турного Парижа сразу после Освобождения.

Тогда, идя наперекор новым увлечениям герметизмом, поэт-коммунист Тристан Тцара опубликовал статью (она перепечатана сейчас журналом «Эроп»), где рассматривал состояние «ангажированности» как самую полную, многостороннюю реакцию художника на все происходящее в жизни. Только произведение, далекое сразу и от навязчивого дидактизма, и от парнасского равнодушия — уточнял Тцара,— будет произведением действительно пережитым, будет помогать «познанию, вместо того чтобы прозябать на уровне смутного занятия эстетическими проблемами». В те же годы критик Жан Перюс повел открытый бой против тех, кто держался за идею особой поэзии, возникшей после 1940 года при оккупации и исчезнувшей с Освобождением, «что-то вроде морщинки на лице чистой поэзии... Скажем прямо,— писал Жан Перюс,— нет, не поэзия Сопротивления находится за скобками нашей поэтической традиции. За этими скобками — поэзия герметическая, ограничившая себя узкими эстетическими изысками».

Жак Гошрон видит те нити, которые протянулись от лет войны к нашим дням,— поэзия, научившаяся сражаться в маки, не хотела рвать узы, связавшие ее с народом, не хотела демонстрировать равнодушие к его бедам и его борьбе. А народы снова воевали — за мир, за национальную независимость, за социальную справедливость. Авторы этого специального номера «Эроп» напоминают, что прежний враг еще не сложил оружия — только поторопился надеть маску. Но временами маска соскальзывает, и мы видим, как с возмущением констатирует, например, Ги Морель, щупальца свастики на изящных обложках карманных книг, утопаем в сентиментальных воспоминаниях жены дуче или любовницы фюрера, слышим философические исповеди тех, кто хладнокровно расстреливал детей. «Эсэсовец разлегся на диване в кабинете психоаналитика и стал очень словоохотливым». Поэзия снова должна звать к бдительности, тревожить умы современников.

Верный теоретическому ракурсу, избранному для своего этюда «Решающий момент французской поэзии», Гошрон не останавливается на этой категории долженствования. Его интересует, как идейное обновление отразилось на творческом методе, какие неожиданные грани приобрел «реализм в поэзии».

Первый аспект, который Гошрон считает нужным выделить,— появившееся тогда ощущение, что мало сказать о существовании зла или описать чудовищную реальность. Назревала потребность объяснить его происхождение и прочертить перспективу. «В те черные годы быть реалистом значило решительно повернуться лицом к будущему, пропустить через себя эту диалектику эпохи, в которой истинно не только то, что видишь, но и то, о чем догадываешься».

Для такого нового реализма (Гошрон не называет его социалистическим, но говорит, конечно, именно о нем) характерно «реалистическое пророчество», которое помогает из ада, бушующего вокруг, перебросить мост к едва определившейся пока «реальности надежды». «Кто вообразил,— полемически восклицает Жак Гошрон,— будто реализм в поэзии обязательно подслеповат? Нет, он отвечает нам залпами из будущего, но ответ этот мы услышим только в том случае, если исследованы новые нюансы ощущений, если они соответствуют реально пережитому».

Размышления о реализме неизбежно выводят Гошрона к проблеме пресловутой поэтической темноты. Взяв за отправную позицию строку раннего Элюара: «Речь моя темна: ведь я одинок», Гошрон вслед за Элюаром объясняет затемненность поэтического текста «неумением выработать хотя бы относительно цельное представление о мире, в котором мы живем». Конечно, продолжает Гошрон, бывает плоская ясность, возникающая, когда мозг располагается на отдых, когда господствует умственная леность. В лаборатории поэта грани истины и веры не отшлифованы заранее, там все — поиск на ощупь и мудрость изобретателя. Но если ищешь, если изобретаешь, значит, из тьмы хочешь выбраться к ясности.

Такой поиск уже противоречит формализму, открывает двери к реализму.

Прорыв к ясности, к зрелой мысли или ощущению, которое поэт способен разделить «и с тем, и с этим, и с другим» (П. Элюар),— вот чем дорога современникам поэзия лет Сопротивления, вот чем дорога им и сегодняшняя поэзия, защищающая человеческое в человеке. Не раз критики глубокомысленно советовали поэтам «говорить так, чтобы ничего не сказать». Такой принцип был дискредитирован эпохой Сопротивления.

Спор этот — какой быть современной поэзии: вневременной или чутко прислушивающейся к пульсу истории, ясной или «темной», созданной для утонченных знатоков или для многоликой массы,— продолжается в наши дни на массовых диспутах и в университетских аудиториях, на страницах солидных литературоведческих монографий и газетных полосах. Он идет на разных континентах, на разных языках. И очень хорошо, что юбилейная дата дала нашим французским друзьям повод принять в нем участие, защитить достоинство высокой и чистой поэзии борьбы.

◆

О. РОССИЯНОВ

РЕАЛИЗМ И ОПЫТ ВЕНГЕРСКОЙ КРИТИКИ

Годы так быстро отступают в историю — критика едва успевает оценить след их в литературе, вклад в нее, нужный для сегодняшнего и завтрашнего дня.

Кажется, совсем еще недавно кипели в Венгрии страсти вокруг повестей Имре Шаркади, Эндре Фейеша, пьес Ласло Дюрко и Дюлы Ийеша, стихов Ференца Юхаса; обсуждались такие новые произведения прозы, порадовавшей дружными своими всходами, как «Пьяный дождь» Йожефа Дарваша и «Холодные дни» Тибора Череша, «Двадцать часов» Ференца Шанты или «Семья Тотов» Иштвана Эркеня. А нынче волнения уже улеглись, прежние проблемы отодвинулись в прошлое, уступили место другим — и ожиданию: критика порой словно прислушивается, угадывая, что таит, что взрастит новое десятилетие, как будто «семидесятые годы» — не просто календарное понятие, а новый исторический рубеж (как оно, наверное, в чем-то и есть).

Но впечатление, будто прошлое ушло, вместе с тем и обманчиво. В новых проблемах живет, конечно, и «старое». Что-то отложилось в художественном сознании, неустранимо войдя в него, обратясь в незримую, но действующую силу венгерской литературы, фермент ее роста, питающий ожидания и поиски. Попробуем же — по стопам венгерской критики — хотя бы в первом приближении определить, чего добилась в шестидесятых годах венгерская литература: что эстетически созрело, отстоялось в ней, делая вероятным новый, чаемый подъем? И одновременно, неотрывно: что в самих тогдашних литературно-критических спорах до сих пор может дать ей и дает художественную цель и общезначимую перспективу?..

■

Со временем все яснее и виднее, что стержнем и эстетическим существом литературно-критических дискуссий 60-х годов в Венгрии, даже если прямо это не всегда осознавалось, был реализм: отношение к нему, его состояние, пути и судьбы.

Это и понятно: из-за вынужденных задержек, насильственных перерывов в историческом развитии реализм в Венгрии (в своем классическом, не просветительском уже виде) стал вполне складываться и крепнуть лишь с наступлением XX века, на рубежах, на пороге социализма. И собственная его, питаемая демократическими идеями социальная критика совершенно естественно соприкоснулась и стала взаимодействовать с социалистическими и леворадикальными по идеалам, хотя часто не реалистическими художественными исканиями. Вспомним хотя бы творчество Эндре Ади или Лайоша Кашшака, символизм одного и левый экспрессионизм другого, проникнутые социалистически окрашенными коллективистскими чаяниями, своеобразной, иногда отчетливо революционной социально-гуманистической романтикой.

И позже, в 20—30-е годы именно революционные, питаемые социализмом стремления и традиции, «свои» и зарубежные, помогали венгерской литературе преодолевать как идилличность (наследие отечественной консервативной «народно-национальной» школы) или некоторую бытовистскую фактографичность (отчасти свойственную крестьянским, так называемым «народным писателям»), так и голый критицизм «авангар-

дистов» и «урбанистов». Именно во взаимодействии с нереалистическими подчас, но гуманистически активными, социально требовательными художественными течениями реализм, который в этом историческом горниле современной венгерской литературы оказался вопреки всему эстетически особенно стойким и дееспособным, стал приобретать новые качества: начал выплавляться реализм социалистический.

Долгий и непростой, процесс этот в 60-х годах хотя и не завершился (полагать так было бы розовой иллюзией), однако не только не угас (мрачный скепсис маловеров), а, напротив, достиг той исторической полноты, когда достаточно определяется и его логическая эстетическая структура. Выявить ее, подводя к некоторым общим суждениям, освещая новые шири и дали, как раз и позволяют тогдашние критические дискуссии.

И если их подытожить, можно даже выделить несущие, так сказать, узлы структуры, назвать ключевые моменты, раскрывающие внутреннюю динамику венгерской литературы наших дней. Это прежде всего личность автора и проблема героя, соотношение характера и обстоятельств, художественно-выразительные возможности реализма на социалистическом этапе.

■

Впервые знаменательный в этом смысле спор завязался, пожалуй, еще в 1962 году, вокруг творчества только что умершего Имре Шаркади.

Обсуждение его выдавало еще, правда, известное влияние схематизма, иллюстративности. Вместе с тем за ним стояли и такие эстетические вопросы, решать которые литературе и науке о ней под стать было именно на более зрелом новом уровне. Какой мыслим в социалистической литературе психологизм, возможен ли, в частности, душевный надлом героев? И какова при этом роль автора, только ли в героях его позиция выражается?..

Странные, нравственно искривленные, словно незримо покалеченные персонажи Шаркади навели некоторых из критиков раньше всего на заключения об ущербных, анархо-индивидуалистических склонностях автора (Иштван Маркуш). Другие, наоборот — тоже иногда, быть может, с долей преувеличения,— усмотрели в его произведениях (в известной нашему читателю «Трусихе», «Потерянном рае» и других) скорбный суд над тонущими, опускающимися людьми, над их пустой, размагничивающе-бессодержательной жизнью (Миклош Белади, Ласло Б. Надь, Михай Цине; выступившие со своим словом о Шаркади писатели Й. Дарваш, Л. Мештерхази).

Столкновение мнений во всяком случае позволило глубже оценить наследие рано умершего писателя, приоткрыв новые, подмеченные им художественные пути и конфликты. Такой (далеко не столь очевидный тогда!) возможный путь, например,— выражение социальных коллизий и в моральной сфере, через душу человеческую, в том числе душу художника; через внутренние и особенно скрыто будничные, хотя от того не менее трудные переживания.

Психологизм, рамки которого в послевоенной венгерской прозе стремился раздвинуть Шаркади, вообще говоря, может быть разным, порой даже болезненно самодовлеющим; но в данном случае дело было в другом. Бросавшие резкий свет на некоторые не совсем благополучные явления жизни, показывавшие людей не столько дурных, сколько слабых, теряющих себя (такова героиня «Трусихи»), произведения Шаркади обострили прежде всего интерес к человеческой личности, в том числе далеко не идеальной, к психике неустойчивой, ранимой,— и к не всегда устраняемым (хотя устранимым!) причинам ненужных ран. Произведения эти побудили вновь и вновь с непреложностью установить: чем доскональней познается человек, этот первопредмет литературы, тем многосторонней участвует в улучшении общества. Не обязательно только горестное, но обязательно беспредельно и неотступно личное в свой черед внимание к людям, к каждой нравственной судьбе — кровное дело писателя, если он желает врачевать мир.

Естественно, что вскоре — в 1963—1965 годах, в связи с романами «Кладбище железного лома» Эндре Фейеша и «Ты был пророком, милый» Шандора Шомоди-Тота — с неизбежностью встала и более общая проблема характеров и обстоятельств, их глубокой взаимообусловленности, в которой, освещая позицию писателя, преломляется сложно переплетенный социально-исторический и художественный опыт нашего времени.

В обоих взяты казавшиеся парадоксальными для социалистической современности случаи: рабочий — несознательный, скорее полумещанин (Хабетлер у Фейеша); юноша — потерявший вкус, охоту к жизни (Сабадош у Шомоди-Тота). Более того, каждый еще и делает из своего порока, несчастья словно бы добродетель, жизненный девиз. Хабетлер вполне доволен обыденщиной. Сабадош замыкается в скорлупе некоего полемического пассивизма.

Однако, как всякие исключительные или заостренные ситуации, и эти, поразив внимание, помогли лучше осознать какие-то нравственно-эстетические связи — их, быть может, не главные, но важные для общественного здоровья оттенки. Романами этими (второй позже вышел и у нас) социалистическая по своему духу литература открывала неоднородность венгерской действительности, где бывают свои трудности, не благоприятствующие человеку инертному или неопытному, незакаленному; действительности, знающей не только героев, но и негероев. Критика же вывела из этих книг практический урок не только о праве изображать то и другое, но также, насколько непростым в жизни и литературе может быть соотношение среды и героя, а соответственно, какого вдумчивого — не однобоко клеймящего или близоруко снисходительного, а трезво проницательного — авторского взгляда и точного критического мастерства оно

требует. Тем более что были и готовые принять негероев Фейеша и Шомоди-Тота из-за их слабости, искривленности чуть не за «антигероев», а опосредствованную и неоднозначную авторскую оценку — за некое отстранение от героизма и героики.

Отсталое, косное окружение, изображенные Фейешем жизненные закоулки вызывали, например, упреки не только в отсутствии, но и игнорировании здоровой социальной среды, которая могла бы противостоять негероичному началу, положительно влиять на упорствующих в своем умственном и нравственном застое персонажей. Появилось даже — произведенное от имени действующего лица «Кладбища железного лома» — понятие «хабетлеровщины»: изначально заданного «автономного» растительного прозябания (и утверждения его). Указывалось на опасность универсализации всякой «ржавчины», имманентного восприятия ущербности и слабости, которое независимо от любых обстоятельств предопределяет атмосферу безысходности (Иштван Герман).

Теоретический итог, пусть и не подведенный тогда целиком, был, однако, шире. Глубинная суть споров заключалась в том, что перед венгерской критической мыслью во всей отражающей жизнь многоплановости встала система субъектно-объектных отношений внутри произведения. Не только «внешнее» действие, но также и внутреннее, психологическое; не всегда и не столько прямой авторский приговор, сколько косвенный, преломляемый сквозь всю художественную атмосферу. Кроме объективированных характеров и формирующих их сюжетных обстоятельств, иначе говоря, выступил еще и субъект, лирический герой, который создает свои нравственные, духовные «обстоятельства»: новый по напряженности своей, обнаженно личный драматизм.

При этом отношения характеров и обстоятельств (которые можно свести ведь и к некой математически формализованной схеме) критика в свой черед разбирала отнюдь не «безлично», а с требовательным ощущением их социально-идеологической злободневности. С одной стороны, критика и литературоведение решительно отказались от лжеромантики, от лишенного глубокой психологической мотивации, а потому ходульного, мнимого героизма. Показательно в этом смысле внимание самой венгерской литературы тех лет к человеку обыкновенному, который трудится, борется, а то и страдает, вызывая разные, сложные, не обязательно отрицательные или безусловно положительные чувства. Вместе с тем — созвучно расцветавшей тогда «литературе факта» — росло желание лучше уразуметь неприкрашенно реальные обстоятельства: течение современной, усложнившейся и обремененной нелегким историческим прошлым жизни. Но это, с другой стороны, не означало и какой-либо «дегероизации». Для венгерской литературной критики, как и литературы, важно было лишь подтвердить ценность личности в водовороте событий, выявив одновременно какие-то более экспрессивные и тонкие способы постижения и воспроизведения ее. Восстанавливая и заново исследуя единство характеров и обстоятельств, отвергая волюнтаристский их разрыв, социалистическая венгерская критика трезво, без утопических иллюзий, а равно панических страхов попыталась в реальной полноте охватить диалектику личного и общественного в жизни и литературе на благо той и другой. Охватить в соседстве нового и, говоря обиходным языком, пережитков, во взаимодействии неоднородных и переходных явлений, чувств, склонностей, в котором ведущим, нравственно целительным началом остается социалистический гуманизм.

Усилия эти и были словно закреплены лучшими произведениями первой половины — середины 60-х годов, которые, по единодушному мнению венгерской критики, вошли в современную венгерскую социалистическую классику. Все они — отнюдь не «легкие», а наоборот, остро конфликтные и в остроте этой не всегда и бесспорные. Так, проблема гражданской активности во времена антифашистского Сопротивления и позже, в 1956 году, в известном романе Й. Дарваша «Пьяный дождь» слишком, быть может, рассматривается и со стороны гражданской пассивности, что обусловливает некоторую склонность главного героя к преувеличениям, к самобичеванию. В тугой, даже болезненный узел стянуты вопросы расчета с прошлым, пагубности бездумного повиновения и в повести Т. Череша «Холодные дни» (о массовой расправе хортистской армии в 1942 году над мирным сербским населением под предлогом облавы на партизан).

И все-таки даже мучительные нравственные коллизии в этой прозе разрешались в конечном счете в духе борьбы за социалистическую гармонию между идеалом и действительностью — борьбы, обнаженно личный характер которой повышал также ее впечатляющую силу. «Искания изображены ярче, нежели решение...— писала критика о романе Дарваша.— И вместе с тем писатель с редкой силой утверждает: как ни труден... путь «переходного поколения», избрать его — стоило»[1].

Нравственные страдания действующих лиц «Пьяного дождя» или «Холодных дней» вовлекали читателя в трудную работу осмысления истории, как бы очищая его гражданскую совесть. Воспитывал национальное самосознание и гротеск Эркеня в «Семье Готов», преображаемый гражданственной страстью уже в настоящее сатирическое оружие. Требовательно-возвышенным гуманизмом просветлялась бережно раскрываемая изнутри житейская драма старого доктора у Дюлы Фекете («Смерть врача»), а горечь прошлого, накопившуюся у крестьян Шанты, размывало их деятельно-коллективистское настоящее, которое документально приближено к читателю в повести «Двад-

[1] "Kortárs", 1963, 8. sz., 1264-65. l.

О. РОССИЯНОВ

РЕАЛИЗМ И ОПЫТ ВЕНГЕРСКОЙ КРИТИКИ

цать часов». Все эти произведения[1] вновь издаются сейчас на русском языке в «Библиотеке литературы ВНР».

Чувством и сознанием личной ответственности за людей, за новое общество гуманизируются душевные конфликты и в поэзии: у Ласло Беньямина, Иштвана Шимона, Михая Ваци, Дюлы Ийеша и многих других. Стихи их у нас не менее известны.

■

С выходом венгерской литературы на новые эстетические рубежи повысился также теоретический интерес к условно-метафорическим и вообще таким изобразительным способам и приемам, которые далеко не всеми считались собственно реалистическими. Теперь же возникает вопрос о совместимости их даже с поэтикой сегодняшнего социалистического реализма.

Интерес к его художественной форме, повествовательной и поэтической, нарождался тоже не сразу, а в спорах — о творчестве Лайоша Галамбоша и Ласло Камонди, Йожефа Дарваша и Ференца Шанты, Ласло Беньямина и Тибора Дери, Дюлы Ийеша и Ференца Юхаса. Сложные художественные средства поначалу внушали и сомнения в правдивости изображения, в позиции писателя.

Напоминалось, например, что внутренний монолог может затруднять выражение авторской точки зрения или прикрывать ее зыбкость (Деже Тот). Непривычны были и пространственно-временна́я ретроспекция или «микрореализм», а тем более склонность к исключительному, философически-универсальному, иносказательному, космическому и загадочно-фантастическому (вместо распространенного, конкретного, рационального и жизнеподобного). В этом виделась порой некая модная форма бегства от схематизма, грозящая отступлением от реализма к авангардизму и эстетике абсурда (Миклош Алмаши).

Позже сам Алмаши, а также Миклош Саболчи и другие распознали во множившихся художественных явлениях не только и не столько отход от рационального и гражданственного к интуитивному, «витальному», к душевной разорванности и разрушению формы, сколько вместе с тем самоопределение — и опыты воплощения — нового положительного героя. Героя, который мужает и постигает истину во внутренней борьбе, переделывая себя, через кризисы, дисгармонию, но двигаясь к новой, высшей жизненной и творческой гармонии. В художественных новациях стали, иными словами, различать и по достоинству ценить закономерно возникавшие, лирически емкие виды того же общественного служения, коммунистической нравственной позиции, историзма и самого реализма.

Оценка эта утверждалась как бы несколькими волнами. В начале прошлого десятилетия скорее находила поддержку более сходная с традиционно-гражданственным направлением новаторская линия в прозе (Лайош Галамбош) и лирике (Иштван Шимон, Михай Ваци, Габор Гараи). Именно бóльшая близость к традиции представлялась надежным противовесом всяким соблазнительным «западным» крайностям — от экзистенциалистской безысходности до формалистического лжерадикализма.

Вскоре, однако, яснее стало, что и художественная нетрадиционность отнюдь не обязательно противоречит традиции, если одушевлена высокой идеей, социалистической сознательностью. Тогда всякое новаторство в лучшем смысле «традиционно», ибо служит исторической преемственности. Убедиться в этом помогла в особенности поэзия Ласло Беньямина.

Писавшие о ней (Аттила Тамаш, Ласло Иллеш[1] и другие) показали, что боренье поэта — лишь грань происходившего в стране и мире самоочищения гражданственного сознания: кризис, в горниле которого не расплавлялись, а просветлялись и закалялись коммунистические идеалы. Правда, Беньямин еще слишком уподоблялся критикой Аттиле Йожефу, отчего несколько скрадывалась его современность, художественная оригинальность; но все-таки он предстал перед читателем гражданственным лириком именно напряженно-интеллектуального стиля, который тогда обозначился в венгерской поэзии.

К середине — второй половине десятилетия настал черед Ласло Надя и Ференца Юхаса. Круг их лирики, которая разбиралась многими (М. Цине, Б. Помогачем, А. Диосеги, Л. Иллешем, З. Кенерешем. М. Саболчи[2]), тоже очерчивают не одни национальные, а мировые горизонты. Лирическое мироощущение Юхаса, например — постепенно это становилось все очевиднее,— определила не только внутренняя потрясенность событиями 1953—1956 годов. Ее усугубили — и стали главенствующими для поэта — также угроза атомной войны, замечательные, но чреватые чудовищными бедствиями в безответственных руках открытия в биологии, завоевания научно-технической революции. Даже вполне вероятное одиночество человека в космосе гнетет его.

Словом, бесчисленные заботы и тревоги всей земли от более близких и элементарных до самых отдаленных и гипотетических, лишь, так сказать, философически переживаемых, вторглись с его лирикой в венгерскую поэзию. И в этом гигантском расширении кругозора критика не усмотрела беды— потому прежде всего, что одновременно у Юхаса вызревал и своеобразный нравственный катарсис, тоже обусловленный выходом к мировым горизонтам. Это — гуманная воля поэта, смыкающаяся с доброй волей всего человечества, вместе с ней противоставшая губительным замыслам во имя разума, жизни на земле («Ночные видения»).

Действенно-гуманистическая воля народов, встающая навстречу потоку антигума-

---

[1] См. повести Д. Фекете и И. Эркеня в «Иностранной литературе» № 9, 1965 и № 11, 1970.

[1] См. статью Л. Иллеша о поэзии Беньямина в «Иностранной литературе» № 4, 1969 г.

[2] Одну из последних статей М. Саболчи о Ф. Юхасе см. в «Иностранной литературе» № 5, 1973 г.

низма,— вот отразившаяся в венгерской литературе 60-х годов положительная историческая тенденция, которую поняла и приняла критика. Приняла, так как тенденция эта была и объективно антинационалистическая: она рушила иллюзорную социальную или художественно-традиционалистскую замкнутость, вольную и невольную изоляцию от прогрессивного процесса сближения демократических, социалистических культур. В этом и заключалась бесспорная плодотворность выхода национального художественного сознания к мировым горизонтам. Гражданственность насыщалась пониманием общемировой, «планетарной» ответственности за все народы, за успехи социализма на земле. А лиризм, творческая мысль и фантазия подымались на относительно более богатые морально-философские, интеллектуально обобщенные уровни трагедии, оптимистической по конечной сути своей.

Даже у Юхаса, поэта сложного, видим мы не одну лишь мучительно неотступную сосредоточенность на проклятых вопросах, гложущих мыслях — как бы круговращение в их кольце (что воплощают его бесконечные фразы и разрастающиеся «кусты» метафор). Даже в этой затрудненной лирической форме выражается и некое новое, на интернациональных путях современной европейской и мировой поэзии слияние с оптимистической в своих истоках и своем итоге мудростью человечества. От фольклора венгерского, откуда щедро черпают и Юхас и Надь, словно бы перекидывался мост к фольклору, так сказать, и всемирному. К тому впитываемому литературой общему художественному наследию, которое осветляет раздумья поэтов о будущем вековым опытом борьбы и поступательного развития многих народов; в сосуд собственного их «мифотворчества» вливает живую воду еще язычески жизнеутверждающего, прематериалистического метафоризма.

Перед реализмом открывались, в сущности, перспективы дальнейшего обогащения своей палитры — освоения на собственной социалистической эстетической и гуманистической основе образно выразительных завоеваний новейшего мирового искусства. В этом тоже принципиальное значение художественных поисков венгерской литературы прошлого десятилетия. Именно благодаря этому ее опыту и размежевываясь с гародистской концепцией «безбрежного» реализма пришли венгерская критика и литературоведение к пониманию социалистического реализма как «интегрирующей эстетической категории» [1]. Так сказано об этой его особенности, художественно-исторической «открытости» в документе созданного при ЦК ВСРП литературоведческого коллектива по теоретической разработке задач культурной политики «Некоторые вопросы нашей литературной и художественной критики».

■

Содержательная емкость новых художественных форм могла быть, разумеется, и

[1] "Kritika", 1972, 9. sz, 23. 1.

кажущейся, мнимой. Особенно наглядно это проступило в увлечении философским параболизмом (середины 60-х годов).

Конкретно к соотношению идеи и художественной параболы (и шире — образности вообще) подвели некоторые произведения Тибора Дери, Ласло Дюрко, Дюлы Гернади, Ференца Шанты и других, построенные на антиномии, взаимоисключающем конфликте власти и морали. Ложный его оттенок метко схватил критик Деже Тот, заметив, что в них «власть деморализуется, а мораль не стремится к власти» [1].

И причина заключалась не просто в параболизме самом по себе или «инфляции параболического жанра» (о чем много писалось и что действительно имело место). Историческую параболу обесценивал ущерб, который историзму наносился отвлеченно моральной схемой. Тогда-то богатейшее художественно выразительное средство и оказывалось уже не вратами в мир интеллекта, а, по выражению известного литературоведа и критика Пала Панди, калиткой в тупик асоциальной всеобщности. Не параболический жанр только «виноват» был из-за своей многозначности (как полагал, скажем, Алмаши) — недоставало верной идейной сверхзадачи, которая художественный прием, будь то «микрореализм» или символизация, параболичность, делает продолжением и расширением историзма и реализма. Метафизическая же всеобщность, которая своего апогея достигла, пожалуй, в иных фильмах Миклоша Янчо по сценариям Д. Гернади, была лишь фиктивным их «расширением». В самом деле, человек в них, по сути, беспомощен перед злом: оно везде, а потому неизвестно, как его одолеть (самоубийственное это замыкание в порочном метафизическом кругу до особенно страшной, почти садистической изощренности доходит, например, в их фильме «Агнец»).

Неправильно было бы, таким образом, стушевывать разную содержательную функцию образно выразительных средств, отвергая с порога параболизм либо же слишком однозначно привязывая его к социалистической эстетике. Параболизм может ведь нести и далекую от нее — если не экзистенциалистскую, то во всяком случае философско-релятивную нагрузку. Показывая, и убедительно, в морально-эстетической и социально-аналитической сфере, что общегуманистическое направление в современной венгерской литературе не противостоит социалистическому, а часто им же поддерживается и вдохновляется, венгерская критика одновременно менее зримо выделяла ведущую роль последнего также через диалектику содержания и формы, авторской идеи и «технического» приема. Здесь социалистическая и общегуманистическая основы художественного отражения иной раз недостаточно различались.

[1] "Kritika", 1964, 4. sz., 8. 1.

О. РОССИЯНОВ
РЕАЛИЗМ И ОПЫТ ВЕНГЕРСКОЙ КРИТИКИ

А это мешало вполне оценить ни мало ни много как общечеловеческую природу и назначение самого социалистического гуманизма и вдохновляемой им литературы: историческая «иерархия» гуманизма, искусства социалистического и прогрессивного иногда невольно оказывалась перевернутой! Это — одно из больших упущений венгерской критики, отмечаемых, в частности, в посвященном ее положению к началу 70-х годов документе теоретического коллектива по вопросам культуры, который был упомянут выше. Но не критические упущения определяют все же виды венгерской литературы на будущее. В большой исторической перспективе вырастают достижения, на которых — под избранным углом зрения — хотелось сосредоточиться и нам: ведь именно в них залог дальнейшего движения вперед.

Хотя и с переменным успехом, венгерская критика 60-х годов выясняла и уточняла эстетические условия и художественные способы социалистически осознанного и направленного отражения жизни. Мы же попытались выделить на этом, осмыслявшемся ею пути литературы — самостоятельном и особом по совокупности традиций, писательских индивидуальностей, длительности этапов и т. п.— известные общие, во многом единые с другими социалистическими литературами черты. Те именно, что позволяют судить об отвечающем сегодняшним потребностям социалистического человека облике реализма.

Стало прежде всего очевидным, что моральные, интеллектуально-психологические конфликты — естественнейшая область выражения гражданственности, народности, партийности в литературе. Это повлекло закономерный перелом во взглядах на ее героя, который нравственно и духовно возмужал и активизировался. Вместе с тем в анализ непреложно вошла личность автора: тоже зрелый, активный характер, действующее лицо истории, художественно самоопределяющийся положительный герой произведения и литературы.

Проблема характера и обстоятельств в результате перестала — даже в рецензионном жанре — восприниматься упрощенно: механически или волюнтаристски, отвлеченно-романтически. Социалистическая «переделка» обстоятельств и героя раскрылась в широком единстве и взаимодействии компонентов: объективных (жизненные условия и противоречия) и внутренних, отраженных (психологическое действие, драматичная лирико-интеллектуальная атмосфера и т. д.).

А отсюда уже прямой путь лежал к существенным заключениям о художественной природе социалистического реализма, который не отгорожен ведь китайской стеной от плодотворных исканий и течений искусства и не есть некая постоянная данность: он совершенствуется вместе с ходом истории и всем художественным сознанием человечества, которое в свой черед призван обогатить.

Были в Венгрии критики, литераторы (скажем, Лайош Галамбош), которые и в 60-х годах держались лишь известных им, устоявшихся форм реализма и новации не очень принимали, считая их просто «модернизмом». Были и другие, усомнившиеся в способности реализма (вульгарно толкуемого) поспеть за жизнью, готовые его поэтому отринуть и современную, социалистическую литературу строить заново на авангардистских основах или на худой конец — посредством «синтеза» реализма и авангардизма (такое мнение выказывал, например, критик Петер Рени). И были, наконец, понимающие, что реализм в современных условиях не отмирает и не «отменяется», а развивается: преобразуется и обогащается. Причем именно само жизненное содержание требует этого преобразования, подводит к нему, а не какие-либо эксперименты художников с формой, не умозрительные прихоти теоретиков, любое новшество готовых порой превознести как «чисто» современный прием (о чем писал, в частности, Йожеф Дарваш в предисловии к русскому изданию «Пьяного дождя»).

И такое мнение — не какой-нибудь «центризм», «золотая середина». Вопрос стоит в другой плоскости — не примирительной, эклектической, а историко-диалектической. «Отменяются» ли «характер — обстоятельства», жизнеподобные образы и другие аксиомы реализма?... Нет, но художник волен и раздвигать их рамки, придавать им подчас совершенно «неузнаваемый», преображенный мечтой, фантазией, аналитической страстью вид. Художественная роль гиперболы, параболы, вообще пытливой фантазии и мысли, свобода обращения с действительностью и образностью неизмеримо повышаются, но — в отличие от модернизма — не в ущерб им, не для нарушения и разрушения законов реальности, а для более тонкого, многогранного и впечатляющего их выявления. Здесь — важный завет венгерской литературы еще начала века, когда стала в ней утверждаться такая, не субъективистская, а слитая с социальным обновлением, с революционным гуманизмом эстетическая активность.

«Евклидова геометрия» реализма и ныне, таким образом, не исчезает. Она остается, но как исторически сравнительно первоначальная (хотя органически неотъемлемая и краеугольная) ступень, опора и часть более полного художественного осознания себя социалистической личностью в изменяемом и изменяющемся мире. Личностью, которая идет к высотам подлинного своего очеловечения, по Марксу — «возвращения к себе» при коммунизме.

Не слишком ли широковещательный вывод из одной лишь литературы, одного десятилетия ее истории, даже преимущественно критики, и вообще на сравнительно раннем этапе становления социалистической личности?..

Будем надеяться, что текущее десятилетие в литературе Венгрии и других социалистических стран поможет, во всяком случае, конкретизировать его и углубить.

◆

РУССКАЯ ЖИЗНЬ САНСКРИТСКИХ СТИХОВ

ВЕРА ПОТАПОВА

Не изложение, а живопись словом

Английский романтик конца XVIII и начала XIX века Уильям Блейк в программном стихотворении «Грозный Лос», именуя свое поэтическое видение «двойным зреньем», противопоставляет «внутреннее око» поэта внешнему и восклицает: «От единого зренья спаси нас, Боже!» О чертополохе, заступившем ему дорогу, поэт говорит: «Видит внутренний глаз мой — седым стариком то, что внешний считает простым сорняком» [1]. Поразительно, что Л. Н. Толстой увидел пронзивший его воображение «раздавленный репей среди вспаханного поля», «татарник», как его называют в народе, и тем же «двойным зреньем», тем же «глазом внутренним», разглядел в нем будущего «Хаджи-Мурата»!

Вспомним легенду о возникновении индийского народного эпоса «Рамаяна», изложенную в начале поэмы. Мудрец Вальмики любовался в лесу нежной четой сладкогласных краунча [2]. Самец, сраженный стрелой подкравшегося охотника, упал, и самка жалобно застонала, оплакивая своего друга. Тронутый ее горем Вальмики проклял охотника, разлучившего любящую чету. Проклятье, изреченное красноречивейшим из людей, непроизвольно было уложено в метрическую форму. Так родилась шлока, основной размер санскритской поэзии. Так родилась «Рамаяна» — древняя поэма о насильственной разлуке влюбленных, увиденная «двойным зреньем» поэта, скрывавшегося под именем легендарного Вальмики. Богатство изобразительных средств «Рамаяны», ее развернутые метафоры, ее экспрессивность, пластичность, все ее поэтическое изобилие — создание «внутреннего глаза».

1974 год был по существу годом «Рамаяны». Согласно решению ЮНЕСКО, отмечалось четырехсотлетие написанной на хинди поэмы Тулси Даса — наиболее знаменитого и значимого произведения среди навеянных бессмертным эпосом «Рамаяной», сочиненным на санскрите. Санскритскую «Рамаяну» индийцы называют «адикавьей», то есть первой поэмой. Высокие литературные достоинства «Рамаяны» неоспоримы, так же как ее необычайная духовность и человечность. Благодаря этим особенностям «Рамаяна» в течение тысячелетий остается не только бесценным памятником санскритской поэзии, но своего рода библией, священной книгой индийского народа.

Соприкосновение с великой санскритской эпопеей доставило мне несколько лет ни с чем не сравнимой творческой радости. Сейчас, когда работа над переводом закончена и книга [3] лежит на столе, появляется неодолимая потребность, отложив перо,

---

[1] Строки Блейка цитируются в переводе В. Потаповой.
[2] Род куликов.
[3] «Махабхарата. Рамаяна». Перевод с санскрита («Махабхарата» — С. Липкина. «Рамаяна» — Веры Потаповой). Вступительная статья П. Гринцера. Москва, «Художественная литература», 1974.

продумать — как это делалось? Ведь заданной методологии ни в литературе, ни в искусстве не бывает. Она складывается в процессе труда.

«Во всяком произведении искусства, великом или малом, вплоть до самого малого, все сводится к концепции». Эта мысль Гёте многое проясняет. Концепция перевода — не что иное, как истолкование поэтом-переводчиком иноязычного произведения, которое он воссоздает средствами родного языка. Именно от нее, а не от размера — «вплоть до самого малого» — зависит масштабность поэтического перевода. Мы вправе причислить к великим произведениям не только «Наль и Дамаянти» в несравненном переводе Жуковского, но и лермонтовскую вдохновенную интерпретацию «Горных вершин».

Чтобы стихотворение перевести, нужно его понять, а чтобы его понять, нужно это стихотворение перевести Поэтический перевод во многих смыслах является парадоксом. В частности, казалось бы, это акт великого самоотречения, труд самоотверженный. Переводчик обязан выразить не себя, а автора переводимого произведения, будь то иноязычный поэт или народ. Однако при отсутствии у переводчика выраженной творческой индивидуальности возможность истолкования снижается и перевод утрачивает достоверность.

В смысле накопления опыта мне в некотором роде посчастливилось: работы следовали одна за другой, в основном по восходящей трудности. Каждая была как бы ступенью той лестницы, по которой нам приходится неуклонно подниматься вверх, ибо в противном случае она легко и незаметно может оказаться «ведущей вниз». Во всем, что делалось до сих пор, были какие-то элементы подготовки к «Рамаяне», к ее великой первозданной поэзии, к ее трудностям и к той радости, которую доставляло их преодоление. О том, насколько это удавалось, судить не мне.

Немудрено, что подступами к санскритской «Рамаяне» стали для меня, в первую очередь, переводы стихов великого гуманиста, поэта-мыслителя Рабиндраната Тагора, которого индийский народ называет «кабигуру» — поэт-учитель. В книге Джавахарлала Неру «Открытие Индии» — энциклопедии и настольной книге всех, кто связал свою творческую жизнь с литературой этой страны,— приводится высказывание Тагора: «Я люблю Индию... потому, что она пронесла через бурные века живые слова, родившиеся в светлом сознании ее великих людей» [1]. Это проникновенное речение поэта-мыслителя могло бы служить эпиграфом к «Рамаяне». Работа над переводами философской лирики Мирзы Галиба, выдающегося индийского классика, писавшего на урду, его сложное поэтическое мышление, его острая, гордая и мужественная поэзия тоже в немалой степени приблизили меня к Индии и тем самым к «Рамаяне». А встреча с андалусской поэзией? Вспомним распространенный в арабо-испанской лирике описательный жанр, «васф», отличающийся многообразием метафор. Разве не перекликаются с ним великолепные описания, которыми так богата «Рамаяна»? Взять хотя бы оленя-оборотня, предназначенного помочь повелителю злых демонов-ракшасов [2] Раване в похищении Ситы:

Олень пробегал по траве меж деревьев тенистых.
Сверкали алмазы на кончиках рожек ветвистых,
А шкура его серебрилась от крапин искристых.

И губы оленя, как лотос, на мордочке рдея,
Блестели, слегка изгибалась высокая шея,

В отличье от многих собратьев, покрытый не бурой,
А золотом и серебром отливающей шкурой,

Два лотосовых лепестка — два лазоревых уха
Имел он и цвета сапфира — поджарое брюхо,

Бока розоватые, схожие с мадхукой дивной,
Как лук семицветный Громовника—хвост переливный.

На быстрых ногах изумрудные были копыта,
И чудное тело его было накрепко сбито.

...Спиною серебряно-пестрой, исполненный неги,
Олень красовался, жуя молодые побеги.

...Венчанный рогами сапфирными с верхом алмазным,
Он блеск излучал несказанный, дышал он соблазном!

А «Лирика Древнего Египта» — поэтически насыщенная, с ее непосредственностью и «прелестью нагой простоты»? Работа над переводами этой прекрасной поэзии, рожденной одной из величайших цивилизаций древности, немало облегчила мне проникновение в мир Айодхьи [3] и Ланки [4], описанных в «Рамаяне», где фантастика при-

---

[1] Джавахарлал Неру. Открытие Индии. Москва, «ИЛ», 1955 г., стр. 620.
[2] Ракшасы — демоны, пожиратели сырого мяса, враги богов и людей.
[3] Айодхья — столица родины Рамы, царства Кошалы. Современный Аудх.
[4] Ланка — столица Раваны. Древнее название Цейлона.

чудливо переплетается с не менее сказочной действительностью Каким достоверным, реалистическим свидетельством высокого уровня древней цивилизации Индии является, например, «Путешествие Бхараты»:

...На поиски вышли достойные простолюдины,
Что дивно алмазы гранят, обжигают кувшины.

Явились прядильщики шерсти и шелка отменных,
Сверлильщики узких отверстий в камнях драгоценных,

Искусники, те, что куют золотые изделья,
Павлинов ловцы, продавцы благовонного зелья,

Там первой руки мастера-оружейники были,
Ткачи, повара, лицедеи-затейники были.

Там лекари, виноторговцы, закройщики были,
Чеканщики, резчики, банщики, мойщики были,

И пильщики, и рыбаки, бороздившие воды,
И лучшие из пастухов — главари, верховоды.

Стекло выдувая, кормились умельцы иные,
Другие — одежды выделывали шерстяные.

Двадцать четыре ремесла или рода деятельности, в основном связанных с жизнью древнего города, названы в этом отрывке, не говоря уже о воинах и ученых брахманах. Все сказанное выше приводится в подтверждение мысли о целостности накопленного опыта, о единстве и взаимосвязи работ, выполненных поэтом-переводчиком. Конечно, я намеренно упрощаю: на деле эта взаимосвязь глубже, тоньше, разветвленнее. Но даже в случаях, когда она бывает несколько внешней, ничто не пропадает втуне. Закон сохранения поэтической энергии? Возможно! Я предвижу возражение такого порядка: «Все примеры приведены из практики перевода восточной поэзии. Но вы, скажем, перевели с украинского травестированную ирои-комическую «Энеиду» Котляревского. Какая тут может быть «взаимосвязь» с «Рамаяной», сочиненной на санскрите?» «Энеида» И. П. Котляревского, пародируя мифологический эпос Вергилия, сохраняет, как всякая пародия, его содержание, отраженное в кривом зеркале, и напоминает об этом содержании читателю. Нужно ли удивляться тому, что пародируемые эпические картины италийской древности вызывают отдельные ассоциации у переводчика, работающего над древнеиндийским народным эпосом? Несмотря на то что в «Рамаяне» юмор как бы отсутствует, на протяжении поэмы многократно происходит смешение высокого с низким, вызывающее, так сказать, непредумышленный «ирои-комический» эффект. Это объясняется необычайным обилием в «Рамаяне» своеобразных чудовищных персонажей — ракшасов мужского и женского пола, обезьян, совершающих богатырские подвиги и являющихся носителями волшебных свойств, различных мифологических существ и т. д. Любопытно, что в «Рамаяне», как в «Энеиде» Котляревского (разумеется, как и у Вергилия), есть сцена бегства оробевших воинов, которые, будучи пристыжены военачальником, возвращаются на поле сражения.

Своеобразно перекликаются с «Энеидой» и описания трапезной Раваны — почти этнографический колорит перечисляемых блюд.

Рельефному изображению «небесного презента» в «Энеиде» — щита и доспехов, выкованных Вулканом для Энея, созвучны описания колесницы Индры и его оружия, ниспосланных Раме, а также летающей колесницы Пушпаки.

Некоторую схожесть обнаруживают и боги, следящие с небес за ходом поединков; они откровенно проявляют свои симпатии и даже «комментируют» события:

Воскликнули боги: «Катит в колеснице Злонравный!
А Рама стоит на земле! Поединок неравный!»

«Батальная живопись», изображение красочных и экспрессивных пожаров Ланки занимают в санскритской эпопее значительное место. Известный навык в изображении битвенных сцен несомненно можно было приобрести в работе над «Энеидой». Тут и элемент ирои-комический, о котором применительно к «Рамаяне» (конечно, не в буквальном смысле) здесь говорилось, и особая, присущая Котляревскому, живость, стремительность стиха, точность физических действий, «отработанность» жеста.

Не следует, однако, переоценивать такие частичные, «вспомогательные» сближения с «Рамаяной». Ее величие — в своеобразии, непохожести, уникальности. Перефразируя известную индийскую поговорку: «Того, чего нет в «Махабхарате», нет нигде», можно смело сказать о богатейших самобытных изобразительных средствах «Рамаяны»: «Того, что есть в «Рамаяне», нет нигде». Свежие и неожиданные метафоры, которыми удивляет и восхищает нас древнеиндийская повесть о Раме, даже традиционные эпические формулы кристаллизуются здесь в законченные, насыщенные поэзией, лаконичные лирические стихотворения. «Река-женщина» — одна из эпических

формул санскритской поэзии. Интересно проследить, как метафора «река-женщина» образует три различные лирические миниатюры:

1. Надев из рыб златочешуйных пояс,
Бредет река, на женский лад настроясь,
Как бы в объятьях мысленно покоясь,
От ласк устав, с рассветом не освоясь.

2. Осенней реки обнажились песчаные мели,
Как бедра стыдливой невесты на брачной постели.

3. Река с крутизны, уподобясь рассерженной деве,
Летела, как будто покинув любовника в гневе.

Толпою деревья вершины к теченью склоняли,
Как будто красотку друзья к примиренью склоняли.

Река повернула, теченье замедлила кротко,
Как будто сдалась на друзей уговоры красотка.

Перед нами три реки и три разных проявления женственности: счастливая возлюбленная, стыдливая невеста и рассерженная любовница, сменившая гнев на милость. Какой, однако, нюансировки требует от переводчика этот образ! Такие миниатюрные лирические монолиты рождаются зачастую самобытными, как бы «житейскими» метафорами. С игроками в кости мы встречаемся еще в ведической поэзии, не говоря уже о «Махабхарате» (вспомним хотя бы сказанье о Нале и Дамаянти). В описании спящего «гарема» Раваны читаем:

Златые светильники на драгоценном помосте
Склонились в раздумье, под стать проигравшимся в кости.

Когда речь идет о священной роще, где Хануман в поисках Ситы мечется, сотрясая цветущие деревья, срывая с них лиственный покров, образ проигравшихся игроков получает иное звучанье:

Деревья стояли под стать проигравшим одежду
Нагим игрокам, заодно потерявшим надежду.

В первом случае игроки — царедворцы, сдержанно обдумывающие проигрыш. Во втором — застывшие у игорного дома нагие отчаявшиеся отщепенцы...

«Житейские» метафоры «Рамаяны» неожиданны и глубоко поэтичны:

Наполнил Индра облаков кувшины
И царственные окатил вершины,
Чтоб красовались горы-исполины,
Как после бани — смертных властелины.

Не уступают «банщику Индре» и «тучи-водоносы»:

На пики, на кремнистые откосы
Присядут с грузом тучи-водоносы—
И побредут, цепляясь за утесы,
Вступая в разговор громкоголосый.

Метафорическое изображение поры дождей, в том же «житейском» ключе, не менее самобытно и поэтично:

Леса, сплетая корни в красноземе,
Хмельную влагу тянут в полудреме.
Павлины ошалелые, в истоме,
Кричат и пляшут, как в питейном доме.

Иногда такие лирические миниатюры представляют собой на редкость емкий и выразительный пейзаж:

Над светлыми водами лотосы дышат покоем.
На глади озерной, как солнце, блистающим слоем
Тычинки слежались, пчелиным стрясенные роем.

Этой тишине и покою хочется противопоставить другой пейзаж, чья бурная динамика укладывается в строфу триштубха, одного из основных размеров поэмы:

Свой гром даря природным подземельям,
Громада вод, искрящихся весельем,
С громады скал жемчужным ожерельем
Свисает, разливаясь по ущельям.

Думается, что приведенные примеры достаточно убедительно доказывают полную непригодность, неприменимость к «Рамаяне» того, что можно назвать «информативным» переводом.

Хочется опровергнуть укоренившееся у многих представление, будто эпосу свойственно ровное, однообразное течение повествования, будто, излагая ход событий, можно «убавить», можно «прибавить», местами даже просто отдохнуть... Ведь чистота жанра — понятие относительное, чтобы не сказать, утопическое. Полифония санскритской «Рамаяны» не оставляет сомнений. Помимо лирических миниатюр, о кото-

рых говорилось выше, в «Рамаяне» есть великолепные поэтические картины индийской природы, в своей монументальности и значимости не уступающие картинам русской природы в «Онегине». Есть удивительные по выпуклости, колориту, эмоциональной окраске описания Айодхьи и Ланки. Они, так же как поэтический пейзаж «Рамаяны», всецело проникнуты чувствами и настроениями героев эпоса, его «дхвани». Это понятие ввел еще в IX веке Анандавардхана, считавший душой поэзии именно «дхвани» (отзвук), не высказанный, а подразумеваемый смысл. Я останавливаюсь на этом учении потому, что оно, отдавая предпочтение подтексту и отводя более внешним приемам и средствам лишь вспомогательную роль, особенно важно для правильного прочтения «Рамаяны». Возвращаясь к жанровым особенностям этой эпопеи, нужно сказать, что в ней есть батальные сцены, достигающие огромной изобразительной силы. Есть острый, просторечный диалог и пылкие «инфернальные» объяснения в любви Раваны... Здесь, однако, нет возможности перечислить все разнообразные компоненты, в их сложном взаимодействии составляющие структуру этого литературного памятника древней Индии.

Концепция «Рамаяны», складывавшейся примерно за полтысячелетия до нашей эры, связана с индуизмом, с учением о моральном долге, о вечной дхарме [1]. Примечательно, что Рама — носитель нравственно-этического начала, воплощение бога Вишну на земле, созданный и предназначенный для уничтожения зла, олицетворением которого является Равана, десятиглавый повелитель ракшасов,— не превратился в безликого, «не имеющего фигуры» идеального героя. В самом изложении добродетелей Рамы отразилось удивительное благородство, широта и тонкость морально-этических воззрений древних индийцев. Вот отрывки из книги «Айодхья», где содержится довольно компактная и разносторонняя характеристика «богоравного» царевича:

И доблестью славился Рама, и нравом безгневным.
Царевич отца превзошел совершенством душевным.

...Мгновенно забудет он зло, а добра отпечаток
В душе сохранит, хоть бы жизней он прожил десяток!

...Он милостив к подданным был и доступен для бедных,
Притом — правдолюб и законов знаток заповедных.

Священной считал он семейную преданность близким,
К забавам дурным не привержен и к женщинам низким.

...Свой гиев обуздал он и в дружбе хранил постоянство.
Он время рассудком умел охватить и пространство.

...Чтоб суть человека раскрылась, его подоплека,—
Царевичу было довольно мгновения ока.

...Он разумом быстрым постиг обхожденья искусство,
И тайны хранить научился, и сдерживать чувства.

...Не вымолвит бранного слова и мыслью не злобен,
Проступки свои, как чужие, он взвесить способен.

...Злоречья, надменности, буйства и зависти чуждый,
Решений своих никогда не менял он без нужды.

В течение тысячелетий эти качества не устарели. В такой же мере нравственные достоинства Ситы, ее чистота, верность и беспредельная преданность Раме, поныне сохраняют свое влияние на душевный облик женщин Индии. Этим, однако, не следует ограничивать значение этических проблем «Рамаяны»: их общечеловеческий характер неоспорим!

В древнеиндийской поэтике, на редкость разработанной, сложной и утонченной, имеется понятие «раса» (буквально — «вкус»). Оно означает настроение поэтического произведения, его эмоциональную доминанту. В данном случае преобладающим настроением является любовная тоска и скорбь разлуки. Истолкование «Рамаяны» не будет полным и достоверным, если не воссоздать в переводе той неповторимой эмоциональности, той поэтической любовной атмосферы, «воздуха», в котором живут и действуют ее герои, высятся дворцы и цветущие леса,— дивное отражение древней Индии во всей ее материальной и духовной красоте.

Богатство красок, необычайно яркая изобразительность и поэтическая насыщенность описаний природы: озера Пампа, поры дождей, осени — все либо созвучно чувствам и настроению царевича Айодхьи, либо, контрастируя с ними, подчеркивает и усиливает остроту его переживаний. Весь пейзаж «Рамаяны» гармонически подчинен единой художественной задаче.

Та же любовная тоска, та же скорбь разлуки — лейтмотив или «раса» «Рамаяны» — проявляются в изображении облика Ситы, томящейся у Раваны в плену, под надзором свирепых демониц-ракшаси:

Волшебная лютня, таящая дивные звуки,
Чьей страстной струны не касаются трепетно руки,—
Царевны краса оскудела с любимым в разлуке.

Царевна под бременем горя казалась несомой
Волнами ладьей, оседавшей под кладью весомой.

[1] Дж. Неру определяет дхарму как «этическое понятие, включающее кодекс морали, праведность и весь круг обязанностей и ответственности человека».

Такие полновесные реалистические метафоры в описаниях плененной Ситы по временам сменяются сложными, почти иррациональными поэтическими аллюзиями:

...И образ ее, омраченный безмерным страданьем,
С апокрифом сходствовал, с недостоверным преданьем.

Была эта дева как мысль об ушедшем богатстве,
Как путь к совершенству сквозь тысячи бед и препятствий.

Как дымное пламя и в прах превращенное злато,
Как робкой надежды крушенье и веры утрата,

Как смутная тень клеветой опороченной славы.
И царская дочь опасалась чудовищ оравы.

Вторая половина последней шлоки получает неожиданное — и потому впечатляющее — «приземление».

Нужно сказать, что и любовная тоска, или, точнее, тоска неразделенной демонической страсти, носителя зла Раваны выражена в эпосе с большой экспрессией.

В процессе работы нередко бывало трудно вместить в заданные размеры — в шлоку или триштубх — даже простую «информацию», семантику стиха. И когда, наконец, все «размещалось», все «было сказано» — эта, казалось бы, добротная, надежная конструкция отбрасывалась без колебаний: ей не хватало поэзии... Правильно передать смысл и развитие сюжета — условие, разумеется, необходимое, но далеко не достаточное. Истолкование произведения искусства или литературы — постижение не только его плоти, но и души, то есть поэзии. «Рамаяна» ставит переводчику «жесткие» требования: не изложение, а живопись словом, краски, звуки, та непрерывность поэтического видения, которую переводчик обязан бережно, как зажженный светильник, донести до читателя. Тогда его «внутреннему взору» откроются монументальные образы «Рамаяны» во всей их бессмертной красоте и величии, как открывается путешественнику живопись храмов Аджанты.

■

С. ЛИПКИН

Мысль и слово в переводе

В пьесе Калидасы «Шакунтала» рассказывается о том, как приемный отец Шакунталы, отшельник Канва, услышал в храме стихи, которые произнес «некто в телесной оболочке». Вот эти строки в дословном переводе Б. А. Захарьина:

О Душьянтой совершенном помещении теджаса
(«семя», «жар») ради процветания Земли,—
В дочь, подобную дереву шами, в лоне (которого)
Агни, узнай, о брахман!

Синтаксис подстрочника, с благим умыслом — ибо подстрочник хорош — повторяющий синтаксис подлинника, труден для восприятия; но, даже разобравшись в синтаксисе, мы не поймем сути этих стихотворных строк. А ведь они читаются со сцены, они не просто реплика одной из героинь драмы — нет: будучи стихами, они должны воздействовать и на разум, и на чувства зрителей. В чем же в данном случае заключается задача поэта-переводчика? Ограничиться тем, чтобы найти подходящий размер и дать метрическое звучание этим строкам, «версифицировать» подстрочник? Но тогда и разум, и чувство зрителя будут дремать, останутся безучастны к тому, что происходит на сцене. Следовательно, в этом случае перевод, став стихотворным, не станет художественным.

В свое время Бальмонт так истолковал эти строки:

Браман, узнай, что Сакунтала — точно мимоза,
Пламенем полная тайным, что вспыхнуть должно.
Царь прикоснулся лучом к ней живого касанья,
Миру на благо означится тайный огонь.

В этих стихах уже отчетливей проясняется мысль, но мысль, к сожалению, не та, которую хотел высказать великий индийский поэт. Древний автор и не думал сравнивать свою героиню с мимозой, полной тайного пламени, которое должно означиться на благо миру.

О чем же идет речь у Калидасы?

Есть миф: пылающее семя бога Шивы попало в тело Агни, бога огня (об этом Калидаса пространно рассказал в другом произведении, в поэме «Рождение бога войны»). Не в силах вынести жар семени, Агни скрылся в дереве шами, слился с ним, и дерево с тех пор как бы беременно огнем — именно из шами изготовляются палочки для получения огня. Точно так же, говорит Калидаса, царь Душьянта, как бог огня с деревом, слился с Шакунталой, и от их слияния родится сын, который будет справедливо царствовать на благо земле и людям. Не зная этого мифа, поймет ли русский читатель приведенные выше строки Калидасы? Я перевел их так:

Как властитель огня, запылавший от семени Шивы,
Слился с деревом шами,— так с дочерью слился твоей
Царь Душьянта,—да сына родит, чтобы он, справедливый,
Потрудился для блага и счастья Земли и людей.[1]

На этом примере видно, что перевод произведений старинного индийского автора на русский язык требует от поэта-переводчика дополнительной работы: надо не только перевести, но и разъяснить. Если же этого не сделать, если решать задачу формально, то эмоциональное воздействие перевода на читателя может быть равно нулю, а такой стихотворный перевод никому не нужен. Мне возразят: «В тех строках, которые вы перевели и привели, есть слова, которых нет в подлиннике».

Опровергнуть это возражение мне поможет знаменитый поэт XVIII века Сумароков. Он писал:

Что очень хорошо на языке французском,
То может в точности быть скаредно на русском.
Не мни, переводя, что склад в творце готов;
Творец дарует мысль, но не дарует слов.

В нашем распоряжении — сокровища русского языка, несметные и все время увеличивающиеся, так вправе ли мы переводить «скаредно»? Нужно ли поэту переводить слово в слово? Ведь «творец дарует мысль, но не дарует слов». Слова, «склад» мы должны выбрать сами...

Основу для своих произведений Калидаса находил в индийской мифологии. Из десятой книги гимнов «Ригведы» он позаимствовал сюжет драмы «Завоеванная мужеством Урваши», из эпоса «Махабхарата» — мотивы прославленной своей драмы «Шакунтала». Предполагалось и поныне предполагается, что индиец — современник Калидасы, да и его потомок,— знает основу произведений поэта, знает сюжеты индийской мифологии. Русскому же читателю нужно об этих мифах рассказать, иначе он не поймет, в чем суть дела. Если переводишь, скажем, античного автора, или Данте, или Шекспира, то в таких пояснениях читатель почти не нуждается: античная культура, христианская мифология достаточно хорошо ему известны.

Вместе с тем поэтика Калидасы выдвигает перед переводчиком такие же задачи, как и поэтика авторов античных или западноевропейских. Калидаса часто прибегает к игре слов, что, как известно, не всегда легко воспроизвести в переводе. Впрочем, иногда решение можно найти быстро, естественно. Вот пример: на санскрите слово «саранга» означает «пятнистая», в то же время так именуется мелодия, на которую поются стихи данного размера. Индийский зритель понимал и радостно воспринимал эту словесную игру. В стихотворном переводе нужно было сохранить игру слов, но здесь она уже основана на двух возможностях глагола «увлекать»:

Вы пели, и я позабыл все дела,
Мелодия ваша меня увлекла.
Вот так увлекла за собой в глухомань
Владыку Душьянту пятнистая лань.

Трудности перевода драм Калидасы на русский язык усугубляются особенностями индийского театра, характерного условными приемами и символами. Актеры на сцене плывут, летают, едут на слонах, и все это передается посредством определенных, издавна установленных движений и мимики. «Царь Душьянта,— пишет Балвант Гарги в книге «Театр и танец Индии»,— въезжает на сцену на несуществующей колеснице... Шакунтала рвет несуществующие цветы, а ее подруги поливают несуществующие растения». В прологе выходил на сцену сутрадхара (руководитель труппы) и произносил молитву «высоким», торжественным слогом. Другой непременный персонаж индийской драмы — видушака, шут,— наоборот, изъяснялся на разговорном языке. Тот же Балвант Гарги пишет: «Обжора и гурман, любитель плоских шуток — таков этот друг и поверенный царей».

Я старался воспроизвести по-русски речевую полифонию индийского поэта, соединяя возвышенное с обыденным, слог торжественный с просторечием. В этой переводческой задаче нет ничего нового, если бы не одно важное обстоятельство.

При переводе драм Калидасы нельзя ни на миг забыть о понятиях «раса» и «бхава». «Раса» (буквально — «вкус») есть, говоря приблизительно, то эмоциональное воздействие, которое оказывает драма на зрителя. «Раса» бывает восьми родов, каждый из которых обозначается специальным цветом: эротическая «раса» (прозрачно-

[1] Калидаса. Избранное. Драмы и поэмы. М., «Художественная литература», 1974.

зеленоватый цвет), комическая (белый), печальная (пепельно-серый), гневная (красный) и т. д. Восьми «раса» соответствуют девять «бхава»: любовь, смех, печаль, гнев, энергия, страх, отвращение, удивление, душевный покой. Вызывать эти чувства на сцене могут цветы, благовония, украшения, лунный свет и т. д.

Разумеется, русский режиссер может всем этим воспользоваться, и наше театральное искусство обретет новые краски Но при этом надо помнить, что в то время, как индийский зритель, увидав, скажем. что сцена окрашена в пепельно-серый цвет, заранее настроится на печальный лад, русскому зрителю этот цвет ничего не скажет. Следовательно, в переводе на русский язык драм Калидасы особая, дополнительная нагрузка падает на слово, на метр и ритм стиха, которые — в определенной, конечно, степени — должны компенсировать непонятную нам символику изобразительных средств. Работа над переводом драм Калидасы была необычайно трудна, и вместе с тем именно трудностью задачи была особенно привлекательна. Мне хотелось с помощью лексики и стихотворного ритма попытаться вызвать в читателе и зрителе то настроение, которое вызывал в них древний индийский поэт с помощью символики красок.

Актер индийской труппы передает смысл пьесы, пользуясь четырьмя средствами сценической выразительности. Остановлюсь только на одном из них — вачика, ибо именно вачика больше всего интересует поэта. Вачика — это выражение мыслей словами, произнесенными или спетыми, это выбор тональности, интонации, темпа речи, чтобы создать у зрителя определенное настроение. Часто у Калидасы за сценой произносят свои стихи два поэта. Уже самый метр, ритм этих стихов настраивает зрителя в нужном автору направлении, ибо он, зритель, уже заранее подготовлен к тому, чтобы знать, какой стихотворный ритм соответствует какому настроению.

Можем ли мы утверждать, что ритм индийского стиха, приблизительно (иначе невозможно) воспроизведенный по-русски, вызовет в читателе, в зрителе нужное настроение? Здесь окончательное решение принадлежит переводчику. Две баллады Мицкевича «Воевода» и «Будрыс и его сыновья» написаны по-польски одним размером — анапестом. Пушкин перевел «Будрыса» размером подлинника, а «Воеводу» —хореем. Почему он это сделал? Вероятно, потому, что почувствовал, что тема «Воеводы» не может быть решена на русском языке размером подлинника. «Не мни, переводя, что склад в творце готов».

Целые поколения русских читателей зачитывались переводом Жуковского «Рустем и Зораб» из «Шах-Намэ» Фирдоуси. Между тем в подлиннике строфическое построение, стихи рифмуются парно, все сто двадцать тысяч строк написаны одним размером (разностопного эпического стиха персы и таджики во времена Фирдоуси не знали), а Жуковский перевел поэму стихом разностопным, нерифмованным. Что толкнуло его на это? Думаю, то самое, что меня, грешного, толкнуло на то, чтобы безрифменный стих Калидасы переводить стихом рифмованным: иначе я не слышал индийского поэта.

Очень мне помогла при переводе стихов Калидасы предыдущая работа над переводом эпоса «Махабхарата». Первые главы перевода индийского эпоса я опубликовал шестнадцать лет назад. То была книга «Сожжение змей». Готовился к этой книге я еще раньше, до войны. К «Махабхарате» меня привел калмыцкий «Джангар». Перелагая на русский язык калмыцкий эпос, я знакомился и с литературой, посвященной древней Индии,— родство двух эпических произведений вследствие религиозной общности явственно обозначается.

Так, я прочел «Очерк важнейших памятников санскритской литературы», принадлежащий перу известного русского индолога И. П. Минаева.

Отрывки из «Махабхараты», приведенные исследователем в дословном переводе, потрясли меня своей поэтической мощью, необходимостью своего существования. Я написал несколько стихотворений — подражаний индийскому эпосу.

Вскоре началась война, иные заботы легли нам на плечи; прошли годы, и вышла в свет «Адипарва» — первая книга «Махабхараты», переведенная с санскрита советским ученым В. И. Кальяновым. Впечатление от этой книги было таким сильным, что я, не имея никаких надежд на издание работы — что называется, «для себя»,— стал переводить те места «Адипарвы», которые относились к сюжету «Сожжение змей». Всего получилось, кажется, три тысячи строк, и, к моей радости, они были изданы.

Когда я читал дословный перевод, а чтение это далеко не легкое, меня поразило то, с какой живой болью и художественной убедительностью выражена тема возмездия, столь мучившая Блока, столь понятная нам, современникам, пережившим ужасы военных лет. Меня волновали, не давали мне покоя созданные далеким народом несколько тысяч лет назад строки о том, как змеи, причинившие людям много зла, сами устремились в огонь возмездия, побуждаемые грозным заклятием. По-русски эти строки приобрели такое звучание:

Ползли, не желая, ползли они в страхе,
Вельможи, ученые, стражи, монахи,

Врачи, палачи, песнопевцы, гуляки,
Творившие зло на свету и во мраке...

Те самые змеи, сообщество злое,
Что ужас на все наводило живое,—

Бессильны, безвольны, покорны, трусливы,
Теперь устремлялись в огонь справедливый.

Справедлив огонь возмездия, но юный и мудрый Астика прекращает, во имя добра, сожжение змей, потому что

Он понял, что есть у творений бессчетных,
У птиц, у людей, у растений, животных,

Единый язык и закон соучастья
В деяниях правды, сочувствия, счастья.

Ни в одном эпосе, как мне кажется, не разработана так жгуче и остро тема борьбы добра и зла, как в «Махабхарате». Борются две ветви царственного рода — пандавы и кауравы. Воины и того и другого стана совершают удивительные подвиги, но совершают и преступления, являют вершины благородства — но и низины падения. Между тем симпатии авторов эпоса на стороне пандавов: не потому, что пандавы хороши, а потому, что дело их справедливо. Спор справедливости и несправедливости составляет нравственную основу индийского эпоса. Правильно заметил исследователь П. А. Гринцер: «Традиционная эпическая точка зрения оказывается в «Махабхарате» пересмотренной».

Философское средоточье поэмы — в «Божественной песне», «Бхагавадгите». Перед началом сражения, когда враждебные войска стоят друг против друга, воин Арджуна отказывается воевать против близких и родных. Тогда его возница Кришна, земное воплощение бога Вишну, раскрывает Арджуне смысл высшего морального закона.

В этих заметках нет нужды заниматься исследованием «Бхагавадгиты», однако напомню, что она в свое время вызвала восхищение Гёте и Гегеля. Мы должны постоянно иметь в виду то, что «Бхагавадгита» — не только философский трактат, но и стихи, прежде всего стихи, а мы условились, что произведение поэзии должно быть и в переводе произведением поэзии. Согласитесь, что трудности возникают перед переводчиком необычайные: «Бхагавадгита» — книга священная, ничего менять нельзя, у переводчика нет поля для маневра. Посудите сами — вот подстрочный перевод Б. А. Захарьина:

Ему (Арджуне) молвил Прямоволосый (Кришна),
как бы усмехаясь,
Ему, опечаленному, стоящему посреди обеих армий,—
такое слово.
Господин Благой (Кришна) сказал:
«Ты горюешь по недостойным горевания и говоришь
умные речи,
Но мудрые не горюют по тем, у кого ушло дыхание
(по мертвым),
Равно как и по тем, у кого дыхание не ушло (по живым).
Не было ведь никогда такого, чтобы я не жил,
или же ты, или же
Эти люди-повелители (то есть мы существовали в прошлых
рождениях),
И ведь не есть так, что мы все не станем
(Умрем), начиная с этого момента и впоследствии,
Подобно тому, как в этом же самом теле существуют
периоды детства, молодости, старости,
Так и обретение иного тела происходит; мыслящий
Человек здесь не заблуждается.
Материальные контакты, о Каунтея сын Кунти-
Арджуна), дающие ощущение холодно-горячего,
приятно-неприятного,
Являются приходящими и уходящими (непостоянными),
их перетерпи, о потомок Бхараты!»

Один мой товарищ по цеху, прочтя у меня этот подстрочный перевод, сказал: «Не знаю, как можно этим загореться».

Что касается меня, то я не знаю, как можно этим не загореться. Сколько любовных и иных ламентаций, написанных пятьдесят, десять, пять лет назад уже безнадежно устарели, а эти строки и живут сами по себе, и рождают новую жизнь. По-русски, в стихах, они выглядят так:

А Кришна, с улыбкой загадочной глянув,
Ответил тому, кто скорбел меж двух станов:

«Мудрец, исходя из законов всеобщих,
Не должен жалеть ни живых, ни усопших.

Мы были всегда — я и ты, и, всем людям
Подобно, вовеки и впредь мы пребудем.

Как в теле, что нам в сей юдоли досталось,
Сменяются детство, и зрелость, и старость,—

Сменяются наши тела, и смущенья
Не ведает мудрый в ином воплощенье.

Есть в чувствах телесных и радость, и горе;
Есть холод и жар; но пройдут они вскоре;

Мгновенны они... О, не будь с ними связан,
О Арджуна, ты обуздать их обязан!»

В моем переводе мне не нравится то, что исчезли «материальные контакты»: я не сумел найти художественное соответствие этим двум иностранным словам. Знаток индийского эпоса академик туркменской Академии наук Б. Л. Смирнов дает такое прочтение:

Касания плоти, Каунтея, приносят страдание, радость, жар, холод.

«Касания плоти» не представляются мне наилучшим решением. Я предпочел им «телесные чувства»:

Есть в чувствах телесных и радость, и горе;
Есть холод и жар...

Чувствую, что можно это выразить более точно, и оно, это более точное, есть в нашем языке, но надо найти...

Зато я настаиваю на «загадочной улыбке» Кришны. Мне кажется, что это выражение передает то, что Кришна говорил не просто улыбаясь, а «как бы улыбаясь». Эту загадочную улыбку я связываю с загадочной идейной и художественной тканью всей «Бхагавадгиты».

Стих индийского эпоса строится на основе чередования кратких и долгих слогов. Любой русский метр только условно передаст метр санскритский. Я мог бы, облегчив себе задачу, остановиться на вольном безрифменном стихе. Но и это решение было бы условным. Сами авторы «Махабхараты» не раз подчеркивают, что слог эпоса звучный и мерный. Мне бы хотелось, чтобы так же воспринимали этот слог и русские читатели.

Иноязычные изобразительные средства не могут, не должны в переводе воспроизводиться механически. Их надо согласовать с традициями той поэтики, на язык которой они переводятся. Мы всегда обязаны помнить о том — переводим ли поэзию Запада или Востока,— что мы переводим на язык Пушкина и Тютчева, Толстого и Достоевского. Перевод «Махабхараты» только тогда будет художественным, когда национальные традиции индийского эпоса сольются с национальными традициями нашей поэтики. Санскритские стихи должны зажить русской жизнью.

◆

Заметки на полях

РУССКИЕ «ВЕХИ» НА АМЕРИКАНСКОЙ ПОЧВЕ

На Западе давно уже стало дурным тоном хвалить капитализм. Апологеты буржуазного строя — будь то политики, публицисты или социологи — расписывают преимущества общества «свободной конкуренции», «смешанной экономики» и т. д., но назвать вещи своими именами, признаться в славословии капитализму считается неприличным. Он выглядит как истрепанный, выцветший костюм, в котором просто неловко показываться в современном обществе.

И вдруг:

«Непревзойденная социальная система... капитализм — это вздымающийся поток прогресса, где жизнь отдельных личностей, как и развитие всей экономики, определяется их свободным выбором, где возможности безграничны, где горизонты постоянно расширяются, где достижения каждой профессии положительно воздействуют на все остальные...»

Буржуазный апологет модернизированного типа хоть мимоходом, но упомянет о теневых сторонах общественного строя Запада, в первую очередь Америки,— нельзя же в самом деле обойти молчанием социальные и расовые конфликты, нефтяной и валютный кризисы, отравление естественной среды. После убийства братьев Кеннеди и М. Л. Кинга, после ошеломляющих примеров коррупции и бесчестности не рискнет он описывать американский образ жизни в одних лишь розовых тонах.

И опять:

«Это благороднейшая страна в истории человечества. Страна величайших достижений, величайшего процветания, величайшей свободы».

Кто же тот смельчак, который рискнул предпринять столь откровенную, столь безоговорочную и столь безапелляционную защиту капитализма? На обложке нескольких карманного формата книжек — миловидное женское лицо со сверлящими глазами. Это Эйн Рэнд, издательница журнала «Объективист», романистка и философ, как она себя представляет.

В рекламной издательской аннотации Эйн Рэнд характеризуется как «одна из тех фигур современной интеллектуальной жизни, которые вызывают наибольшие споры», а ее главный роман «Атлас, сбросивший бремя» — как «наиболее вызывающий бестселлер своей эпохи».

Ее романы действительно довольно своеобразны. Они поражают, с одной стороны, пренебрежением к сюжету и психологическим характеристикам героев, проще говоря — полным жизненным неправдоподобием, с другой стороны — нарочито подчеркнутой, прямо-таки выпирающей тенденциозностью. Собственно, это не столько

романы, сколько проповеди, которые произносятся в монологической форме любимыми персонажами автора.

Проповеди не всегда, как мы увидим, убедительные, но зато необычайно напористые, крайне эмоциональные, хотя и несколько однообразные по содержанию. Эссе Эйн Рэнд по стилю мало чем отличаются от ее романов, так что отрывки из них, объединенные вместе с ее статьями в двух сборниках «За нового интеллектуала» и «Новая левая: антииндустриальная революция», дают достаточно наглядное представление об «объективизме — неповторимой философии мисс Рэнд», как сказано все в той же издательской аннотации.

Этим представлением стоит поделиться потому, что странным — а скорее, думается, естественным — образом писания мисс Рэнд находят сейчас в США растущую аудиторию, обретают новую популярность (большинство произведений написано этой уже очень пожилой дамой в 30—40-е годы, а в последних работах она немало повторяется, уснащая, впрочем, повторы откликами «на злобу дня» — о студенческом движении, о тяге к мистицизму, о полете американских космонавтов на Луну и т. д.).

Одну из этих работ, «За нового интеллектуала», она начинает со ставшего банальным в США признания кризиса тамошнего общества:

> «...Америка обанкротилась в культурном отношении... Интеллектуальное руководство Америки рухнуло... Америка — это страна, лишенная голоса и защиты, страна, распроданная и покинутая ее интеллектуальными телохранителями».

Поворот мысли уже достаточно неожиданный: вина за кризис возлагается не на правительство, не сумевшее решить острые социальные проблемы — о таковых вообще не упоминается, их как бы и не существует, и даже не столько на непокорную молодежь, сколько на интеллигенцию, в которой Эйн Рэнд усматривает первоисточник всех зол и бедствий:

> «Каковы интеллектуальные ценности или ресурсы, предлагаемые нам нынешними хранителями нашей культуры? В философии нас учат, что человеческий ум бессилен, действительность непознаваема, знание иллюзорно, а разум — лишь суеверие. В психологии нам говорят, что человек — это беспомощный автомат, которым управляют не подвластные ему силы, вызываемые врожденной порочностью. В литературе нам показывают вереницу убийц, алкоголиков, наркоманов, неврастеников и психопатов в качестве воплощения человеческой души — причем нас приглашают найти себя в этой череде и воинственно утверждают, что жизнь — это сточная яма, солдатский окоп или крысиные бега... В политике нам говорят, что Америка, величайшая, благороднейшая, свободнейшая страна на земле, в морально-политическом отношении стоит ниже Советской России... и что наше богатство должно быть отдано дикарям Азии и Африки с извинениями за то, что мы, а не они произвели это богатство. Наша современная интеллигенция представляет собой зловещее зрелище воинствующей неуверенности и цинизма, догматического агностицизма, хвастливого самоуничижения и фарисейской греховности, и все это в атмосфере вины, паники, отчаяния и всеобщего дезертирства... Если Америка погибнет, она погибнет от интеллектуальной несостоятельности».

Как видно, Эйн Рэнд не желает различать духовные терзания лучших представителей американской и мировой культуры и пустое самокопание рефлектирующих интеллектуалов, жестокий реализм и порнографию, социальную критику и любование патологией. Да, интеллигенции присуще и то и другое, но не всей разом; ибо есть та и другая интеллигенция или, лучше сказать: интеллигенция истинная, воплощающая культуру и совесть нации, и интеллигенция мнимая, воплощающая псевдокультуру и нравственное растление. Пороки второй она приписывает первой, и получается действительно жуткая картина.

Рефлексия, сомнение, скепсис — вот какие черты интеллигенции особенно претят мисс Рэнд, для которой все ясно раз и навсегда. Ибо эти качества расшатывают любезный ей мир, вчера еще казавшийся таким прочным и устойчивым. Добро бы заражали они одних интеллектуалов — невелика беда; весь ужас в том, что они, эти черты, стали симптомами болезни всего общества. Здесь надо отдать должное дотошности Эйн Рэнд, ее упорному стремлению обнаружить микробы этой болезни, выявить бациллоносителей. И она нападает на след, предавая поношению всю многовековую интеллектуальную традицию. На Декарта и Юма она обрушивается за то, что те подвергали сомнению существование объективного мира, на Канта — за требование подчинения нравственному долгу, на Гегеля — за диалектику, на Маркса — за материализм. Походя она разделывается с утилитаризмом Милля и Бентама, с альтруизмом Конта, с прагматизмом Джеймса.

Столь разноречивые мыслители предаются проклятию потому, что все они подвергали сомнению общепринятые ценности и нормы поведения. Греховно, стало быть, сомнение само по себе как смущающее душу. В самом деле, стоит впасть в размышление,

задаться неуместными вопросами, и обязательно вырвется восклицание: «А ведь король-то голый!»

Потому, разделавшись с философами, мисс Рэнд спешит отринуть и всех тех своих сограждан, кто хоть в чем-то допускает отклонение от «американского образа жизни» — глумится над ним, как участники молодежных эскапад, борется против него, как студенческие активисты, поворачивается к нему спиной, как хиппи, потворствует его противникам, как либерально-консервативные профессора. И она, если следовать ее логике, не так уж неправа в своих чрезмерных обобщениях: признаки распада и эрозии основ проступают во всех сферах общественной жизни.

Найдя виновника, Эйн Рэнд стремится повернее навлечь на интеллигенцию ненависть среднего американца, уповая на его конформизм, чопорность и ханжество его натуры, которой глубоко претят любые проявления антибуржуазности:

> «...Они назвали бизнесмена грабителем... Они назвали его работорговцем... Они назвали его эксплуататором... Они назвали его тираном».

Ясно, что этот смертный грех не может быть прощен «им» в стране, суть жизни которой с подкупающей простотой определил еще президент Кулидж: «Бизнес Америки — это бизнес».

Мало этого. Неизбежный для современного капитализма рост государственного вмешательства в экономику, иначе говоря, государственно-монополистическое регулирование, осуществляемое и в Соединенных Штатах, Эйн Рэнд объявляет «движением к полному, тоталитарному социализму», делом рук «коммунистических заговорщиков, состоящих на службе у Советской России». Стало быть, в этом повинны не только ненавистные ей либеральные президенты Ф. Д. Рузвельт и Дж. Кеннеди, но и вполне консервативные президенты-республиканцы.

Абсурдность выводов, вытекающих из этих ложных силлогизмов, не смущает ее. Напротив, она утверждает, например, что государственный контроль над медицинским обслуживанием (который, как известно, в США минимален и не может предотвратить чудовищного роста стоимости лечения) приводит к «закабалению медицины». И она сокрушенно заявляет, что

> «различные степени государственного вмешательства и контроля даже в Америке оказались смертельными трещинами в основах системы», которая, к ее великому сожалению, «уже не является капитализмом» и что «все пороки, обычно приписываемые капитализму, были определенно вызваны *лишь* государственным контролем, навязанным экономике».

Подыгрывание среднему американцу привело, как видно, к тому, что писания Эйн Рэнд превратились в кальку его умонастроений. Недоверие к интеллектуалам сочетается у него сегодня с разочарованием в центральной власти, на которую он возлагает ответственность за все неприятности — от десегрегации до инфляции. Отсюда и потеря правящими партиями — сначала демократической, а затем и республиканской — голосов избирателей, и массовый политический абсентеизм. Буржуазные социологи, как, например, Герман Кан и Раймон Арон, видят в этом предзнаменование новой контрреформации или даже неофашизма. Марксисты же считают это мелкобуржуазной реакцией на кризис современного капитализма. А такая реакция склонна искать идеалы в невозвратном прошлом.

С умилением живописует Эйн Рэнд патриархальную, безмятежную будто бы Америку отцов-основателей. Оказывается, они, и только они, были подлинными «мыслителями» и в то же время «людьми действия», врагами мистицизма и защитниками разума, «первыми и пока что последними интеллектуалами Америки». А как же в эту благостную картинку прошлого вписывается «охота за ведьмами», религиозное фарисейство и слепая вера в традиции? Да никак. Мисс Рэнд попросту приписывает ненавистной ей интеллигенции связь с нечистой силой и — дело с концом.

Она предлагает читателю некую модель исторического процесса, которая строится на двух фигурах, двух «философских архетипах и психологических символах», но отражающих также и историческую реальность, поскольку они, эти фигуры,

> «оказываются истинными властителями большинства человеческих обществ, приходящих к власти повсюду, где людей оставляет разум».

Воплощением интеллигенции она объявляет

> «шамана — человека, который страшится физической реальности, страшится необходимости практического действия и ищет прибежища в своих эмоциях, в видении некоего призрачного царства, где его желания приобретают сверхъестественную силу, не ограниченную абсолютами природы».

Шаман неотрывно сопутствует и служит политику —

> «Аттиле, человеку, который правит грубой силой, руководствуется соображениями момента, интересуется лишь ощутимой реальностью, с которой он сталкивается, уважает лишь человеческие мускулы и видит единственный ответ на любой вопрос в кулаке, дубинке или ружье...»

Шаман гарантирует Аттиле моральное оправдание его действий, рассчитывая, что Аттила станет его защитником, тогда как он, шаман, сумеет вертеть им, как захочет. Если Аттила наводит нужный ему порядок силой, то шаман вселяет в людей преклонение и веру в эту силу. Так они обеспечивают друг другу «обоюдную безопасность».

Проповеднический бич мисс Рэнд, не зная удержу, хлещет и по довольно болезненным местам интеллигенции. Из истории давних и недавних времен известно, что иные блестящие умы грешили социальным прислужничеством, иные — неверием в силу человеческого разума, иные — доверчивым поклонением грубому, бесчеловечному насилию.

Они готовы были платить любую цену за прогресс, который в результате превращался в свою противоположность. Причем Аттила их даже не искал — они сами, легковерные и тщеславные, слетались к нему. И если они в конце концов безропотно, а иногда даже с восторгом приносили свои головы на алтарь прогресса, то поверившим им людям, которые поплелись за ними на лобное место, было от того не легче. Но сводить историческую роль интеллигенции только к этому — значит видеть на солнце знания и совести одни лишь пятна.

А мисс Рэнд как раз усматривает главный порок интеллигенции в ее неудовлетворенности существующим миром, в стремлении к истинно человеческому обществу. Изощренно издеваясь над «высокими и туманными словами», она отказывается, однако, понять, что вера в лучшее будущее, даже если она и принимала утопический характер,— не злокозненная выдумка коварных интеллектуалов, а неизбежный спутник человеческой истории.

Она заявляет:

> «Альтруистическая мораль породнила их (Аттилу и шамана.— Е. А.), дала им оружие, которое они искали Полем, на котором они сошлись, был социализм».

Но нельзя же выдавать за подлинный социализм его извращение в духе азиатского деспотизма!

Социализм страшит мисс Рэнд прежде всего потому, что опирается на рядовых людей, на трудящиеся массы, которых она, однако, предпочитает презрительно именовать «человеческим балластом». Помимо Аттилы и шамана это третий столп ее модели общественной истории.

> «Балласт,— пишет она,— состоит из тех, кто проходит по жизни в состоянии неосознанной тупости, просто повторяя слова и лозунги, заимствованные у других».

Какая высокомерная ограниченность — не видеть разницы между народными глубинами, которых поднимает вверх борьба за социализм, и грязной пеной, которая образуется на волнах этой борьбы! Какое самоуверенное непонимание человеческой истории, ее «звездных часов» — революций, совершавшихся именно массами!

Но это ее и страшит, настолько, что она в панике пророчит

> «триумфальный приход первобытного хама, которого они (интеллигенты.— Е. А.) спустили с цепи...»

Знакомые темы, знакомые выражения! Как здесь не вспомнить и предсказания Мережковского о «грядущем хаме» и особенно печально знаменитый сборник «Вехи», авторы которого, ренегаты от интеллигенции, возложили на нее ответственность за революцию — высшее зло — и предали поношению своих учителей. Совпадения эти перестают удивлять, когда узнаешь, что Эйн Рэнд родилась и училась в Петербурге.

Из университетских занятий, очевидно, и вынесла мисс Рэнд свою этическую доктрину, которая довольно-таки курьезно выглядит на фоне ее апологии капитализма, особенно если обнаружить истинные корни этой доктрины. Наиболее опасное свойство человеческого поведения она усматривает в альтруизме, который, побудив людей

> «искать самоуважение в других и жить из вторых рук, открыл путь ко всем ужасам». «Если бы мне,— восклицает один из ее героев,— предложили служить интересам общества вопреки моим собственным, я бы отказался, я бы отбросил это как наихудшее зло, я бы боролся против него изо всех сил, даже если бы пришлось сражаться со всем человечеством... в полном сознании справедливости моей борьбы и права живого создания на существование».

В романе «Источник» Эйн Рэнд пишет:

> «Первейшее право на земле—это право «Эго», первейший долг человека— это долг по отношению к самому себе... Я не признаю, что кто-либо имеет право хотя бы на минуту моей жизни».

Вопреки названию этого романа мисс Рэнд ни единым словом не упоминает подлинный источник своей этической мудрости — теорию «разумного эгоизма» Черны-

шевского. Но и подшитая к катехизису делячества, смелая мысль Чернышевского не утрачивает своего критического заряда. Пока мисс Рэнд цепляется за русского философа-социалиста, как слепец за поводыря, ее гневные проповеди увлекают и вызывают сочувствие.

Именно потому, что Чернышевский бросил свой «разумный эгоизм», как перчатку, в лицо официальной, мнимовсеобщей морали «православия, самодержавия и народности», невольно испытываешь солидарность с Эйн Рэнд, когда она издевается над людьми, не имеющими собственного мнения и слепо подчиняющимися, по словам Токвилля, «тирании большинства»:

> «Они не спрашивают: «Верно ли это?» Они спрашивают: «Верно ли то, что так думают другие?» Они не рассуждают, а повторяют. Не поступают, а создают впечатление поступков».

Нельзя не согласиться с Эйн Рэнд и тогда, когда она высмеивает разговоры о всеобщем благе, которые служат оправданием тирании и бесчеловечных действий. Она камня на камне не оставляет, например, от официальной доктрины, согласно которой

> «мы будто бы ответственны за благополучие всех наций мира» (что послужило, как она признает, предлогом для вторжения США во Вьетнам) и будто «американская внешняя политика должна руководствоваться... принципом альтруистического интервенционизма».

Нетрудно заметить, что строй рассуждений, перенятый у мыслителя-социалиста, приводит ее неожиданно для нее самой к левым выводам. И она, как бы спохватываясь, мстит за интеллектуальный плен, вкладывая мнимоальтруистическую проповедь в уста наиболее зловещего персонажа «Источника» — социалиста Тухи, который возглавляет заговор «коллективистов»:

> «Надо будет сказать людям, что они придут к наибольшему счастью, когда откажутся от всего, что делает их счастливыми... человек, который требует от вас жертвы, требует рабства и господства. Он сам хочет быть господином... Мир, которого я хочу, будет миром покорности и единства... Все должны будут согласиться со всем... Мы будем обладать неограниченной властью над людьми, которые будут уметь только повиноваться».

Но ведь именно социалисты противопоставляли слепой вере и покорности сознательные действия, именно Чернышевский говорил о бессмысленности и опасности жертвенничества («жертва — сапоги всмятку»). Так что инвективы Эйн Рэнд бьют мимо цели, и если попадают в кого-нибудь, так опять же в адептов «азиатского социализма», ничего общего с подлинным социализмом не имеющего.

А когда она оставляет надежную руку Чернышевского и начинает делать из чужих мыслей свои выводы, гневная филиппика неожиданно оборачивается обывательской моралью.

В «разумном эгоизме» прилагательное не менее важно, чем существительное, ибо Чернышевский отвергал не только фальшивый альтруизм, но и примитивный эгоизм собственника. «Одинокого счастья нет»,— восклицал он. Иначе говоря, он не только противопоставлял безликому стаду человека — личность, обретшую сознание и достоинство, но и призывал таких новых людей объединиться. А для самодовлеющего «Эго» мисс Рэнд «Я» и «Мы» — понятия несовместимые. Чернышевский выступал за свободный этический выбор, тогда как Эйн Рэнд переводит выбор в иную, узкоделяческую плоскость, осуждая ситуацию, когда некто ссужает другому деньги в ущерб собственным финансовым интересам. У Чернышевского широкий взгляд мыслителя — кругозор Эйн Рэнд ограничен нормами буржуазного бизнеса.

Заимствование у Чернышевского, воспринимающееся как изюминка «философии» мисс Рэнд, не изменило ее общего пресного вкуса. Главная цель автора в том, чтобы реабилитировать некоего несправедливо забытого героя — «Атласа, который поддерживает существование человечества». Это, как и следовало ожидать,— капиталист. Именно он противостоит Аттиле и шаману, причем противостоит в качестве «производителя» и «человека разума». Как мисс Рэнд трактует подлинных производителей — трудящихся и людей разума — интеллигентов, мы уже знаем. А теперь глазами восхищенной провинциалки она видит стяжателя в светлом облике архангела:

> «Профессиональный бизнесмен — это командующий армией, а заместителем его является *ученый*. Бизнесмен переносит научные открытия из лаборатории изобретателя на промышленные предприятия и превращает эти открытия в материальные продукты, которые удовлетворяют физические потребности человека и повышают благополучие человеческого существования... *Он* — это великий освободитель... Бизнесмен поднял уровень человеческой жизни, а интеллигент довел уровень человеческого мышления до уровня беспомощного дикаря».

Мисс Рэнд явно отдает себе отчет в том, что без посторонней помощи бизнесмену не обрести популярности. Потому она и пытается породнить его с ученым-изобретателем, а заодно и расколоть интеллигенцию, противопоставив естествоиспытателей гуманитариям. Затея совершенно безнадежная. Еще Голсуорси подметил антагонизм между Искусством и Собственностью, «выраженный на многих необходимейших приспособлениях нашего века», когда рядом указаны имена изобретателя и владельца изобретения. Да и раскол интеллигенции на «две культуры» преодолевается под давлением самой жизни. Научно-техническая интеллигенция проникается чувством ответственности перед обществом, то есть тем же гуманистическим мироощущением, которое свойственно ее близнецу, занимающемуся обществознанием. И тогда бизнесмен оказывается в одиночестве.

Впрочем, у него есть другая ипостась. Мисс Рэнд не замечает, что восхваляемая ею буржуазная практичность в реальной жизни превращается в претящую ей, судя по ее словам, бесчеловечность, тогда как именно презираемые рефлектирующие интеллектуалы надоедливо, хотя, возможно, и безрезультатно, напоминают бизнесмену, что его «армия» состоит из человеческих личностей. Забывает мисс Рэнд и о том, что именно на техническом и организационном рационализме построил свою империю Аттила XX столетия — Гитлер. Антигуманизм и деспотизм — вот конечный результат холодной буржуазной деловитости.

Да и сама Эйн Рэнд демонстрирует надуманность противопоставления капиталиста Аттиле, обнаруживая, что современный бизнесмен не оправдывает ее надежд:

> «...Новый тип бизнесмена, порожденного «смешанной» экономикой, сколачивает состояние не производственным умением и не конкуренцией на свободном рынке, а благодаря политическому давлению, фаворитизму со стороны правительства, субсидиям, льготам и специальным привилегиям. Эти люди в психологическом, эпистемологическом и экономическом отношении ближе к Аттиле, чем к Производителю...»

Многозначительное признание — мисс Рэнд не нравятся нувориши, более того, они ей отвратительны. А разве не они воплощают современное ей общество? Но она разочарована и в бизнесменах старого закала:

> «Став антиинтеллектуалом, бизнесмен обрек себя на положение Аттилы. Ограничив свои цели, заботы и мировоззрение одной лишь специфически производственной деятельностью, он оказался вынужденным ограничить свои интересы узким, как у Аттилы, видением одного лишь физического, материального, непосредственно настоящего. Он и перечеркнул всякий интерес к идеям, всякие поиски интеллектуальных ценностей и моральных принципов».

Какая безрадостная картина! Опорой столь любезного ей бизнесмена оказываются грубая сила и голый практицизм.

И жрица низвергает собственного идола. Подобного рода непоследовательность проявилась и в любимом романе Эйн Рэнд «Атлас, сбросивший бремя». Был он задуман как апология бизнесмена, а главным героем оказался архитектор — стало быть, интеллигент — Говард Рорк. Он поносит левых и защищает «свободную инициативу», но прибегает к тем же методам, что и левые радикалы,— к взрывам бомб. Автор считает роман противовесом пролетарской идеологии и политике, а апогеем романа оказывается забастовка его героев — сугубо пролетарский способ борьбы. Так мисс Рэнд, открещиваясь от социализма, никак не может освободиться от его чар.

Где выход? Бизнесмен, увы, интеллектуально ограничен,

> «у него не было времени выявить собственную историческую роль, не было ни морального оружия, ни голоса, ни защиты...»

Единственной надеждой оказывается сама Эйн Рэнд. Она готова взять на себя спасение капитализма. В этом — пафос ее риторики, ее проповедей, всех ее произведений. И становится даже жаль этого старого человека, возложившего на себя непосильную и явно утопическую миссию. Современный правый радикализм объявляет войну интеллигенции, но никак не может выйти из круга ее идей, демонстрируя свою полную несостоятельность.

Е. АМБАРЦУМОВ

◆

ПЬЕР ГАСКАР

ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

Фрагменты из книги

Перевод с французского И. ВАРЛАМОВОЙ

Нет, не из равнодушия, не из умственной близорукости, свойственной большинству моих сверстников, эти молодые люди кажутся мне все на одно лицо. Двадцатилетние нынче похожи друг на друга, как родственники. Да и мода смешивает их в однородную массу. Не то чтобы все они одинаково одевались. Напротив, каждый одевается на свой вкус. Но полеты фантазии, любая оригинальность меркнут в таком изобилии. Слишком уж их много, всех этих смелых фантазий, так что они в конце концов обезличиваются: своеволие в одежде становится чуть ли не униформой. Равно как и поведение, ухватки, речь. Смысл различий всегда одинаков, а отсюда и неизбежное это сходство. Тут не просто совпадение, тут скорее единодушие. Такой нивелировки требует сама жизнь; а если ты уже отличаешься от других, если ты обособился, вот тут-то и начинается смерть.

Стареешь и по мере этого замечаешь у себя на лице все больше и больше знаков неповторимости. Наша личность проступает яснее. Морщины образуют столь же самобытный рисунок, что и отпечатки пальцев. Они предают нас, разоблачают. И сейчас же нас узнает смерть: «А, вот он!» И никогда ведь не ошибается. С возрастом мы занимаем место в этой бесконечной антропологической галерее, которую в течение веков создавали живописцы, рисовальщики, граверы. Портреты стариков и старух Дюрера, Гольбейна, Брейгеля, Рембрандта и прочих художников стали чем-то вроде архивов прокуратуры, где хранится картотека подозрительных личностей, в которую, начиная с определенного возраста, заносят и нас, вслед за всякими там каиафами и распутниками прелатами.

Откуда такая оскорбительная мысль? Да ведь, старея, мы отъединяемся, отрываемся от всех, и это ничего доброго не сулит. Если по Люксембургскому саду шагает в одиночестве молодой человек, значит, он наверняка спешит на какую-то новую встречу. Не считая влюбленных, ухитряющихся так тесно составить металлические стулья, что они превращаются как бы в один, почти не заметишь в сторонке ни гуляющей пары, ни маленькой группы. Семья. Кто угодно, в какой угодно момент может запросто обратиться к своим соседям или соседкам, которых видит впервые. Здесь каждый связан со всеми. Только не я. Одинокий как перст, я упорно брожу под деревьями, словно обдумывая какое-нибудь преступление, злое дело против себя самого (инфаркт, апоплексический удар, рак в удачно выбранном месте и т. д. и т. п.) Старость или преддверие старости ведет к дурным мыслям. Старея, принимаешь внешний облик, типичный вид человека, с которым вот-вот должно что-то произойти и который в конце концов именно к этому и стремится. Я брожу под деревьями. Все они тоже напоминают одно другое, однако я пробую обнаружить у того или иного зеленого великана хоть какие-то отличительные

черты, хоть какие-то особенности, приметы отъединенности вроде той, которую уже навязали мне мои годы. И становится ясно: мои естествоведческие изыскания, моя вдруг пробудившаяся страсть к ботанике, по сути, не что иное, как «подстрекательство к дезертирству» в самой гуще этого живого сообщества, вечная молодость которого громко возвещает о себе на каждом шагу.

Молодые люди, что сидят там, у бассейна, не ждут ничего. Будущее и так в их распоряжении. Когда они поднимаются со стульев, жизнь следует за ними, как собачонка за хозяином. Молодежь утверждает действие уже одним своим существованием, своей численностью, своим единообразием.

Я не люблю название «Латинский квартал», от него попахивает университетской кастовостью и, если хотите, педантством. Топонимика городских улиц и площадей опирается обычно на особенности местности, на памятники, которые там находятся, на происхождение или профессии местных жителей. А здесь, между Сеной и предместьями Сен-Жак и Сен-Марсель, она не так напоминает об учености, которой набивают головы школяров, как о языке, не понятном для профанов, но служившем некогда для передачи всей этой бездны премудрости и сохраняющем доныне в глазах многих характер некой причастности к великим тайнам знания. Это название накладывает, таким образом, на Латинский квартал печать интеллектуальной избранности, как бы окружает эту часть столицы стеной высокомерия, и хорошо еще, что несколько уцелевших здесь галло-романских развалин дают этому имени хоть какое-то археологическое оправдание.

Появившись чуть раньше Второй империи, новое наименование холма Сент-Женевьев, в прошлом — вотчины школяров, привносит в моду минувшего века налет средневековья и свидетельствует о захвате университета буржуазией, которая уже давала почувствовать свою власть. Естественно, что буржуазия старалась подчеркнуть не просто гуманистический, но и почти схоластический, замкнутый характер культуры, к которой, благодаря своим деньгам, она наконец получила доступ. С той поры начинается обособление, которое отразилось в новом названии квартала, возродило дух студенческого клана средних веков с его обычаями и обрядами, с его вольными нравами — словом, создало среди тех, кто позднее образует элиту, сообщничество однокашников, что-то вроде круговой поруки, пересиливающей в большинстве случаев неизбежные столкновения интересов.

Ныне, несмотря на не слишком, правда, широкую демократизацию обучения и развенчание университетской культуры, социальное происхождение студентов стало гораздо разнообразнее, а взгляды профессоров изменились настолько, что название «Латинский квартал», закрепляющее образ заповедного ленного владения, звучит старомодно и чуточку даже смешно. И наконец, поскольку факультеты разбросаны довольно далеко друг от друга, Латинский квартал растерял свой престиж и часть своего обычного населения. Там толчется теперь масса молодежи, которая, хотя и не посещает учебных заведений, составляет со студентами одно целое, морально поддерживая их бунтарство. Этот приток новых слоев, трудно определимых социально, последовал за волнениями 1968 года, превратившими Латинский квартал в центр притяжения молодежи всего мира. Длится это уже целое пятилетие, хотя, как часто бывает в местах паломничества, благоговение оборачивается ярмарочным гуляньем, а то и карнавалом.

Дух противоречия, воплощенный в этих не слишком политически грамотных молодых людях, нахлынувших сюда со всех сторон, проявляется лишь в их манерах, одежде, прическах или в той быстроте, с какой эта толпа превращает любое уличное происшествие в целое событие. Но, быть может, важные исторические явления и распознаются по их продолжению, которое имеет подчас карикатурный и даже пародийный оттенок. Молодежь в гротескной форме и словно бы против воли выражает чувства своего поколения, самое для них существенно важное. Революционно настроенное студенчество тут не обманывается. Оно не особенно строго судит этих запоздалых новобранцев за их часто неуместный задор. То, что они вечно толпятся между Сеной и Люксембургским садом, на бульваре и окрестных улочках, объясняется, конечно, той славой, которую снискали себе эти места в 1968 году, но вместе с тем подтверждает, что даже самые несознательные слои молодежи требуют в наши дни пересмотра установлений в области культуры, отмены духовных привилегий.

Двадцать лет назад молодые рабочие и служащие даже не заглядывали в этот квартал, где все им напоминало об их интеллектуальной и социальной неполноценности. Сегодня они себя чувствуют здесь как дома. Удары, нанесенные в 1968 году самими студентами по мифу учености, пробудили в юном племени, не имеющем возможности продолжать образование, ту внутреннюю свободу, плоды которой мы продолжаем вкушать и по сей день. Открытие границ Латинского квартала представляет собой одно из знаменательнейших явлений нашего времени. И смысл его не только в проникновении чужеродных элементов за крепостную стену исконных университетских владений, но также и в рассеивании факультетов, отпочковании инсти-

тутов, переселившем студентов в отдаленные от центра районы. Некогда вся жизнь студентов протекала на высотах и склонах холма Сент-Женевьев, они и сейчас сохраняют там точки опоры, но теперь им приходится пересекать, порой по многу раз в день, малофешенебельные кварталы, куда они прежде и ногой не ступали. Вселенная их тем самым расширилась. Отказавшись от символики, которая в эпоху школяров в традиционных черных беретах изображала его как родовое поместье одной касты, Латинский квартал отныне распахнул настежь все двери и превратился в очаг брожения и смуты, весьма притягательный для молодежи, бунтующей против современных порядков, стал местом, где пока еще дает о себе знать прошлое, но и настоящее звучит в полный голос. Сейчас это поистине перекресток всех рас; всех возрастов, а поэтому для человека, желающего понять свое время, нет лучшего наблюдательного поста.

В Библии рассказана история Товита, ослепшего в пятьдесят шесть лет. На самом-то деле этот персонаж должен был страдать расстройством зрения уже довольно давно. Без этого его история не имела бы ценности притчи. Слепота означает здесь медленное старческое помрачение разума. Вспомним, как было дело: сын Товита, воротившись из странствия вместе с ангелом Рафаилом, возвращает отцу зрение, следуя советам своего небесного друга. Реалистичность библейского повествования подкрепляет смысл легенды: «И стали спадать с глаз его белые, как яичная пленка, бельма. Юный Товия схватил и сорвал их с глаз отца своего, и увидел он свет»[1].

Теперь юный Товия раздает на тротуарах Латинского квартала политические листовки. Они размножены на ротаторе, так как типографское печатание — слишком дорогое удовольствие для маленьких группок бунтарей, большей частью испытывающих острую нужду в деньгах. Но этот способ дешевой перепечатки, равно как и написанные от руки плакаты, имеет тот недостаток, что он придает характер импровизации текстам, в которых, однако, содержатся тщательно разработанные политические принципы, почитающие себя непреложными. Вынужденные по бедности действовать «подручными средствами», эти молодые бунтари, таким образом, втиснуты в рамки «стихийности», тем более что их ставит под подозрение уже самый их возраст. Ротаторная листовка, прямой потомок манускрипта, напоминает скоропалительное воззвание, выпущенное ничтожной кучкой людей, и тем меньше делает погоду, чем меньше влечет за собой затрат. Печатная брошюра, напротив, свидетельствует о более серьезной основе; четкость и величина букв, сверх того, придают силу выраженным в ней идеям.

В нашу эпоху, когда самая большая революционная партия и главный профессиональный союз рабочих располагают, благодаря членским взносам своих приверженцев, большими денежными средствами, невольно приходит в голову, что всяческие уловки, к которым прибегают маленькие группки ультралевых, вызваны не столько трудностями, неизбежными при начале любого нового предприятия, сколько недостаточной серьезностью, неким инфантилизмом. И в самом деле, публике известно, что большинство этих юных бунтарей — студенты и что три четверти их — выходцы из мелкой буржуазии (смотри статистические данные, касающиеся университетского набора). Внешняя скудость их политической пропаганды вроде не соответствует их социальному положению. Но этот разрыв показывает, что они еще находятся на иждивении родителей и могут вкладывать в свою бунтарскую деятельность лишь те гроши, которые выделяют им папа с мамой на развлечения. Вот и получается, что их деятельность сводится чуть ли не к игре и приобретает поэтому отчасти двусмысленный характер.

Скверное оформление листовок подчеркивает их пролетарское предназначение, и, возможно, раздающим просто неудобно совать их прохожим буржуазного облика. Юный Товия с уличного перекрестка частенько мною пренебрегает. Да и видел ли он меня, хотя я шел прямо на него, чуть ли не столкнулся с ним нос к носу? Тут я решаю, что молодежь познает себя самое только через зеркальное отражение и ничего не видит там, где ничто не возвращает ей собственный образ. Но вскоре уже упрекаю себя в несправедливости: если меня презрительно обошли, не протянув листовку, то, значит, меня приняли из-за моего сурового вида за человека, связанного с полицией, или за непримиримого противника. При этой мысли мне становится легче: я достиг возраста, когда предпочитаешь быть скорее ненавидимым, чем незамечаемым.

Бывает, дело еще усложняется. Молодые религиозные реформаторы время от времени прицепляют свои пропагандистские щиты на решетку Люксембургского сада и раздают прохожим пояснительные брошюрки. И правильно делают, без них не обойтись: на щитах начертаны

[1] В истории, приведенной здесь Пьером Гаскаром, имеются некоторые незначительные разночтения с каноническим текстом Библии *(прим. переводчика)*.

большие и малые круги, треугольники, стрелы, но смысл всех этих символов, несмотря на разбросанные там и сям словечки, такие, к примеру, как «бог», «желание», «инстинкт» или «душа», ускользает от непосвященных. Возможно, эти юные реформаторы приписывают мне большую осведомленность, чем проходящим мимо сверстникам? Так или иначе, мне они никогда не дают проспектов.

И вот я уже почти спокоен, хотя все это могло бы служить примером самого злейшего остракизма — того, который лишает вас права на постижение истины, поражает чем-то вроде философского бессилия, короче — приговаривает к небытию. Я даже представляю себе момент, когда конфликт между поколениями достигнет на сей бренной земле такого накала, что какой-нибудь набожный старец ужаснется на смертном одре, вспомнив про вечную молодость серафимов...

Но шутки в сторону. Если новые левые группировки, прозванные «гошистами» и родившиеся после бунта молодежи в 1968 году, не насчитывают в своих рядах практически ни одного активиста старше сорока лет, то тут и речи не может быть о слепом остракизме, основанном на возрасте, как таковом. Вина тех, кого коснулась эта дискриминация, не в том, что они уже больше не молоды, а в том, что они состарились, так и не открыв истины. А истина, по мнению молодых, обесценивается, если она лишь постепенно, исподволь завоевывает рассудок, а не потрясает его сразу своей очевидностью, стоит вам задуматься над общественными явлениями, над проблемами человечества. И далее: если в тот момент разум так и останется закрытым для самого главного, он уже никогда не исцелится от помрачения, и внезапное озарение останется иллюзорным.

Чистый революционный порыв не должен ничем быть обязан раскаянию; это голос самой совести, и крепнет он по мере того, как она пробуждается и развивается. Всякие запоздалые открытия в этой области наносят ущерб престижу дела и вызывают подозрения в искренности новообращенных. Следовательно, присутствие в нескольких группах бунтующей молодежи двух-трех человек пожилого возраста, принятых из-за рекламной ценности их имен (я имею в виду Жан-Поля Сартра), лишь ослабляет то начинание, которое они намереваются защищать. Поневоле приходишь к мысли, что если несправедливость порядка, при котором эти люди, являясь элитой, играли какую-то роль, была так чудовищна, как они утверждают, вряд ли бы им понадобилось столько лет, чтобы это заметить. Тут, пожалуй, уместно вспомнить, что все они — чистейший продукт университетской культуры, которая часто придает любому выступлению оттенок бесполезного жеста и сводит участие в общем деле к простой авантюре духа.

Одно то, что задаешь себе такие вопросы и размышляешь по этому поводу, достаточно ярко показывает, что эти новообращенные, чей авторитет служит, в известной мере, рекомендацией ненавистному порядку, бросают тень на дело, к которому они примкнули. Пожалуй, единственно, кого из пожилых неофитов следовало бы принимать в ряды молодых бунтарей, это чернорабочих, темнота которых вполне извинительна, поскольку на них сказались все последствия социальной несправедливости, включая худшее из них — то, что они даже не в состоянии этого осознать.

Я забредаю на окраинные улочки квартала, и мое существование в глазах распространителей политических брошюр вновь обретает реальность, так что я мог бы легко набить себе ротаторными листовками хоть полные карманы. Объясняется это тем, что прохожие здесь принадлежат большей частью к тем социальным слоям, чьи интересы как раз и защищают молодые пропагандисты. Если говорить точно, улочки эти заселены не рабочими в подлинном смысле слова. Занятия местных жителей имеют несколько архаический и как бы подсобный характер; это — мелкие ремесленники, сторожа, грузчики, поденщики, которые берутся за ту или иную работу в зависимости от спроса, от случая. И естественно, что прохожие здесь чаще всего преклонного возраста. Молодые — сыновья и дочери этих людей — втянуты, как выражаются нынче, в новые общественные структуры; они трудятся на заводах, на крупных стройках и заполняют собой огромные жилые массивы дальних пригородов.

Среди этих пожилых прохожих, меж этих стен, так много говорящих нашей памяти, бунт молодежи внезапно получает историческую подсветку. Так и кажется, что, сойдя с картины, где холст был даже не загрунтован, молодые пропагандисты наконец-то нашли здесь столь необходимую им декорацию; и вот они словно бы причислены к лику святых, точно так, как фигуры в живописи мастеров сиенской школы совершенно преображаются благодаря освещающему их лица золотистому фону. Отныне их головы окружает некий нимб — это отблеск времени, целых эпох во всей их протяженности, и это сияние, проявляя заложенное в человеке чувство братства во всем и со всеми, в конце концов возвышает его.

Такой отсвет бросает на них и маленькая книжная лавочка «Старый крот», где продаются лишь подержанные случайные книги да старые брошюры по истории и теории революции. Как внешний вид, так и назначение этой сумрачной ветхой лавчонки вполне отвечают вывеске; глядишь на изображенного на

ней крота и невольно проникаешься мыслью о каких-то тайных подземных ходах, о скрытой подпольной работе. Что же касается неустанно роющегося под землей слепого зверька, то деятельность его напоминает терпеливые изыскания книготорговца, который всячески старается предоставить своим покупателям документы, до сих пор считавшиеся бесследно исчезнувшими.

Группки девушек и парней — их здесь редко бывает больше трех или четырех одновременно — задерживаются в лавочке полистать книги, журналы, подшивки и просто поболтать друг с другом. А кое-кто даже мирно жует здесь купленный на бульваре сандвич. Одежда выдает либо скромность их средств, либо желание быть незаметным, либо то и другое: джинсы и на юношах и на девушках, свитеры неярких расцветок, линялые непромокаемые куртки и т. д. и т. п. Можно даже отметить легкий перегиб в их стремлении к обезличке; молодые рабочие одеваются нынче куда как более изощренно. Эти студенты часто носят вместо папки или портфеля простые полиэтиленовые сумки — такие выдают покупателям в магазинах. Они кладут в них бумаги и книжки, чтобы не слишком подчеркивать свою истинную социальную принадлежность ни перед рабочими, с которыми они изо всех сил стараются слиться, ни перед полицией, всегда готовой придраться к студентам.

В «Старом кроте», приютившемся в стороне от тех улиц квартала, где все более и более явствен отпечаток расчетливого модернизма, можно спастись от веяний времени. Это не бегство в прошлое — ведь возраст и внешний вид клиентуры указывают на то, что мы находимся в самом сердце нашей эпохи, просто тут еще сохранилась живая ниточка времени, связывающая воедино сегодняшний день со вчерашним. Здесь через само развитие традиционной культуры утверждается непрерывность, преемственность, тогда как повсюду вокруг стандартизация образа жизни, «калечение» облика городов и технократические идеи отбрасывают общество за пределы времени, за порог историчности.

Так, «Старый крот», пусть даже и набитый интеллектуальной взрывчаткой, является чуть ли не единственным местом в квартале, где можно найти хоть какой-то душевный уют. В этой древней книжной лавчонке (возможно, древняя она лишь по видимости) чувствуешь себя хорошо и надежно, как в стойле. Я мысленно следую за юными покупателями, которые, то ли по недостатку средств, то ли просто из прихоти, редко ездят на мотоциклах или машинах, а предпочитают ходить по кварталу пешком. Они словно шагают стопа в стопу за теми поколениями студентов, что тут сменяли друг друга в течение целых восьми веков. «Эка невидаль! — скажут мне.— Уж не от этого ли зависят судьбы мира?» Что ж, отчасти и от этого. Самое ценное в старой культуре, в ее гуманизме, вкривь и вкось сейчас поминаемом,— это неизменно, от поколения к поколению, возобновляющаяся мечта, это постоянство надежды.

Клиентов «Старого крота» я частенько встречаю на улице Муфтар, где они — по преимуществу субботними вечерами — продают газету своей группы. Двое из них стоят возле лавки мадам Гион, торгующей требухой. Этим делом она занимается вот уже шестьдесят лет. Сухонькая старушка закутывает голову в платок, совсем как другая мадам Гион, подруга знаменитого Фенелона, та, что исповедовала квиетизм. Дома в этой части улицы невысокие, так как за ними уже начиналась деревня, когда их заново перестраивали в XVII веке на существующих и по сей день средневековых сводчатых погребах. Иные из этих домов выходят задами в сад, который, в полном согласии с неприхотливостью зданий, скорей предназначен для разведения овощей, чем декоративных кустарников или цветов. Там и сям меж бегониями зеленеет салат. И вот, чуть не в самом сердце Парижа, обитатели этих домишек, все как один — торговцы, ведут примерно такую же сельскую жизнь, что и их предшественники в минувшие века.

И мадам Гион, и ей подобные — мясники, сыровары, булочники, продавцы рыбы, фруктов и зелени — словно бы являют собой нерушимый образ торгового сословия, полностью слившегося с улицей: у всех у них застуженные, красные руки, с клиентами они разговаривают запанибрата, до мелочей знают их повседневные нужды, желания и ловко умеют связать историю с нынешним житьем-бытьем. Куцая, конечно, мораль, да и не чуждая духу наживы, но как, однако же, не увидеть некоего регулирующего начала и в этом ограниченном здравом смысле, противостоящем сиюминутным страстям, и в этом, пускай не без выгоды для себя, постоянном напоминании о насущных потребностях человека, а также о связанных с их удовлетворением радостях, и в этой откровенной выставке жизненно необходимых товаров? Распространители листовок и продавцы газет, несмотря на строжайшее полицейское запрещение, часто заглядывают на рынки, желая противопоставить свой политический идеализм хладнокровной купле-продаже, но лишь показывают тем самым, что дух и плоть составляют неразрывное целое.

Продавцы молодежных газет, которые стоят возле лавки мадам Гион, возвращают нас к контрастам средневе-

---

ПЬЕР ГАСКАР
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

ковья: нищенствующие монахи у мясных прилавков, страстные проповеди посреди запахов требухи... Позади заведения мадам Гион лежит замерзший, безмолвный сад, будто находится он в ста лье от центра Парижа, но двери лавки гостеприимно распахнуты, и долетающие сюда голоса продавцов газет кажутся окрашенными печалью. Я понимаю, что эта лавчонка, где так победительно взблескивают кишки и сычуг, где так душно от запаха крови (мясники торгуют обескровленным мясом, а кровь достается на долю продавцов требухи), невольно настраивает на скорбный лад и заставляет человека как-то размякнуть. К тому же сейчас холодно. Да и газета не продается. Прохожие все куда-то спешат, глухо и слепо толкутся, они заняты своими покупками. Мадам Гион без устали взвешивает желеобразные мозги.

Продавцы молодежных газет напоминают средневековых беггардов, этих еретиков, таких же молодых, как они, основавших странствующую монашескую секту и восставших против всяческих пут, исступленно отстаивая свое открытие: слово «бог» может означать лишь любовь и свободу. По правде говоря, скорей уж иные хиппи напоминают беггардов, у которых стремление к свободе легко оборачивалось распущенностью и самолюбованием. Наши юные бунтари куда более суровы. Даже непреклонны. И однако, вписанные в картину, какую являла собой в тот вечер улица Муфтар, они вдруг как-то раскисли. Сам вид этих мест, навалы съестного, вечерняя предпраздничная толпа, охваченная чревоугодническим пылом закупок,— все возвращало прошлому жизнь и мощь, а через прошлое — и той народной житейской мудрости, против которой бессилен в иные минуты и самый заядлый идеализм. Мадам Гион, прислонившись к столетьям коммерции (прислонившись не в переносном, а в самом прямом смысле: ведь древние стены стоят и доныне), обезоруживает молодых бунтарей, даже не обращая на них внимания, так сказать, «исторически» претворяет их в малых детишек, в овечек (у нее добрая улыбка бабушки, но бабушки, за плечами которой громоздится не менее пяти веков), и их крики поэтому кажутся ей чуть ли не блеянием.

Два строения в форме башен замыкают сегодня с обеих сторон Латинский квартал — одно на Монпарнасе, другое — где разместился факультет естественных наук, на месте бывшего винного рынка. Башни эти неодинаковой высоты, но, если смотреть издали, даже более низкая из них, та, в которой естественный факультет, заметно возвышается над самыми величественными из соседних зданий. Когда с правого берега Сены смотришь на эти башни, расположенные по обе стороны холма Сент-Женевьев, то они напоминают масштабные линейки, которые нанесены на поля иных репродукций для определения размеров изображенных на них фигур. И кажется, что церковь Сен-Сюльпис, Пантеон и обсерватории Сорбонны кто-то собирается подвергнуть обмеру.

Если я и люблю Нью-Йорк, особенно его новейшие, все из металла и стекла небоскребы, в окнах которых отражаются облака, то потому, что каждое здание занимает свое место в ансамбле, где господствует дух единства. А в Париже наши современные башни подавляют и умаляют соседствующие с ними памятники архитектуры, подчеркивая и их бесполезную сложность, и все их орнаментальные излишества. Здесь строгость линий уже выглядит покушением на убийство, а целесообразность превращается в святотатство. Верно: современный урбанизм имеет известный резон; строительство высотных зданий в городах, где земля так дорого стоит, экономически выгодно, оно удобно и с точки зрения подвода коммуникаций, и с точки зрения всемерного распространения комфорта, да к тому же сулит верхним жильцам непосредственную близость к небу. Обойдем молчанием пробки на улицах и невыносимую давку в общественном транспорте, которые возникают из-за перемещения взад и вперед огромных людских масс в одни и те же часы, в одни и те же места. Сосредоточим внимание лишь на символическом смысле головокружительных этих строений. Не выражают ли они волю нашей эпохи к самоутверждению, а вернее, волю тех, кто определяет ее курс?

Со времен Ниневии тщеславие разных режимов и правительств не находило лучшего воплощения, чем башни. Священное писание полно проклятий в адрес тех сооружений, что спесиво возвышались над городами, доставая, казалось, макушкой до облаков. Башни являются знаком и даже орудием власти, простирающейся на всю округу. Еще вчера любая колоколенка, видная далеко окрест, оказывала на человеческую душу тяжелое воздействие, морально владычествовала над нею, вновь и вновь напоминая крестьянину о подневольном его положении. Шпили соборов куда весомее свидетельствуют о мирском владычестве церкви, нежели побуждают паству к благочестивым порывам.

Сегодняшние наши башни из бетона, стекла и металла имеют такое же назначение: они представительствуют от имени торжествующего ныне порядка, но вместе с тем и от имени прогресса, как бы увещевая ему довериться. Точные копии небоскребов Америки, исполинские эти сооружения олицетворяют для нас символ, нет, даже миф об образе жизни заокеанской державы, об ее экономической системе, которая зиждется на изобилии, технике, рационализации.

Электронные лифты наших башен вознесут нас, по-видимому, не иначе как на «седьмое небо» благосостояния и успеха!

Но наши постройки знаменуют собой нечто иное, чем небоскребы в Соединенных Штатах, хотя бы потому, что вписаны в совершенно другой пейзаж. Понятие «башня», принятое для их обозначения, подразумевает со всей очевидностью, что ни поблизости, ни даже на горизонте у них нет соперников по высоте. Единственная, по крайней мере в своем районе, она должна безраздельно господствовать надо всем. Так «динамизм» режима «нового общества» изобличает свою агрессивность. Скромность же наших возможностей, которая, к прискорбию градостроителей, молодых технократов и правящих кругов, мешает нам превратить Париж во второй Манхэттен, приводит к тому, что эти дома-великаны кажутся издали даже выше, чем они есть на самом деле, и выглядят заносчиво, угрожающе.

Современный капитализм нашел в них идеальное выражение. Он растет, развивается отчаянными скачками, жертвуя, как и эти постройки, крепостью своих устоев ради размаха, ради гордыни и давя своей махиной все окружающее, традиционную деятельность мелких торговцев, беднейших крестьян, ремесленников. Нынешний Париж похож на некую диаграмму, одну из тех сравнительных таблиц экономики, где разные ее отрасли обозначены колонками неравных размеров. Чем сильнее стремятся они достигнуть одинаковой высоты, идет ли речь об архитектуре или о росте экономики (в нашей системе, во всяком случае), тем безысходнее заслоняются перспективы, и человек чувствует себя узником каменного мешка.

Невольно задаешься вопросом; не выступают ли в сегодняшней Франции эти небоскребы скорее в качестве некой приманки, мечты, нежели предвосхищения будущего? «Кризисные» эпохи всегда следовали в своих постройках, так сказать, внушающим спокойствие образцам. В канун революции увлекались неоклассицизмом, масштабностью и возникли Пантеон, церковь Мадлен и т. п. Мы, конечно, не дошли еще до того, чтобы, как в те времена, воскрешать Грецию или Рим; мы вдохновляемся державой, которая по ту сторону Атлантического океана играет, на наш взгляд, роль империи. Так, запросто, мы обретаем иллюзию могущества и ощущение, будто мы сможем раз и навсегда оградить себя от того, что иные называют силами отрицания.

И действительно, попав внутрь одной из этих сверхсовременных башен, вы уже не склонны верить в возможность какой бы то ни было революции. Есть в этой архитектуре, с ее гладкими и холодными плоскостями, сверканьем металла, стеклянными дверями, освещением, при котором нет места тени, кондиционерами, сияющими табло, бесшумными лифтами нечто неопровержимое, неукоснительное, логичное и бездушное, что полностью обезоруживает. Блестящий алюминий до ужаса объективен и убедителен. Здесь все призывает к социальной гигиене, в сравнении с которой любая революционная агитация покажется либо ребячеством, либо чем-то граничащим с патологией.

Впечатление, несомненно, обманчивое. Мировые события последних лет преподнесли нам немало примеров непрочности современного общества перед напором масс, к чаяньям которых оно упорно не желало прислушиваться. Но пугает иное: башни выстоят, даже если утратят всякий исторический смысл. Прочнейший армированный бетон дарует человечеству будущее без развалин. Если нынешние постройки в конце концов и стареют, то старость эта — позорная. Дожди и дым (особенно если смена режима, как это почти всегда и бывает, отмечена периодом бесхозяйственности) с годами размалюют их серыми полосами; металлическая обшивка отвалится; стеклянные двери и окна, хлопая на ветру, треснут и разобьются, краска облупится... Однако самому-то зданию ничего не грозит — так и будет торчать пустой, чуть ли не призрачный каркас...

Прежде прошлое, каким бы ни было оно темным, сохраняло, благодаря творениям зодчества, некое меланхолическое величие. Сегодня мы бросаем позади себя прошлое, которое обречено на самое мрачное и самое пошлое вымирание. Вчера история оставляла нам в наследство развалины; завтра она завещает нам лишь отбросы.

Я знаю, что молодые бунтари чураются ловушек преклонения перед прошлым, культа истории и считают, что нельзя по-настоящему изменить жизнь, не переменив ее декораций. Но если однажды дело и победит и они окажутся у кормила власти, им придется терпеть наследие нынешнего режима и занять именно эти башни. Я, признаться, не представляю себе нового человека (того, кто, надо надеяться, обретет первородную невинность) в стенах этих построек, которые выражают скорее стремление к расточительному излишеству, нежели истинную тягу к величию. Неправда, что вера восторжествует надо всем. Преемственность, случается, вяжет по рукам и ногам: история уже нас научила, сколь опасна подчас игра с символами.

Здание, возвышающееся на месте бывшего винного рынка, представляет собою настоящую дозорную башню, в которой расположились административные службы естественного факультета. Этот фа-

---

ПЬЕР ГАСКАР
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

культет, один из самых жарких очагов молодого брожения, во время стычек между студентами и полицией превращается чуть ли не в осажденную крепость. Но все-таки не похоже, чтобы бунтари усматривали в вызывающей архитектуре зданий, куда привела их судьба, олицетворение того самого режима, против которого они восстают. При случае они охотно поносят их неудобство и тесноту. Но только не их стиль, в котором как раз и утверждается технократический идеал нашего общества.

Это равнодушие молодых к посягательству на град Париж объясняется в первую очередь их уверенностью, что городской пейзаж еще будет на их глазах меняться и меняться, а вот люди моего поколения, увы, больше не сомневаются, что так и унесут с собой в могилу изуродованный образ милой их сердцу столицы. Новейшие творения искусства и техники, по сути, являющиеся лишь наметками, пробами и заскоками, которым, возможно, и суждено нащупать в дальнейшем правильный путь, для нас, обреченных остаться в неведении относительно тех поправок, что внесет в эти опыты жизнь, они так и останутся самым последним словом.

Правда, молодежь отвергает старую культуру не всю целиком, а метит лишь в ту, что имеет официальный характер, иными словами — в университетскую, слишком склонную к философским обобщениям. Современная же эстетика, которая только и знает, что потрафлять как в архитектуре, так и в дизайне, вкусам нашей эпохи, с ее духом наживы, не подвергается ни малейшим нападкам со стороны этих заядлых спорщиков.

И вместо того чтобы серьезно попенять архитекторам за их унылые детища, молодежь относится к ужасающим этим творениям не только терпимо, но и почти безразлично, используя их подчас как простые щиты для своих воззваний. Так, на одном из корпусов здания естественного факультета бунтующие студенты, скользя, подобно альпинистам, вдоль стены по веревке, намалевали както ночью огромную надпись. Четкие метровые буквы растянулись по вертикали на целых пять этажей, что, однако, не имело никакого значения, так как из-за невозможности в этом тесно застроенном районе отступить даже на шаг, обращение это и не могло быть рассчитано на чтение издали. Разве только для большей выразительности и нужны были такие громадные буквы, да еще ради вящего зрительного эффекта. Это и было достигнуто в полной мере, так что башня факультета словно бы даже слегка стушевалась, чуточку поубавила спеси и стала почти незаметной.

Надпись призывала на политическое собрание. Ей суждено было устареть сразу же после демонстрации, и кичливый ее характер лишь подчеркнул мимолетность событий, которыми, не без вышеупомянутых ухищрений, старались подогреть любопытство общественности. Со временем было решено уничтожить надпись, тем более что этому щиту для объявлений предстояло служить еще и еще. Краска, однако, оказалась стойкой, и буквы можно было стереть только с помощью акробатических трюков, прибегнув к которым их прежде удалось нанести. Самое большее, на что приходилось рассчитывать, это, скользя опять вдоль стены по альпинистской веревке, вымарывать слова по пути хотя бы частично, так как для полного их истребления пришлось бы закрашивать или чернить все буквы подряд, а это такая же долгая песня, как и соскребать их ножом. Легче было просто изуродовать надпись. Один мазок кисти — и буква «С» превращается в «О», «Р» — в «Ф», «Г» — в «П» и так далее.

Так и поступили. Надпись превратилась в какую-то заумь, в схватку гласных с согласными, в изречение, написанное не то на молдавском, не то на валлийском. В том самом виде она сохранилась и по сей день, и диковинность делает ее еще заметнее, чтобы не сказать красноречивее, чем прежде. Призыв к революционной борьбе каждый воспринимает на свой лад; так или иначе, но чувства людей ясны им самим. И наоборот, это туманное обращение, загадочное, как вавилонское смешение языков, словно бы выражает сумятицу в мыслях, и это тем более тревожно, что выставляет она себя на всеобщее обозрение как раз над храмом науки. Несведущий прохожий, того и гляди, заподозрит (подобная мысль вполне естественна в нашу эпоху с ее головокружительными достижениями), что, взметнув человеческие знания до небывалых вершин и даже преодолев их, наши мудрецы в припадке Прометеева исступления низринулись в пропасть невыразимого и от слишком большой учености докатились до полной галиматьи. А возможно, наш прохожий решит, что анархически настроенные студенты именно затем и начертали эту варварскую непонятную надпись на стенах своего факультета, чтобы выставить на посмешище культуру, которой, как полагают, они там набираются. Это ли не лучшее опровержение лицемерной рациональности нашего времени, вся эта тарабарщина, что красуется как девиз, видимый за сто метров в окружности, на одном из научных святилищ? Чтобы заклясть угрозу, возникшую от избытка знаний, печальные результаты коих мы начинаем уже ощущать, эти юные подмастерья волшебника, похоже, снова взялись за кабалистические знаки.

А напротив естественного факультета простирается Ботанический сад, где под сенью кедра Жюссие и платана Бюффона жив еще дух ученого гуманизма XVIII столетия. Образы, что встают перед нами за поворотом каждой аллеи, возрождают в памяти натурфилософию, раскре-

постившую некогда человеческий разум, и составляют яркий контраст с воинствующим убожеством и уродством башни и корпусов естественного факультета, где бунт, из-за своей незрелости или бессилия, проявляется вот в этой яростной пачкотне.

Их сегодня многие тысячи, этих юношей и девушек, чуть ли не подростков, устроивших против заполонения городов автомобилями демонстрацию на велосипедах, с целью доказать, на собственном простейшем примере, преимущество неспешной прогулки перед бешеной скоростью, тишины — перед шумом, истинного спорта — перед его профанацией. Когда они, скапливаясь, создавали пробки на перекрестках, улицы затихали и слышен был лишь легкий шорох велосипедных колес да лозунги, весело выкрикиваемые демонстрантами.

Желая придать колонне, которая пересекла весь Париж, живописный и праздничный вид, иные из молодых нарядились в маскарадные, чуть ли даже не в шутовские костюмы, а велосипеды разукрасили бумажными розами. Время от времени слышались звуки тромбона, дудок, свистулек, и в этой какофонии лозунги, если угодно, вообще теряли всякий налет драматизма. Ведь важно одно: чтобы протест был забавным, тогда насмешка наверняка достигнет цели. Автомобилисты, чьи машины, попав в водоворот карнавала, застревали посреди этой прорвы велосипедистов, либо улыбались смущенно, либо обиженно поджимали губы и под градом насмешек на какую-то долю секунды осознавали комичность ситуации, всю свою буржуазную скованность, подчеркнутую еще тем, что они сидят за рулем.

Эта демонстрация была не то бунтом хиппи, не то политическим выступлением. Но если обличение пороков технического прогресса само собою подразумевает критику буржуазного практицизма, символом которого может служить автомобиль, оно все-таки еще очень далеко от того, чтобы требовать пересмотра социального порядка в целом. Следует заметить, что наиболее чувствительны к издержкам технического прогресса именно те, кому они мешают наслаждаться полным комфортом. У рабочего, который целый день гнет спину в цеху, в дыме и грохоте, не остается сил обсуждать проблемы загрязнения воздуха и городского шума. Человек, который всего лишь утоляет голод, не задается вопросом, сделана ли пища с добавлением химических заменителей.

Большинству людей техническая цивилизация досаждает самой своей формой, а о последствиях ее почти никто не задумывается. Загрязнение воздуха имеет то преимущество, что не щадит никого и отравляет всех без разбора, в том числе тех, чье благоденствие зиждется на страданиях ближнего. Я, несомненно, несколько обобщаю. Издержки прогресса лишь косвенно связаны с нашей экономической системой, и после ее переустройства большая их часть останется в силе. Однако с точки зрения революционеров наше общество вполне заслуживает такой кары.

В демонстрации велосипедистов особенно ярко проявилась романтика анархизма. Символом ее был красный, с черным цветком посредине флаг, прикрепленный к рулю одного из велосипедов. Цветок напоминал ромашку с крупными лепестками, упрощенный детский рисунок в духе поп-арта, психоделизма, эстетики хиппи. Да и сам велосипед, как таковой, словно бы предвосхитил этот стиль еще до его зарождения, что легко подтверждается хотя бы тем местом, какое занимают велосипеды на полотнах таможенника Руссо и особенно Фернана Леже, чью живопись как раз и берет себе за образец поп-арт.

У велосипеда такой мирный вид! То, что в нем есть от техники, сглаживается хрупкостью, изяществом его линий. Едва он появился на свет, как ему еще придали женственности, прозвав «маленькой королевой», а многие авторы добавляют в его описания даже некий оттенок эротики («На сердце верхом улыбается велосипедист»,— пишет Жан Кокто в стихотворении, последние строчки которого: «Велосипедист предавался мечтам, ей бедра лаская» — и вовсе уже недвусмысленны). Так, главный лозунг демонстрантов: «Велосипед, а не автомобиль!» тесно связан со знаменитой формулой хиппи: «Занимайтесь любовью, а не войнами!»

Неужели же этот пацифизм, это восхваление простых радостей бытия, эта тяга к природе (в самом широком значении слова), превратившие демонстрацию молодежи в своего рода большой «сабантуй» (что, однако, не помешает полиции грубо ее разогнать), не нашли лучшего способа заявить о себе? Первыми пример подали Соединенные Штаты, где студенты выбрали именно этот вид транспорта не потому, что он самый здоровый, не из любви к спорту, а чтобы подчеркнуть свое неприятие технизированного общества. Решение довольно странное. Как не увидеть в этом пристрастии к велосипеду кокетство и снобизм богатых?

Для молодых американцев речь не идет о «возврате к велосипеду», как во Франции, где это попросту означало бы социальный регресс Средний американец разъезжает на автомобиле уже добрых полвека; ему не припомнить случая, когда он крутил бы педали по необходимости. Он воспринимает велосипед разве что как детскую игрушку. И эта игрушка

ПЬЕР ГАСКАР
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

символизирует для него скорее невинность, чем нищету. Точно так же американские хиппи, создавая на лоне природы свои общины и обходясь там без всяких удобств, ударяются в восторженный примитивизм, трудно постижимый и даже ненавистный у нас в стране, где для наших дедов, зачастую бедных крестьян, эта «естественная» жизнь была сущим проклятьем.

Отнюдь не пристало нашим юнцам вздыхать по нищенскому образу жизни, суровость которого испытали их родители на собственной шкуре. Конфликт между поколениями при этом только обостряется. Так не лучше ли отказаться от заманчивых заокеанских софизмов? Лишь взвалив на себя бремя прогресса, а не сбрасывая его с плеч, наша цивилизация вызволит себя из беды.

На самом верху улицы Монтань-Сент-Женевьев, почти перед церковью Сент-Этьен-дю-Мон, напротив мрачной, огибающей ее улочки, продавец мотоциклов выстраивает вдоль тротуара свои сверкающие машины. Обветшалые украшения и церковная сень подчеркивают их яркие краски и блеск никеля. Невольно спрашиваешь себя, с какой стати такой магазин открылся на этой безлюдной старинной улице да еще с крутым спуском, мало приспособленным для опробования машин. И все-таки магазин притягивает молодых покупателей, которые, уже будучи счастливыми обладателями мотоцикла, заезжают сюда полюбоваться новой моделью, на ходу подлатать свою машину или оснастить ее какой-нибудь дополнительной деталью, выбираемой с благочестивым усердием.

В касках и сапогах, в куртках и брюках из кожи, эти парни ведут себя как причастные к тайне и группками торчат на тротуаре у магазина, куда более сосредоточенные и степенные, чем те богомольцы, что выходят после обедни из церкви Сент Этьен-дю-Мон. Сосредоточенность ли это, однако, или, быть может, отсутствие? Пустой и неуловимый взгляд (у некоторых — защитные цветные очки), да и разговаривают они мало; неподвижность их явно гнетет. Им открылась простая истина: спастись бегством — это лучший способ разрешить мировые вопросы, ускользнуть от неотвязной действительности.

Даже на рабочей скорости мотор мотоцикла крутится в таком чудовищном ритме, что треск, и без того одуряющий, словно бы все нарастает и нарастает, пока не взметнется до какой-то немыслимой высшей точки. Вспарывание пространства, насилие над городом. И будто нарочно, чтобы это насилие стало еще более жестоким, некоторые юные мотоциклисты снимают глушитель, установленный конструктором на выхлопной трубе. Гонки на бешеной скорости им уже недостаточно; они хотят прочертить траекторию грохота, расколоть тишину, как нос быстроходного корабля рассекает воду, и умчаться вперед, с удовольствием представляя себе, как медленно склеивается мир у них за спиной и как он еще долго ходит волнами.

В этом уголке Люксембургского сада, рядом с фонтаном Медичи, густые кроны тесно растущих платанов отбрасывают тень на воду бассейна и на аллеи с расставленными там скамьями. Публика редко забредает в эти владения молодых парочек, прячущихся от яркого дневного света. Одна пара, невзирая на запрет, устроилась посреди наклонной лужайки, в которую упирается аллея и которую окружают гирлянды плюща, совсем как во Флоренции, в саду Боболи. Парень и девушка стоят обнявшись или, вернее, изображают обнимающихся влюбленных. Ну прямо — кино! Они не слишком красивы, движения их лишены изящества, но главное из того, что им хочется доказать (они знают, что на них смотрят), тем не менее доходит до зрителей. А основное, в чем им хочется убедить и нас и себя, это то, что они — сама молодость, радость, любовь и что они захватили лужайку лишь для того, чтобы объявить всему миру: чудо, какое они собою являют, освобождает их от любых правил.

Парень приподнимает на ладонях длинные, очень длинные волосы девушки, которая, положив ему руки на бедра, глядит на него с улыбкой. Счастье быть молодым, быть влюбленным (счастье самоуверенное и дерзкое) взяло себе за пьедестал эту запретную лужайку. Из почтения к установленному порядку и к муниципальным газонам мы лишь издали любуемся этой живой картиной, в которой юная пара в джинсах пытается подняться до аллегории.

Дальше — больше, и вот нашествие молодых на лужайки превращается в дионисийское празднество. Несколько десятков юношей и девушек лежат на газоне, в то время как остальные, взявшись за руки, танцуют вокруг под звуки тамтама. Это тоже некая демонстрация, и удары колотушкой по гонгу, и сопровождающие их веселые крики знаменуют победу, одержанную над распорядком городских садов. Сияет солнце, мягко блестит трава, и невольно спрашиваешь себя — является ли этот захват доселе запретных лужаек борьбой за расширение прав личности, вызовом сторонников жизни на лоне природы или же просто своеволием кучки юнцов, желающих всласть позабавиться? На самом же деле все эти объяснения взаимосвязаны: бунт в состоянии себя подкрепить лишь тем, к чему его подстрекает молодость.

Вполне естественно, что молодежь еще больше, чем мы, ощущает проклятье асфальта. Урбанизация мало-помалу устилает землю плотным покровом, а он,

отражая солнечные лучи, чрезмерно нагревает и сушит воздух, что, в свою очередь, пагубно влияет на растительный и животный мир,— недаром некоторые страны уже забили тревогу. Есть и другие гибельные последствия психологического порядка: с ростом городов мы испытываем приступы настоящего удушья, словно бы дыхание земли, которое до сих пор легко смешивалось с нашим, не может вырваться из-под плотного каменного покрывала. Отныне любой клочок травы кажется нам родничком в пустыне, а каждое дерево — мощно выбившейся из заточения артезианской струей. Не придавайте этим рассуждениям какой-то особый философский смысл и не думайте, будто я хочу напомнить о разительном контрасте между щедростью земли и скудостью, убожеством наших творений,— это просто вопль души. Страдают все пять наших чувств, ибо одной радости видеть, смотреть (настолько необходимой человеку, что швейцарские власти завозят цветы в казармы своих пограничников, живущих среди вечных снегов) — слишком мало. Нужно еще трогать траву, вдыхать запах земли, прилечь на эту упрямую землю, прохладную и бугристую, и ощущать ее всем своим телом. Вот вам и миф об Антее.

Однако прикосновение к земле-матушке явно приводит сегодняшних захватчиков Люксембургских лужаек и вышеупомянутого мифологического персонажа к совершенно противоположным результатам. Наши молодые то пляшут под звуки тамтама, то валяются на траве, ведут бессвязные разговоры, елозят головой по газону, иногда прикрыв веки, иногда напевая. Но в конце концов в нашем мире, отданном на откуп техническому безумию, симптомом коего является урбанизация в ее нынешнем виде, зеленое пространство служит неким противоядием, и впрямь освежающим, когда оно превращается в площадку для игр. Однако же сила, которую черпают наши молодые антеи на этих лужайках, это сила отрицания.

И все-таки в борьбе за лужайки, которыми до сих пор безраздельно владела администрация, прибегавшая к предостережениям вроде тех, с какими обращаются к детям: «смотри, а трогать не смей», притязания юности или, вернее, «юнизма» — имеют некоторый резон. Молодые люди считают, что коль скоро лужайки принадлежат всем, то уж в первую очередь — им. Они так прямо не говорят. Просто это в порядке вещей. И в самом деле, они пытаются, не до конца даже это осознавая, расширить права, которыми они пользовались, будучи детьми, то есть законными хозяевами парижских парков. Когда, бывало, на запретный газон закатится мячик, им иной раз позволялось за ним сбегать. Хотя и не разрешалось там слишком долго задерживаться. Здесь тоже бунт сводит свои старые детские счеты.

То ли от нечего делать, то ли желая еще дальше раздвинуть границы своей свободы, утвердиться в презрении к существующим правилам, несколько девушек в полном облачении влезли в бассейн. На них потертые джинсы, которые от такого купанья не особенно пострадают. Вода едва скрывает их бедра. Ноги скользят по тинистому дну. Девушки продвигаются осторожно, балансируя руками, и все-таки их заносит то в ту, то в другую сторону. Волосы, явно давно немытые, ниспадают прядями им на плечи. Девчонки все время смеются чуть принужденным смехом. От взбаламученной воды поднимается запах прелых листьев. Бассейну, окруженному статуями на мифологические сюжеты, только наяд, пожалуй, и не хватало. Но наши-то наяды производят довольно жалкое впечатление. Они двигаются с трудом, понуждая себя продолжать игру, которая им явно уже надоела. Порой они спотыкаются о затонувший кораблик, на поверхность тогда всплывает покрытый тиной обломок корпуса или клочок паруса, и то, что юным купальщицам представляется неким вызовом обществу, на самом-то деле просто воскрешает в памяти все маленькие кораблекрушения их детства.

Молодежь провозглашает любовь к природе главным образом, чтобы еще раз заявить о своем неприятии существующего порядка, технизированного потребительского общества, культа материальных благ. Но покровы, облекшие эту любовь, отнюдь не похожи на прежние: вспомним ли мы руссоизм, романтический пантеизм, озарения в духе Рембо или же лиризм анархо-пасторального толка, каковым Жан Жионо перед последней войной сумел увлечь некоторое количество молодых. А эти сегодняшние рассматривают природу не как данность, вытекающую из наблюдений и чувственного опыта; для них она лишь образное отрицание действительности, символ детства.

Такое инфантильное восприятие природы откровенно выражено поп-артом, с его пристрастием к цветам и цветочкам. Наивно стилизованные венчики, написанные яркими красками без всяких оттенков, выражают нечто вроде ребяческого изумления: цветы смотрят на мир, широко распахнув глаза. К ботанике они не имеют даже самого отдаленного отношения. Раскрашенные иероглифы, они только и знают, что повторять слово love [1] (поп-арт и психоделизм пришли к нам из англосаксонских стран), и все эти украшеньица, для детской разве что и пригодные, наполнены тем не менее

[1] Любовь *(англ.)*.

ПЬЕР ГАСКАР
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

эротическим смыслом. Это уж скорее добровольное умственное оскудение, с помощью которого молодой человек надеется вернуть все радости детства, не исчерпанные, как ему кажется, до дна из-за всяческих кар и придуманных взрослыми ограничений. В то же время наркотики и первые сексуальные опыты позволяют ему наконец как бы наяву пережить свои сны, осуществить ранние тайные желания — короче, познать во всей полноте то, что сулило детство и осталось пока нереализованным. Все это в какой-то мере объясняет образ жизни хиппи, и когда антиобщественные поступки молодых проявляются не столь бурно, нетрудно обнаружить лежащее в их основе чувство тоски по утерянному детскому раю.

Итак, молодежь в основном не располагает объективной концепцией природы, в которой — за все, что в ней есть чудесного, сказочного,— она признает лишь зов детства. Даже наиболее политически подкованные из молодых еще не определили как следует своего отношения к природе.

Вдоль двух бульваров, пересекающихся в центре Латинского квартала, как грибы растут магазины, торгующие одеждой для молодежи, и их владельцы, под давлением жестокой конкуренции, раздувают такую рекламную шумиху, что даже трудно вообразить, чем все это кончится. За невозможностью самим торчать, как балаганные зазывалы, перед своими витринами, они устанавливают у магазинов огромные объявления, на все лады восхваляющие их товар. Кроваво-красные литеры, гигантские цифры, ливень восклицательных знаков; вскоре они уже будут составлять свои рекламы из огненных букв.

Кто-то из хозяев так размахнулся, что поставил панно, загородившее всю витрину, и только вырезал в нем для покупателей дверь. И лишившись дневного света, обрек себя на торговлю в настоящей пещере. Прием, как ни странно, публике пришелся по вкусу. Все, что похоже на грот, привлекает своей таинственностью и наводит на мысль о кладах. В узенькой дверце, вырезанной в щите и сожравшей несколько цифр и даже букв рекламы,— вечная толчея.

Панно громогласно сулит уценку товаров, но их наличный запас без конца обновляется — так создается видимость распродажи. Юные покупатели (те самые, что совсем недавно утверждали свою свободу, захватывая лужайки и даже бассейн Люксембургского сада) прорываются в отверстие гигантской рекламы, как цирковая собачка сквозь натянутую на обруч бумагу: их проглатывает вещность. Точная картина нашего времени. Человечество в посюстороннем мире погребено под грудами собственных изделий. Над этой изготовленной нашими руками материей (я беру это слово в его философском значении) мы властвуем лишь до той поры, пока можем хотя бы примерно ее исчислить, представить объем сделанного. Но она все растет и растет, она уже затопляет нас, поглощает, впитывает, и прекрасным символом этого служит вышеупомянутый магазин на бульваре, похожий на изукрашенное цифрами гнездо термитов, у подножия которого «общественные» насекомые, все эти юные покупатели, неустанно толпятся с утра до вечера.

Технический прогресс дает возможность бесконечно расширять выбор товаров, что приводит теперь к перепроизводству не только количественному, но и качественному. Любой предмет, любое готовое изделие, любой «артикул» могут быть сегодня предложены потребителю во всех мыслимых и немыслимых видах, включая и те, что не отвечают уже назначению вещи. Все стили, все жанры, вплоть до самых нелепых, соседствуют друг с другом в полной неразберихе, поскольку с каждым годом моде становится все трудней предписывать свои законы. Индустрия одежды доказывает это наилучшим образом. Благодаря методам массового производства, механизации труда, фабриканты в состоянии удовлетворить какую угодно прихоть — и ту, которая пока не смеет о себе заявить, и ту, которая должна вот-вот родиться. Такие приемы торговли, несомненно, ведут к тому, что не все товары распродаются, но зато себестоимость их столь низка, что барыши с лихвой перекрывают убытки.

В прежние времена из-за ограниченных производственных возможностей выпускали лишь тщательно продуманные модели, которые, как предполагалось, будут меняться достаточно медленно. Они и были критериями вкуса. Дерзкие выдумки и причуды привели бы к такому разбазариванию средств, какого экономика тогда бы не выдержала. Поэтому и побеждало все привычное, устоявшееся, а всякого рода фантазии заключали в узкие рамки. Появившееся, благодаря техническому прогрессу, неистощимое разнообразие товаров вызвало у публики настоящий взрыв прихотей, доселе сдерживаемых запретами моды.

Но так ли уж мы свободны теперь от модных установлений? Молодежь (ведь речь идет именно о ней) действительно не знает удержу в выкрутасах. Ее одежда свидетельствует о полном раскрепощении. Внешне их костюм донельзя прихотлив. По внутренней сути он также не терпит ничего, что сковывает движения, что давит, душит, стесняет; да часто он и задуман так, чтобы можно было, без всякого для него ущерба, бегать по долам и лесам, спать на земле. Это костюм пилигримов. Манера одеваться выдает, как известно, нашу нравственную позицию в обществе: разве галстук не символ узды? Однако провозглашаемая молодыми свобода в одежде чисто фор-

мальна; она, увы, всего лишь иллюзия, к которой как раз и приводит такое выряживание. Пресловутая эта вольность превратилась в самую всевластную из мод — недаром коммерсанты научились использовать ее для выжимания прибылей.

Согласимся: немало пришлось проявить таланта, чтобы навязать молодежи эту подделку под бунт и даже таким немудреным способом «подкупить», как нынче выражаются, некоторую часть недовольных. Реклама, само собой разумеется, была тут хорошей подмогой. Несколько лет назад, во времена наиболее сильного брожения среди молодых, можно было надеяться, что они, наконец, сведут с коммерцией свои счеты. Среди лозунгов тех дней мы прочли на стенах Латинского квартала и такой прекраснейший из призывов: «Вещь, сгинь!» Но с той поры и притом в тех же самых местах, где прозвучала эта анафема, вещи ведут себя все бесстыднее.

Маленькие баллоны, откуда сжатым воздухом распыляется краска, недавно придуманные и пущенные в продажу специально для маляров-дилетантов, очень скоро превратились в важнейший элемент рыцарских доспехов бунтовщика. С помощью этих баллончиков можно в несколько секунд намалевать на стене гигантскую надпись. Так как краска, выброшенная под мощным напором, частично рассеивается, буквы выходят слегка расплывчатыми, но если цвет выбран яркий, они все равно пылают огнем. Вот уж поистине: «Мене, текел, перес!» [1] Вавилона новейших времен.

Надписи смывают, соскребывают, но они появляются снова и снова, все в большем и большем количестве, в самых различных формах. Человек, который как раз в эту минуту сдирает одну из них со стены на улице По-де-фер, знает это по опыту, накопленному еще с 1968 года. Недаром его движения выражают такое уныние и усталость. А ведь он еще только на первом слове пламенеющего лозунга: «Плотоядным растением общество стало». И верно, есть в этих словах какая-то сила, способная, кажется, сделать надпись неизгладимой. Цитата ли это? Возможно, если судить по размеру: хотя и без цезуры, она напоминает александрийский стих. Как бы то ни было, авторы вышеуказанной надписи, а за их спиной — и большая часть бунтующей молодежи не могли найти лучшей формулы, столь ясно, пусть даже и безотчетно для них самих изобличающей природу конфликта, в который они оказались втянутыми.

Насекомоядное растение заглатывает и переваривает плененное им насекомое, когда оно, соблазнившись ярким цветом и запахом венчика, всласть насосется нектара. Пожалуй, это в природе единственный случай, когда не охотятся за добычей, а она сама, по собственной воле, лезет в ловушку, куда толкает ее вожделение. Разве что самец богомола славится подобной же «нравственностью». Сравнивая общество с мухоловкой, росянкой или трубчатником, молодежь утверждает, что оно разрушает тех, кто уступает его соблазнам, попадается на удочку его обманчивых прелестей. Предупреждение это явно исходит от молодых буржуа. Образ «общество — насекомоядный цветок» на сегодняшний день лишен всякого смысла в глазах массы людей, для которых наш мир вообще не знает цветения.

В своем несколько запоздалом бодлеризме эта формула, в конечном счете, сплетается с религиозным учением (радости жизни ведут человека к погибели), и не очень сложно увидеть в ней угрызения совести. Молодые бунтари идут на полный разрыв с обществом, уверившись в том, что философия потребления, распространенная именно в родной им социальной среде, приводит, выражаясь их языком, к отчуждению. Весьма похвальное раскаяние. Однако не отгораживает ли оно их от масс, которым пока что нет нужды очищаться?

Несмотря на то, что надпись выражает готовность молодых отречься от наслаждений на этом свете, что, в сущности, отвечает предписаниям религии, место, выбранное для лозунга, делает его особенно вызывающим. Начертан он на светло-желтой стене старинного монастыря Сент-Ор, до сих пор занятого монахинями. Нет сомнения, что юные бунтари умышленно намалевали свою фразу на монастырской стене: религия, не сообразуясь ни с собственными заветами, ни с теми новшествами, на которые она была вынуждена пойти, по-прежнему остается одной из самых мощных форм нравственного давления на народ. Да к тому же лишь тюрьмы и монастыри обнесены такими длинными, такими глухими, такими удобными для надписей стенами.

Посланец монахинь так энергично действует щеткой, что надпись, изобличающая общество как самое прожорливое, самое хищное из всех насекомоядных растений, мало-помалу исчезает. Человек этот — один из тех полубродяг, которым сестра-привратница ежедневно отпускает тарелку супу у монастырских дверей. Вряд ли до него дошел смысл формулы. Будем надеяться, что следующая (ведь стена недолго останется девственно чистой) окажется для него чуть яснее. Настенная литература молодых бунтарей стремится понемногу отделываться от романтизма, в котором, как го-

---

[1] Грозное предостережение, зловещий знак. По библейскому преданию (книга Даниила, гл. 5, 25), эти слова были начертаны на стене невидимой рукой во время пира вавилонского царя Валтасара.

ПЬЕР ГАСКАР
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

ворят, обнаруживается классовый дух. Легко заставить стены заговорить; гораздо труднее добиться, чтобы им ответило эхо.

Обществу, которое сравнивают с насекомоядным растением, следовало бы оправдать такое уподобление, превратив эротику в одну из своих приманок (тут перед глазами возникает рискованная картинка, не подлежащая уточнению). Однако в перенаселенном Латинском квартале насчитывалась до последнего времени только одна «секс-лавочка». Более того: она прогорела, во всяком случае, деятельность ее угасла. Впрочем, большая часть товаров — увеличенные фотографии, статуэтки, гравюры, книги и т. д. и т. п.— так и остались в лавке, насколько можно судить сквозь тусклую, густо покрытую пылью витрину. Под действием сквозняков, дующих неизвестно откуда, так как дверь, кажется, заперта уже навсегда, фотографии голых девиц оторвались от стен, к которым они были пришпилены, и повисли лохмотьями, словно их рвали нарочно. Другие, также наполовину отклеившиеся, стыдливо свернулись в трубку; те, что остались на месте, желтеют меж четырех ржавых кнопок. Пыль, застилающая столы и полки, загроможденные книгами и какими-то непонятными предметами, мало-помалу превращается в пепел, не столько, быть может, в действительности, сколько в нашем воображении.

В печальной участи «секс-лавочки» есть своя мораль: ведь открыли-то ее с корыстным расчетом сыграть на слабостях молодежи. В данном случае расчет оказался ложным, но во всех прочих он способствует процветанию коммерции, порой даже там, где идеология должна бы взять верх над духом наживы. Книгопродавцы, торгующие в Латинском квартале политической литературой, не закрывают своих лавок до глубокой ночи. Там всегда полно молодежи. Плакаты с портретом Че Гевары не успевают пожелтеть в папках, и никакие зловещие сквозняки не срывают те из них, что висят на стене.

Сама природа литературных трудов, окружающих эту иконографию и политические плакаты, окончательно убеждает: они здесь только потому и нужны, что отвечают потребе дня. Речь идет о книгах, которые в вечной погоне за оригинальностью доходят иногда до абсурда. Как правило, они занимаются пересмотром всего и вся Философия прославляет патологическое исступление; эстетика отвергает даже самое понятие искусства; роман не признает ни интриги, ни персонажей; поэзия из кожи вон лезет, освобождаясь от слов... И все это сильно припахивает университетским душком, школярскими парадоксами.

На книжных витринах и в обзорах еженедельных газет политическое бунтарство соседствует с этими интеллектуальными вывертами, что выдает как ловкую игру буржуазии, так и наивность поддавшихся на нее молодых бунтарей. А цель этой игры состоит в том, чтобы свести движение левых к авангардизму, во всех областях которого первенствует все та же буржуазия, и еще в том, чтобы таким безопасным свободомыслием искупить социальную косность своего класса.

Вот уже полвека, как буржуазия отважилась плыть по всем новейшим течениям. Так барахталась она в водах сюрреализма, которые и до сих пор от нее не очистились. Эта ловкая авангардистская политика привела ее ныне к интеллектуальному кокетству с левыми, в которых она узнает своих юных отпрысков во всей их дикой мятежной красе. Благодаря всевозможным ухищрениям прессы, телевидения и рекламы ей удается породнить их с писателями, художниками, музыкантами, артистами театра и кино, даже с портными, словом, с теми, кто прельстил или еще прельщает ее самое своими диковинными, малопристойными, а иногда и слегка устрашающими творениями.

Как мы видим из всех этих нагромождений на книжных витринах, из всех обзоров в журналах «для передовой молодежи», отрицание культуры, которое несет с собой гошизм, часто сливается с самыми что ни на есть увертливыми, псевдореволюционными проявлениями этой самой культуры. Происхождение и воспитание большинства студентов-гошистов — выходцев из мелкой и средней буржуазии, так же как наличие среди них кое-кого из преподавателей, успевших вместе со своими учениками пройти через все произвольные приключения духа, объясняют странные интеллектуальные альянсы юношеского бунта. А он и не замечает, что его уже чуть ли не приручили, измарали, желая сделать модным; он и не сознает, что частично его уже поглотило буржуазное общество, у которого хватило ума обезвредить мины, создав привычку к необыкновенному, к условностям любой новизны. В книгах, «о которых все говорят», образ Че Гевары вроде бы представляет идеи, которые нынче «носят», но в глубине души добропорядочные буржуа надеются, что идеи эти не занесут нашу молодежь слишком уж далеко.

Романтика мятежа, которую символизирует в книжных лавках квартала портрет Че Гевары, несомненно предопределяет некоторые поступки молодежи. Но ее поведение обусловлено также и тем, что средства убеждения и подавления, которыми себя ограждает общество задолго до того, как ему грозит реальная опасность, становятся все более явными и многообразными. Едва лишь возникнет легкое брожение у входа какого-нибудь факультета, полицейский вертолет начи-

нает, словно ястреб, кружить на небольшой высоте над Латинским кварталом, сопровождая свой полет трескотней и тем заранее предупреждая об опасности возможные жертвы. Об опасности, впрочем, косвенной, так как вертолет этот — не боевая машина; он служит только для наблюдения.

Во время столкновений между демонстрантами и полицейскими команда вертолета сообщает по радио этим последним о невидимых с земли перегруппировках или отходах противника. Подобная информация особенно полезна полицейскому штабу, когда демонстранты, чаще всего студенты, запираются в зданиях факультетов. Самые современные из них имеют плоскую крышу, а это превосходная позиция для осажденных, сражающихся метательными «снарядами». Полицейские наблюдатели могут всех бойцов пересчитать с вертолета по пальцам и дать своим коллегам возможность предусмотреть силу ударных групп, на которые они нарвутся, если пойдут на приступ укрепленного лагеря.

Но дозорный облет, видный и слышный чуть ли не в любой точке столицы, не только изобличает существование стычки, но и указывает место, где она происходит, что тут же подымает тех молодых людей, которые, узнав про драку студентов с полицией, считают себя вроде мобилизованными. Происшествие, таким образом, получает огласку, несоразмерную с его значимостью, да еще и способствующую его дальнейшему расширению. Однако это не слишком смущает высшие чины, ответственные за порядок на улицах: большой размах событий — лишь прекрасный повод наглядно показать мощь полиции. Тем не менее расчет их неверен.

Вот уже несколько лет мы наблюдаем, как все сильней укрепляются, военизируются полицейские части, как совершенствуются их методы. Нынче они располагают боевым снаряжением и оборудованием, которое можно весьма эффективно использовать в гражданской войне. Речь, одним словом, идет о том, что постепенно полиция заменяет армию, в обязанности которой не так давно входила защита режима во время восстаний. По мере того как солдаты регулярных частей становились более развитыми и политически грамотными, чем их отцы и деды, использование армии для подавления мятежей казалось все опаснее и опаснее. Плоть от плоти народа, в гущу которого они вскоре опять вольются, призывники могли запросто встать на его сторону и либо воткнуть штык в землю, либо направить ружья на своих командиров (как это было на юге в 1907 году, во время восстания виноградарей, когда армия дала почувствовать возможный поворот событий).

Сформированная в основном из новобранцев, то есть из самых обычных граждан, армия в глазах народа вовсе не представляет собой ту силу, главное назначение которой состоит в том, чтобы обуздывать его гнев. Армия обеспечивала безопасность границ, а внутри страны использовалась разве что в самых исключительных случаях. Народ видел в военном мундире залог мира и благоденствия, а отнюдь не напоминание о том, что он находится под неусыпным надзором.

Могут возразить, что и полиция заботится об охране граждан, оберегая их покой и имущество. Что ж, верно. И все-таки ее сегодня слишком щедро снабдили оружием, которое вряд ли понадобится ей для подавления или предотвращения уголовных преступлений. Само собой разумеется, что не для борьбы с бандитами полицейские напялили каски, вооружились щитами, применяют гранатометы, бульдозеры, вертолеты. Впервые в истории демократических обществ мы видим, что полиция держит народ в повиновении при помощи оружия и бронемашин. Для любого гражданина такая чрезмерная предусмотрительность равносильна угрозе. В иные вечера, когда в опасении неведомо каких беспорядков вдоль всего бульвара торчат наряды полиции, парижский обыватель, вышедший подышать свежим воздухом, поистине кажется самому себе арестантом, которого вывели на прогулку.

Молодой человек стоит, повернувшись спиной к входу в метро, словно у него назначено здесь свидание с каким-то попутчиком. Раннее воскресное утро; у редких прохожих, большей частью — мужчин, многозначительный вид людей, вставших с постели раньше других. Сурово воскресное утро в Париже, кроме разве рабочих кварталов, где чуть свет оживают рынки. Пустые проспекты тянутся бесконечно, как у графиков эпохи неоклассицизма, умножавших до головокружения уходящие вдаль планы. Бледно освещены безлюдные улицы, где всего несколько мужчин, нарядившихся спозаранку, как секунданты, торопятся к одру внезапно умершего родственника, или возвращаются к покинутому на ночь семейному очагу, или, наоборот, из-за неуплаты сбегают с квартиры, а то и просто спешат к мессе.

Придя на место — по будничной привычке — ни свет ни заря, продавцы газет пока стоят сложа руки и подстерегают покупателей под зеленым, защищающим их товар брезентом. Они зорко следят за прохожим, чьи шаги звонко раздаются на улице, выкрикивают названия своих газет, и человек, словно его захватили врасплох, круто к ним поворачивается: в воскресное утро почти все какие-то нервные.

Юноша, что торчит столбом у входа в метро, кажется еще более встрево-

---

ПЬЕР ГАСКАР
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

женным, чем все остальные. Он только что остановил человека, который собирался спуститься вниз, и заговорил с ним, сопровождая свою речь просительными и лихорадочными жестами. Тот, даже и не взглянув на него, отрицательно покачал головой и нырнул в метро. Юноша вернулся на свой пост.

В нескольких шагах отсюда стоит и наблюдает за ним торговец газетами, наполовину скрытый зеленым навесом с пришпиленными к брезенту листовками. Это мужчина среднего возраста, тощий и насмешливый — такие и представляют как раз истинный тип парижан, в основном занимающихся разными уличными ремеслами: зеленщиков, мойщиков окон, расклейщиков афиш и рассыльных, причем не очень-то ясно, обязаны ли они своим независимым видом профессии, или, наоборот, выбрали они ее потому, что выпестованы парижским предместьем. Вульгарная их задиристость, легко переходящая в гнев, связана с мифом о настоящей мужественности, столь живучим еще в народной среде. Эта самая мужественность вовсе не выражает, вопреки распространенному мнению, здорового презрения ко всяким условностям. Такие на вид скандалисты и забияки раз и навсегда очертили четкий круг своих прав, будь то права супруга, отца или гражданина. Их речь, далекая от той, какую называют свободной, несмотря на ее своевольную распущенность, резкость и непристойность, выдает их желание утвердить свое «я», а часто даже и запугать собеседника.

Когда молодой человек, что дежурит у лестницы, заговаривает уже с другим начавшим спускаться в метро прохожим, у продавца газет срывается с губ ругательство. Он изрекает его для себя, так как тот, кому оно адресовано, издали его все равно не услышит. Ну я тебе покажу! И продавец выходит из-под навеса, приближается к юноше, который опять сиротливо топчется на своем месте, и, повторив ругательство, дает ему в грудь тумака, чтоб катился куда подальше. «Ну, не стыдоба ли, а? Попрошайничать в этаком возрасте! Да-да, билетик в метро, знакомый номер: а потом перепродают на улице Юшет, в двух шагах отсюда. Нет денег — работай! Но эти нынешние ребята — лодыри, все как один! Драть глотку на улице, крушить что ни попадя — это пожалуйста. А все прочее... Трудовой лагерь, вот что им надо. И хорошая палка... Мотай, мотай, чего ждешь?»

Юноша увернулся от нового тумака. И ушел, не очень-то торопясь, поглядывая на того, кто его прогнал. Казалось, он искренне удивлен. Ну что он делал дурного? У него нет ни гроша, чтоб вернуться домой, а он вдобавок живет в пригороде. Билет в метро, есть о чем говорить! Да и какое ему дело, этому типу? Ворча, торговец вернулся к лотку, на котором разложены кипы газет, все — с большим тиражом, в каждой — целое созвездие новостей, сообщения о королевских свадьбах, убаюкивающие правительственные пророчества. Как, живя среди всего этого, не превратиться в бдительного стража порядка?

Молодой человек исчез, свернув к Сене. Нет, он, конечно, не бросится в ее воды. Но Сена, этот широкий просвет, сияющая прогалина, эта врубившаяся в середину города просека, стала тем местом, куда нас неосознанно тянет в минуту тревог и сомнений, чтобы именно там, у реки, разобраться в себе, словно сам вид ее неустанного бега с востока на запад поможет и нам найти направление в жизни, полной всяческой смуты, даст нам пример целеустремленности и постоянства.

В двадцать лет, без гроша в кармане, один-одинешенек, на берегу Сены, у моста Сен-Мишель... Вряд ли найдется пятидесятилетний, который бы, выслушав эту историю, не содрогнулся бы от зависти и тоски. Дело в том, что у него, безусловно, богатое воображение, зато слишком бедная память. Нищета в двадцать лет особенно тягостна. Такова же она и после шестидесяти. Вот два периода социального небытия, глубочайшего одиночества. Каким бы ни было его положение, человек зрелого возраста входит в сообщество производителей. А значит, у него есть какие-никакие права. Несоблюдение этих прав — безработица, низкие заработки, плохие условия труда — свидетельствует о том, что в стране ералаш, и завершается непременным скандалом. Напротив, юноша или старик могут дойти до крайней нужды, и самое большее, в чем упрекнут общество, это в том, что хромает социальное обеспечение. Как молодой, так и старый чувствуют себя выброшенными за борт, ожидают спасения извне. А отсюда и ужас, если помощь вовремя не приходит.

Юноша, разумеется, склонен переоценивать благополучие как властей предержащих, так и взрослых в расцвете сил. Со времен раннего детства он хранит в душе образ кормильцев-родителей, наделенных волшебным даром питать его, согревать, ублажать, баловать. Он и не задается вопросом, как добываются эти самые блага: лишь то и дает ему ощущение покоя и мира, что деньги словно бы чудом возникают под руками родителей. Заблуждение вполне естественное. Живому существу, не способному пока обеспечить себе пропитание, необходима уверенность, что родилось оно на благословенной земле. Иначе оно бы погибло еще во младенчестве от ужаса и отчаяния. Чтобы принять эту жизнь, нужна хоть какая-то приманка. И часто даже тогда, когда юность давно миновала. В таких случаях ведутся разговоры о пресловутой незрелости молодежи, о потере ею всякого чувства реальности, о ее равнодушии, эгоизме. На деле же тут непроизвольно срабатывает некий рефлекс, столь же естественный, как механизм биологической самозащиты, мешающий

молодым хоть на секунду вообразить, будто их такие полезные, такие удобные божества — эти взрослые, с которыми, впрочем, они не особенно церемонятся,— могут утратить, пусть даже на время, часть своего могущества.

Отсюда понятно, почему побираются иные из молодых. Ведь это же так невинно! Все равно что просить у реки водички. Юноша, протягивающий руку за подаянием, в каждом прохожем видит отца; и монетка, которую он надеется получить, представляется ему теми «как воздух естественными», дармовыми деньгами, источники которых, правда с большим или меньшим успехом, умеют отыскивать взрослые. Попрошайничество для него, таким образом, вполне законный акт, простая подстановка отношений ребенка с отцом, и нечего тут краснеть, ведь не краснеешь же от того, что дышишь. Глупо спрашивать с двадцатилетнего парня, чтобы он, живя в цивилизованном государстве, ясно себе представлял, как дорого обходятся, скажем, торговцу газетами ранние зимние утра, с каким унынием в конце каждой недели подбивает он свою выручку. Осознать всю тягостность мизерно оплаченного усилия, жалких семейных бюджетов, долгов, что растут с быстротой спешащей к своему завершению жизни, бессонных ночей, когда считаешь, считаешь, покуда от цифр не закружится голова,— все это было бы для любого юноши погружением в такую печаль, в такой неземной холод и стыд, как если бы он увидел своих родителей голыми.

Нет, нет, не волнуйтесь: они не нагие! Они полны жара, силы, могущества, немного, правда, прижимисты, но неизменно, хотя и тщательно это скрывая, пользуются расположением богов. Такие вот самые и проходили сейчас мимо нашего юноши к станции метро «Шатле», у входа в которую он стоял,— такие, какими они бывают всегда, во всем сиянии своей зрелости, своего расцвета, обогретые теплом семейного очага, вечно дымящимся для них рождественским праздником. Мир продавцов газет — не настоящий мир. Изредка, конечно, случается, что он вдруг кажется истинным. Достаточно одного словечка, одного тумака, внезапно омрачившейся Сены, неудачного воскресного утра. Но все это уладится, непременно уладится. Прохожие просто не понимают, что, протягивая к ним руку, юноша молит: «Верните мне мое детство!»

Почти тридцать лет, как кончилась война, а Сопротивление все еще остается, пожалуй, самой излюбленной темой телевизионных драматических передач, будь то фильмы, взятые из репертуара кино, или оригинальные, созданные специально для телевидения. Опросы, проведенные среди зрителей, показали, что эти передачи получают, говоря языком статистики, «самый высокий индекс удовлетворения».

То, что Сопротивление продолжает жить в людской памяти как прекрасный и светлый миф, представляет собой феномен, равного которому не было в нашей истории; ни одна, даже самая героическая эпоха не имела столь длительного отголоска. Правда, Сопротивление стало после войны объектом и официального культа, что весьма благоприятствовало сохранению воспоминаний или, вернее, легенды о тех днях, в то время как другие важнейшие события, например Революцию, неодобрительно замалчивали все последующие эпохи. И все-таки одного этого было бы мало. Если Сопротивление еще и сегодня живо в наших умах и сердцах, то объясняется это тем, что теперь, по прошествии известного времени, оно представляется нам ситуацией исторически безупречной.

Патриотизм был сплавлен тогда с яростным гневом, воля к национальной независимости — с мечтой о справедливости и равенстве для всех, воинский дух — с ненавистью к абсолютной власти и закостенелой иерархии. Но даже и это толкование не добирается до корней. Сопротивление продолжает вызывать такое восхищение, такой интерес благодаря еще и самому характеру тайной подпольной борьбы, самоотверженной битвы людей, поставленных вне закона. Сопротивление сумело обратить самое идею правонарушения, всегда для молодых столь возбуждающую, в предмет доблестной добродетели и высокого мужества; оно облагородило того «разбойника» из давней детской игры, который бежал от «жандарма», когда им обоим было по десять лет; и наконец — оно придало единению людей суровость поистине римскую и необычайно возвеличило то, что человек часто ставит превыше всего: товарищество. Именно это и воодушевляет как молодых, так и старых на самые пылкие чувства к этой славной странице французской истории: мечта о романтическом приключении, никогда не покидающая нашу детскую до последнего дыхания душу.

По всем этим причинам гошизм многим обязан тому восторгу, пускай даже вслух и не выражаемому, который испытывает, вспоминая о Сопротивлении, едва ли не вся молодежь. Слишком ясно высказываться на эту тему она воздерживается, так как не желает никому и ничему подражать: для нее история начинается сегодня.

До недавнего времени идеи циркулировали лишь в форме литературы в широком значении этого слова. Конечно, произносились речи, доклады, проповеди; общественная жизнь благоприятствовала словесным битвам, но книги, брошюры, газеты были все-таки более на-

---

ПЬЕР ГАСКАР
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

дежным средством для их выражения и распространения. Однако вот уже приблизительно двадцать лет, как радио и телевидение берут верх над печатными произведениями, хотя число последних увеличивается. Нынче во Франции объем устных материалов, передаваемых ежедневно радио- и телевизионными станциями, составляет примерно шесть или семь тысяч страниц текста, что равноценно двадцати-тридцати книгам или пяти десяткам газет. И этот устный поток немедленно усваивается куда большим числом людей, чем то, какое может привлечь печатное слово.

Вся эта необозримая масса слов является не чем иным, как набором пустых фраз, попросту говоря — трухой и, в смысле интеллектуального вклада, ни в коей мере не в силах соперничать с печатной продукцией, если иметь в виду самую разнообразную литературу — философскую, политическую, экономическую, научную, а также поэзию, художественную прозу и т. д. На деле же радио и телевидение не столько соревнуются с настоящей литературой, сколько на ней паразитируют. Такой способ общения, потакающий умственной лени огромного большинства публики, породил и постепенно развил псевдо- и субкультуру, живущих за счет истинной. Едва писатели, ученые, все те, кто серьезно занят анализом современных проблем, выскажут какие то новые мысли, как их на лету подхватывают «посредники», разного рода популяризаторы и вульгаризаторы с радио и телевидения; упрощенные, опошленные и приспособленные к невзыскательным вкусам, эти идеи вскоре начинают казаться настолько обиходными и привычными, что никого не в состоянии увлечь своей самобытностью, о чем, кстати, органы информации не очень-то и пекутся.

Так идеи, слегка поплясав на радиоволнах, становятся анонимными и превращаются в общие места. Нет уже больше ни великих писателей, ни философов, ни ученых, с честью несущих звания властителя дум. Отныне все пропускается через мясорубку массовой культуры. Культуры коммерческой, само собой разумеется. Словно чудовищные машины для обработки, штамповки, сортировки и упаковки товаров, средства массовой коммуникации, так называемые «масс-медиа», еще и подгоняемые рекламой, с адской быстротой, как попало поглощают все новые идеи, перемалывают их в порошок, смешивают, подкрашивают, выбрасывают на рынок. Так что уже и не отыскать первоначальной марки их изготовителя.

Явно намечается индустриализация духа. Техника позволяет сегодня, правда на самом посредственном уровне, нащупать и переработать любую, вновь возникшую мысль. Истина, ложь, все «за» и «против», подлинное и мнимое, каждый из промежуточных этапов мысли — все может быть ныне представлено публике с чисто механической объективностью. И вот культура становится религией без кумиров. Формула эта, однако, вскрывает некое противоречие. К интеллектуальному выбору или, скажем так, к убеждению нельзя прийти, не имея перед собой высокого образца, и разум сильно бы полинял, не воплощаясь, пусть изредка, в образ гения.

Словесные средства воздействия, применяемые радио и телевидением (где живые картинки часто служат лишь иллюстрацией к теме), не только обеспечивают усвоение публикой последних новостей, речей, комментариев, рекламных объявлений и прочего — они внедряют в общественную жизнь также и новый язык. Этот язык отличается не одними лишь неологизмами, но, главное, совершенно новым жанром красноречия и особым тоном. Так, воздействие всей этой лавины, обрушиваемой на население органами массовой информации, не определяется полностью содержанием передач, или вложенными в них идеями, или разнообразными фактами, о которых сообщается более или менее точно. В недрах этой, казалось бы такой непосредственной, речи рождается некий «инфраязык», с помощью которого действительность искажается еще больше, чем от предмета самого разговора. Инфраязык, этот изустный стиль, где обилие новых слов — отнюдь не самая важная отличительная черта, как бы сообщнически подмигивает публике, стараясь вдолбить ей в голову, что ее социальное положение куда выше занимаемого в действительности и что она даже сама не подозревает, сколь превосходно ее моральное состояние.

Речь в итоге идет о распространении на все области массовой информации методов коммерческой рекламы, целью которой является — убедить каждого потребителя, что он обязан, из уважения к собственному рангу (а сколь он высок, ему уже успели внушить) и дабы оказаться на уровне своего материального и морального положения, покупать расхваливаемый товар. Их послушать, получается так, будто радио и телевидение имеют дело с французами, у которых, конечно же, есть там какие-то свои заботы, проблемы, но которым современное общество принесло и достаток, и мудрость, и знания, и уверенность в завтрашнем дне, короче — осчастливило их. Эти словесные ухищрения производят больший эффект, нежели обычная политическая пропаганда.

Молодой француз, который щеголяет словечком «маркетинг»[1], даже мысленно не заключая его в кавычки, и к месту

[1] Производное от английского «market» — рынок; в данном случае: спрос — предложение.

и не к месту употребляет такие специальные выражения, как «рост сбыта» или «знак качества» (примеры я беру наобум), безусловно, скорее прельстится современным капитализмом, пойдет на уступки так называемому новому обществу, чем если бы он состоял в политической партии, призванной защищать это общество с пеной у рта. Именно словесный «девятый вал», который накатывает на нас вслед за развитием зрительно-слуховой техники модернизацией образа жизни (чуть ли не каждый француз, благодаря радио и телевидению, связан сегодня с внешним миром), приводит к этим ухищрениям и манипуляциям с языком. Исковерканный, он лезет из всех щелей, затопляет нас, и мы уже не обращаем, как бывало, на это внимания. И тем страшнее зараза, что она действует на подсознание. В этом гомоне, который нас убаюкивает, нас подстерегают слова-ловушки.

Они пускаются в путь и поэтому — молоды дважды. Длинные волосы, у иных — борода. Холщовая куртка и линялые джинсы. На спине — туго набитый рюкзак. Порой на нем нарисован круг, а внутри — какая-то загогулина, похожая на букву «ипсилон»: интернациональный знак паломничества? Он напоминает человечка со вскинутыми вверх руками — в порыве радости, в триумфе победы. Любой из этих молодых уже давно в пути, и кажется, что остановился он там, в конце бульвара, около Сены, лишь на одно мгновение, просто чтобы спросить дорогу. Они ходят, слегка задрав голову, на манер иностранных туристов, которые читают на табличках названия улиц и будто вдыхают запахи города. Парни и девушки (парней больше) бродят по набережной в одиночку и по двое, затем объединяются в группки, чтобы тут же и разойтись. Иногда кто-то из этих молодых чужаков держит в руке пустую бутылку или батон, по-прежнему вроде не зная, куда направить стопы.

«Не научишь ли, как попасть в Югославию?» Парень, что задал этот вопрос, несет пустую бутылку из-под минеральной воды. Почему, ну почему Югославия? Тон у спрашивающего напористый. Быть может, просто из-за немецкого акцента... А возможно, его кто-то преследует. В таком случае ему нечего опасаться: здесь его никто не опознает. Все парни похожи друг на друга. Их внешность, их одежда, их поведение настолько единообразны, что странствующая молодежь, для которой этот уголок квартала стал чем-то вроде поворотного трамвайного круга, вот уже много лет словно бы и не обновляется.

Вероятно, молодежь облюбовала эти места потому, что Латинский квартал и посейчас считается во всем мире столицей юных, а также еще потому, что береговые откосы Сены — это почти окраина, где позволительно спать прямо на земле. Оба соображения, впрочем, поневоле взаимосвязаны. Бродяжничество усугубляет внутреннюю связь человека с местами прославленными и чтимыми. Путник, мирно спящий среди развалин Палатинского холма, не то выставляет напоказ свою кощунственную бесцеремонность, не то, напротив, благоговейно припадает к этой богатой прошлым земле. На откосах левого берега Сены юные скитальцы, прибывшие из всех экономически развитых стран мира (в остальных люди и без того живут как бродяги, так что незачем трогаться с места), соприкасаются — увы, среди запаха мочи, так и бьющего в нос,— с десятью веками великой истории духа. Все эти странники (в большинстве своем белокурые) чуточку похожи на варваров, расположившихся лагерем в Риме, хотя многие из них и пооканчивали университеты. Удалось ли им забыть об этом? Так или иначе, они избегают смешиваться со студентами, французами или чужестранцами, обитающими тут, в квартале, правда, несколько выше; международные пилигримы почти не отрываются от реки, этой не слишком надежной связующей нити с дальними странами.

Благодаря им узкие старинные улочки возле площади Сен-Мишель, некогда населенные рабочими, мелкими торговцами, ремесленниками и уже было совсем приумолкшие, теперь забиты толпами вроде тех, что бурлят в каждом порту. Такое сравнение оправдывается не только космополитическим характером этой толпы, но и тем, что каждый словно бы просто тянет время в ожидании отъезда. То и дело с Сены, из-за домов, доносится зов сирен. А тут разве только один торговец из прежних остался — владелец москательной лавочки. Дела его идут не так скверно: хиппи покупают много веревок (у бродяг всегда уйма разных мелких вещиц, которые надо закрепить); кроме того, они увешивают себя железными котелками и то едят из них, то ритмично лупят по дну, когда накатит шалое исступление.

Так новая религия странствий превратила в перекресток всех наций эти улочки, где всего несколько лет назад можно было порой споткнуться о дохлую кошку. И постепенно старые и молодые буржуа стали наведываться сюда, главным образом вечерами, чтобы вдохнуть свежий воздух свободы, который побеждает здесь затхлые испарения, скопившиеся в глубокой теснине улиц. Наших гуляк, однако, меньше привлекает само зрелище устроивших в квартале привал молодых пилигримов, чем та диковинная окраска, которую они в конце концов придали улицам: впрочем, арабские и греческие кондитерские, рестораны того же

ПЬЕР ГАСКАР
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

стиля (а также китайские, индийские и японские!) придают умозрительным путешествиям наших буржуа самый безмятежный, самый мирный характер. Таким образом эти парижане стали туристами в своем собственном городе. «Поручить» приключение — вот к чему сводится буржуазная мудрость жизни. И потом — зачем уезжать-то? Да и можно ли вправду уехать?

И верно, бежать бы надо не столько от своих ближних, как бы их ни было много и какими бы они ни были утомительными, не столько от городов, перенасыщенных человеческой суетней, а скорей уж от нравственной кабалы — истинного кошмара нашего времени. Мечту о бегстве порождают все возрастающий грохот целенаправленной информации, засилие фальшивых идей, слова-ловушки. Слишком упорно пичкают нас лживыми радионовостями, чтобы нам захотелось искать где-то там, вдалеке, настоящую новизну. Вот если бы мы могли, отправившись в путешествие, убежать от мира, который сам себя оглушает тысячекратным повторением всякой брехни, от мира, издыхающего от блудословия! Но он одинаков повсюду — так не проще ли дойти до угла своей улицы?

На другой же день после столкновений, то и дело вспыхивающих в Латинском квартале между демонстрантами и полицией (так называемыми «силами охраны порядка»), префектура сообщает прессе имена задержанных и заключенных в тюрьму лиц, якобы совершивших особо тяжкие акты насилия. Среди них всегда оказывается какой-нибудь водопроводчик, или мойщик посуды, или помощник бухгалтера, часто к тому же и безработный. И непременно один приезжий из Никарагуа или просто грек — из чего, однако, никакого вывода делать не следует: ведь надо принять в расчет и случайность, легко объяснимую влиянием распаленной толпы.

Уж нашего-то водопроводчика, мойщика посуды или счетовода, схваченного вместе с демонстрантами, которые, по утверждению властей, избивали или даже наносили полицейским увечья, никак не сравнишь с теми диковинами, что вытаскивают в своих сетях рыбаки из морских пучин. То, что попался этот «вольный стрелок», лишь свидетельство перемен, происходящих в недрах еще не оформившихся сил, именуемых молодежным движением. Пополняясь за счет таких новобранцев, оно постепенно выигрывает и в численности, и в мощи, и в простодушии. Будучи детищем духовного мира студентов, движение левых несло на себе печать интеллектуальности и в своем обличении слишком трезвого здравомыслия, в ловушки которого мы давно уже дали себя завлечь, прибегало к логике спора, идущей, как говорится, целиком «от ума». Система, поработившая нас и физически и морально, ведущая общество к катастрофе, самим ходом развития должна отныне упереться в стену глухого непокорства, неумолимых требований жизни.

Анархисты, «стихийные» бунтари поставили себе за правило эту реабилитацию инстинктивного наития в политическом действии. Но возвести наитие в принцип — значит лишить его силы. Впрочем, хотя наш безработный водопроводчик, мойщик посуды или счетовод включается в бунт по собственному почину, хотя он поначалу и вносит в него что-то опасно личное, узкие эти мотивы так или иначе выражают общее состояние умов в социальной среде, из которой он вышел. Одним словом, протест, еще не успев опереться на теорию, уже созревает в его душе. Он просто хочет изменить уклад жизни, тогда как настоящий политик стремится к планомерному преобразованию мира.

Эти новые представители молодежного движения не поддаются точному описанию. Перед тем как определить их социальную сущность, надо хотя бы выявить их географическую принадлежность, что, в общем, к тому же и приведет, только более коротким путем. Большинство из них обитает в недавно застроенных, облепивших столицу районах, не знающих прошлого городках-общежитиях, где даже деревья не выше человеческого роста. Эти парни и девушки словно отштампованы будущим, тем самым будущим, образ которого воплотился в современных жилищных массивах, в их неотличимо безликих домах, в одинаково тусклом быте людей, что их населяют. Послушная зову, похожему на тот, какому подчиняются перелетные птицы, эта молодежь стала все чаще и чаще появляться в Латинском квартале. Не столько, быть может, в поисках развлечений, которых не в состоянии им предоставить унылые пригороды, сколько затем, чтобы обрести здесь среду, жизненное пространство, где бы они могли себя утвердить.

Большинство из них добирается сюда через Люксембургский вокзал, который служит разгрузочным пунктом для южного пригорода с его хоть и недавним, но быстро растущим населением. Остальные предместья поставляют меньше народу: часть молодых людей оседает по пути в других оживленных кварталах столицы. От коренных парижан эти парни и девушки отличаются не только одеждой — наряд их обычно нелеп, — но прежде всего своим физическим обликом. Несмотря на то, что вот уже почти двадцать лет питаются они в общем нормально, эти выходцы из рабочего класса не выглядят слишком цветущими и, увы, не могут похвастаться ни завидным здоровьем, ни тонкостью черт, ни свободой движений, которые свойственны их однолеткам из буржуазных семей. Остаточные явления атавизма несомнен-

но исчезнут в следующем поколении. Но пока воспитание, в самом широком значении слова, или попросту говоря — среда играет не последнюю роль в лепке их тел и лиц. Ребенок выстраивает свою личность, подражая ухваткам родителей, и имеет те манеры и даже испытывает те чувства, которые поощряются взрослыми. Мы продолжаем запечатлеваться в детях еще долгое время после того, как мы их зачали.

Одеваются эти парни и девушки по моде, но часто ухватывают из нее лишь самое броское, самое — не побоимся резкого слова — вульгарное. Отчасти объясняется это их бедностью: магазины сниженных цен, куда ходит за покупками эта молодежь, не могут предложить изысканных вещей, а продают лишь то, что считается «последним криком» моды. Словом, что-то до того упрощенное и опошленное, что их одежда приобретает вид маскарадных костюмов. Я не оговорился — именно маскарадных, да еще взятых напрокат по дешевке у людей иного имущественного положения, иного класса. Переняв, пускай весьма приблизительно, их манеру одеваться, эта молодежь воображает, будто она поднялась до уровня юных буржуа, читай — юных буржуа, ставших с некоторых пор инакомыслящими. Точно так же, подлинно пристрастившись — хотя поначалу и силком — к определенному стилю музыки и песен, большей частью американского происхождения, которые они слышат по радио и которым, из чувства противоречия, юные буржуа обеспечили огромный успех, эта молодежь надеется слиться с теми, от кого еще только вчера ее отделяли неодолимые социальные барьеры.

Коль скоро молодежь обычно рассматривают в отрыве от семейного и социального положения каждого отдельного индивидуума, так сказать, скопом, как совершенно обособленное сословие, а не как не похожие одна на другую личности, находящиеся, в зависимости от среды, на разных ступенях развития, то эта постоянная мистификация приводит детей рабочих и беднейших крестьян к мысли, что возраст сам по себе обеспечивает равенство всех сверстников. Прежде всего они молоды, и неважно — богаты они или бедны, образованны или невежественны, культурны или неразвиты; такое недомыслие взрослых заведомо отбрасывает их всех без изъятия в один лагерь.

Отзвуки событий 1968 года благоприятствовали этому упрощенному противопоставлению поколений. На самом же деле ни в те времена, ни тем более позже молодежь не действовала сообща, всем гуртом. Этого не скажешь даже про бóльшую ее часть. Трудящаяся молодежь, вчетверо превышающая по количеству университетскую, включилась в борьбу только вслед за взрослыми рабочими, когда те, после беспорядков в Латинском квартале, объявили забастовку, желая воспользоваться смятением правительства и потопить в движении типа Народного фронта левацкие заскоки студентов.

Однако следы, что остались на улицах Латинского квартала от стычек между демонстрантами и полицией, еще долго не утихавшее там беспокойство, захват Сорбонны и театра «Одеон» влекли любопытных, среди которых впервые и появилась молодежь из предместий и пригородов, а теперь она уже бродит по бульварам целыми толпами. В большинстве своем это — приказчики, подмастерья, рассыльные (девушки занимают равноценные должности соответственно своему полу) или же безработные, порой уже давно окончившие школы, где, во исполнение закона об обязательном обучении до шестнадцати лет, им дали обезличенное, примитивное образование. Оно словно нарочно создано для того, чтобы наводнить страну этим обманчивым продуктом прогресса — молодежью, лишенной практических навыков и подлинной культуры, и потому хоть и оторвавшейся от корней, но не способной привиться ни в какой другой социальной прослойке.

Они приходят сюда на свидание с призраком, с мифом: с молодежью образца 1968 года, в рядах которой, казалось, найдется местечко и для них. Но куда же подевалась эта молодежь? А они-то отрастили себе волосы, постарались вырядиться так же, как и она, еще и превзошли ее в экстравагантности, в тайной надежде, что будут признаны за своих, и вдруг — на тебе! — оказывается, они единственные, кто так одет и причесан. Порой шумные, фатоватые, вроде давнишних призывников, щеголявших с пышными бантами, спускаются они по бульвару навстречу толпе, где смешаны в кучу возрасты, расы, звания, безликой в своем разнообразии толпе, которая вскоре их всех поглотит. И ничего не остается этим денди из магазинов стандартных цен, этим мнимым хиппи из дешевых муниципальных домов в Масси-Палезо, этим приземистым девушкам, которым так хочется бросить обществу вызов посредством юбок, скорее напоминающих набедренную повязку, и каблуков-ходулей, — ничего им не остается, кроме того как пристроиться к какой-нибудь очереди в кинотеатр, где крутят плохой детектив, или осесть в кафе, откуда они все равно будут рыскать глазами по толпе в поисках тех, кто должен был их принять как родных.

А потом один из этих парней (девушки из народной среды еще не слишком смекалисты) наконец-то поймет, что молодежь, с которой он жаждет объединиться, не разгуливает по бульварам, а находится вернее всего там, где назре-

---

ПЬЕР ГАСКАР
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

вает стычка с полицией. И вот он все чаще заглядывает в Латинский квартал, чтобы почувствовать, куда дует ветер, а при первом же намеке на демонстрацию затесаться — на сей раз он в джинсовом костюме — в толпу студентов, левых бунтарей, которые уже вырывают из мостовой булыжники. Он-то выберет самый большой, радуясь своей силе и ловкости, которые он успел накопить, болтаясь в детстве по пустырям. Чтобы швырять каменья, он протиснется в первый ряд: должен же он доказать свою храбрость тем, с кем он так мечтал породниться. Но кое-кого из студентов как раз и насторожит его безудержная отвага. А что, если это провокатор? Схваченный полицией во время потасовки, он будет нещадно избит и брошен в тюрьму. И потом, когда огласят приговор, он вызовет у тех, с кем сражался плечом к плечу, лишь смутную симпатию... Да, тревожное явление — эти новобранцы, плохо обученные и порой не имеющие никакой серьезной политической подготовки. В конце концов они вытряхнут сколько-нибудь вразумительное содержимое из молодежного бунта, лишат его даже слов.

Однажды в конце бульвара Сен-Мишель сотня юнцов из отдаленных районов или пригородов (об их происхождении легко догадываешься, хотя они уже отказались от лжеэлегантности) устраивает демонстрацию, просто, казалось бы, для того, чтоб выразить этой слишком спокойной публике свое неизбывное возмущение обществом. Но такое смутное недовольство не втиснешь в четкую формулу, в лозунг, который можно скандировать. И молодые люди ограничиваются тем, что оскорбляют полицию, которой в этот вечер случайно поблизости нет. Толпа, а она за последнее время слышала и не такое, продолжает спокойно прогуливаться, пробираясь сквозь ряды демонстрантов. Тогда они разводят посреди бульвара костер, используя как топливо пустые ящики из-под фруктов. Их тактика оказывается действенной: по толпе проходит волнение, начинается толкотня, затем все устремляются прочь от костра; на проезжей части скапливаются автобусы и машины.

Успех еще больше возбуждает молодых демонстрантов. Построившись в колонну, они обходят прилегающие к бульвару улочки. Брань в адрес полицейских, которые пока так и не появились, за отсутствием для нее пищи в конце концов истощается. Теперь они испускают нечленораздельные вопли, бессмысленно что-то орут, свистят, гикают, ухают по-совиному — улюлюкают всему обществу, всему современному миру. Иногда эти звуки напоминают хеканье лесорубов. Эта стремительная, змеей извивающаяся толпа, опьяненная собственным движением, похожа на мифологического дракона. Протест не выражается больше словами, он просто изливается гневом, смешанным с ликованием.

Чуть позже подоспеет полиция и завяжется бой, которого так жаждали демонстранты. В нескольких магазинах будут разбиты витрины и даже растащен выставленный товар. И тотчас на этих юнцов обрушится всеобщее неодобрение, от них отвернутся даже самые передовые студенты...

Не только имущественное неравенство, несправедливое распределение материальных благ может, как нам отлично известно, служить оправданием этого стихийного бунта. Все эти молодые люди, подмастерья, мелкие служащие, безработные, никогда не имевшие места, бродяги и правонарушители часто не знают подлинной нищеты. Бедность их заключается в пустоте, бессодержательности существования. И здесь непримиримое противоречие с социальным прогрессом. Точно так же и все улучшения, что произошли за последние полвека в участи тружеников, мало изменили их положение, поскольку они, как и прежде, зависимы и не нашли пока смысла в своих усилиях. Главное сегодня — это сделать человеческую судьбу захватывающе интересной, чтобы она не превращалась в унылую чреду дней, расписанных до последней минуты, заполненных механическим трудом — без творчества, без цели, без вдохновенья. Большая часть молодежи теперь понимает это, хотя иногда и смутно. Но индустриализация, автоматизация, рационализация и не думают останавливаться на полдороге, грозя в ближайшие годы пресечь всякие поползновения к творчеству. Что ж, тогда молодые обратят на саму историю свою потребность творить.

Наученные историей, которая в иных странах уже показала нечто подобное тому, что происходит теперь у нас, многие опасаются, как бы фашизм не извлек для себя известной выгоды из путаных требований этой части молодежи, страдающей от неполноценной культуры и неполной занятости. Страхи эти, быть может, неосновательны. Мнимые духовные ценности, неизменно прославляемые фашизмом, будь то в Италии времен Муссолини, во франкистской Испании или гитлеровской Германии, где сложилась идеология фашизма, в наши дни отринуты подавляющим большинством молодежи, по крайней мере в экономически развитых странах. Сама система их производства, основанная на внешнем обмене, вот уже сколько лет широко распахивает двери страны для всего остального мира, и махровый национализм — главная пружина фашизма — не может там найти себе почву. Если еще где-то и существует расизм, то хоть он и выражает себя ненавистничеством, все-таки избегает ссылаться на «чистоту крови». В странах, где свирепствовал да и продолжает свирепствовать фашизм, его лидер, вождь лишь тем и за-

ставляет признать свой авторитет, что непомерно раздувает свои якобы существующие, весьма давние заслуги перед родиной, а значит, он должен принадлежать к старшему поколению. Но ведь нынешняя молодежь, которая занята только собой, вряд ли пожелает боготворить «взрослого».

Та ее часть, которая в прошлые времена увлекалась фашизмом, не поддается на эту удочку еще и потому, что создала свою собственную теорийку, недалеко ушедшую от фашизма, и гордится ее специфическими чертами, видя в них главную опору своих прав. Возглас: «Профессора, вы устарели!», прозвучавший в 1968 году на иных факультетах и в лицеях, призывал к такой же неистовой травле, как и лозунги гитлеровцев. Он, конечно, не выражал чувств большинства молодых, участвовавших в движении протеста, но передавал их вполне законное раздражение, порожденное окостенелостью университетской науки, бесплодным ее педантизмом и профессорским чванством. Этот вопль души отвечал и тем умонастроениям, что особенно свойственны промежуточным — между студентами и молодыми рабочими — слоям населения. Молодежь, часто безработная, из дальних пригородов и предместий, которая валом валит в Латинский квартал, склонна по своей нравственной глухоте преувеличивать значение своего возраста и кичиться им, как чванились пресловутой арийской кровью именно самые отсталые, самые забитые немцы третьего рейха.

Подобная фетишизация понятия «юность», характерная для духа этого поколения, подобное отрицание всего и вся опасны главным образом тем, что подменяют расплывчатым анархизмом реальную политическую направленность той части молодежи, которой, право, не грех бы уже повзрослеть.

Прогулка моя подходит к концу. И вот уже вместе с зимой появляются в Латинском квартале «трансильванские пастухи». Так называю я про себя молодых людей, все более и более многочисленных, одетых в широкие, иногда выше, а иногда и ниже колен дубленки и часто к тому же отделанные вышивкой в балканском вкусе. Наши «пастухи» носят волосы до плеч и ходят в сапогах с короткими голенищами. Им не хватает разве пастушьего посоха. Легко вообразить его даже украшенным лентами, как на пасторальной картинке: есть некоторое жеманство в этой одежде, и волосы, ниспадающие кудрями на барашковый воротник, напоминают иные изображения Иоанна Крестителя, где этот святой подозрительно похож на ангела.

Кое-кто из молодых людей пытается избежать этого сходства, отрастив себе разбойничьи бороды. Тоже своего рода кокетство. Однако надо смотреть в корень. Подобно тому, как Руссо ходил в армянском костюме, желая подчеркнуть этой символической связью с чужой страной свой разлад с сородичами (ни один из его доводов не стоит ломаного гроша; обычно склонный к самообольщению, тут он вряд ли сам себе верил), точно так же и нынешние парни, облачаясь в одежды трансильванских пастухов, делают это ради сохранения должной дистанции между собой и обществом или, точнее, между собой и лагерем взрослых. Летняя жара не предоставляет больших возможностей для экзотических переодеваний, долженствующих провозглашать разрыв с буржуазным порядком. Своеобразный же этот костюм, с налетом чего-то пастушеского, фольклорного, чуть ли не ветхозаветного, лишь усиливает и без того явные признаки их независимости. И результат словно бы налицо: для меня, как и для моих сверстников, эти молодые выглядят «теми, другими», и ветер, что треплет их длинные, часто немытые кудри, если и не дует с Карпат, то уж по крайней мере пахнет свободой.

На фоне серых фасадов, в туманах парижской зимы наши «трансильванские пастухи» словно бы рыщут в поисках какого-то чудесного ландшафта — не совсем того, к какому взывает их необычный наряд. Образ жизни, свобода, к которым они тяготеют, требуют чего-то большего, чем просто леса, горы, блуждания по свету, чем даже самая волшебная любовь, самая волшебная дружба. В двадцать лет и наипрекраснейшее в мире утро может еще стать заслоном между ними и их мечтой. Они — изгои или, вернее, люди, лишенные родины. Но не таковы ли здесь и все мы?

Бродя по кварталу, я, возможно, тоже произвожу впечатление, будто ищу свой пейзаж, тем более что у меня не такой уж блестящий вид, и в данном случае возраст мой, говоря по чести, тут ни при чем. Молодые и старые, все мы объединены тоской по чему-то недоступному и невыразимому — другому.

Бунт на излете

Мифотворческим мощностям, какими располагает ныне печатное и устное слово на Западе, не всегда хватает сырья: жизнь обычная, изо дня в день протекающая, едва справляется с поставками его в достаточных размерах. Зато стоит случиться чему-нибудь из ряда вон выходящему, как буржуазное духовно-идеологическое производство с лихвой наверстывает упущенное. События едва разразились, их значение пока смутно, зыбко, ему бы дать срок откристаллизоваться, да некогда: потребность в

немедленных приговорах, восторженных или неприязненных — все равно, плодит мифы стремительно и с избытком. Своя доля достоверного в них, конечно, есть. Но ее нелегко раскопать под ворохом поспешных и сплошь сногсшибательных откровений — завораживающих своей броскостью одежд для оценки, которая заведомо предуказывает, пронизывает, смещает, а то и вовсе сковывает терпеливо-трезвое выяснение существа дела.

«Бунт молодых» на исходе минувшего десятилетия оказался самой, пожалуй, обильной за последние годы жилой для подобного мифотворчества. Скажем, всего через несколько недель после «красного мая» 1968 года во Франции, когда волнения в университетах раскачали всю страну, послужив толчком к невиданным по мощи и размаху забастовкам трудящихся, книжные прилавки Парижа были затоплены сочинениями о совсем еще недавних бурных днях. Понятно, что их изготовители, не дав себе времени, а значит — труда, вникнуть толком в происшедшее, сплошь и рядом довольствовались правдоподобием широковещательных однодневок, имевших, впрочем, самую разную политико-идеологическую нацеленность. «Несостоявшаяся революция», «Бесподобная революция», «Преданная революция» — пестрота заголовков, в которых прилагательное всякий раз выражало особое восприятие майского взрыва, умещалась тем не менее в пределах общего крайне сомнительного допущения, будто Франция нежданно-негаданно очутилась на пороге революции, хотя и не сумела — к радости для одних, огорчению для других — его переступить.

Сегодня наводнение книг о «студенческой революции» во Франции спало. Перебирая в памяти особенно громкие имена как ее оголтелых пророков, так и ее обличителей, не без удивления замечаешь один парадокс среди прочих: миф, а вернее целый свод разномастных мифов складывался в основном стараниями идеологов, историков. социологов, философов — короче, мастеров аналитики, а не вымысла и сочинительства. Собственно писатели почти поголовно и довольно-таки долго молчали, в крайнем случае отделывались откликами в текущей печати, но с книгами явно не торопились, запаздывая даже сравнительно с учеными. Очередь включиться всерьез в осмысление молодежного бунтарства для французской словесности подошла позже. Когда же книги писателей все-таки начали появляться [1], сама собой обозначилась причина запоздания, содержавшая в себе одновременно и предпосылки несомненного преимущества. Там, где логический анализ, да еще замешанный на картезианских привычках французского ума, выбирал для себя из множества исходных посылок только одну и через вереницу выстроенных в линию выкладок прямиком устремлялся к однозначно непротиворечивым заключениям,— там художническое видение, столкнувшись со своеволием не успевшей застыть жизни, причудливо сопрягавшей разнородные пласты и чреватой разнонаправленными возможностями, напряженно удерживало противоречия в их несводимости к одному-единственному знаменателю. Сопротивление совсем пока неосвоенного жизненного материала, с малоплодотворной легкостью преодолеваемое при жажде кратчайшим путем подтвердить преднайденное мнение, для вдумчивого писателя задержка, но не помеха, а скорее побуждение перенести упор на свидетельство, повременив рубить с плеча окончательностью хулы или хвалы. Разумеется, дело не обошлось без скороспелок ремесленной литературщины, настоянных на расхожих кривотолкованиях. Однако такие вещи, как роман Р. Мерля «За стеклом» (он у нас переведен), выглядели в целом гораздо проницательнее, достовернее благодаря подвижно-нежесткому распределению в них света и тени, чем пухлые ученые труды, не говоря уже о лихой мифопублицистике. Многосмысленность, в которой чересчур строгому рассудку чудится недоосмысленность, на сей раз обеспечивала выигрыш. Писательские исследования молодежной мятежности (contestation — оспаривания, как ее называют во Франции) зачастую размифологизировали представления о ней, выработанные и продолжающие вырабатываться, пусть с ослабленным теперь рвением, иными из исследований философско-социологических.

Очерки видного французского писателя-реалиста Пьера Гаскара о сегодняшних ликах Латинского квартала, старинного средоточия парижского студенчества, приближают к сложной действительности молодежного протеста уже одним тем, что в этом свидетельстве очевидца нет попыток во что бы то ни стало втиснуть поток наблюдений и раздумий в предварительно заготовленную изложницу. И дело здесь не в самой по себе скромной непритязательности, записи вроде бы случайно подмеченного, мелькнувшего в уме на прогулке по Люксембургскому саду и улочкам близ Сорбонны, так что пришедшее в голову сегодня совсем не обязательно подхватывает мысли вчерашние и предваряет завтрашние, а может нарушать, опрокидывать их ход, задерживаться на неожиданных сторонах однажды уже затронутого и потому идти вразрез с высказанным к нему раньше отношением. Если учесть, что за непосредственностью этих зарисовок на поверку всегда кроется их подспудная опосредованность несхожими точками зрения, выдвинутыми в ожесточенных спорах последних лет о студенческом протесте, то дробность россыпи впечатлений у Гаскара есть не просто выбор удобной манеры письма, но и выбор своего особого подхода, угла зрения. Гаскар отнюдь не первым поддерживает вызов, брошенный молодыми

[1] Обзор первой их волны см. в статье Л. Зониной «В поисках языка», «Вопросы литературы» № 8, 1972.

бездуховности и обезличенности технократически заорганизованного уклада жизни, и не первым распознает вывернутое наизнанку поклонение вещам в надсадном иконоборчестве, с каким они порой обрушиваются на «цивилизацию потребительства»; он не первым предупреждает об опасностях вырождения левацкого («гошистского») революционаризма по наитию, без надежных нравственных скреп и продуманных целей, в погромное повстанчество или, с другой стороны, вычленяет здоровую потребность в братстве, тронутую, но не поглощенную развязностью повседневных нравов. Но все эти и многие другие широко бытующие взгляды у Гаскара не только преломлены сугубо лично, по-писательски предметно — как бы вычитаны из деталей, примет, сценок; будучи собраны вместе, сосуществуя на страницах одной книги, они вступают между собой в прямую перекличку. И тогда-то обнаруживается, что каждый из этих взглядов-оценок не беспочвен, хотя односторонен, улавливает лишь часть правды и требует поправок в свете других ее частей, которые, в свою очередь, сами нуждаются в уточнениях, дополнениях, оттенках. Через все эти взаимовысвечивания ограниченных, усеченных достоверностей и пролегает поиск достоверности объемной, открытой, многогранной — под стать непростому, как все едва народившееся, разомкнутое к будущему, сцеплению в бунтарстве молодых правоты и двусмыслицы, срывов и прозрений.

Поиск этот у Гаскара, далеко не безоценочный и не бесстрастный, а лишь избегающий пристрастной однооценочности, позволяет пролить свет на некоторые узловые — и нередко донельзя запутанные — вопросы. С легкой руки ряда левацких студенческих вожаков вкупе с седовласыми, но столь же левацки безоглядными властителями их дум из старшего поколения возник, например, и повсюду распространился клич «Великого Отказа» — отбрасывания с порога чуть ли не всей былой культуры, гуманистического мышления, поведенческой нравственности, а в пределе — и политической демократии. Власть двух этих слов оказалась столь неотразимой из-за их крикливого возглашения на всех перекрестках, что даже исполненные благих намерений противники подобного безудержного нигилизма сперва полубессознательно принялись его приписывать умонастроениям всего недовольного западного студенчества, а затем и подозревать «бесовски» злокозненную подрывную работу во всякой неудовлетворенности культурой вчерашних поколений, начиная с ее бытового подножья.

Гаскар далек от того, чтобы благостно прикрыть глаза на истерику анархического всеотрицательства, в которую склонны впадать «блудные дети» буржуазных семейств, закормленные с колыбели смесью ценностей классической культуры с духом «просвещенной» охранительности; его особенно тревожат опустошения, учиняемые этим поветрием в душах подростков с окраин, когда они по простецкой своей неискушенности пробуют подкрепить делом словесное баловство сверстников-интеллектуалов. Однако приметливый очеркист не упускает и другого: вот непокорная братия Латинского квартала сооружает баррикады в век бульдозеров, когда это лишено какого бы то ни было практического смысла; вот она же роется в старых книгах об отечественных и зарубежных революциях с не меньшей охотой, чем в щеголяющих свеженькими обложками книжных развалах, где всегда найдется последний «крик» авангардистского изыска на потребу юношеской запальчивости; вот у «поругателей святынь» признаки не выставленного напоказ, но хранимого благоговения перед партизанской героикой Сопротивления. Суду (как и славословию) чохом Гаскар предпочитает чересполосицу обзора, сама неизбирательность которого как бы встраивает поколение «отбившихся от рук» и «пренебрегших заветами предков» в поступательный ход истории — истории длящейся и меняющейся. Известный перевес обновления над преемственностью в самосознании тех, кого внесла во взрослую жизнь волна мая 1968-го, еще не означает их выломленности из исторической колеи и не обращает их сплошь в идолопоклонников Великого Отказа. И надо обладать самодовольно раздутой верой в непогрешимость, будто бы даруемую возрастом, чтобы клеймить перевес, вполне понятный в век непрерывной стремительной ломки привычного жизнеустройства, как непозволительное кощунство. Принадлежа к поколению отцов, Гаскар сам вложил лепту в их культуру, и трезвое знание ее изнутри не позволяет ему усомниться в праве и долге детей не быть ею зачарованными до утраты самостоятельности, многое подвергать пересмотру и строить заново применительно к необратимым сдвигам во всем укладе окружающей их жизни.

Приязненная вдумчивость такого подхода к молодежному протесту, не исключая ни беспокойства по поводу его перехлестов, ни соболезнующей улыбки по поводу его неловкостей, коренится в умении различить преходящее обличье и действительную суть наблюдаемого, пену и глубинную стремнину. Латинский квартал гаскаровских очерков овеян воспоминаниями о мае 1968 года, но сам он — уже послемайский. Праздничный карнавал слинял до карнавала буднично-ритуального; в самом способе утверждать юношескую независимость проступила неистребимая зависимость от царящих вокруг нравов; задорная издевка над плоским обывательским здравомыслием, распространившись и на зрелый разум, усугубила умственную распутицу; затянувшаяся детскость при переносе на поприще общественно-политическое породила далеко не безобидную беспомощность. Злоключения бунта за четыре-пять лет заставили его спуститься по кривой

излета почти до конца: отчасти он был ловко приручен, отчасти досадно измельчал. Есть ли это, однако, простой возврат на круги своя, без всяких приращений? Означает ли спуск вниз бесплодность и первоначального взлета, растраченного вхолостую, не оставив ни доброй памяти, ни путного следа?

Гаскар дает поводы взглянуть на значение произошедшего не столь скептично. Ближе к концу книги, словно стягивая в пучок перебранные им «за» и «против», он привлекает внимание к одной знаменательной особенности студенческого протеста. Непосредственным его побудителем не была, как известно, материальная нужда, во главу угла выдвигалось не столько улучшение быта, сколько перестройка бытия — духовно-личностный запрос в раскрепощенности и осмысленности жизни каждого. Ничего неожиданно бескорыстного тут нет: университеты на Западе заполняются преимущественно выходцами из семей с достатком, и будущим интеллигентам, пока не загнанным в ловушку службы насущностью заработка, пока на воле обдумывающим житье, отчетливо внятны понуждения голода духовного в обстановке ценностного — нравственного, культурного, смыслового — истощения кризисной позднебуржуазной цивилизации. Но до сих пор круг забот «не о хлебе едином» в основном все-таки оставался достоянием умственных течений, а не забастовок и схваток с полицией. Перенеся эти запросы, прежде считавшиеся сугубо «книжными», на митинги и демонстрации, французский май 1968-го, с его застрельщиками из студенчества и левой интеллигенции, воочию обозначил весомость их в устремлениях сегодняшних демократических движений развитых капиталистических стран. Стихийно нащупав свое открытие, университетская молодежь возвела его в культ в ущерб всему остальному и тем самым чинила помехи его внедрению в повседневную борьбу трудящихся. Однако подобные исторические находки — не исключительная собственность тех, кто на них однажды наткнулся. Осознанная увязка этого приобретения майских дней с другими задачами, полностью сохранившими свою настоятельность, гибкое включение его в состав ближайших лозунгов и долговременных стратегических установок, дополнительное вооружение им повседневного политического действия стали в последующие годы одной из немаловажных сторон напряженной идейной жизни всего левого лагеря во Франции.

Другая заслуга леворадикального пробуждения студенческой молодежи прослеживается яснее за пределами Латинского квартала, которых Гаскар в своих прогулках-очерках предпочитает не покидать. Наряду с разбродом «гошизма» в склоках вымороченной кружковщины и падением накала недовольства до смутного томления, наряду с притоком в Латинский квартал праздношатающихся зевак всех возрастов из этого очага студенческого бунтарства шел и значительный отток. И не только в университеты, спешно построенные в предместьях Парижа, чтобы растащить взрывчатое скопление молодых сорвиголов, не только в конторы и прочие почтенные помещения, где бузотеры на час, попрощавшись с мятежными шалостями, вступали на лесенку благополучной карьеры. Среди хлебнувших впервые воздуха непокорства на перекрестках Латинского квартала нашлось, и немало, молодых интеллигентов, кого левацкое словокипение, однажды расшевелив, очень быстро отвратило своим бесплодием. Они-то, после краткосрочной стажировки в Латинском квартале, покинули эти места для того, чтобы влиться свежим пополнением в крупные и действенные политические образования левого лагеря. Шесть лет спустя после забастовочного «красного мая», в дни президентских выборов 1974 года, получивших во Франции прозвище «мая избирательного», их было немало и в рядах коммунистов, и в рядах социалистов. В их судьбе «осваривание» было преддверием революционной работы.

Издавна Латинский квартал служил бродилом умственной жизни Франции. Сегодня, вслед за очередным мощным выбросом, отдав вовне заряд своей подлинности и выпав вблизи от места извержения осадком бунтарства внешнего, легко приручённого, это брожение молодого духа вновь ушло в подпочву.

Не прекратилось — затихло. До следующего раза.

САМАРИЙ ВЕЛИКОВСКИЙ

◆

Анна Сальваторе. Вьетнамская мать

В. ГОРЯИНОВ

ВЫСТАВКА ИТАЛЬЯНСКОЙ ГРАФИКИ

Более ста итальянских художников откликнулись на обращение общества «Италия — СССР» — просьбу подарить по одному графическому произведению для выставки в Советском Союзе. Сто двадцать работ, выполненных в разных техниках — от рисунка до литографии,— представили в экспозиции, развернутой в московских залах Союза художников, творчество мастеров почти всех крупнейших художественных центров Италии.

Выставка позволила советским зрителям встретиться с художниками, которые нам уже хорошо знакомы, с нашими старыми друзьями.

Изящная литография Гуттузо — одна из подготовительных работ к его большому живописному панно — еще раз показала,

что творчество этого прекрасного мастера постоянно открывает новые изобразительные средства, новые образные решения.

Карло Леви, художник и писатель, представлен рисунком «Влюбленные» — одним из большой серии. Каждый новый рисунок этой серии открывает какую-то новую сторону в решении самой универсальной темы — темы любви, материнства. Сдержанная монохромность рисунка усиливает его драматическое, напряженное звучание.

Характерный пример графических работ скульпторов, особых по пластическим решениям, по отношению к пространству, по восприятию мира в его материальном единстве, утонченный рисунок Джакомо Манцу «Мальчик с собакой». Рядом с ним рисунок «Обнаженная» Греко выглядит особенно мощным и пластичным.

Сегодня в Италии явно возрос интерес к фигуративному искусству, к отражению мира в зрительно узнаваемых образах. Более того, художники все чаще и чаще обращаются к темам острого социального звучания. Здесь можно назвать и рисунки, посвященные эпизодам Сопротивления, и работы, изображающие людей труда Италии; особенно точны по психологической характеристике рисунки Пиццинато, Дзивери, Сальваторе и др. Эта традиционная линия в итальянской графике бережно сохраняется лучшими ее мастерами.

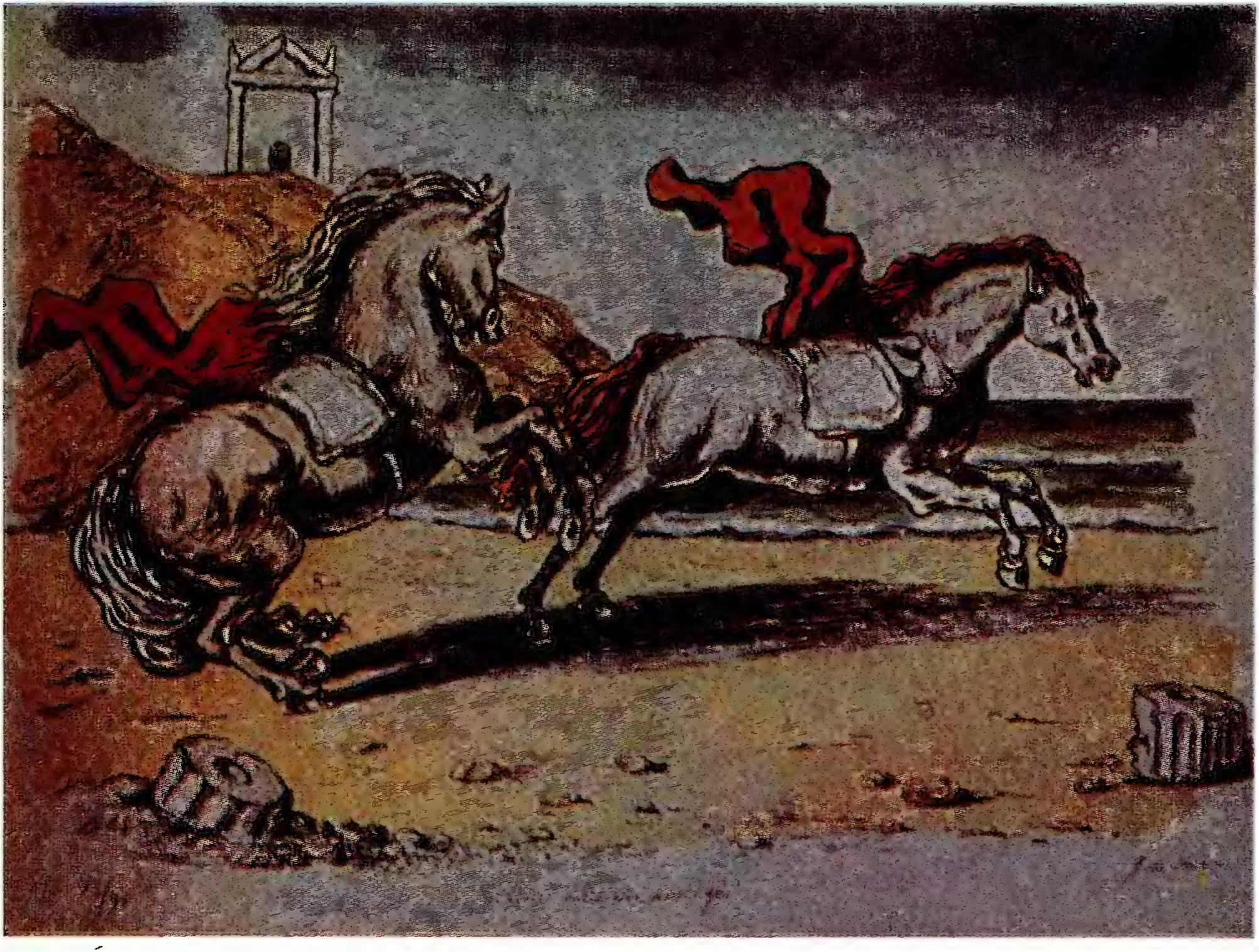
Вместе с тем выставка показала, что в художественном поиске последних лет, особенно мастеров среднего и младшего поколений, очевидно стремление к острым, формально беспокойным решениям, в изображение часто вводятся фотография, детали других рисунков, реклама. Колористическая гамма строится на контрастах сильных, подчеркнуто «агрессивных» цветов. Часто обращаются авторы к деформациям, смешениям пространственных планов. Особенно это заметно в творчестве художников, которые вошли в итальянское искусство в конце сороковых — начале пятидесятых годов. Карло Кватруччи, Вито Дженовезе, Лоренцо Веспиньяни, Уго Аттарди — каждый по-своему стремится все более и более усиливать напряженность своих листов. Они широко используют смешанную технику, фактуру самого листа; фигуры людей, изображения домов и предметов почти теряются в сложных переплетениях нервных линий. Темами этих произведений становится весь окружающий их страшный мир общества потребления, мир, в котором явственно различимы признаки апокалипсического крушения.

Выставка итальянской графики знаменует новый этап развития культурных связей между художниками Советского Союза и Италии. И те, что последуют за ней, позволят нам еще более глубоко познакомиться с итальянской культурой, с итальянским искусством.

◆

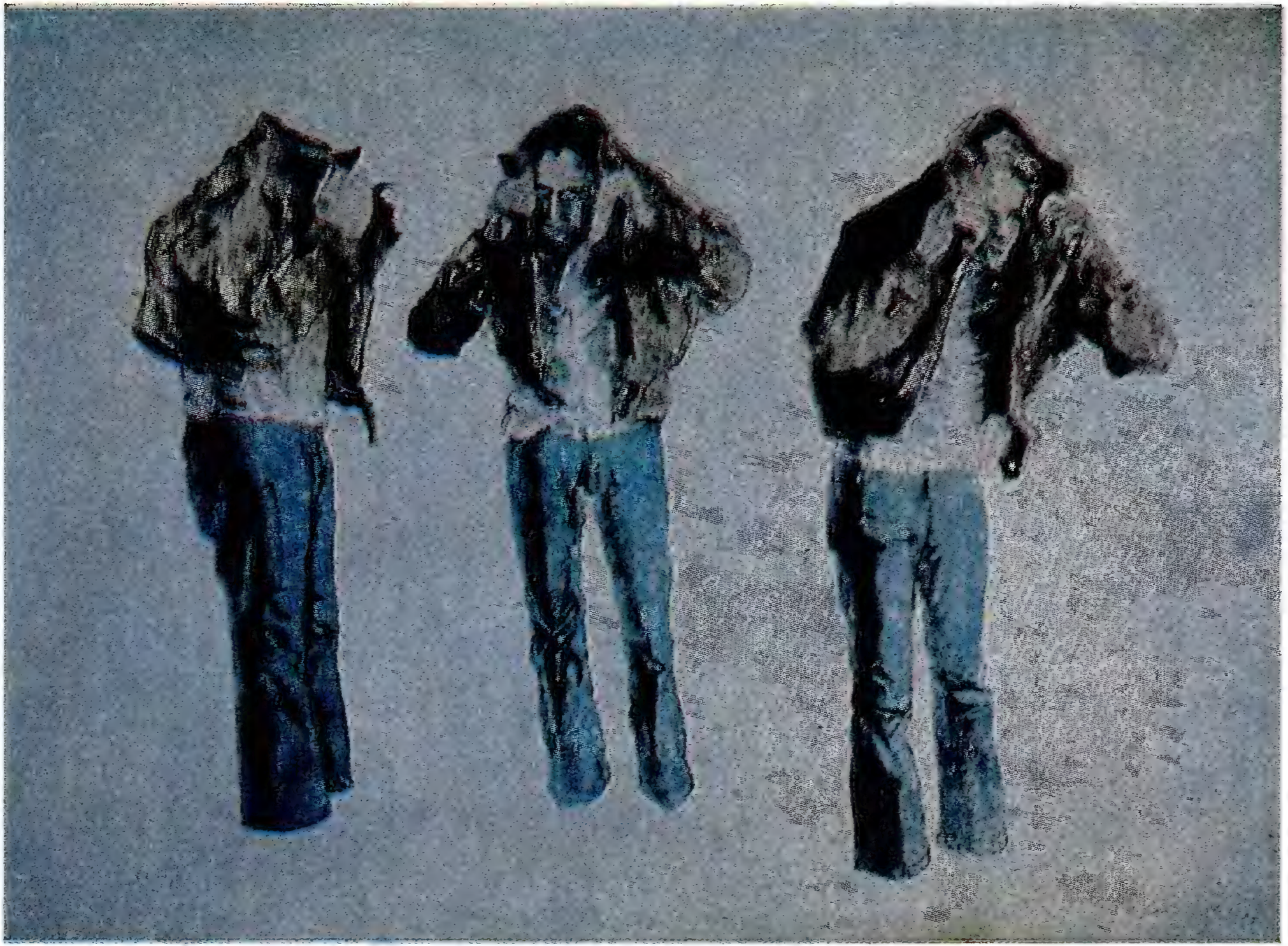
Ренато Гуттузо. Мальчики.

С выставки итальянской графики



Джорджо Де Кирико. Лошади.

Гвидо Бассо. Пейзаж.



Винченцо Гаэтаниелло. Мужчины под дождем.

Издано в СССР

СУДИТЬ РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Атанас Далчев. Избранное. Перевод с болгарского. Предисловие Д. Самойлова. Москва, «Художественная литература», 1974. 206 стр.

Издание моей маленькой книги на русском языке под заглавием «Избранное» я встретил с радостью и не без некоторого смущения. Перевод книги — это испытание для ее автора: он предстает перед новым судьей и должен защищаться на другом языке и часто при помощи других аргументов.

В данном случае таким судьей для меня является русский читатель. Я лишь хочу засвидетельствовать свое отношение к русскому изданию.

Подбор сделан редактором Никой Глен умело, с прекрасным знанием моей скромной работы. Переводы — стихов Марией Петровых и прозы Майей Тарасовой — я нахожу вполне удачными. Задача Марии Петровых была несомненно труднее, но справилась она с ней блестяще. Будучи сама прекрасным поэтом, она отнеслась к моим стихам с пониманием и любовью, глубоко почувствовала их и воссоздала с большим мастерством. Мне даже кажется, что некоторые стихотворения звучат в ее переводе лучше, чем в оригинале.

Хочу выразить горячую благодарность также Д. Самойлову за его проникновенное и лестное для меня предисловие.

Некоторые найдут — и справедливо — книгу очень маленькой. Вина в этом только моя. Я автор малого количества произведений. Русское издание содержит три четверти моего поэтического творчества и приблизительно одну треть моих «Фрагментов». Так что, в сущности, я не столь далек от истины, когда, показывая друзьям свою маленькую русскую книгу, говорю шутливо по-русски: «Полное собрание сочинений Атанаса Далчева».

Я не слишком хорошо разбираюсь в оформлении книг. В известной степени я равнодушен к их внешнему виду, так же как в жизни невнимателен к своей внешности. Во всяком случае, моя маленькая русская книга, изданная скромно, но изящно, мне нравится. Я не большой любитель иллюстраций, но должен признать, что рисунки двух молодых художников из Киева, сделанные со вкусом и глубоким пониманием текста, действительно оживляют книгу. Нравится мне и карманный формат

издания. И я чувствую себя счастливым, когда думаю, что кто-нибудь, отправляясь на прогулку или в путешествие, может взять с собой в кармане мою книжку.

АТАНАС ДАЛЧЕВ

КАК ВСЕ НА СВЕТЕ ЛЮДИ...

Сейчас, сухой московской осенью 1974 года, на моем столе стихи Атанаса Далчева, и я не могу опомниться от чуда: ведь я ни разу не был в Болгарии — как же она вошла в меня так огромно и застенчиво просто? И только ли Болгария? Весь мир двадцатого столетия и каждого из нас, обитающих меж «огоньком окна родного» и стужей «межзвездных мертвенных пустот»,— этот мир так тревожно и чисто пылает, слаженный из ясных образов, где глубокое чувство соразмерности, естественное распределение духовной энергии и движений (столь присущее детям и альпинистам) позволяют не только быть, но и наслаждаться бытием.

А ведь все оттого, наверно, что Далчев соответствует своему же образу:

Мальчику во мраке слушать любо,
как в саду глухом растет трава;
набегают мальчику на губы
дивные слова...

И вспоминается ахматовское:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда...

Больше всего подкупает в каждом из стихотворений Далчева именно то, что ты присутствуешь при рождении мысли, слушаешь самое первое биение стихотворного существа. Эта естественность нарождения, эта непридуманность изначального порыва, когда дивные слова будто сами «набегают на губы», пробужденные тем, что одним покажется «сором», а Поэту — каплей, в которой отражен мир,— эта непредвзятость поэзии Далчева точно сходится с его мыслью из прозаических «Фрагментов», опубликованных в этом же сборнике: «Мысли и образы, когда они впервые возникают в самобытном уме, всегда просты. Сложными и туманными они становятся позже у подражателей».

Атанас Далчев — поэт заповедей. Добытые жизненным — душевным — опытом истины он отдает своим собратьям, вот почему даже в самых удаленных от шумных перекрестков уголках вечернего предместья, глухого двора или безлюдного проулка происходит первостепенной важности добыча человеческой мудрости, как, например, в этой заповеди-печали:

Не стоит двери запирать
столь суеверно и усердно!
Увы, за ними никогда
не доведется жить беспечно.
Когда насторожится ночь
и воют псы в тревоге смертной —
не смогут двери уберечь
от грозной тайны вековечной.

Или в заповеди-проклятии тому, кто поднял руку на человеческое существо:

Через миг увидали зарницы,
как струею дождя из-под кровли
тонкий нож отмывал он от крови,
а ножу нипочем не отмыться!

Или в заповеди-гордости:

Кто за ближних голову сложил,
нам он — кто бы ни был, где б ни жил —
брат по крови, вытекшей из жил.

Далчев — поэт выдающийся по мастерству. Хотя в стихотворении «Молитва» он и просит:

И еще молю тебя о чуде —
научи меня словам простым,
чтобы, ото всех неотличим,
жил бы я как все на свете люди,—

он отличим в поэзии как носитель своего, «далчевского стиля» в этом шумном столетии, отличим именно своей простотой и чистотой. Вот она — несуетность жизни, ведущая к поэтическому величию.

Простота Далчева — кажущаяся простота совершенства. Его стихи, каждое из которых посвящено обычно одной теме, вовремя завершаются и смотрятся целиком — точь-в-точь не новый, но еще крепкий дом где-нибудь на тихой улице, с балконами, окнами, кровлей, стрехами и водостоком (все это излюбленные образы поэта).

А чистота — в прозрачности оболочки, где слова и их неповторимые сочетания не злоупотребляют витиеватой барочностью, скрадывающей объем, а спокойно пропускают свет нашего зрения. Какая естественность и грация! О ветре:

С белой свечки сорвал он пламя,
словно желтый листок осенний...

О горе в доме:

Опустился, будто черный ворон,
черный плат на голову родимой...

О молодости:

И чтобы видеть сны отчетливей,
я часто засыпал в очках...

Подумать только — как свободно я цитирую болгарина Атанаса Далчева по-русски, забыв до сих пор сказать, что эту возможность мне дала работа Марии Петровых, чьи переводы точно сходятся не только с содержанием стихов, но — и это самое главное — с самим духом далчевской поэзии. Поэтам, деятельно работающим в области перевода и попадающим время от времени в тупик кажущейся непереводимости стихов, этот опыт Марии Петровых — радость и надежда на собственные успехи.

Стихи Атанаса Далчева мало печатались на русском языке [1], они ждали своего вос-

[1] Стихи А. Далчева были опубликованы в «Иностранной литературе» № 6, 1971.

создателя. Но существование его поэзии, такой, какой она предстает нам сейчас, предполагалось в болгарском поэтическом созвездии. Эта поэзия сияет нам отныне — и нам светлей.

ПАВЕЛ ГРУШКО

ЗНАКОМСТВО РАСШИРЯЕТСЯ

Современная польская пьеса. Послесловие Станислава Стампф'ля. Москва, «Искусство», 1974. 717 стр.

Драматургия Польской Народной Республики с каждым годом привлекает все более пристальное внимание советского читателя. Многие читатели уже давно стали и зрителями пьес польских авторов. Два фестиваля драматургии Польши, проведенные в Советском Союзе в 1965 и 1970 годах, несомненно повысили интерес к драматической литературе братской страны. Эта книга продолжает наше знакомство с драматургией ПНР, начатое, помимо изданий пьес отдельных авторов, сборником «Современные польские пьесы», вышедшим в 1966 году.

В новом сборнике представлены писатели нескольких поколений, от таких корифеев польской литературы, как Е. Шанявский, Л. Кручковский и Я. Ивашкевич, до Матея Бордовича, дебютировавшего в драматургии в 1964 году. В книгу вошли пьесы разных жанров и различной тематики. Наряду с остро драматическими «Космогонией» Я. Ивашкевича и телевизионными пьесами З. Сковронского «Маэстро» и М. Бордовича «Музыканты» мы находим здесь и сатирические миниатюры К. И. Галчинского из его цикла «Театрик «Зеленый гусь», и комедию «Девятый праведник» Е. Юрандота. Посвященные поре войны и первых послевоенных лет пьесы «Два театра» Е. Шанявского, «Немцы» Л. Кручковского и «Шахматы» С. Гроховяка, а также пьесы о современной жизни «Ночь испытаний» («Трудное дежурство») Е. Лютовского, «Ночная повесть» К. Хоинского и «Группа Лаокоона» Т. Ружевича соседствуют с изображением далекого прошлого — в исторической комедии Е. Брошкевича «Конец книги шестой» и «средневековой балладе», как назвал свою пьесу «Зеленые перчатки» Т. Карпович.

И все же, при всем разнообразии проблематики, отраженной в произведениях, включенных в сборник, именно тема войны в ее социальном, философском, этическом и психологическом ракурсах является в них едва ли не самой главной. Вряд ли это простая случайность, зависящая лишь от выбора тринадцати пьес, вошедших в книгу. Скорее это лишь подтверждение того, какое большое место в сознании людей Польши продолжает занимать все, связанное с трагическими годами гитлеровской оккупации, героического Сопротивления и победы над врагом,— и не только в сознании тех, кто прошел через испытания войны, но и более молодого поколения.

Память о горьком опыте военных лет, подкрепленная драматическими событиями новых, «локальных» войн, живет и в некоторых пьесах, время действия которых уже выходит далеко за пределы 1939—1945 годов. Как отмечал сам Ярослав Ивашкевич, «Космогония» — последняя из числа созданных выдающимся писателем пьес (1967) — возникла из замысла почти полувековой давности, но «опыт двух войн (точнее, трех, потому что «Космогония» могла быть написана так, как она написана, только в дни вьетнамской войны) подключил к первоначальной фабуле много необычайно существенного и нового материала».

«Космогония» — пьеса философская и психологическая. Сложен образ ее героя, Северина, неудавшегося писателя, живущего в одиноком доме, заброшенном в лесной глуши. Северин несет в себе давящую его память о трагических переживаниях военных лет и о собственном преступлении (он убил своего брата). Вывод, к которому он приходит, свидетельствует о его полной капитуляции: «В том-то все и заключается, что в этом страшном мире мы совершенно одиноки».

Нельзя сказать, что Северин совершенно равнодушен к происходящему вокруг него. Даже напротив, он наделен особой, почти болезненной восприимчивостью к тому ужасному, от чего не свободна и действительность нашего времени. В его воображении отчетливо предстают «двести пятьдесят тысяч молодых вьетнамцев, погибающих ежегодно... толпы шатающихся по улицам детей... пылающие тела в напалме...» Но он лишен подлинной духовной силы, без которой не может быть воли к борьбе, сознание его раздвоено. Он признается: «Я не знаю, как согласовать... это полное отсутствие интереса к делам мира, оторванность от жизни с образным воображением, рисующим мне все эти сегодняшние мерзости». Для него сообщения в газетах — это лишь сводки «с фронта конца мира».

Ни в коей мере не упрощая характеристики Северина, даже наделяя его своего рода философией, Ивашкевич изобличает ее бесперспективность и жестокость.

Мировосприятию Северина, который устранился от всякой ответственности и за себя и за других, уйдя добровольно из жизни, противопоставляется внутренняя духовная стойкость его брата Виктора, архитектора,— и в этом главная мысль «рассказа в двух действиях», как определяет жанр своей пьесы Я. Ивашкевич.

Бдительная память о зверствах, связанных с фашистской оккупацией, по-своему запечатлена в пьесе писателя младшего поколения К. Хоинского «Ночная повесть», хотя действие ее и происходит в наши дни (пьеса написана в том же году, что и «Космогония»). Она резко и беспощадно обличает попрание норм человечности и благоприятствующее насилию трусливое, эгоистически-

мещанское примиренчество, желание любой ценой купить свою личную безопасность.

В сборник включена пьеса «Немцы» Леона Кручковского — одно из выдающихся произведений драматургии Народной Польши. Пьеса обошла сцены многих стран, ставилась и у нас. Со времени ее премьеры в Польше прошло уже четверть века. Однако недавно польский зритель увидел новую телевизионную постановку по этой пьесе, и оказалось, что она нисколько не утратила своей актуальности. Напротив, как отмечала польская критика, именно в этом телевизионном спектакле по-новому раскрылась вся глубина психологических характеристик, многопланóвость образов пьесы, огромная сила художественного исследования корней и истоков нацистского зла в немецкой действительности.

Из числа пьес, воссоздающих ситуации военных и самых первых послевоенных лет, новыми для нашего читателя являются «Маэстро» З. Сковронского, «Шахматы» С. Гроховяка и «Музыканты» М. Бордовича. Телепьеса «Маэстро» была показана в театре города Рустави в Грузии во время второго фестиваля польской драматургии, но широкому читателю и зрителю она все же незнакома. В спектакле этом заглавную роль актера, с огромной силой прочитавшего монолог из шекспировского «Макбета» и заплатившего за свой «успех» жизнью, сыграл крупнейший грузинский артист Акакий Васадзе. В созданном им образе была отчетливо передана ведущая мысль пьесы — о гуманистической, поднимающей человека силе искусства, бросающего вызов фашистским насильникам и убийцам.

Особый интерес вызывают пьесы С. Гроховяка и М. Бордовича. Обе принадлежат перу авторов, которые, не пройдя сами через войну, тем не менее, говоря словами Станислава Стампф'ля, «постоянно, как заколдованные, возвращаются к событиям войны, оккупации, к сильным переживаниям тех лет». Пьесы эти различны по стилю. Пьеса С. Гроховяка недаром называется «Шахматы». Ее герои и впрямь действуют, как бы разыгрывая сложную шахматную партию. Однако эта рассчитанность поступков и поворотов развития фабулы, вполне ощутимая в трех эпизодах пьесы, не лишает ее убедительности, а лишь придает особую графическую четкость и своеобразное изящество построения. Направляющий мотив действия — неожиданное и парадоксальное превращение старого и, казалось бы, поначалу столь беспомощного графа в человека, способного на подлинно героический акт борьбы,—прочерчивается с особой выразительностью.

В «Музыкантах» М. Бордовича перед нами серия картин, рисующих окончательное, безоговорочное крушение одной из тех боевых групп подпольной борьбы против оккупантов, которые под воздействием западной антикоммунистической пропаганды вырождались в бандитские террористические шайки, наводившие страх на все окружение. В отличие от пьесы Гроховяка пьеса Бордовича написана с применением почти натуралистической сгущенности красок. Однако сама эта концентрированность придает изображению особую драматическую напористость и художественную силу.

С несомненным интересом читатель вернется к пьесе Е. Лютовского «Ночь испытаний» («Трудное дежурство»), с которой он познакомился уже около двух десятилетий тому назад — в 1956 году она была поставлена в Театре имени Вахтангова. Ситуация, связанная с первыми послевоенными годами, уже ушла в прошлое, но с тем большей отчетливостью выступает теперь в пьесе на первый план та живая конфликтность действия, которая сохраняет свое значение и сегодня,—столкновение между высокой человечностью, принципиальностью и противостоящим им мелким карьеризмом.

Хотя пьесы «Зеленые перчатки» и «Конец книги шестой» посвящены далеким от сегодняшнего дня сюжетам, эта отдаленность, конечно, лишь внешняя — и ироническое остроумие, и затейливость «средневековой баллады» Т. Карповича, и драматическая острота исторической комедии Е. Брошкевича несомненно вызывают широкий круг вполне современных ассоциаций.

Наконец, книга знакомит нас с внушительным и целостным массивом театральных миниатюр популярнейшего поэта Народной Польши первого послевоенного десятилетия Константы Ильдефонса Галчинского. Своеобразный стиль Галчинского, в котором органически сочетается тонкий лиризм с саркастической комедийностью, веселая шутка с подлинной сатирической непримиримостью, будет по достоинству оценен нашим читателем.

В послесловии Станислава Стампф'ля дана весьма широкая картина развития драматургии ПНР. Так, совершенно справедливо автор послесловия уделяет, например, немалое внимание творчеству Эрнеста Брылля — жаль, что в сборнике нет ни одной пьесы этого популярнейшего ныне автора. Впрочем, это замечание — скорее пожелание на будущее, чем критическое суждение о бесспорно интересной и полезной книге, расширяющей наше знакомство с драматургией Польской Народной Республики.

Б. РОСТОЦКИЙ

АД ИЛИ ГОРОД МЕЧТЫ?

Аун Лин. Рикша. Перевод с бирманского Г. Мининой. Предисловие Е. Западовой. Редактор И. Клычкова. Москва, «Прогресс», 1974. 119 стр.

Широкий круг советских читателей еще мало знаком с жизнью современной Бирмы, поэтому встреча с книгой бирманского писателя, выпущенной издательством «Прогресс», особенно приятна. Автор романа «Рикша» — прозаик, критик, музыкант — Аун Лин пользуется у себя в стране большой популярностью.

С первых дней сознательной жизни Аун Лин участвовал в национально-освободительной борьбе, которую вел бирманский народ против колонизаторов Творческий путь он начал как журналист и критик. В 50-е годы появились первые художественные произведения Аун Лина. Написанный в 1958 году роман «Рикша» принес успех автору и выдвинул его в ряды известных прозаиков страны. Роман отличается динамичностью сюжета, социальной заостренностью, яркими бытовыми зарисовками жизни Рангуна — города мечты многих героев книги.

Место его действия — Рангун, столица, которая, как магнит, притягивает людей из самых отдаленных уголков страны и сулит им все жизненные блага. И обманывает их ожидания. Послевоенная разруха и нужда заставили героя романа отправиться на заработки в город. Не верит он предупреждениям тех, кто успел убедиться, что такое жизнь в городе для людей, не имеющих денег. Не верит он и своей первой рангунской знакомой Эвин: «Я тоже когда-то приехала сюда работу искать. Думала, Рангун — город большой, значит, и работа найдется и деньги будут. Да не тут-то было. Знаешь, что такое Рангун? Рай для богачей, ад для бедняков». Тан Чхаун не верит, потому что он молод, полон сил и радужных надежд. Но в послевоенной Бирме трудно найти работу. Постепенно суровая действительность приводит героя к горькой мысли: такие бедняки, как он,— лишь «маленькие камешки на дороге, которые растирают в порошок колеса велоколясок». Но жизнь дарит ему и друзей, людей добрых, хороших, которые помогают ему в тяжелые минуты жизни. Тан Чхаун оказывается без крова, без работы, драматично складываются и его отношения с возлюбленной Ма Ри. И все-таки рука верных друзей помогает ему выдержать очередной удар судьбы.

Аун Лину свойственно пристальное внимание к людям, оказавшимся на самом дне жизни. Хотя его герои внешне ничем не примечательны, в каждом из них писатель сумел увидеть человека с его радостями и горестями.

При чтении «Рикши» в памяти возникает горьковская пьеса «На дне»; вспоминаешь также роман Мулк Радж Ананда «Кули», знакомый советскому читателю. В одной из своих критических статей Аун Лин признался, что творчество основоположника метода социалистического реализма М. Горького и индийского писателя Мулк Радж Ананда оказали наибольшее влияние на формирование его творческого метода.

Произведения писателей Бирмы нечасто появляются на прилавках книжных магазинов нашей страны. У нас почти нет опыта перевода непосредственно с бирманского языка. Но Г. Минина успешно справилась с трудной задачей. Живой язык романа, язык улицы, жаргонные словечки, просторечные выражения, зарисовки быта помогают ощутить атмосферу Бирмы 50-х годов, увидеть многоцветную гамму красок жизни далекого города.

Автор предисловия Е. Западова систематически занимается историей современной бирманской прозы. Ее книга «Океан и капля», посвященная проблемам национального романа, была переведена в Бирме в 1971 году и получила благожелательные отклики. Хорошо владея материалом, Е. Западова сумела и в небольшом предисловии проследить общую линию развития современной прозы Бирмы, охарактеризовать индивидуальность Аун Лина и как человека, и как писателя, определить место романа «Рикша» в его творчестве.

К. ШАНЬГИН

Издано за рубежом

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

Jiří Taufer. Letokruhy. Praha, Československý spisovatel, 1972. Jiří Taufer. Údĕly a díla. Praha, Československý spisovatel, 1973.

Соратник Ю. Фучика и Б. Вацлавека, друг В. Незвала и Л. Штола Иржи Тауфер принадлежит к той испытанной гвардии чешских коммунистов, которая в тридцатые годы была гвардией молодой и принимала на себя основную тяжесть борьбы против буржуазного строя и фашизма, за социалистическую Чехословакию.

СРЕДИ КНИГ

Тауфер много работал в организациях и изданиях Левого фронта, был одним из инициаторов «Блока» (1935) — боевого и творческого объединения чешских писателей, провозгласивших своим методом социалистический реализм.

Во время войны он жил в Советском Союзе. С 1943 года сотрудничал на Московском радио и тогда же стал переводить произведения В. Маяковского, начав с поэмы «Владимир Ильич Ленин».

После освобождения Чехословакии от гитлеровской оккупации Тауфер участвует в строительстве новой республики, в укреплении и, если необходимо, защите социалистических завоеваний.

И всегда напряженной общественно-политической деятельности Тауфера сопутствует литературное творчество: книги стихов и переводов, критических исследований, воспоминаний, множество статей — всегда страстных, полемически заостренных, поднимающих злободневные, подчас очень сложные вопросы, которые ставит жизнь перед искусством и перед людьми. Но публицистика неотделима в его творчестве от лирики, как неотделима в его жизни общественная борьба от поэзии. В воспоминаниях о Назыме Хикмете Тауфер написал, как бы поверяя его труд своим собственным трудом: «Он — поэт и революционер. И если мне возразят, что должна быть другая последовательность, скажу, что никакой последовательности нет и быть не может. Ведь речь идет не о каких-то двух разных видах деятельности, а о двух сторонах деятельности одной, не о разных призваниях, а о разных способах проявления одного и того же призвания, одной и той же энергии».

Книги И. Тауфера, изданные недавно в Праге, подтверждают многогранность его творческих проявлений, его верность призванию поэта и революционера.

«Годовые кольца» (1972) — сборник стихотворений, составленный самим автором из поэтических циклов разных лет. Представляя жанр «избранного», эта книга воспринимается как вполне самостоятельное произведение, как сжато изложенная творческая биография поэта в ее основных вехах и чертах.

Название сборника — метафорично. Годовые кольца, которые отчетливо проступают на срезе ствола,— это естественная диаграмма роста, прочерченная самой природой, это своеобразная картина развития, в процессе которого каждый новый этап не опровергает предыдущий, а прорастает из него. Движение поэзии Тауфера тоже происходит последовательно, по линии постепенного расширения ее горизонтов и углубления проблематики. Меняется стиль поэзии Тауфера, который писал в разных творческих манерах, варьируя ритмы, интонации, формы стиха. Но неизменным остается ее гуманистический пафос, ее суть.

Уже ранним антивоенным стихам Тауфера было свойственно общественное звучание и в то же время непосредственность образа. Ребенком пережив первую мировую войну, он снова возвращается к ней в своем творчестве, остро реагируя на предгрозовую атмосферу тридцатых годов. Тауфер поднимает голос против империалистических войн, призвав в свидетели обвинения свою память, впечатления детских лет. Он вспоминает раненых, пропахших карболкой, несмолкаемый погребальный звон, вещи погибшего отца — и призрак новой войны обретает свою страшную определенность.

В «Годовые кольца» вошли и стихотворения из сборника «Рентгенограммы» (1937—1938). Название это выражает постепенно определявшийся принцип поэзии Тауфера — глубоко, как лучи рентгена, проникать в жизнь, высвечивая социальную структуру бытия, его конфликты, противоборство реакции и прогресса. «Рентгенограммы» Тауфера насыщены жизнью, тревогами и надеждами человека, который остро ощутил «убийственный климат строя, заслонившего мраком свет».

Выступая против мира, разъедаемого войнами, безработицей, фашистскими мятежами, поэт предчувствует грядущие перемены — «лук истории натянут до предела». Будущее уже приоткрывалось на «новой экзотической земле», «земле предвесенней», «красной шапкой венчающей земной шар». Образ СССР входит в «Годовые кольца» с циклом «До свидания» (1935), созданном после нелегальной поездки в Советский Союз. Поэт пытается передать какие-то главные черты родины социализма, создать ее обобщенный образ, монументальный портрет:

Я очень люблю эту рабочую страну
Где я побратался с жизнью

В железных строфах фабрик
Я встречался с Маяковским

Березовые рощи платочками берестяными
Осушали капли дождя
В них встречался я с Сергеем Есениным

А в каждой лампочке электрической
Мне видятся глаза Ленина.[1]

В стихотворениях из сборника «Летопись» (1938—1957), фрагментах поэмы «Героика» (1955), представленных в книге, тема СССР звучит как героическая симфония, со свойственной этому жанру полифонией мотивов, образов, эмоций. Доминирует чувство горячей привязанности к стране, где Тауфер прожил трудные военные годы, где родился его сын, к стране, которая перестала быть «землей экзотической», а стала «второй родиной» поэта. И стихи его, неторопливые и достоверные, как воспоминания — о свершениях советского народа, о дорогих Тауферу чертах его будней и быта: тишине московских переулков, запахе ржаного хлеба, свете автомобильных фар на Зубовском бульваре. Чувства Тауфера — это чувства интернационалиста, убежденного, что «родина — это та земля, где идет сражение за счастье».

Замыкает книгу кольцо «Сонетов» (1960), в которых сходятся сюжеты и мотивы его прежних произведений. Классический сонет

[1] Подстрочный перевод автора статьи.

требует ясных формулировок, четкости мысли, и Тауфер обращается к строго изысканной форме традиционного стиха, чтобы еще раз с максимальной определенностью высказать свои убеждения и взгляды, которые подтверждаются всей его жизнью.

«Судьбы и свершения» (1973) — сборник литературно-критических работ Тауфера. Книга эта была высоко оценена в Чехословакии и в 1974 году удостоена Государственной премии имени Клемента Готвальда. Доклады на конференциях, предисловия к книгам, журнальные статьи и эссе, вошедшие в сборник, посвящены крупным писателям XX века — тем, с кем сводила автора жизнь и пересекалась его творческая судьба. «Почти всех, о ком я рассказываю, за исключением двух (Хлебникова, Маяковского), я знал лично. Многие из них были и остаются моими друзьями. И решительно всех я хорошо знал через их самое точное жизнеописание — через их творчество». Тауфер опирается и на собственные воспоминания. Ему важно передать живое ощущение личности художника, которое помогает найти ключ к творчеству.

О ком бы Тауфер ни писал — о своих ли соотечественниках, прозаике Я. Кратохвиле, критике Б. Вацлавеке, поэте К. Библе или о В. Маяковском, Н. Хикмете, Н. Асееве, И. Эренбурге и М. Луконине, он показывает характер в становлении, личность в ее диалектической сложности. Выделяя те черты, которые объединяют прогрессивных художников революционной эпохи, связанных общностью мировоззрения, он проявляет большую чуткость к творческим особенностям каждого, наглядно раскрывая «диалектику революционного единства, немыслимого без разнообразия индивидуальностей, которые, как великолепная радуга, сверкают в лучах великой исторической правды».

В главе о Я. Кратохвиле он рассказывает о человеке, «рожденном для творчества, а не для боя» и тем не менее прожившем жизнь борца. «Борьба стала для него высшим проявлением истинной человечности». Тауфер подчеркивает удивительную цельность творческой личности Б. Вацлавека, которому принадлежит высказывание: «Надо, чтобы коммунистические взгляды человека проявлялись не только в его произведениях, в которые он вкладывает свою душу... но и в стиле его жизни»,— и не скрывает творческих метаний К. Библа, «поэзия которого волнует отразившимися в ней следами борьбы человека с самим собой».

Основная часть книги посвящена русским писателям, представителям разных поколений. Ее своеобразный центр — глава о Маяковском, «пробивавшем путь искусству новой эпохи». Автор приходит к выводам сам, своим путем, проникаясь поэзией Маяковского и миром его представлений так, как способен проникнуться поэт-переводчик, которому удалось очень точно воссоздать произведения Маяковского на чешском языке. Рассматривая партийность поэзии Маяковского, который смотрел на мир «с точки зрения будущего», как неотъемлемое, органически присущее ей качество — «Октябрьская революция, партия, Советская Россия, коммунизм были для него самой поэзией»,— Тауфер опирается на структуру его образов, обнажает лирический нерв его искусства и ощущает «напряженность взметнувшегося чувства» в любых, даже подчеркнуто нелирических стихах поэта.

Тауфера влекут и художники противоречивые, как бы сконцентрировавшие в себе те сложности и парадоксы, которыми богато искусство XX века Не сглаживая острых углов в творчестве таких поэтов, как Д. Бурлюк, В. Хлебников или Б. Пастернак, Тауфер стремится при этом «не препарировать личность человека, выискивая «ошибки» и «заблуждения», а видеть ее в развитии... не терять способность увлекаться художником и уважать его».

Очерки Тауфера предназначены широкому кругу чешских читателей. За живым изложением скрывается глубокая исследовательская работа, тем более ценная, что проводил ее не только опытный критик и литературовед, но и писатель, поэт, для которого литература, художественное творчество — родная стихия. Отсюда — тонкость анализа, чуткость к специфике искусства, понимание психологии творчества.

«Судьбы и свершения» — это книга о судьбах современного искусства, его поисках и свершениях. В совокупности отдельных глав прорисовывается картина литературного процесса с начала века до наших дней — в его разных этапах, гранях, течениях; в напряжении идейно-эстетической борьбы и с четко прослеженной линией литературы социалистического реализма.

Л. БУДАГОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Erwin Strittmatter. Der Wundertäter. Roman. Zweiter Band. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1973.

Мальчишкой Станислаус Бюднер заговорил с бабочкой, присевшей на его башмак. Тот, кто читал первую часть «Чудодея» Эрвина Штриттматтера, помнит, что такие беседы повторялись.[1] Во втором томе романа Станислаусу Бюднеру под сорок, и он время от времени разговаривает с таинственным существом из породы фавнов, которое то появляется, то исчезает. Фавн чаще всего ироничен, как ему и подобает, согласно античной мифологии. Порою он изъясняется афоризмами, например, когда, покачиваясь в кресле-качалке, говорит: «Поэт, который рассчитывает, не принимается в расчет». Нередко он задает каверзные воп-

[1] Э. Штриттматтер. Чудодей. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960.

росы, из которых следует, что Станислаус поступает не так, как надо. Возможно, специалисты по этике назвали бы фавна «лучшим Я» героя романа, замечает Штриттматтер, но к чему это? Ведь фавн все равно останется там, где он был,— в сфере искусства.

Споры Станислауса с фавном, мысли Станислауса, записанные в купленных им за гроши тетрадках, рассказ о том, что произошло с героем, импровизации, вызванные каким-нибудь событием в его жизни, но уводящие далеко в сторону,— все это, слагаясь в единое целое, образует книгу, по-современному сложную. И по форме и по содержанию она отвечает потребностям читателей семидесятых годов, хотя в ней отображено время, предшествовавшее созданию Германской Демократической Республики.

До войны Станислаус Бюднер был подмастерьем в пекарне. После войны он намеревался осуществить свою давнюю мечту: стать мастером в литературе. Он полагает, что этому не так уж трудно научиться: если в торте слои теста, наложенные один на другой, смазываются кремом, чтоб не распадались, то в книге главы скрепляются сюжетом; если в торте ценятся разноцветные украшения, то в книге слова должны быть поцветистее. Конечно, для того чтобы заниматься литературой, нужны деньги, но Иоганнис Вайсблат, вместе с которым Станислаус в конце войны дезертировал из гитлеровской армии, обещал, что за этим остановки не будет: придется раскошелиться его отцу, фабриканту, нажившемуся на постройке бетонированных укреплений для вермахта. Вот почему Станислаус начинает послевоенную жизнь не в родных краях, а в Западной Германии, в английской зоне оккупации.

Станислаус все еще наивен, причем не только в представлениях о литературном творчестве. Эта наивность в изданном в ГДР в 1957 году первом томе «Чудодея» связывалась с той погруженностью в самого себя, в свою мечту, которая мешает видеть происходящее вокруг. Гейне в поэме «Германия. Зимняя сказка» писал, что немцы приспособились, лежа на перине, овладевать царством мечты. Станислаус, сын бедняка, не был изнежен перинами и пуховиками, а на войне убедился, что в воздушный замок мечты не спрячешься от действительности. Он понял, что с грязной войны нельзя вернуться чистым. Но все это не помешало ему, вернувшись, витать в облаках, падать с неба на землю, ушибаться.

Соотношение мечты и действительности — лишь один из аспектов, в котором рассматриваются проблемы, составляющие смысл второго тома «Чудодея». Как человек становится писателем? Чем подлинное искусство отличается от мнимого? Что означает творческое призвание? В проблематику книги в числе других входят и эти вопросы. Фавн по-своему обобщил их, когда, примостившись на лежанке, спросил Станислауса: «Для чего ты живешь?» Это было еще в Греции, в монастыре, где скрывались дезертиры Бюднер и Вайсблат.

В Западной Германии они оба побывали в редакции издаваемого Джоном Замзарой журнала «Сверхсмысл»: там было все — и контора, и казино, и кафе, и девушки, готовые на всяческие услуги; не было там только одного — искусства. Джон Замзара в недавнем прошлом звался Иохеном Замстагом и сотрудничал в нацистской газете. И тогда и потом он был спекулянтом от литературы.

Штриттматтер изобличает спекулянтов от литературы, где бы и как бы они ни проявляли свою изворотливость. Когда в Западной Германии Джон Замзара вводит моду на «сверхсмысл» искусства, тождественный бессмыслице, он с выгодой для себя использует состояние опустошенности, растерянности, неверия ни во что, в котором после войны пребывали многие его соотечественники. При этом он печатает в своем журнале не только абстрактную поэзию, представляющую собой маловразумительный набор слов, но и конкретную клевету на тех, против кого воевал под Сталинградом.

Когда в Восточной Германии поэт Джо Остра (под его именем скрывается Иоганнис Вайсблат) читает трескучие стихи, состоящие из громких фраз, в которых сто раз повторяется слово «красный», то и он спекулирует, только не безверием, а верой в революционное преобразование жизни, исповедуемой его слушателями. Они не подозревают, что Вайсблат перебежал в Восточную Германию потому, что в Западной Германии ему угрожало наказание за мошенничество. Случай редкий, но показывающий, что всюду могут найтись охотники выдать литературные поделки за искусство.

Среди тех, кто не приемлет ремесленные изделия Вайсблата, находится Бюднер. Значит, и он в Восточной Германии? Да, там начинается новый этап его жизненного пути. Но до этого Станислаус влюбляется, хочет жениться, служит в конторе, собираясь стать капиталистом, работает на фабрике, намереваясь стать пролетарием. Конечно, для крутого поворота имеется причина: Станислаус узнает, что Роза, его любимая,— коммунистка, а он, на ее взгляд, обыватель. Впрочем, капиталист из него все равно не получился бы, как не получился и поэт «сверхсмысла», хоть он и пытался писать стихи по заказу Замзары.

Над своим незадачливым героем автор добродушно посмеивается. А преуспевающего дельца, каким был и остался Вайсблат-старший, он уничтожает смехом. Но для писателя суть не столько в ничтожной личности этого Вайсблата, сколько в узаконенных при капитализме социальных отношениях, выгодных любым вайсблатам. Попав на целлюлозную фабрику, владельцам которой безразлично, что рабочие слепнут на работе, Бюднер начинает понимать, каковы эти отношения. Там, на фабрике, во время забастовки он встречает своего однополчанина Роллинга, старого коммуниста, в разгар войны перебежавшего к русским.

Роллинг почему-то зовется Озэро; он не только переменил фамилию, но переменился и сам. О происшедшей с ним перемене Штриттматтер рассказывает с горькой усмешкой. Катя, дочь Роллинга, во время вой-

ны вышла замуж за нациста; после войны она, из уважения к отцу, расторгла брак, но, любя мужа, продолжала с ним жить. Отец осудил ее. А потом, возомнив себя безгрешным, легко осуждал других, приписывал товарищам по партии всевозможные грехи. Уверенный, что служит делу рабочего класса, он подменял бдительность подозрительностью. И терял то, чем прежде обладал: человечность. Связанные проволокой гвоздики — подарок Озэро товарищу ко дню рождения — деталь гротескная. Она выражает отношение Штриттматтера к тому, в чем он видит последствия культа личности. Книга о Германии второй половины сороковых годов не была бы правдивой, если бы в ней не упоминалось об этих последствиях.

«Кто лучше, чем Озэро, пусть возьмет первый, кто лучше, чем его дочь Катя, пусть возьмет второй камень...» — говорит Штриттматтер. Ему грустно, что Роллинг, сделавшись догматиком, превратился в сектанта. Ему известно, что подобные превращения бывали.

Озэро, дядя Розы, стал для нее чем-то вроде оракула. Она принимала на веру все, что слышала от него. А он считал, что с аполитичным Станислаусом ей не по пути. И все-таки однажды Роза поступила, как ей подсказывало сердце — в ту ночь, после которой, тайком от Станислауса, родила их сына. Вообще же Роза отучилась мыслить самостоятельно и не заметила, как из нее сделали марионетку. Еще одно грустное превращение, которого могло бы и не быть.

Кажется, будто Станислаус гонится за тенью, когда тщетно пытается догнать Розу, ушедшую с премьеры его пьесы о печальной любви Станиро и Розарии. У деревенских зрителей спектакль, поставленный приезжей труппой, где Станислаус — и драматург и актер, находит отклик. Наверно, потому, что пьеса, при всей ее неуклюжести, рассказывает о пережитом. Недаром фавн без конца твердит Станислаусу: чтобы писать, надо знать то, о чем пишешь.

В книге с причудливым героем, с прихотливыми извивами сюжета, с произвольными отступлениями, в которых от иронии до лирики и от лирики до иронии один шаг, сочетаются смелость воображения и точность знания. В этом особенность таланта Штриттматтера.

На состоявшемся в ноябре 1973 года VII съезде писателей ГДР Эрвин Штриттматтер утверждал содружество различных творческих индивидуальностей. Съезд, говорил он, обсудит, **как** выражается то, что требует выражения. «А нам есть **что** сказать,— добавил он,— нам, живущим в социалистической стране...» Штриттматтер с самого начала принимал деятельное участие в преобразованиях, благодаря которым Восточная Германия стала Германской Демократической Республикой. Это трудное начало изображено в книге таким, каким оно было. Люди недоедали, донашивали старое тряпье, но верили, что жизнь станет иной, лучшей. Когда Станислаус возвратился в родные места, Густав Бюднер, его отец, бывший социал-демократ, вступивший в СЕПГ, с гордостью сказал ему: «Да, можешь удивляться! Мы тут делаем уйму нового!»

Местечко Вальдвизен, его природа, его люди, их нравы — все это обрисовано по-штриттматтеровски: и красочно, и без прикрас. Густав не прочь, чтобы Станислаус почудодействовал, как когда-то подростком, ведь прокормить семью нелегко. Станислаус тоже хочет сотворить чудо, но не ради хлеба насущного: он мечтает написать роман. Мечта мечтой, а зарабатывать надо, и Станислаус поступает секретарем в магистрат. Он всего-навсего проявляет неподкупность, по долгу службы участвуя в контроле над поставками хлеба и молока, но это, оказывается, уже политика. Задира фавн недаром поддразнивает Станислауса: если ты не справишься с жизнью, жизнь справится с тобой.

«Чудодей» — книга полемическая; ее автор ведет полемику с задором. Он не упускает случая осмеять схематизм и тот, что вредит жизни, и тот, что вредит литературе. Он пародирует шаблоны, по которым изготовлялись некоторые немецкие романы.

В небесах не появилась комета, устанавливает Штриттматтер, когда Станислаус вступил в партию. И день был будничный, и люди, принимавшие Станислауса, были обыкновенные. Вроде старого Крюгера, который не считал себя бойцом антифашистского Сопротивления, оттого что ни разу не попался, когда слушал запрещенные радиопередачи и в спичечных коробках развозил по деревням крохотные листки с последними известиями.

Станислаус отказывался вступать в СЕПГ потому, что это сделала его бывшая жена Лилиан Пешель, наглая бессовестность которой пригодилась ей в годы фашизма. И все же вступил, согласившись признать, что в партии меньше пешелей, чем штайлей.

Образ Райнхольда Штайля, шурина Ста-

нислауса, секретаря окружного комитета партии, создан наперекор стандартным приемам некоторых немецких писателей. Автор ставит героя в незавидное положение обманутого мужа, с отчаяния думающего, что смог бы — только бы совсем не потерять жену — делить ее с любовником. Но и в этом смешном положении Райнхольд не так уж смешон, потому что он искренен и добр.

Сопоставление Штайля и Озэро напрашивается само собой. Оба говорят о «деле», имея в виду борьбу за коммунизм, но если Озэро отталкивает людей от дела, то Штайль привлекает их в делу своей убежденностью и человечностью. Не чета ему бургомистр Вальдвизена, пытающийся, как сказано про него, совместить несовместимое: коммунизм и пруссачество. Не случайно Станислаус записывает в своей заветной тетрадке: «Социализм делается людьми, не худо бы нам держать это в памяти, верно?» Фавн как-то говорит: «Мы марксисты...» И Станислаус старается быть настоящим марксистом, а не начетчиком.

Оба тома «Чудодея» написаны в традиционном для немецкой литературы жанре «романа воспитания».

Хотя автор, по его собственному выражению, привел героя туда, куда он должен был прийти, концовка романа вовсе не благополучная. Благодаря Райнхольду состоялось свидание Станислауса и Розы, но за ним последовала разлука. Станислаус повидал сына, но не знает, как все сложится дальше. Герою, по мнению автора, предстоит разгадывать загадки. Разгадает ли он загадку творческого призвания? Видимо, да. Он понял, что не может не писать. Он понял, что писать труднее трудного. Он начал разбираться в том, как и для чего живет его народ. А в том, как и для чего цветет на обочине цветок, он разбирался и прежде.

На VII съезде писателей Штриттматтер сказал, что в ГДР, так же как в СССР, лучшие в мире читатели. И его последний роман, и его предыдущие книги созданы для этих читателей. Он работает над третьим томом «Чудодея». Продолжение следует.

Л. СИМОНЯН

ДЕЙСТВЕННОЕ СЛОВО КРИТИКИ

Г. П. Саввидис. Пано нера. Афины, «Эрмис», 1973 (на греческом языке).

27 июля 1974 года, в один из первых дней, когда греческий народ праздновал свое освобождение от режима военной хунты, в афинской газете «Вима» появилась очередная статья Георгоса Саввидиса — его ежемесячный литературный «подвал». Обозревая семь лет правления диктатуры, сеявшей «тревогу и страх, унижение и гнев», Саввидис писал о запретах, которым подвергалось свободное печатное слово: «Нам пришлось научиться языку намеков, прибегать к хитрым трюкам и уловкам... Было бы несправедливо не воздать должное тем, кто с честью преодолевал эту вынужденную скованность...»

Одним из тех, кто «с честью преодолевал вынужденную скованность», был и сам Георгос Саввидис. Сборник его очерков «Верхние воды» (1973), впервые печатавшихся в газете «Вима»,—свод регулярных публичных выступлений, которые всем своим духовным строем, всей своей нравственной направленностью несомненно противостояли диктаторскому насилию. Собранные воедино, эти очерки еще раз продемонстрировали масштаб критической работы Георгоса Саввидиса.

Начало этой работы относится к пятидесятым годам. Уже тогда первые публикации молодого критика вызвали интерес в литературных кругах. «Почему вы не публикуете чаще ваши наблюдения о нашей духовной жизни, ведь, судя по вашей статье, вы обладаете критической мыслью самобытной и богатой?» — писал в 1960 году видный греческий критик и поэт Маркос Авгерис, откликаясь на статью Георгоса Саввидиса «Поэма Элитиса «Достойно есть», напечатанную в журнале «Тахидромос».

С основательностью исследователя и вместе с тем с щедростью высоких оценок автор статьи писал о поэме Элитиса как о произведении глубоко национальном, пополняющем ряд лучших достижений новогреческой поэзии. При чтении этой ранней статьи, вновь опубликованной в разделе приложений к сборнику «Верхние воды», сразу же отмечаешь необычайно важное для критика качество — сознание ответственности перед национальной культурой и ее творцами. Назначение критики, считает Саввидис, содействовать установлению здорового духовного климата, при котором «поэты, творцы достойны нации, а критики достойны этих поэтов».

Со времени первой публикации статьи прошло почти 15 лет. Для Георгоса Саввидиса эти годы были чрезвычайно плодотворными, по праву утвердившими его в числе ведущих литературоведов Греции. Под его редакцией осуществлен ряд значительных изданий новогреческой классики — произведения К. Кавафиса, К. Кариотакиса, А. Валаоритиса, Г. Сефериса. Изучение им архива К. Кавафиса и издание его не известных ранее стихотворений явилось крупным событием в культурной жизни страны и немало содействовало новому прочтению и освоению наследия этого выдающегося греческого поэта.

В 1966 году Саввидису были присуждены ученая степень доктора филологии и звание профессора Салоникского университета. Однако в 1971 году Саввидис подал в отставку (в условиях военной хунты отставка носила характер антидиктаторского протеста), и с осени того же года в газете «Вима», где литературные «подвалы» по традиции принадлежат самым авторитетным деятелям национальной культуры, регулярно появляются его статьи.

Выступления в сфере текущей литературной критики, активное участие в хронике современности для представителей академического литературоведения Греции в целом не характерны. Тем заметнее и весомее выглядит на этом фоне деятельность Георгоса Саввидиса, тем большее уважение вызывает его стремление содействовать обновлению общественно важного литературного жанра (очерка или так называемого литературного «подвала»). Когда, завершая чтение сборника, знакомишься в разделе приложений с еще более ранней, чем упоминавшаяся, статьей Г. Саввидиса «Гуманизм и журналистика» (1951), невольно воспринимаешь ее как маяк, воздвигнутый автором в самом начале своего пути. В свете его лучей вся последующая работа Г. Саввидиса обретает особую гуманистическую целенаправленность.

Г. Саввидис действительно обновляет форму очерка. В предисловии к сборнику он сам оговаривает так называемую «неслитную композицию» своих статей — разорванность текста на разделы, развивающие, а иногда лишь выдвигающие тот или иной тезис. Написанные прежде всего для газеты, где место всегда строго ограничено, очерки Саввидиса насыщены мыслью, избавлены от пояснительной разреженности, рассчитаны на активное, творческое соучастие читателя. Многие тезисы, занимающие всего несколько строк, содержат серьезные критические наблюдения, равноценные открытию, и лаконичная манера их изложения свидетельствует как о богатых авторских резервах, так и о щедрости в их реализации. Есть у этой манеры и ряд других добрых качеств — естественность выражения, живая интонация, раскованность в обращении с материалом, позволяющая развернуть на узкой газетной полосе интереснейший разговор с неожиданными проекциями в самые разные области национальной культуры.

Так возникают выходы в изобразительное искусство и музыку, картина культурной жизни приобретает объемность, отчетливее проявляются внутренние взаимосвязи, черты общего движения, его закономерности. Одна из таких закономерностей — обостренная неприятием диктатуры политическая чуткость читателя — отмечена Саввидисом в статье «Действенное слово Кавафиса»: «Говорят, что книга — своеобразное зеркало, отражающее не только писателя и его время, но и последующие поколения читателей, их эпоху. И стало быть, естественно, что в периоды, когда элементарные политические свободы отменены, в противовес этому наблюдается обостренная политическая чуткость. Таким образом, вполне понятно, почему в наши дни внимание приковано почти исключительно к Кавафису-«политику».

Этому заключению предшествовал разговор о перекличке с мотивами Кавафиса в современной греческой поэзии. В рамках статьи Саввидис опубликовал новое стихотворение лауреата Международной Ленинской премии Костаса Варналиса «Свободы свет святой...» с эпиграфом из Кавафиса. Завершили статью две ранее неизвестные заметки Кавафиса, подтверждающие правомерность той общественно значимой, гуманистической трактовки творчества поэта, которая утвердилась в греческой литературе в последнее десятилетие.

Статья «Действенное слово Кавафиса» — характерный для Саввидиса пример мобилизации лучших национальных традиций, умелого освещения их преемственности и жизнеспособности. Соломос, Кальвос, Паламас, Кавафис, Сикельянос, Сеферис живут в его очерках в естественном контексте современности. Их мысли, их стихи, их опыт обретают актуальность, становятся необходимыми союзниками и наставниками нынешних поколений. В очерках Саввидиса проявляется не только широкая эрудиция критика, но и тонкое ощущение духовных запросов времени, проницательная ориентация в пестрой сутолоке литературных будней.

Существенной чертой современности, печатью, отметившей все самое значительное в послевоенной греческой литературе, продолжает оставаться национальный опыт, вынесенный из второй мировой войны. Г. Саввидис принадлежит к послевоенному поколению греческих литераторов, к тем, кто, по его словам, «начал осознавать себя и свою страну в десятилетие 1938—1948». Прочно освоенные идеалы свободы и демократии являются и для него исходной идейной и нравственной позицией. Мы не раз ощущаем ее в книге «Верхние воды» (например, в очерке «Общее слово» о документальном сборнике Элли Пападимитриу). Сведенные в один том, газетные публикации Саввидиса воспринимаются как нечто цельное, внутренне связанное, поднимающее не только поверхностный пласт культурной хроники, ее «верхние воды», но и ее глубинные родники, ее животворные истоки.

С. ИЛЬИНСКАЯ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

ДИМФНА КЬЮСАК О ПОЛОЖЕНИИ ПИСАТЕЛЕЙ

Под заголовком «Писатель и книга в Австралии» ежеквартальный журнал «Острэлиан отор» поместил статью известной писательницы Димфны Кьюсак.

С приходом к власти лейбористского правительства, проводящего в значительной мере независимую национальную политику как в области внешних отношений, так и внутренней жизни, пишет автор, несколько улучшились материальные условия определенной части писателей. Созданный в 1973 г. Литературный комитет при Совете искусств Австралии предоставляет стипендии известным писателям, с тем чтобы они могли беспрепятственно заниматься творческой работой.

В этом смысле, отмечает Кьюсак, австралийские писатели находятся теперь в несколько более благоприятном положении по сравнению с литераторами других стран Запада. Благодаря субсидиям Литературного комитета число романов, опубликованных в стране в 1974 г., удвоилось по сравнению с предыдущим годом.

Однако ни в одной другой стране, по словам Кьюсак, книги которой широко издаются на английском языке и в переводах, то есть в большинстве стран Запада и Востока, творчество писателя не получает столь узкого освещения, как в Австралии. В стране существует единственное издание, посвященное книжной рекламе, — ежеквартальный журнал «Острэлиан бук ревью». Если вам очень повезет, пишет Кьюсак, то на вашу новую книгу может появиться короткая рецензия в одном из субботних выпусков газет. Но, как правило, рецензия появляется, если об этом позаботится ваш издатель.

К сожалению, сетует Кьюсак, австралийские издательства за редкими исключениями довольно пассивны в деле рекламирования и распространения книг австралийских авторов. В значительной мере такое положение—пережиток тех времен, когда эти издательства жестоко страдали от бешеной конкуренции со стороны издательских фирм США и Англии на книжном рынке Австралии.

Общая задача писателей, а также издателей и книготорговцев состоит сейчас в том, пишет в заключение Димфна Кьюсак, чтобы повысить интерес читателей к произведениям национальных авторов, а для этого нужна широкая реклама, информирующая о творчестве писателей в целом и их отдельных произведениях.

АНГЛИЯ

ДЖОН БРЕЙН ПРОДОЛЖАЕТ ДЕГРАДИРОВАТЬ

Давно прошли те времена, замечает обозреватель ежемесячника «Букс энд букмен», когда Джон Брейн был одним из ведущих представителей «рассерженных молодых людей». Теперь трудно, а вернее, даже невозможно говорить о какой-либо «рассерженности» писателя: Джон Брейн уверенно ступил на путь коммерческого успеха.

Последняя книга Джона Брейна, изданная в Англии огромным тиражом, наглядно свидетельствует об этой безрадостной эволюции. Книга «Как написать роман» — не столько теоретическое исследование о жанре романа, сколько практическое и более чем коммерческое по своей природе пособие для начинающих молодых романистов, как

Лоуренс Оливье, Катарина Хепберн и Джордж Кьюкор (слева направо) — исполнители главных ролей и режиссер фильма «Любовь среди развалин», снимающегося в Англии по одноименному роману Анджелы Триколл. Это история одной актрисы, которая обращается к старому адвокату с просьбой выступить ее защитником на судебном процессе, начатом против нее импресарио из-за нарушенного контракта. Совместное появление в киностудии в Пайнвуде, где происходят съемки, этих трех «китов», расцвет деятельности которых относится к 40-м годам, а имена занимают видное место в истории мирового кино, привлекает внимание критики и прессы, с интересом ожидающих появления их фильма.

(Газета «Унита»)

добиться успеха. Как пишет критик Оберон Во, это единственно, что занимает Джона Брейна: тайны мастерства, серьезные советы — все это нисколько его не интересует. Весьма грустно, продолжает критик, читать следующие слова: «Роман—это не форма самовыражения, роман не должен стремиться изменить общество, в котором мы живем». Надо писать осторожно, утверждает Брейн, не подвергать себя опасности критики со стороны литературоведов и коллег.

Помимо того, пишет в заключение Оберон Во, что книга Брейна по сути своей маловразумительна, она еще совершенно очевидно говорит о затянувшемся глубоком творческом и идейном кризисе в прошлом серьезного писателя.

БЕСЕДА СО СЬЮЗЕН ХИЛЛ

Молодая английская писательница Сьюзен Хилл вошла в литературу недавно, но уже добилась признания ведущих британских критиков. В интервью, которое она дала представителю еженедельника «Иллюстрейтед Лондон ньюс» Уилфриду д'Арту, Сьюзен Хилл говорит о своем творчестве.

«Я начала писать в пятнадцать лет. Мне никогда не удавалась поэзия, но зато я всегда была увлечена прозой. Хотя мой первый роман появился, когда мне было восемнадцать лет, успех пришел много позже — только с выходом романа «Леди и джентльмены». Об этой книге очень тепло отозвалась Памела Хэнсфорд Джонсон. Она писала: «Я не читала ничего подобного: в этой книге ощущается какое-то волшебство». Роман получил премию Ллевелина Риса, а меня признал литературный Лондон».

На вопрос, какое из своих произведений Сьюзен Хилл считает наиболее удачным, писательница ответила: «Я думаю, что мне особенно удались сборник рассказов «Альбатрос» и мой последний в значительной степени автобиографический роман «Весной».

Сьюзен Хилл английские критики часто сравнивают с Э. М. Форстером, однако она не считает подобное сопоставление справедливым. «Я кажусь себе чрезвычайно консервативной. Я активно не приемлю творчество Д. Г. Лоуренса и его современных последователей, таких, как, например, Мелвин Брэгг. Я убежденная традиционалистка, пишу о немного старомодных и странных людях и их жизни. В моих книгах мало секса. Однако это не означает, что вопросы секса меня совершенно не интересуют. Просто я придерживаюсь той точки зрения, что не следует писать слишком откровенно о некоторых сторонах жизни людей. Мои романы — романы нравов, они написаны в традиционной реалистической манере. Думаю, что очень большое влияние на меня оказал Диккенс».

БОЛГАРИЯ

«СЫН ДИРЕКТОРА»

Роман Э. Манова «Сын директора», по единодушному мнению критики, относится к лучшим прозаическим книгам минувшего года. Критик И. Радев пишет о ней в журнале «Пламк». В романе рассказывается о первых самостоятельных шагах юноши, вступившего в своеобразный конфликт со всей тепличной обстановкой, окружающей «директорского сына». Писатель показывает, как его герой сам доискивается причин своего «сопротивления», показывает процесс становления характера, чувства полноценности, его приход к пониманию необходимости самому определить свой жизненный путь. В романе, пишет И. Радев, особенно ярко проявилась способность писателя интерпретировать общественно-гражданскую активность человека как нечто неотделимое от его нравственной сущности. Это единство рассматривается как сознательное освобождение от обывательщины, конформизма, потребительской психологии. Рецензент отмечает также художественное мастерство

Режиссер Неделчо Чернев снял телевизионный фильм по сценарию Анжела Вагенщайна «На жизнь и на смерть», в основу которого лег одноименный роман Димитра Ангелова. Невена Коканова и Стефан Данаилов—в фильме «На жизнь и на смерть».

(Еженедельник «Народна култура»)

С интересом встречена венгерской общественностью и зрителями новая работа венгерских кинематографистов «Снежный обвал», автор сценария — известный венгерский писатель Шандор Чоори, режиссер Ференц Коша, оператор Шандор Шара.

По свидетельству венгерской критики, этот фильм ставит одну из насущных проблем современности — проблему формирования подлинно социалистического сознания, чувства ответственности за свои поступки.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ВЕНГРИЯ

УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

В Будапеште, в издательстве «Мадьяр Геликон» вышло поистине уникальное издание «Слова о полку Игореве». В создании этой книги на венгерском языке участвовал целый авторский коллектив как венгерских, так и советских специалистов.

Поэтический перевод «Слова» выполнен поэтом, переводчиком, известным ученым-филологом Гезой Кепешем по тексту, сделанному непосредственно с первого русского издания «Слова о полку Игореве» 1800 г. филологом, заведующим кафедрой древнерусской литературы Будапештского университета Эмилем Балецки.

В оформлении книги принимали участие венгерский художник Тибор Санто и советский фотограф Г. Н. Логвин. Возглавила этот авторский коллектив редактор книги, известный пропагандист и переводчик советской литературы Шара Кариг.

Геза Кепеш представил венгерскому читателю замечательный памятник древней русской литературы в виде отдельных песен, в самом названии которых отражено их содержание: «Вступление», «Отправляются в путь русские войска», «Первая битва», «Песнь об Олеге, деде Игоря», «Сон Святослава», «Плач Ярославны». Кроме того, автором перевода в подзаголовке дается пояснение, относящееся к содержанию песни, например, в подзаголовке к песне «Первая битва» значится: «Как столкнулись войска Игоря с врагами своими». Венгерская критика единодушно отмечала в свое время, что Геза Кепеш мастерски воссоздал на венгерском языке всю сложность и многогранность это-

писателя; лирическая и романтическая струя романа сдерживается строгим лаконизмом изложения, ощущение оптимизма покоится на достоверной, реальной жизненной основе. Высокую оценку роману Э. Манова дает также К. Йорданова в журнале «Септември».

го замечательного произведения, сумел донести до читателя нюансы литературной и народной традиции, проявившиеся в этом литературном памятнике.

Особую значимость книге придает послесловие, написанное также Гезой Кепешем специально для второго издания. Поэт, исследователь, ученый помогает венгерскому читателю познать отраженный в «Слове» мир Древней Руси, воспринять емкость и непреходящую ценность общественно-политического пафоса единения народа в общей борьбе, ощутить чарующую прелесть стиля, языка, образов этого древнейшего русского литературного памятника, являющегося свидетельством высокой культуры на Руси того времени.

Почувствовать атмосферу древнерусской культуры призвано и великолепное оформление этого издания. Со страниц книги смотрят на читателя репродукции фресок, барельефов, икон XI—XIII веков, фотографии памятников древнего зодчества: Киева, Владимира, Чернигова, которые были свидетелями славного похода Игорева...

Венгерская печать оценила второе издание «Слова» как новый ценный вклад не только в дружбу двух народов, но и в «сокровищницу мировой культуры».

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

КОЛЛОКВИУМ АФРИКАНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

В Уагадугу, где проводятся Всеафриканские кинофестивали, состоялся коллоквиум кинематографистов, организованный Африканским обществом культуры и Агентством культурного и технического сотрудничества. Тема коллоквиума — «Роль африканского кино в пробуждении негритянского самосознания». Коллоквиум проводился в плане подготовки ко Второму фестивалю негритянского искусства, который должен состояться в Лагосе в 1975 году.

В коллоквиуме приняли участие кинематографисты, историки, литераторы Берега Слоновой Кости, Дагомеи, Сенегала, Малагасийской республики, Заира, Верхней Вольты.

Заседания проходили в трех секциях: «Пересмотр взглядов на историю и культуру Африки», «Использование африканских языков в кино», «Создание нового кинематографического языка».

Результатом работы семинара явились теоретические и практические рекомендации африканским кинодеятелям.

ГДР

«ТРИ НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ»

Такой подзаголовок дала Криста Вольф своему новому сборнику рассказов «Унтер ден Линден», выпущенному издательством «Ауфбау». «Я всегда подозревала, что эта улица ведет в глубину», — пишет Криста Вольф в первом из рассказов, по которому назван сборник.

Повествование ведется от первого лица. Рассказчица видит сон о знаменитой берлинской улице, по которой она идет, все время встречаясь с неожиданными людьми, странными явлениями, необычайными происшествиями. Воспоминания о юности, о реально существовавших людях, размышления о различных явлениях из прошлой жизни и переосмысление их с новой позиции зрелого человека перемежаются с фантастическими картинами: то это прозрачные стены, за которыми возникают развалины, где она когда-то бродила со своими друзьями, то появление золотой рыбки... Путь по улице становится поиском самой себя, поиском путей счастья. «Я поняла,— говорится в конце рассказа,— что постепенно прояснилось то, что много лет мне было неясным. И я почувствовала, как я все больше и больше познаю новые радости жизни».

Второй рассказ напоминает читателю романтическую историю кота Мура, рассказанную Гофманом. Он называется «Новые жизненные воззрения одного кота». Это уже настоящая сатира, где писательница дает злую пародию на бульварную литературу и на псевдоученость.

Третий рассказ, завершающий книгу, «Опыт над собой, или Трактат к одному протоколу»,— сатирический отклик на модную на Западе тему изменения пола человека. Героиня превращает себя в мужчину и наблюдает за полным изменением своей личности.

Новый сборник рассказов Кристы Вольф вышел одновременно и в издательстве «Люхтерханд» в Западной Германии. Рецензенты отмечают, что появление этой книги — значительное явление в литературе Германской Демократической Республики. «Главная тема творчества Кристы Вольф — проблемы ее поколения,— пишет обозреватель каталога издательства «Люхтерханд».— Этому посвящены ее основные произведения— «Расколотое небо» и «Размышления о Кристе Т.». В новых рассказах тема поколения нашла почти классическое завершение».

«Используя лиризм, фантастику, иронию, сатиру, писательница рассказывает о жизни своих современников, о ее хороших и плохих сторонах»,— пишет рецензент «Литератур-74».

ХРОНИКА СЕМЬИ ВАРДИН

Свой новый телевизионный фильм «Женщины семьи Вардин» Иоахим Голь и Гельмут Кретциг посвятили истории крестьянской семьи. В трех частях фильма рассказывается о большом историческом отрезке времени, охватывающем период с 1910 г. до наших дней.

Перед зрителем проходят три поколения семьи Вардин, их судьбы, их долгая,

Катарина Тальбах и Герд Благушек—в телевизионном фильме «Женщины семьи Вардин».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

трудная борьба за сохранение «крестьянского двора». Большое внимание уделено женщинам этой семьи. Именно на них падает основная тяжесть забот о сохранении хозяйства, именно женщины страдают больше от семейных распрей и трагедий.

Через весь фильм проходят темы любви, брака, семейных взаимоотношений. В первой части фильма—это «неразрешенная» любовь хозяйского сына и молодой работницы, которым не дают соединить их судьбы. Затем создатели фильма с большой психологической точностью дают сложные коллизии, в которых оказываются другие любящие пары, когда главную роль играет уже не материальный фактор.

Иоахим Голь и Гельмут Кретциг включили в фильм подлинные документы. Они хорошо изучили обычаи и нравы села, народный язык, удачно использовав его в диалогах. Рецензент газеты «Берлинер цайтунг» пишет, что «фильм напоминает яркую, интересную народную оперу». Газета «Нойес Дойчланд» отмечает: «Телевизионный фильм «Женщины семьи Вардин» — фильм эмоциональный, поэтичный, полный драматизма».

ГРЕЦИЯ

«ВСЕ МЫ НУЖНЫ ГРЕЦИИ»

«Волнение, вызванное моим возвращением в Грецию после семи лет разлуки с родиной, усиливается еще и тем, что наша страна переживает сейчас столь критический период. Период, когда все мы нужны Греции»,— заявил корреспонденту газеты «Вима» выдающийся греческий поэт Никифорос Вреттакос, вернувшийся из эмиграции на родину, которую он покинул в знак протеста против установленного в 1967 г. режима военной диктатуры.

В ближайшее время в Афинах увидят свет две новые книги Никифороса Вреттакоса: сборник «Протест»—«стихотворения, проникнутые болью и сарказмом, протестом против пороков современного общества», и «Прометей, или Игра одного дня», драматическое произведение, мифологизирующее современность.

После семилетней эмиграции в Грецию вернулся также известный греческий прозаик Василис Василикос. В интервью корреспонденту афинской газеты «Вима» он рассказал о своем вынужденном «самоизгнании» и о своих впечатлениях после возвращения на родину:

«По ироническому стечению обстоятельств в день военного переворота мы оказались в Нюрнберге, в городе, где проходили процессы над нацистскими преступниками. Мы ехали в автомобиле и вдруг услышали по радио сообщение. Когда слышишь нечто поистине трагическое, вроде этого известия, оказываешься не в силах понять подлинный трагизм происшедшего. Осознание приходит постепенно. Ко мне оно пришло, когда в газете «Монд» я прочитал сообщение о моем аресте... Тогда я понял, что в моей стране случилось что-то пока непоправимое и мне придется коренным образом менять свою жизнь.

Первой моей реакцией были выступления в прессе, главным образом в скандинавской. Никто тогда не знал подробностей греческих событий, а также их предыстории. Я старался дать трезвый, подкрепленный фактами анализ. Потом я стал записывать, что говорили, как реагировали на события греки, оказавшиеся за границей. Так возник сборник «Кафе эмигрантов». Потом я пережил сильную депрессию. Я не мог писать — мне казалось бесполезным все, что я делаю. Однако и это в конце концов прошло. Говорят, искусство излечивает. Я в это верю. Я начал писать, писал много и обрел душевное равновесие...

Сейчас прежде всего я хочу поездить по стране, мне это крайне необходимо. Я ловлю слова, звуки. Восприятие всего особенно обострено теперь, после семилетнего отсутствия, свежесть этого восприятия надо использовать максимально, потом она улетучится. Я пишу сейчас «Дневник возвращения», в нем запечатлены малые и немалые события, ситуации, эмоции, вызванные моим возвращением в Грецию.

Мое первое впечатление — уверенность, которая жила во мне и раньше,—

сорджименто. Романы Гарибальди, написанные в духе Гверрацци—автора «Осады Флоренции», некогда привлекали читателей (роман «Клелия» в том же, 1870 году, когда он был написан, был переведен на русский язык). И вот ныне, сто лет спустя, два из трех романов Гарибальди, посвященные бурным событиям периода борьбы за национальное освобождение Италии и создание единого итальянского государства, в которых богатая фантазия автора причудливо переплетается с фактами его героической жизни, вновь изданы в Италии. Туринское издательство МЭБ в серии «Народный роман», начавшей выходить в 1973 году по инициативе писателя Джованни Арпино, опубликовало «Клелию» и «Добровольца Кантони». Литературный критик газеты «Унита» Энрико Гидетти посвятил им обширную рецензию.

«Историко-биографические документы, политические манифесты — именно это и ничто другое следует искать в наивных литературных опытах «отцов» Рисорджименто»,— делает вывод Гидетти.

СПЕКТАКЛЬ НА ДОКУМЕНТАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ

16 мая 1974 г. итальянские газеты сообщили об аресте долго скрывавшегося от правосудия Лучано Лиджо, одного из самых жестоких главарей мафии. На счету у Лиджо за 26 лет «деятельности» насчитывалось по крайней мере 50 убийств. 5 лет назад Лучано Лиджо был оправдан судом присяжных в Бари «за недостаточностью улик». Парламентская комиссия по борьбе с мафией вскрыла факты угроз председателю и членам суда со стороны единомышленников бандита. По сей день нет полной ясности в вопросе о взаимоотношениях Лиджо с представителями власти, судебных и политических кругов.

Протоколы расследования скандально известного процесса в Бари и связанных с ним последующих событий парламентской комиссией по борьбе с мафией легли в основу пьесы Марио Миссироли и Витторио Сермонти «По поводу Лиджо». В 1973 г. Марио Миссироли поставил спектакль по этой пьесе в Равенне, а летом нынешнего года по горячим следам событий восстановил спектакль на сцене римского театра «Арти» в обновленном актерском составе.

Римский спектакль предваряется обращением к зрителям, в котором говорится о том, что если даже Лучано Лиджо арестуют, проблема взаимоотношений между государственной властью и мафией еще не будет разрешена.

По сценической форме «По поводу Лиджо» — гротескный памфлет. Балетом марионеток называет его рецензент «Униты».

Пьеса Миссироли и Сермонти построена на подлинных документах. Это придает ей жгучую актуальность, однако, как отмечает газета «Унита», скрупулезное следование источнику привело к тому, что в спектакле ничего не сказано о политических и экономических силах, которые поддерживали и поддерживают мафию: обвиняется лишь один из механизмов государственного аппарата. Это, однако, не помешало спектаклю, тепло встреченному зрителями, стать важным событием в театральной жизни Рима.

Сцена из спектакля «По поводу Лиджо».

(Газета «Паэзе сера»)

КУБА

СПЕКТАКЛЬ О ПЛАЙЯ-ХИРОН

Политический театр имени Бертольта Брехта в Гаване осуществил постановку пьесы Рауля Масиаса «Правдивая история бригады 2506», в которой рассказывается о событиях на Плайя-Хирон.

Рецензент газеты «Гранма» Адольфо Крус-Луис рассматривает пьесу как попытку создания национального эпического театра и даже проводит, конечно с большими оговорками, параллель между «Правдивой историей» и трагедией Эсхила «Персы», написанной двадцать веков назад, поскольку это классическое произведение мировой литературы в свое время также звучало весьма злободневно — оно было написано всего через восемь лет после окончания греко-персидских войн.

Действие «Правдивой истории» разворачивается в лагере контрреволюционеров. Перед зрителем проходит ряд эпизодов — бегство контрреволюционеров с Кубы после победы повстанческой армии Фиделя Кастро, подготовка интервентов, наконец, их разгром. Критик отмечает не только историческую и идеологическую достоверность пьесы, но и ее сценичность, динамизм и выразительность диалогов.

Постановка в целом носит характер фарса, бурлеска. Образы врагов революции решены в сатирическом плане. Спектакль расценивается как бесспорная удача молодого режиссера Мириам Лесканы и художников Ньевес Лаферте и Дианы Фернандес.

Искандар Барамили исполняет национальную мелодию на лютне.

(Еженедельник «Аль-Ахбар»)

ЛИВАН

НОВЫЙ ИНСТИТУТ

В крупнейшем городе северного Ливана Триполи открыт музыкальный институт — второе по значению музыкальное заведение после Бейрутской национальной консерватории.

Как пишет еженедельник «Аль-Ахбар», новый институт создан по инициативе группы молодых деятелей искусств — уроженцев северных провинций. В институте преподают как западную, так и национальную арабскую музыку. Для облегчения доступа в институт всем желающим занятия в нем проходят в вечернее время.

Директором нового музыкального института является выпускник Бейрутской консерватории композитор и исполнитель национальной музыки Искандар Барамили.

МАРОККО

«ОЧЕРКИ МАРОККАНСКОГО ТЕАТРА»

Как сообщает алжирский журнал «Ас-Сакафа», в Марокко вышла книга критика и писателя доктора Хасана аль-Мании «Очерки марокканского театра». В основу «Очерков» положена докторская диссертация аль-Мании, которую он защитил в Сорбонне.

НИГЕРИЯ

ТВОРЧЕСТВО ХАУСАНСКОГО ПОЭТА

Ахмад Махмуд Сааду Зунгур — известный нигерийский поэт, его стихи-песни «вакоки» знает каждый хаусанский школьник. Но до последнего времени не было опубликовано ни одного исследования о творчестве поэта, о его роли в общественной и политической жизни Северной Нигерии. Недавно этот пробел

был восполнен, Северонигерийская издательская компания выпустила в городе Зария почти одновременно две книги о его творчестве. Одну из них, «Жизнь Ахмада Махмуда Зунгура», написал известный хаусанский писатель, общественный деятель, ученик и коллега Ахмада Махмуда Зунгура — Амино Кано. Другую — «Поэзия, жизнь и взгляды Сааду Зунгура» — профессор университета им. Ахмаду Белло в г. Зариа Дандатти Абдулькадир. Оба автора показывают в своих книгах, что просветительская и общественная деятельность Зунгура внесла значительный вклад в развитие хаусанской культуры в ответственный для страны и народа период пробуждения национального самосознания и борьбы за независимость. Амино Кано называет Зунгура «одним из героев прошлых дней».

Умер Сааду Зунгур в 1958 году, за два года до провозглашения независимости.

Книга Амино Кано освещает общественную деятельность Зунгура. Д. Абдулькадир, как и следует из названия книги, больше внимания уделяет его поэтическому творчеству. Поэтическое творчество Зунгура носило дидактический, просветительский характер. Особой популярностью в те годы пользовалась песня-поэма «Север — монархия или республика». Дандатти Абдулькадир пишет, что Сааду Зунгур стал ведущим поэтом хауса не только потому, что он умел обобщать события и предсказывать будущее, но потому, что его «вакоки» были доступны среднему хаусанцу. Заслугой книги Д. Абдулькадира является перевод четырех «вакок» Зунгура на английский язык с параллельным текстом на хауса и комментариями. Интересна глава о роли поэзии в хаусанском обществе.

Критики высоко оценивают книги Амино Кано и Дандатти Абдулькадира, благодаря которым поэзия знаменитого хаусанского поэта станет доступна более широкому кругу нигерийцев.

НОРВЕГИЯ

НУРДАЛЬ ГРИГ — ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Вышел сборник публицистических произведений Нурдаля Грига, куда включены статьи и заметки, опубликованные писателем на страницах журнала «Путь вперед» в 1936—1937 гг.

Журнал «Путь вперед», по свидетельству прессы, вошел в историю Норвегии как трибуна для страстной антифашистской пропаганды.

Критик-марксист, последовательный борец за мир и торжество идей социализма во всех уголках земного шара, Нурдаль Григ в своих статьях призывает к солидарности с Испанской республикой и с рабочим государством Советов. С позиций марксистско-ленинской литературной критики Григ анализирует творчество Кнута Гамсуна. Публицистическим пафосом проникнуты его выступления против Квислинга — главаря норвежских фашистов, его полемика с идеологами пацифизма.

«Сборник «Путь вперед» интересен во многих отношениях,— отмечает рецензент газеты «Фрихетен».— Прежде всего это документ огромной разоблачительной силы времен засилья фашизма в Европе, книга-напоминание, книга-предупреждение, призыв к нашему молодому поколению беречь мир и покой на земле. Эта книга — еще один штрих к портрету Грига-антифашиста».

ПОЛЬША

В ТЕАТРЕ И В ФИЛЬМЕ

Книги Эдварда Редлинского «Продвижение» и «Конопляника», получившие широкую популярность среди польских читателей, привлекли к себе внимание режиссеров театра и кино.

«Постановка «Конопляники»,— как отмечает в журнале «Театр» Анджей Владыслав Краль,— стала подлинным актерским триумфом театра в Зеленой Гуре, а сценический вариант «Продвижения» был просто расхватан театрами».

С неизменным успехом «Продвижение» идет в варшавском театре «Розмаитости». Талантливый режиссер Ольга Липинская поставила веселый, темпераментный спектакль, изобилующий комическими ситуациями. Актерский состав подобран превосходно. Роль Мариана Гжыба играет замечательный комедийный актер Богдан Лазука, роль его невесты — Иоанна Касперская, роль старого Гжыба исполняет Ян Матыяшкевич, комедийный талант которого проявляется в этом спектакле в полном блеске, отлично сыграл роль деревенского парня Стаха Кшиштоф Ковальский.

Молодой режиссер Януш Заорский снял фильм, в основу которого легла повесть «Продвижение».

Фильм остро сатирический. В нем рассказывается, как выпускник вуза, увидев, что родная деревушка отстает от жизни, решает помочь ей наверстать упущенное. Он насаждает новейшие технические и культурные достижения, убеждает земляков построить современную гостиницу, которая превратит их захудалую деревушку в привлекательный для туристов оздоровительный комплекс. Однако, пропагандируя просвещение и прогресс, он всюду впадает в крайность и вскоре обитателей Выдмухова перестают интересовать погода и урожаи, они увлеченно толкуют о философских течениях и модных стрессах.

Когда оздоровительный комплекс построен и приезжают первые горожане, происходит нечто неожиданное: отдыхающие горько разочарованы, они мечтали о простоте и примитивизме глухой деревни, о девственной природе, а не об оздоровительном комплексе. Сообразительные сельчане бы-

Божена Дыкель и Мариан Опаня — в фильме «Продвижение».

(Журнал «Экран»)

стро смекнули, что горожанам нужна сельская идиллличность, и перед приездом другой партии отдыхающих они быстренько прячут телевизоры и всю электротехнику, надевают национальные костюмы, говорят исключительно на диалекте и даже устраивают традиционную свадьбу со всеми обрядами.

Как пишет рецензент журнала «Экран», создатели фильма показали «современную деревню в кривом зеркале фальшивых представлений и мифов, живущих в сознании современного мещанина. Форма гротеска позволила им вытащить на первый план глубоко скрытые и часто небезопасные по своим последствиям проблемы, связанные с прогрессом в деревне, который по-разному понимается и внедряется тоже по-разному».

РУМЫНИЯ

НОВАЯ ПЬЕСА «ПТИЦА ШЕКСПИР»

В Клужском Национальном театре состоялась премьера спектакля по пьесе видного румынского прозаика и драматурга Думитру Раду Попеску «Птица Шекспир».

Секретарь Ассоциации писателей города Клужа, главный редактор еженедельника «Трибуна», автор свыше пятнадцати книг прозы, нескольких пьес и киносценариев, Д. Р. Попеску известен советскому читателю по вышедшему в издательстве «Молодая гвардия» сборнику рассказов «Белый дождь» и опубликованной журналом «Дружба народов» повести «Королевская охота». Проза его издана на Украине, в Литве и других союзных республиках нашей страны.

В центре пьесы — драма девушки-подростка, покончившей жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Эта история послужила драматургу поводом для постановки очень серьезных нравственных проблем. Человеческие взаимоотношения и прежде всего моральная ответственность за судьбы и поступки живущих рядом с тобой людей — эти вопросы поднимает спектакль по пьесе Д. Р. Попеску.

Румынская критика положительно встретила постановку пьесы на сцене Клужского Национального театра. Критик Ион Кокора в июльском номере «Ромыния литерарэ» отметил: «У нас есть все основания считать «Птицу Шекспир» одной из самых волнующих румынских пьес о современности».

Сцена из спектакля «Птица Шекспир».

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

«СТРАННЫЕ ПЕРЕБОИ СЕРДЦА В АПРЕЛЕ»

Так называется новый роман Платона Пардэу, выпущенный недавно издательством «Эминеску». По словам рецензента «Контемпоранул» Л. Улнч, это своеобразное продолжение романа «Утренние часы» (1972). Как в той, так и в другой книге дается широкая картина партийной жизни одного из уездов страны в период с 1950 по 1970 г. Однако если в первом романе лучшие стороны характера героев раскрываются в действии, в динамике взаимоотношений с людьми, в борьбе за преобразование жизни, то в новой книге внимание писателя преимущественно сосредоточено на исследовании внутреннего мира персонажей.

Герой книги Пардэу, работник партийного аппарата, теряет старого товарища, от него отдаляется любимая женщина. Но тяжкие раздумия, вызванные потерей друга, семейной драмой, не могут перечеркнуть всего сделанного, не приводят к отказу от прошлого. Напротив, они помогают герою глубже постичь историческую значимость процессов, участником которых он был, утвердиться в том, что его работа нужна людям. Душевное потрясение не лишает его нравственной опоры, для сердца коммуниста оно — средство самопроверки, преодоления самоуспокоенности, излишней беззаботности.

«Эта вторая книга,— заключает рецензент,— значительное явление нашей литературы и несомненный успех Пл. Пардэу».

СИРИЯ

«ИСТОРИЯ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Министерство культуры Сирийской Арабской Республики уделяет немалое внимание переводу лучших работ прогрессивных зарубежных ученых на арабский язык.

Как сообщает газета «Ас-Саура», в Дамаске издательством министерства культуры выпущены два тома фундаментального труда французского востоковеда Режи Блашера «История арабской литературы». Перевод выполнен известным сирийским литературоведом доктором Ибрахимом Кейлани.

В книге Р. Блашера подробно, на основании глубокого знания источников освещается история средневековой арабской литературы, начиная с доисламской эпохи (V—VI века н. э.) до XV века, когда расцвет этой литературы сменился упадком.

Во вступительной статье переводчик книги пишет: «Профессор Блашер предпринял попытку создать историю арабской литературы, опираясь на опыт своих предшественников, и в то же время, идя новым путем, пытается связать развитие общества с фактами литературной жизни».

В статье, опубликованной газетой «Ас-Саура», приводится краткий биографический очерк о Р. Блашере (1900—1973) — долголетнем профессоре Сорбонны, относившемся с большим уважением к арабской культуре и оставившем ряд основополагающих трудов по арабскому языку и литературе. Среди них — «Словарь арабского классического языка», «Введение в Коран» и многие другие книги.

«ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» НА АРАБСКОМ

Союз арабских писателей в Дамаске принял решение начать издание журнала «Аль-Адаб аль-аджнабийя» («Иностранная литература»), целью которого будет ознакомление арабского читателя с лучшими произведениями мировой литературы. Журнал будет выходить четыре раза в год.

США

РОМАН О СОВРЕМЕННОМ МУЖЧИНЕ

Критика широко прокомментировала появление нового романа Филипа Рота «Моя жизнь мужчины». По мнению рецензента журнала «Атлантик» М. Дикстайна, эта книга примечательна не только для творчества самого Рота, но для всей современной американской литературы, поскольку «исповедальная струя переливается сегодня в ней всеми цветами радуги».

В новом романе Рот после увлечений формальным экспериментом возвращается к ироничной реалистической манере наиболее популярных своих книг — «Прощай, Колумб!» и «Жалобы портного», к роману-исповеди. Книга рассказывает о неудачном браке молодого преуспевающего писателя Питера Тарнопола и о его «полезном» творчестве, помогающем ему переносить неудачную личную жизнь. Первые две части представляют собой рассказы, написанные Тарнополом, третья называется «Моя подлинная исторня», в ней Тарнопол пересказывает события собственной жизни.

Как указывает рецензент, творчество Рота оказало существенное влияние на формирование взглядов и литературную манеру представительниц Движения женщин за свои права. Однако, пишет критик, как явствует из его последнего, наиболее автобиографического романа, сам Рот пришел к весьма распространенной сегодня схеме семейных отношений: слабый мужчина и сильная женщина. Он доказал справедливость многих упреков, которые бросают в адрес мужчин современные феминистки, и актуальность все чаще и чаще обсуждаемой в американской печати проблемы «выживания» мужчины в современном американском обществе, моральная атмосфера которого, по мнению некоторых социологов, отравлена женской агрессивностью. Более того, несмотря на очевидное желание писателя создать ин-

тересный женский образ (задача, с которой, по мнению американской критики, еще не удалось справиться ни одному современному писателю), роман Рота подтверждает справедливость заявлений феминисток о том, что мужчины плохо знают психологию женщин.

Рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» считает, что лучше всего Рот пишет о том, что знает по собственному опыту. Автобиографические страницы его книги вызывают отклик в душе читателя, форма исповеди располагает к сочувствию. Однако, продолжает критик, автобиография требует от писателя не меньшей дисциплины, чем любая другая форма современного романа. И несмотря на то, что эта книга — самое «литературное и стилистически изощренное» произведение Рота, временами ее материал производит впечатление непроработанности, потому что писатель стоит к нему слишком близко. Нарочитая откровенность, стремление выглядеть глупым, жалким и даже уродливым, слишком очевидная авторская заинтересованность в происходящем на страницах книги мешают писателю создать полнокровные характеры. По мнению критики, Рот умышленно вызывает у читателя больший интерес к личности автора, чем к его творчеству.

Как отмечают рецензенты, многие современные писатели совершенно сознательно уподобляют творческий процесс своеобразному самопсихоанализу, рассчитывая, очевидно, на положительный терапевтический эффект. «Я надеюсь,— пишет в заключение своей статьи М. Дикстайн,— что Рот с этой книгой избавился наконец от своих личных демонов».

АЗИМОВ — «СЛОВА НАУКИ»

Американский писатель-фантаст Айзек Азимов выпустил занимательную книгу — на этот раз о научных терминах. В последнее время популяризаторская деятельность Азимова завоевала столь же широкое признание, как и его фантастические произведения. Как известно, за несколько последних лет вышел ряд его работ, посвященных вопросам филологии, в частности отмеченная критикой работа по истории и толкованию Библии.

Новая книга Азимова «Слова науки», по мнению английского еженедельника «Букселлер», может служить не только справочником по самым разным областям современного знания— от биохимии до ядерной физики и истории науки, но, что характерно для популяризаторских работ Азимова, является увлекательным чтением. Она содержит 497 статей и дает толкование тысячи пятисот современных научных терминов.

ТУНИС

V КАРФАГЕНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Как сообщает газета «Аль-Амаль», недавно в Тунисе прошел V Карфагенский фестиваль африканского и арабского кино. В фестивале приняли участие кинематографисты тридцати семи стран. Из африканских и арабских стран на кинофестивале показали свои фильмы Алжир, Дагомея, Египет, Ливия, Мавритания, Нигер, Сенегал, Сирия, Палестина, Танзания, Тунис и Эфиопия.

Вне конкурса были показаны фильмы Советского Союза, многих стран Европы, Азии и Латинской Америки. Впервые в Карфагенском фестивале приняла участие Португалия.

Кадр из фильма сенегальского режиссера Махамы Троаре «Гарга М'Боссе».

(Журнал «Жён Африк»)

Во время фестиваля были организованы творческие дискуссии киноработников стран Африки и Арабского Востока. Участники фестиваля торжественно отметили пятидесятилетие египетского кино — старейшего на африканском континенте. Состоялись также вечера, посвященные молодому кино стран Магриба, Палестины и освободительных движений Африки.

ФРАНЦИЯ

САТИРИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА РЕНЕ-ВИКТОРА ПИЛЯ

Рене-Виктор Пиль, известный романист (лауреат премии Медичи 1965 г.), выпустил в свет книгу «Хулитель» (изд-во «Сей»), которую критика оценивает как его лучший роман и одно из самых оригинальных произведений последнего времени.

«Рене-Виктор Пиль впервые ввел в литературу изображение международной монополии,— пишет критик «Монд» Жаклин Пьятье.— Придав своему произведению форму бурлескного детективного романа, писатель с иронией и гневом обрушивается на наше общество изобилия. Он продолжает традиции искусства буффонады, в его изображении весь наш мир — это босховский «Корабль дураков», и себя он видит плывущим на этом корабле».

Главный персонаж романа — гигантская международная компания. «Я расскажу историю краха и распада многонациональной компании «Россери и Митчелл», громадное здание которой из стекла и стали некогда высилось в Париже»,— говорится в начале книги. В этом здании воплощена новая вера индустриального мира, его великая цель: создать единую и грандиозную монополию, существующую лишь для того, чтобы бесконечно производились машины и бесконечно множились фирмы.

Компания «Россери и Митчелл» гибнет.

Рассказ о ее гибели — это и сатира, основанная на реальных наблюдениях, и фантастическая буффонада, которая символизирует античеловечность, порождаемую монополистическим капиталом.

Все начинается с панихиды по одному из высокопоставленных служащих компании, погибшему от несчастного случая. Среди присутствующих кто-то распространяет листовки, в которых в виде пародийных дифирамбов компании высказано осуждение ее деятельности и мрачные предсказания. Немедленно административные силы брошены на поиски «хулителя» — автора листовок. Среди ответственных работников компании возникают группы, которые подозревают друг друга в измене. Затеваются заговоры, ведется взаимное преследование. Действие переносится в мрачные подземелья великолепного здания, где преследующие друг друга члены компании совершают убийства и подвергают пыткам своих бывших коллег. Тем временем истинный виновник, спровоцировавший коллективное безумие, пойман. В результате поисков было обнаружено, что лабиринт подземелья ведет на кладбище и что в фундаменте здания есть зловещая трещина, которая растет и ширится. В финале гигантское архитектурное сооружение обрушивается и хоронит под своими обломками всех, кто служил компании.

Строгая иерархия и жестокость руководителей монополии напоминают нравы средневековья, и это побуждает автора облечь свою сатиру на современных «крестоносцев» — рыцарей капитала — в средневековые одежды. В тайное общество, организованное главарями компании, входят 12 членов — по числу рыцарей круглого стола. В придуманный автором романа пародийный бюрократическо - технологический язык вплетаются теософские термины. Нельзя отрицать богатство и новизну образов этого метафорического приключенческого романа, заключает Жаклин Пьятье.

«В романе полностью разоблачен механизм господства американцев в многонациональных компаниях,— пишет критик «Магазин литтерер» Жан Дидье Вольфромм.— Карикатура на руководителей монополий, созданная Рене-Виктором Пилем, имеет и более широкий смысл: это суровый и верный образ нашего сверхразвитого общества с его сверхпотреблением, фальшивыми идеями и пустой болтовней».

Политической фантастикой называет роман Пиля критик «Франс нувель» Ги Конопницки. «Перед нами,— пишет он,— в форме романа описание международных механизмов межгосударственного монополистического капитализма. Мы находим здесь и теории конвергенции и раздела мира».

Критик «Франс нувель» видит огромную заслугу Пиля в том, что он обнажает бесчеловечность системы, лишающей своих служащих права на индивидуальность, превращающей их в винтики гигантской машины. Главари компании, при всей их кажущейся власти, при всех их привилегиях, тоже не более чем винтики той же машины.

«ПОЖАЛУЙСТА, ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ ФИЛЬМЕ!»

Молодая французская актриса Мария Шнейдер, снимавшаяся вместе с Марлоном Брандо в скандальном фильме итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже», заявила представителям парижской печати: «Шум, который наделал во всем мире фильм «Последнее танго в Париже», вызвал у меня первую депрессию, результаты которой я ощущала долгое время. Для людей я — девушка из «Танго» и ничего больше. Прошу вас, пожалуйста, забудьте об этом фильме!..»

Мария Шнейдер в фильме «Пассажир».

(Газета «Унита»)

Мария Шнейдер надеется, что новый фильм Микеланджело Антониони, в котором она исполняет главную женскую роль, поможет ей восстановить в глазах зрителей свою репутацию. Фильм называется «Пассажир».

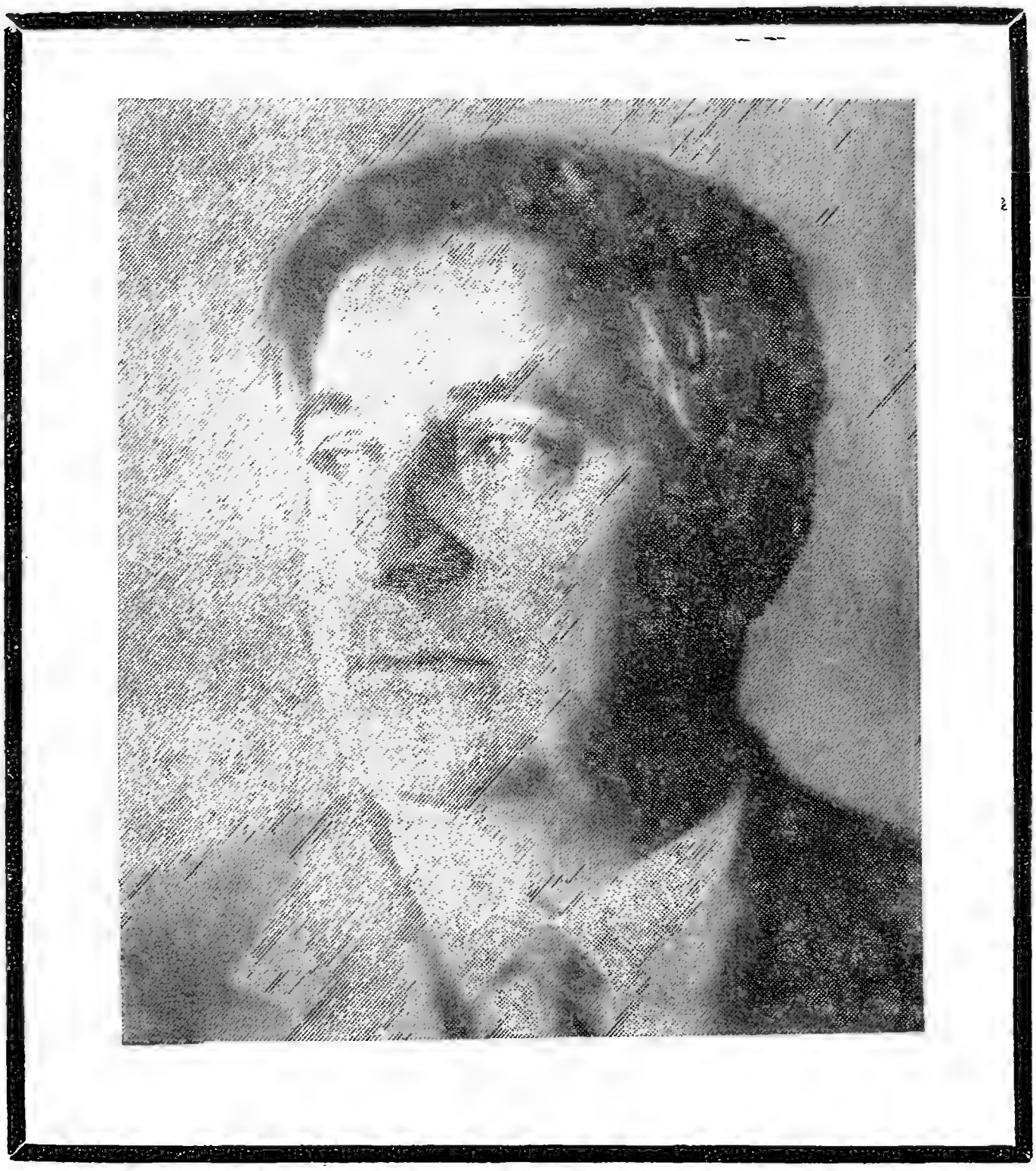
«Реабилитировать» себя актриса хочет также и участием в другом фильме, который снимает сейчас Бертолуччи. Режиссер возвратился к основной теме своего творчества, нашедшей отражение в его фильмах «Конформист» и «Стратегия паука»,— теме разоблачения итальянского фашизма. В сельской местности в области Эмилия идут съемки его нового фильма «Двадцатый век». Это широкое социально-историческое полотно, параллельное повествование о двух человеческих судьбах: помещика, примкнувшего к фашистам, и его товарища детских игр — батрака, избравшего путь антифашистской борьбы. Режиссер прослеживает их судьбы с начала этого века до второй мировой войны. В фильме снимается Барт Ланкастер, Стерлинг Хейден, звезда итальянского немого кино Франческа Бертини, Алида Валли, Ромоло Валли и целое созвездие молодых актрис: вместе с Марией Шнейдер в фильме участвуют Доминик Санда, Лаура Бетти, Анна-Мария Герарди.

ШВЕЦИЯ.

Классический роман Сельмы Лагерлеф «Сага о Йосте Берлинге» снова ожил в сценическом воплощении на сцене Стокгольмского театра. В роли Йосты Берлинга выступил известный шведский актер Пер Мюрберг. Сцена из спектакля.

(Газета «Дагенс нюхетер»)

ПАМЯТИ
Бориса Леонтьевича
СУЧКОВА

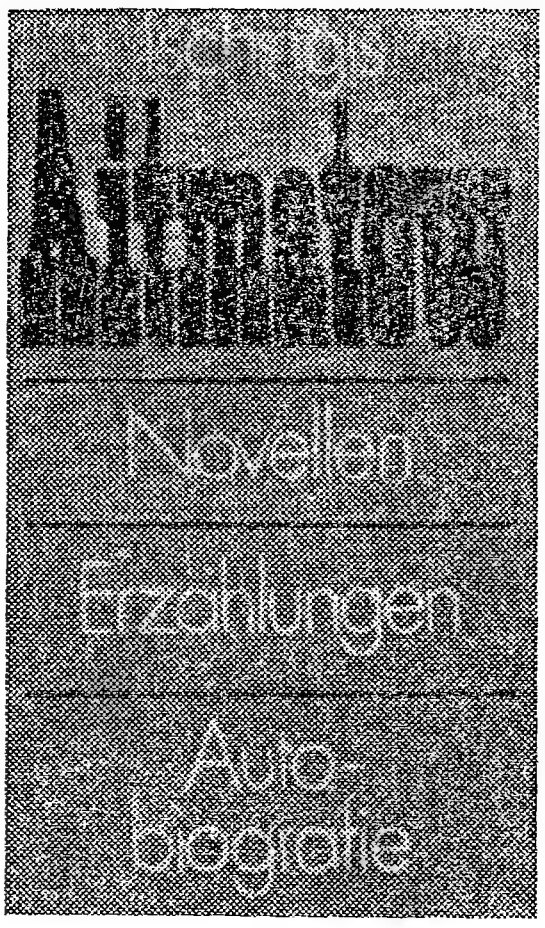


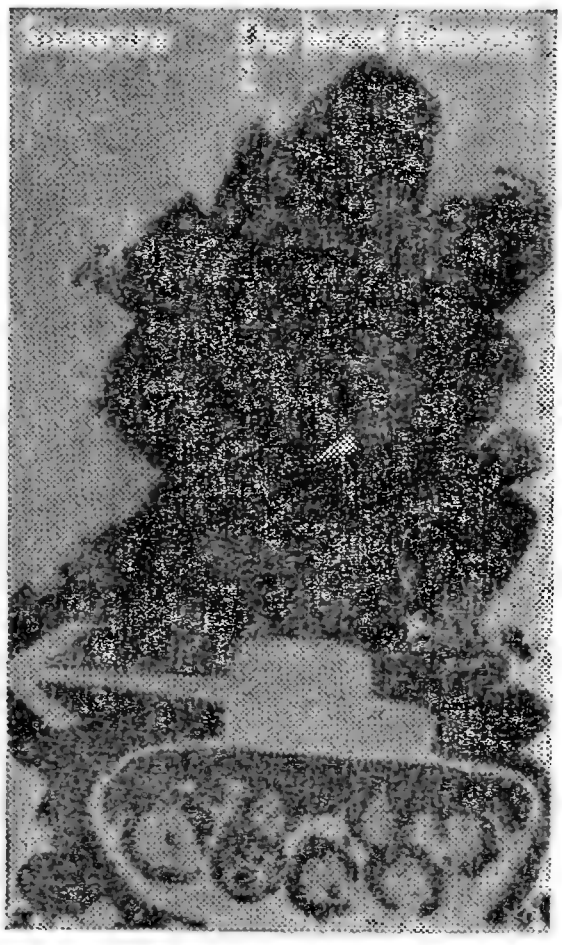
Ушел из жизни Борис Леонтьевич Сучков, видный ученый, долголетний член редколлегии журнала «Иностранная литература».

Б. Л. Сучков вносил существенный вклад в работу журнала. Мы знали его как видного теоретика и критика-коммуниста. Все, кто работал с Б. Л. Сучковым, отмечали его активность, страстный темперамент бойца. Его выступления никого не оставляли равнодушным. Сочетая идейную принципиальность с тщательным изучением современного литературного процесса, он был всегда на переднем крае борьбы, верно оценивая сложные и подчас глубоко противоречивые явления мировой художественной культуры. Его выступления на страницах журнала играли важную роль в борьбе с буржуазной идеологией и ревизионистскими теориями.

Б. Л. Сучков оказывал постоянную помощь редакции журнала «Иностранная литература» в привлечении к работе в журнале литературоведов разных специальностей. Обладая острым чувством нового, он умел обратить внимание на актуальные явления, активно содействовал ознакомлению с ними нашего читателя.

Память о Борисе Леонтьевиче Сучкове навсегда сохранится в наших сердцах.





СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ В ГДР

Издательство ГДР «Фольк унд вельт» предложило своим читателям в 1974 году ряд крупных произведений русской советской литературы. Творчество Г. Маркова, широко известное немецкому читателю по романам «Соль земли» и «Отец и сын», представлено новым произведением — историческим романом «Сибирь» (перевод Ю. Ельперина).

Также впервые на немецкий язык переведен роман-эпопея А. Чаковского «Блокада» (переводы М. Милак, Т. и Г. Штейн, Г. Бурка и А. Мёккель). «Этот роман,— отмечает издательский журнал «Дер бюхеркаррен»,— являет собой нечто большее, нежели просто историческое описание. В каждой фазе действия он раскрывает суть антагонистических общественных систем...»

Историческая тематика не случайно составляет заметную часть произведений советских авторов, переводимых на немецкий язык. «Историческая перспектива,— по мнению журнала,— несет в себе определенный идеологический заряд, направленный в настоящее. Путь революционной борьбы на ином уровне и иными средствами продолжается».

Истоки этого пути показывает роман А. Иванова «Вечный зов» (перевод И. и О. Колинко). В этом произведении о рабочем классе изображаются три человеческие судьбы в водовороте предреволюционной борьбы, гражданской и Отечественной войн.

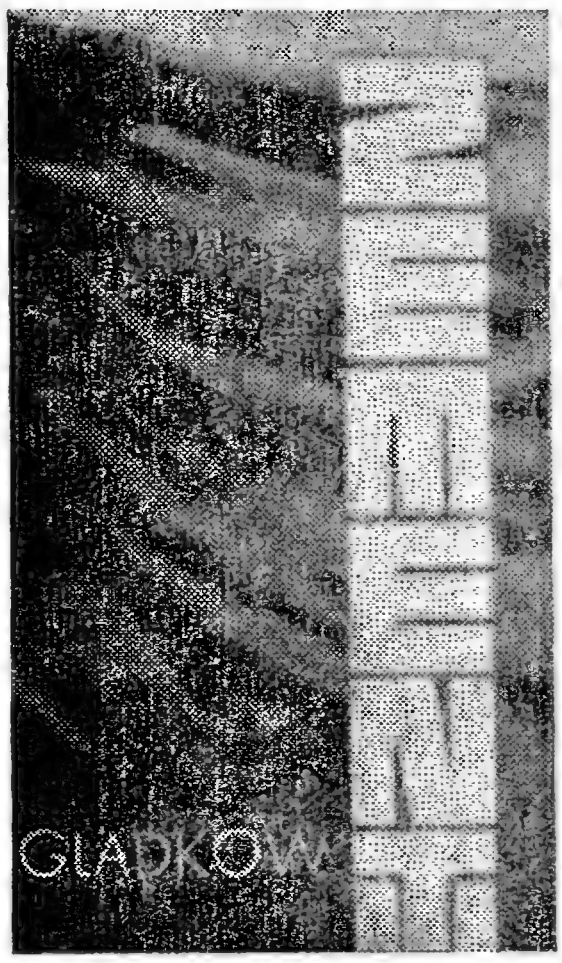
Истории посвящен и сборник эссе и путевых заметок М. Шагинян «Рождество в Сорренто» (переводчик А. Шпехт).

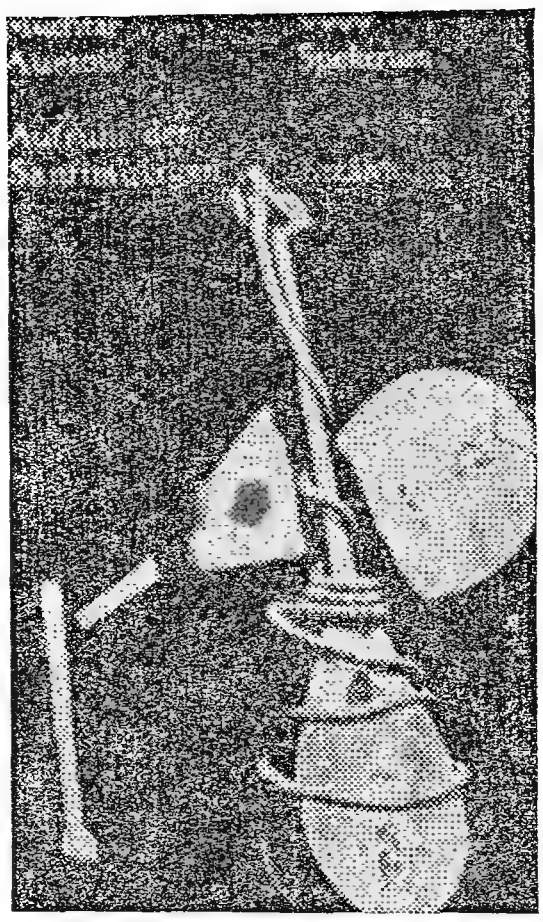
Широкой популярностью в ГДР пользуются М. Шолохов, Л. Леонов, Ф. Гладков, Б. Полевой и К. Симонов. Это находит свое отражение в большом количестве переизданий их произведений. Вышел роман Ф. Гладкова «Цемент» (перевод В. Ратфельдер), который одновременно экранизирован для телевидения и поставлен на сцене брехтовского театра «Берлинер ансамбль».

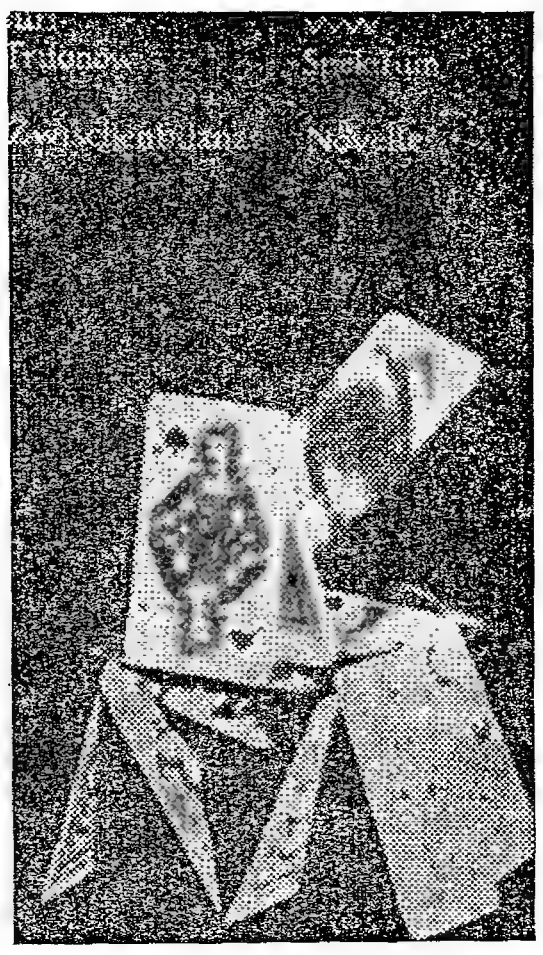
Семидесятипятилетию со дня рождения Л. М. Леонова посвящено переиздание в 1975 году «Русского леса».

Выпущено третье издание «Нюрнбергских дневников» Б. Полевого (перевод Г. Бурка), четвертое — заключительного романа трилогии К. Симонова «Последнее лето» (перевод Г. Бурка).

Особое место в 1974 году заняло восьмое издание романа М. Шолохова «Тихий Дон» (в переводах О. Хальперн-Габор, Э. Марголис и Р. Чора, с послесловием А. Куреллы). В издательской рецензии известный немецкий писатель Эрвин Штриттматтер пишет: «При чтении «Тихого Дона»







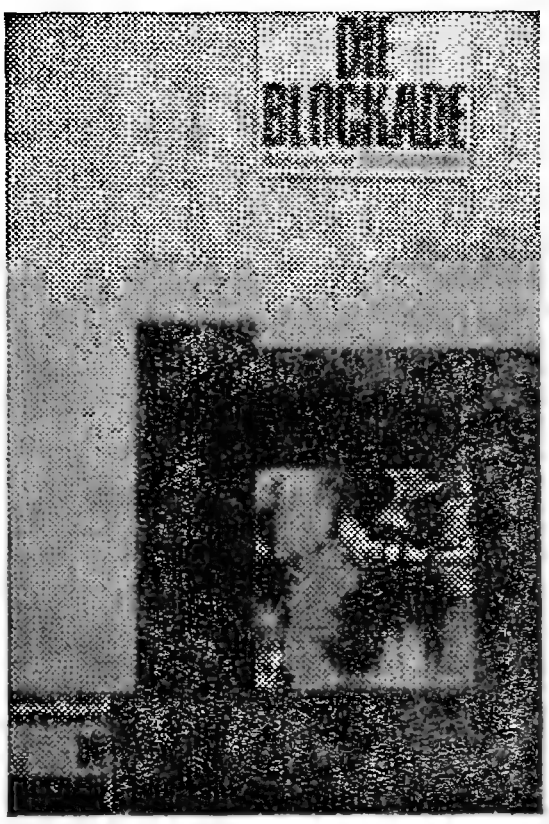
перед читателями встают сотни «вопросов». Читатели, прочитав четвертый том, на этом не останавливаются. Они начинают спрашивать, что и почему. Они начинают отыскивать определенные места и искать ответы на свои вопросы».

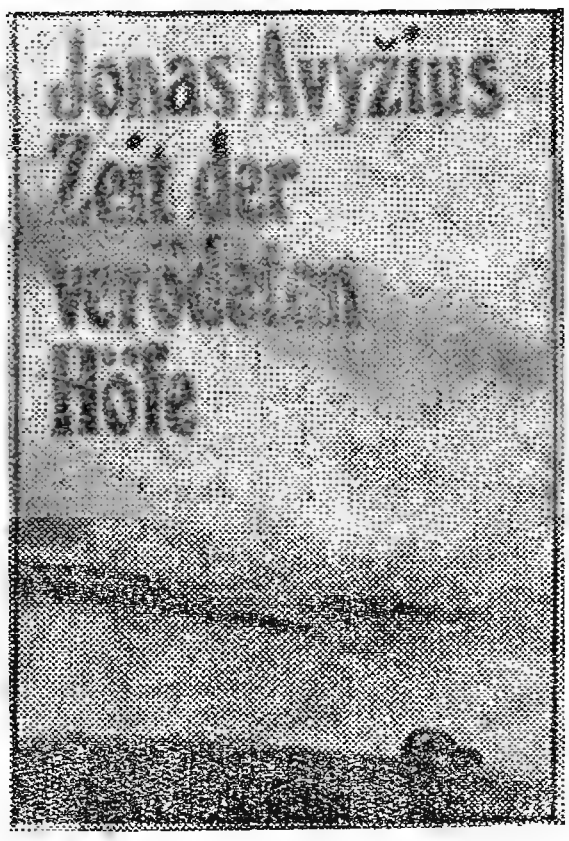
Большое внимание уделяет «Фольк унд вельт» и публикациям многонациональной советской литературы. Очень популярно у читателей ГДР творчество Ч. Айтматова. «Идя навстречу пожеланиям широких читательских кругов,— отмечает «Дер бюхеркаррен»,— издательство выпустило двухтомник произведений писателя». В него вошли как известные произведения — «Джамиля», «Первый учитель», «Белый пароход», «Прощай, Гульсары», так и еще не публиковавшиеся в ГДР рассказы, автобиография, критические статьи и речи, посвященные советской и мировой литературе.

В серии «Спектрум» издательство выпустило ранний рассказ М. Ауэзова «Судьба беззащитных» (перевод Э. Тиле), в котором описывается восстание казахского народа против царизма в 1916 году. Литовскую литературу в 1974 году представляет в ГДР известный роман Й. Авижюса «Потерянный кров» (перевод с литовского И. Бревинг). «Этот роман,— пишет критик А. Леец,— произведение многоплановое, раскрывающее образ эпохи в сложнейший период молодого литовского государства».

Теме войны посвящен вышедший в «Фольк унд вельт» роман В. Козаченко «Белое пятно» (перевод с украинского Л. Робине), представляющий собой самостоятельную часть цикла романов о войне, за который автор был удостоен в 1971 году премии имени Шевченко.

До конца 1974 года и в начале 1975-го издательство «Фольк унд вельт» предполагает выпустить на немецком языке романы М. Шолохова «Поднятая целина» и «Они сражались за родину», «Степан Разин» А. Чапыгина, «Люди на болоте» И. Мележа, романы Ю. Тынянова, В. Липатова, С. Сартакова, Ю. Трифонова, антологию грузинской поэзии за восемь веков и ряд других произведений.





Авторы этого номера

ставаясь с иллюзиями» (№ 8, 1966), статью «Мораль политики и политика морали» (№ 4, 1973).

В этом номере мы начинаем публиковать его новый роман, являющийся продолжением «Дипломата»,— «Горы и оружие» («Mockery in Arms». London, Michael Joseph, 1974).

■

СОРОКА ОСИЯ ПЕТРОВИЧ (род. в 1927 г.).

Советский филолог, переводчик. Автор статьи в «Ученых записках» — «Неологизмы, образованные путем конверсии, в произведениях Шекспира». Перевел с английского романы «Соглядатаи и поднадзорные» С. Чаплина, «Убийство по-джентльменски» Дж. Ле Карре, «Шум и ярость» («ИЛ», № 1—2, 1973), рассказы У. Фолкнера (в сборнике «Избранное») и др.

■

ЯРОМИРА КОЛАРОВА — JAROMÍRA KOLÁROVÁ (род. в 1919 г.).

Чешская писательница. Начала литературную деятельность еще в довоенные годы в качестве критика и публициста; работает редактором на киностудии «Баррандов». Ее первый роман «Я писала для тебя» («Psala jsem pro tebě») вышел в 1946 году. Затем появились повесть «Только о делах семейных» («Jen o rodinných zaležitostech», 1963), сборник рассказов о любви «Прощай, разум» («Dobrou noc rozume», 1967). Вместе со своим мужем Ф. Й. Коларом написала репортаж о Советском Союзе «Земля будущего» («Země budoucnosti», 1972).

На русский язык переведена ее книга для детей «Дома на зеленом лугу» (1970).

Роман Я. Коларовой «Мой мальчик и я» («Můj chlapec a já». Praha, Československý spisovatel, 1974), главы из которого мы предлагаем читателю, получил единодушную положительную оценку чехословацкой критики.

■

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — JAMES ALDRIDGE (род. в 1918 г.).

Английский писатель, публицист и общественный деятель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Советские читатели хорошо знают Д. Олдриджа по переведенным в нашей стране романам «Дело чести», «Морской орел», «Охотник», «Дипломат», «Герои пустынных горизонтов», «Последний изгнанник». «Иностранная литература» напечатала его романы «Не хочу, чтобы он умирал» (№ 11, 1959), «Сын земли чужой» (№№ 3—5, 1968), рассказ «Прощай, Анти-Америка!» (№ 2, 1972), несколько эссе, в том числе «Будущее романа» (№ 9, 1965), «Рас-

ТЭЦУРО МИУРА (род. в 1931 г.).

Японский писатель. Причисляя Тэцуро Миура к сторонникам традиционного направления, японская критика называет его последователем Сига Наоя, Кавабата Ясунари. Предлагаемый читателю рассказ «Река терпения» относят к возобладавшему в японской литературе в начале века жанру «повести о себе». Рассказ имел большой успех в Японии, был экранизирован, в 1960 г. писатель получил за него премию имени Акутагава. Взят из одноименного сборника.

■

НАОЯ СИГА (1883—1972).

Японский писатель, классик современной японской литературы, мастер короткого рассказа. Родом из аристократической семьи. Начал печататься в 1910 году. Наиболее известны его книги: сборник рассказов «Оцу Дзюнкити» (1912), повесть «Примирение» (1917), роман «Путь в ночном мраке» (1921—1937); этот роман, как и многие его рассказы, автобиографичен.

Рассказ «Преступление Хана» взят из Полного собрания сочинений современной японской литературы, т. 20, Токио, 1954 г.

■

ДЗЮНИТИРО ТАНИДЗАКИ (1886—1965).

Японский писатель. Печататься начал в 1909 году и вскоре приобрел широкую известность. Автор романов, повестей, коротких новелл. Большой популярностью пользуются его романы «О вкусах не спорят», «Любовь глупца», «Мелкий снег» и др. Творчество Танидзаки вошло в классическое наследие японской литературы. Премия его имени является одной из наиболее почетных литературных премий в Японии.

Рассказ «Татуировка» взят из серии «Японская литература», т. 23, Токио, 1972.

ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА.

Советский литературовед, японист. Автор книг «Очерки японской литературы. От древности до нового времени» (1964), «Одинокий странник. О японском писателе Куникида Доппо (1871—1908) и его времени» (1967), перевода «Избранные рассказы» Куникида Доппо, ряда статей по японской литературе и философии. В «Иностранной литературе» опубликована ее статья «Читая Кавабата Ясунари...» (№ 8, 1971).

ДОЛИН АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ (род. в 1949 г.).

Советский японист, переводчик. Окончил Институт восточных языков при МГУ, работает в Институте востоковедения АН СССР. Автор статей по проблемам японской литературы и культуры и переводов из японской поэзии.

МИРА АЛЕЧКОВИЧ — MIRA ALECKOVIC (род. в 1924 г.).

Югославская сербская писательница и общественный деятель. Первые ее стихи появились в печати еще до второй мировой войны. А потом — война, подполье, участие в народно-освободительной борьбе против фашизма.

Мира Алечкович — автор более 15 книг для взрослых и для детей (романы, повести, рассказы, путевые очерки).

На русский язык переведены роман «Утро» и книги стихов для детей «Серебряный поезд», «После четверга — среда».

Ее перу принадлежат поэтические сборники «Три весны» («Tri proljeća», 1949), «Следы без ступней» («Tragovi bez stopa», 1953), «Поляна» («Poljana», 1956), «Любви мало» («Ljubovi je malo», 1959), «Эта последняя ночь» («Noć ova poslednja», 1962), из которых взяты публикуемые стихи.

ЮЛИАН ТУВИМ — JULIAN TUWIM (1894—1953).

Польский поэт. Широко известен как автор поэтических книг «Подстерегаю бога» («Czyhanie na Boga», 1918), «Пляшущий Сократ» («Sokrates tańczący», 1920), «Седьмая осень» («Siódma jesién», 1922), «Слова в крови» («Słowa we krwi», 1926), «Цыганская библия...» («Biblia cygańska...», 1933), «Пылающая сущность» («Treść gorejąca», 1936), поэмы «Бал в опере» («Bal w operze», 1936) и других произведений.

В годы второй мировой войны, в эмиграции Ю. Тувим создал лирико-эпическую поэму «Цветы Польши» («Kwiaty polskie», 1949) — поэтическую автобиографию, проникнутую любовью к родине, к ее истории, природе, людям. Ему принадлежат переводы на польский язык «Слова о полку Игореве», поэзии Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Тютчева, Блока, Маяковского, Пастернака, Светлова, Твардовского, Суркова, прозы Лескова, Достоевского, Чехова.

Предлагаемые читателю в этом номере рассказы Ю. Тувима появлялись в польской периодической печати, а также в сатирических приложениях в 1920—1930 годах.

ЭППЕЛЬ АСАР ИСАЕВИЧ (род. в 1932 г.).

Советский поэт и переводчик. В его переводах вышли книги Юлиана Тувима «Слон Хоботовский» (1971), Леопольда Стаффа «Избранная лирика» (1971), поэтические главы повести Джованни Боккаччо «Амето». (1972). Переводы А. Эппеля неоднократно печатались на страницах нашего и других журналов.

КУРТ ВОННЕГУТ — KURT VONNEGUT (род. в 1922 г.).

Американский писатель, пользующийся у себя в стране широкой популярностью, особенно среди молодежи. Автор семи романов, многих рассказов, пьес.

Роман «Завтрак для чемпионов» («Breakfast of Champions», Boston, Delacorte Press/Seymour Lawrence, 1973), который мы начинаем печатать в этом номере,— четвертый его роман, переведенный на русский язык. Советским читателям знакомы романы «Утопия-14», «Колыбель для кошки», «Бойня номер 5» и рассказы, публиковавшиеся в периодической печати.

РАЙТ-КОВАЛЕВА РИТА ЯКОВЛЕВНА.

Советская писательница, переводчик. В 1920 году перевела на немецкий язык некоторые стихи В. В. Маяковского и в 1921-м «Мистерию-буфф». Переводила произведения М. Твена, У. Фолкнера, Д. Голсуорси, Г. Бёля, Ф. Кафки, Дж. Сэлинджера, Г. Грина, Дж. Пристли и др. Р. Райт принадлежат также воспоминания о Маяковском, Пастернаке, Ахматовой и книга «Роберт Бернс» в серии «Жизнь замечательных людей».

ПЬЕР ГАСКАР — PIERRE GASCAR (род. в 1916 г.).

Французский писатель, эссеист. Начало его литературной деятельности относится к довоенным годам. Во время второй мировой войны попал в плен, дважды пытался бежать и был заключен в фашистский лагерь смерти Раве-Русской. После войны работал в газете «Франс суар». Его роман «Година смерти» («Le temps des morts») в 1953 году получил Гонкуровскую премию. Известны его романы «Имущество» («Les meubles», 1949), «Звери» («Les bêtes», 1953),

«Уличная трава» («L'herbe des rues», 1956), «Беглец» («Le fugitif», 1961), книги эссе «Рембо и Коммуна» («Rimbaud et la Commune», 1971), «Предвестие» («Le Présage», 1972) и др.

На русский язык переведен роман «Семя» и книга «Путешествие к живым», рассказы и статьи.

Мы печатаем очерки из публицистической книги «Латинский квартал» («Quartier Latin», Paris, Editions de la Table Ronde, 1973).

■

БАЛАШОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА.

Советский литературный критик, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького АН СССР. Автор книг «Творчество Арагона» (1964), «Французский роман 60-х годов» (1965) и ряда статей в периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе».

■

РОССИЯНОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1921 г.).

Советский литературный критик, переводчик, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького АН СССР. Автор книг «Венгерская литература после 1917 года» (1961), «Матэ Залка. Критико-биографический очерк» (1964), «Творчество Эндре Ади (Трагедия и романтика)» (1967), «Антал Гидаш. Очерк творчества» (1970) и статей в научных изданиях и периодической печати.

■

ПОТАПОВА ВЕРА АРКАДЬЕВНА.

Советский поэт-переводчик. Основные работы: «Рамаяна», перевод с санскрита; Мирза Галиб. «Лирика», перевод с урду; «Лирика Древнего Египта» (В содружестве с А. А. Ахматовой); Густав Фрёдинг. «Стихотворения», перевод со шведского; И. П. Котляревский. «Энеида», перевод с украинского. В. Потапова переводила также поэзию народов СССР, классическую и народно-эпическую поэзию зарубежного Востока, в том числе арабо-испанских поэтов; в ее переводах выходили произведения Р. Тагора, Тевфика Фикрета, английских романтиков — Уильяма Блейка, Джона Китса, датские народные баллады.

■

ЛИПКИН СЕМЕН ИЗРАИЛЕВИЧ (род. в 1911 г.).

Советский поэт, переводчик. Перевел на русский язык с таджикского-фарси поэмы Фирдоуси «Шах-Намэ», Джами «Юсиф и Зулейха», «Золотая цепь», со староузбекского «Лейли и Меджнун» и «Семь планет» Навои, стихи Хафиза, Омара Хайяма, Кабира, калмыцкий эпос «Джангар», киргизский эпос «Манас», бурятский эпос «Гэсэр», эпизоды из индийского эпоса «Махабхарата», драмы и поэмы Калидасы. Автор книги стихов «Очевидец», повестей, написанных по мотивам народных сказаний, ряда статей по вопросам художественного перевода.

С. И. Липкин — народный поэт Калмыкии, лауреат Государственной премии Таджикистана им. Рудаки.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ** (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: Москва 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Сдано в набор 5/XI-1974 г. А10434. Подписано к печати 10/XII-1974 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 25,63.
Тираж. 595.000 экз. (1-й завод 1 — 395.000 экз.) Зак. 3767

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394